

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1978

8



1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1978 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — К читателям этого номера	3
Л. Н. ТОЛСТОЙ — Из неопубликованного: «Война и мир», фрагменты вариантов	4
Сказка. Публикация Э. Зайденшнур	15
Неизвестное письмо Л. Н. Толстого и связанные с ним события. Публикация В. М. Дунаева	19
Неизвестный автограф Л. Н. Толстого — дар Президента Французской Республики. Публикация Т. Н. Архангельской	32
С. А. ТОЛСТАЯ — Моя жизнь. Публикация и подготовка текста И. А. По- кровской и Б. М. Шумовой. Государственный Музей Л. Н. Толстого	34
ВЕНОК ТОЛСТОМУ — Григол Абашидзе, перевел с грузинского М. Си- нельников; Петрусь Бровка, перевел с белорусского Я. Хелемский; Ем. Буков, перевел с молдавского А. Големба; Равиль Бухараев; Констан- тин Ваншенкин; Евгений Винокуров; Расул Гамзатов, перевел с аварско- го Я. Козловский; Глеб Горбовский; Сооронбай Джусуев, перевел с кир- гизского М. Синельников; Киримизе Жавз, перевела с адыгейского Л. Титова; Ст. Золотцев; Римма Казакова; Кирилл Ковальджи; Майя Луговская; Михаил Львов; Эдуардас Межелайтис, перевел с литовского Л. Миль; Сергей Мицаканян; Лев Озеров; Сергей Полкарпов; Расул Рза, перевел с азербайджанского М. Синельников; Вадим Сикорский; Евгения Славорова; Арсений Тарковский; Вадим Шефнер; Степан Щипачев	135

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Д. П. МАКОВИЦКИЙ — Последние дни Л. Н. Толстого. Из яснополянских записок. Предисловие редакции «Литературного наследства»	156
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ДОРОГИ К ТОЛСТОМУ. Материалы из архива В. А. Жданова	186
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЮРИЙ БОНДАРЕВ, АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ — Уроки Толстого, диалог	211
Л. ПАЖИТНОВ — Главное дело человечества	221
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Н. К. ГЕЙ — Художественный мир Толстого	238
Э. ЗАЙДЕНШНУР — Накануне. О творческой судьбе рукописного наследия Л. Н. Толстого	255
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
С. Розанова. Наследие, открытое эпохам. — Т. Мотылева. Спорное и бесспорное о Толстом	265
КОРОТКО О КНИГАХ: А. Майкапар. — Лев Толстой и музыка. ✦ А. Шифман. — Г. И. Петров. Отлучение Льва Толстого от церкви	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

К ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОГО НОМЕРА

«— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазами, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный».

Это строки из очерка М. Горького «В. И. Ленин». В них содержится ленинская оценка Льва Николаевича Толстого. В этом году отмечается полтораста лет со дня его рождения. «Матерый человечище», по ленинскому выражению, на недостижимую высоту вознес русскую литературу, русский характер, саму Россию. Он был из редкой породы антеев, крепко стоящих на родной почве и держащих небо на своих плечах. А небо простирается над всем человечеством, над всей землей.

Советская литература, благодарная преемница российской словесности, свято чтит память великого писателя, воспринимая его наследие в свете ленинского учения о классовой природе искусства, ленинского анализа конкретных противоречий и трудных исканий художника. При этом свое понимание замечательного наследия мы решительно противопоставляем либерально-буржуазному толкованию Толстого как носителя и провозвестника «„вечных“ начал нравственности, вечных истин религии», беспощадно высмеянных В. И. Лениным в замечательной работе «Л. Н. Толстой и его эпоха».

«Новый мир» посвящает Толстому августовский номер, выходящий накануне юбилея. Читатели познакомятся с фрагментами ранней редакции «Войны и мира». Вслед за фрагментами черновиков печатается также неизвестная толстовская «Сказка» и не опубликованное до сих пор письмо. На страницах журнала увидят свет значительные материалы, ждавшие своего часа в архивах. Неотрывно читается «Моя жизнь» С. А. Толстой и «Последние дни Л. Н. Толстого» Д. Маковицкого. Мы узнаем из них много нового о великом человеке. Статьи А. Пажитнова «Главное дело всего человечества» и Н. Гея «Художественный мир Толстого» с разных сторон освещают творчество знаменитого писателя. Из других публикаций номера читатель узнает о творческой судьбе его рукописного наследия, о путях толстовской переписки. Советские поэты кладут к подножию памятника Толстому венок своих стихов. Все в номере отдано непревзойденному мастеру слова, корифею мировой литературы Льву Николаевичу Толстому.

Вечная ему благодарность за все доброе и прекрасное, что он принес людям. Вечная ему слава!

Сергей НАРОВЧАТОВ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

«Война и мир»

Фрагменты вариантов

«Война и мир» — это семь лет работы Толстого (1863—1869), безраздельно отданных произведению, задуманному как «книга о прошедшем», о «славной для России эпохе 1812 года». Первый год были только поиски начала. Толстому надо было сразу создать такую обстановку, чтобы из нее «как из фонтана» разбрызгивалось действие «в разные места, где будут играть роль разные лица». Толстой писал и одно за другим отбрасывал все новые и новые варианты, пока нашел то, что искал, — это был пятнадцатый вариант, начало, действие в котором уже было отодвинуто от 1812 к 1805 году. «Фонтаном», который нужен был Толстому, оказался салон фрейлины, все друзья которой и «постоянное общество были могущественные люди мира».

Вслед затем началась планомерная работа над произведением, заглавия которого еще не было, но главное направление уже уяснилось автору. Три года буквально без отрыва пера работал Толстой, создавая до конца раннюю редакцию произведения. Как ни значительны отличия ее от законченного текста, это хоть и не вполне созревший, но уже плод ясного замысла: те же исторические события и лица, те же герои, нет только Платона Каратаева. Отчетливо звучит голос автора и в самом действии и в историко-философских рассуждениях, которые сливаются в единое целое с художественным вымыслом.

Рукописи отражают и поиски, и колебания, и радость решения. Публикация разрозненных больших или малых по объему черновых отрывков может представлять самостоятельный интерес, когда удастся хотя бы в общих чертах дать представление о процессе создания данного эпизода, данной сцены, а также по мере возможности указать место публикуемого отрывка в творческом процессе создания всего произведения. Такая попытка сделана в предлагаемых трех отрывках из «Войны и мира».

Первый отрывок из ранней редакции «Войны и мира» — рассказ о Наташе после перенесенного ею потрясения: встречи с Анатодем и разрыва отношений с князем Андреем. Как в законченном произведении, так и по первоначальному авторскому замыслу во все трудные моменты жизни Наташи возле нее появляется Пьер, нежно любивший Наташу и сам от себя скрывавший свою любовь. Первоначально полное успокоение принесла Наташе религия. «Уже все говорили о войне» и «все военные — Борис, Анатолий, Долохов были при армии, но в Москве не было пусто и много веселились». А Наташа «целые дни проводила одна в своей комнате, ничего не делая, не читая, не поя, не играя». Единственный из посторонних людей, с кем ей приятно было встречаться, был Пьер. Вместе с няней Наташа ездила в церковь, молилась «за себя, за свои грехи, за свои злодеяния, за свою будущую жизнь, за врагов своих и за весь род человеческий и особенно за человека, которому она сделала жестокое зло». После исповеди и причастия Наташа «стала оживать. Она принимала участие в делах жизни, пела иногда, много читала из книг, которые ей приносил Пьер, сделавшийся домашним человеком в доме Ростовых».

Продолжая дальше работать над ранней редакцией произведения, подойдя к началу войны 1812 года, Толстой перестроил печальную повесть о Наташе. Успокоение ее душевного состояния наступает в тяжелый момент жизни страны. В Москве уже распространялись тревожные слухи о ходе военных событий, говорили о воззвании государя к народу. В доме Ростовых царило волнение, вызванное письмом Николая, писавшего, что «отечество дороже всего». Все это застало Наташу в состоянии «смирения и отрешения от земных радостей». Толстой ввел одно лишь дополнение: отчаяние Наташи после перенесенного потрясения только «смягчила, но не рассеяла религия». Теперь жизнь ее наполнили два чувства: религия и возмущение против Наполеона, осмелившегося презирать Россию и дерзавшего завоевать ее. Вернувшиеся к Наташе силы жизни влились в общее русло жизни народа. И тогда создается сцена встречи в этот момент растрезоженной Наташи с Пьером.

Входящая в раннюю редакцию «Войны и мира» сцена во многом совпадает с завершенным текстом, но рукопись отражает поиски Толстого, направленные более всего к тому, чтобы внести новые черты и в образ Наташи и во взаимоотношения ее с Пьером и показать, как чувство, возбужденное опасностью, нависшей над страной, сближает еще сильнее Наташу и Пьера. О поисках Толстого говорят подстрочные примечания.

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан¹, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11 июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан, и на другой день, в воскресенье, Риегге, бывший у Ростовых, обещал приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Ростопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы вылезали из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях деревьев бульвара, в громе мостовой, в звуках музыки и белых панталонах пришедшего на развод батальона, в ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, потребность желания невозможного, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, осталось в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздававшего толпу, подле матери, Наташа слышала голоса обращавших на нее внимание друг друга:

— Это Ростова — та самая.

— А как хороша!

Она слышала или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, — тем спокойнее и величавее, чем больше и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это не радовало ее, как прежде. Напротив, это самое

¹ Вместо «сдан» было: взят.

мучало ее больше всего последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя,— говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье,— и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко было жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что я добра,— думала она,— а так даром, даром проходят лучшие, лучшие годы». Она стала на обычное место, перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue² и неприличный способ креститься на малом пространстве, но, услышав звуки службы, она вспомнила о грехе осуждения, о своей мерзости душевной и³ прежние воспоминания умиления охватили ее, и она стала молиться. Редко даже в лучшие минуты прошлого поста она находилась в таком умилении, в каком она находилась этот день. Все эти знакомые, непонятные звуки и еще более непонятные торжественные движения были то самое, что было нужно ей. Она старалась понимать и счастлива была, когда она понимала некоторые слова: «миром господу помолимся» или «сами себя и друг друга Христу богу предадим». Она понимала их по-своему. Миром — значит наравне со всеми, со всем миром — не за себя мы все просим тебя, боже. «Сами себя богу предадим» она понимала в смысле отрицания всякой воли и желаний и мольбы к богу руководить волею и желаниями. Но когда она, вслушиваясь, не понимала, ей было еще сладостнее думать, что желать понимать есть гордость, что понять нельзя, а надо только верить и отдаваться. Она крестилась и кланялась сдержанно, стараясь не обратить на себя внимания, но старая графиня, не раз оглядываясь на ее строго-сосредоточенное неподвижное лицо с блестящими глазами, вздыхала и отворачивалась, чувствуя, что что-то важное творится в душе дочери, сожалея, что не может принять участия в этой внутренней работе, и моля бога, чтоб он помог, дал утешение ее бедной, невинно несчастной девочке. Певчие пели прекрасно. Благообразный тихий старичок служил⁴ с тою кроткою торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос⁵ произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство давило ее... «Научи меня, что мне делать, как мне быть с моей жизнью»,— думала она.

Дьякон вышел на амвон, прочел о трудящихся, угнетенных, о царях, о воинстве, о всех людях и опять повторил те утешительные слова, которые сильнее всего действовали на Наташу: «Сами себя и живот наш Христу богу предадим». «Да возьми же меня, возьми меня»,— с умиленным нетерпеньем в душе говорила Наташа, не крестясь уже, а бессильно и преданно опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот, вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров и надежд.

Неожиданно в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклонные молитвы в троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и стал на колени. Все сделали то же, хотя с некоторым недоумением. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

«Господи боже сил, боже спасения нашего»,— начал священник

² Манеру держаться (франц.).

³ Далее начато: стала молиться

⁴ Далее начато: кротко и торжественно

⁵ Далее начато: воззвал оттуда хвалу богу

тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце⁶.

Наташа всей душой повторяла слова общей молитвы и молилась о том, о чем молились все, но, как это часто бывает, она, слушая и молясь, не могла удержаться, чтобы в то же время не думать. При чтении слов: «Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг к другу любовью», — при этих словах ей вдруг мгновенно пришла мысль о том, что нужно для спасения отечества⁷. Так же как в вопросе о долгах отца, ей пришлось на купанье простое ясное средство исправить все дело тем, чтобы жить умереннее, так теперь ей представилось ясное средство победить врага. Средство это состояло в том, чтобы действительно всем соединиться любовью, отбросить корысть, злобу, честолюбие, зависть, любить всем друг друга и помогать как братьям. Надо всем просто сказать: мы в опасности, давайте отбросим все прежнее, отдадим все, что у нас есть, — жемчужное ожерелье (как в «Марфе-посаднице»), не будем жалеть никого — пускай Петя идет, так как он этого хочет, и все будем покорны и добры, и никакой враг ничего не сделает нам. А ежели мы будем всё просить помощи, ежели будем спорить, ссориться, как вчера Шиншин с Безуховым, то мы погибнем. Наташе это казалось так ясно, просто, несомненно, что она удивлялась, как прежде это никому не пришлось в голову, и она душою радовалась тому, как она передаст эту мысль своим и Риегг'у, когда он приедет. «Только Безухов не поймет. Он такой странный. Я никак не пойму его. Он лучше всех, но он странный».

К обеду по обещанию приехал Риегге прямо от графа Раstopчина, у которого он списал манифест и воззвание и от которого узнал положительное известие, что <после> завтра приедет в Москву государь. Риегге, за год еще более потолстевший, пыхтя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12 часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать плащ. Риегге по привычке клубной и палку и шляпу оставлял в передней. В зале его встретил красивый⁸, румяный широколицый 15-летний мальчик, похожий на Nicolas. Это был Петя. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решили, что пойдут в гусары. Петя выскочил вперед к своему тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его⁹ узнать, примут ли его в гусары.

— Ну, что, Петрухан? — сказал Риегге весело, показывая свои порченые зубы и дергая его вниз за руку. — Опоздал?

— Ну, что мое дело, Петр Кирилыч? Ради бога. Одна надежда на вас, — говорил Петя, краснея.

— Нынче скажу все. Уж я устрою, — отвечал Риегге.

Соня, увидав Риегг'а¹⁰, только присела ему и сказала:

— Наташа у себя, я пойду позову ее.

Риегге не только был свой, домашний человек, но такой домашний

⁶ В этом месте рукой С. А. Толстой надпись: «Здесь молитва Михайловский-Данилевский 258 страница и 259». При копировании автографа С. А. Толстая вписала текст молитвы из указанной книги.

⁷ Далее начато: и мысль эта, как и та мысль о том, что нужно было для исправления дел отца

⁸ Вместо «красивый» было: хорошенький,

⁹ Далее начато: через графа Раstopчина записать

¹⁰ Далее начато: пошла скорее

человек, который был дружен преимущественно с одним из членов семьи — с Наташей, и все это знали.

— Ну что, mon cher, достали манифест? — спросил граф. — А графинюшка были у обедни у Разумовских, молитву новую слышали. Очень хорошая, говорят.

Pièrre охлопывал карманы и не мог найти бумаг, и, продолжая охлопывать карманы, целовал руку у графини.

— Ma parole, je ne sait plus ou je l'ai fourré¹¹, — говорил он.

— Ну уж вечно растеряет все, — говорила графиня.

Соня, Петя улыбались, глядя на растерянное лицо Pièrre'a. Наташа вошла в том же лиловом платье. Несмотря на свою заботу отыскать бумаги, Pièrre тотчас заметил, что с Наташей произошло что-то особенное. Он поглядел на нее пристальнее¹².

— Ей-богу, я съезжу... я дома забыл. Непременно.

— Ну, уж и так опоздали обедать.

— Ах, и кучер уехал.

Все стали искать, и наконец¹³ бумаги нашли в шляпе Pièrre'a, куда он их старательно заложил за подкладку.

— Ну что ж, все правда? — спросила его Наташа¹⁴.

— Все правда. Дело нешуточное... вот прочтете.

— Нет, после обеда, — сказал старый граф, — после.

Но Наташа выпросила бумагу и вся красная, взволнованная¹⁵ пошла читать, сказав, что не хочет обедать.

Pièrre подал руку графине, и пошли в залу. За обедом Pièrre <как всегда> рассказывал городские новости о снятии Дрисского лагеря, о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон, так рассказывал сам граф Растопчин Pièrre'у, и как Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав, что это просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают, — сказал граф, пережевывая пирожок, — я графине и то говорю, чтоб поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— И то, — сказал Pièrre. — Князь Дмитрий Голицын русского учителя взял — по-русски учится, *fablement il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues*¹⁶.

— Что ж, и очень хорошо написано воззвание, — сказал граф¹⁷, предвкушая удовольствие послеобеденного чтения. — Ну что Наташа?

Наташа ничего не отвечала из гостиной.

— Да¹⁸ хорошо. Вот Наташа моя в восторге от молитвы, — сказал граф.

Наташа покраснела.

— Прелестная молитва, — сказала она, — каждое слово...

— Ну что ж¹⁹, граф, как ополчение-то собирать будут — и вам придется на коня, — сказал граф, обращаясь к Pièrre'у.

Pièrre засмеялся.

¹¹ Ей-богу, не знаю, куда я его дел (франц.).

¹² Вместо «Несмотря ∞ пристальнее» было: По тому, как она подошла к нему, улыбнулась, как он с тех пор, как она вошла, обращался только к ней, видно было, что между ними было чувство сильнее обыкновенной приязни.

¹³ Вместо «Все стали ∞ наконец» было: Наконец, в то время как пошли обедать

¹⁴ Далее начато: а мы слышали

¹⁵ Далее начато: за обедом читала

¹⁶ Становится баснословно опасно говорить по-французски на улицах: (франц.).

¹⁷ Далее начато: а) с удовольствием; б) Ну что, Наташа?

¹⁸ Далее начато: так себе Много очень уж

¹⁹ Далее начато: вы пойдете

— Какой я воин? Я и на лошадь не влзу, и после обеда спать нельзя... — сказал он.

— Вот я не понимаю, — заговорила вдруг горячо Наташа, вышедшая в столовую, опять краснея. — Зачем вы этим шутите? Это не шутка. Ведь я знаю, что вы первый всем пожертвуете, зачем вы шутите? Я вас никак не понимаю.

²⁰Регге улыбнулся и, подумав немножко и ласково внимательно поглядев на Наташу, сказал:

— Да я и сам не понимаю! Я не знаю, я так далек от военных вкусов, и мне кажется, так легко человеку, разумному существу, обойтись без войны...

— Нет, пожалуйста, не шутите так, — сказала Наташа, ласково улыбаясь Регге, и села за стол, но есть не хотела.

— Вот патриотка-то. А? — сказал старый граф.

Графиня только покачала головой.

После обеда подали кофей. Граф уселся покойно в кресла и с улыбкой на лице попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать: *«Неприятель вступил в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество»* ²¹.

Несколько раз граф прерывал чтение и просил повторить. Когда прочли о знаменитом дворянстве, граф проговорил:

— Так, так.

Наташа во время чтения сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Регге, отыскивая на их лицах выражения того чувства, которое было в ней ²².

— Да, еще бы, мы все отдадим всё, все пойдем, — закричал граф, когда кончилось чтение. — Как же, очень испугались!

Наташа неожиданно вскочила и, обняв отца, стала целовать.

— Что же это такое? Какая прелесть этот папá! — сказала она с прежней своей живостью.

Этот восторг Наташи оживил еще более графа. Он сам, надев очки, прочел еще раз воззвание, несколько прерывался от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью ²³.

Едва только граф кончил, как Петя, еще прежде вставший и махавший сам для себя сжатыми кулаками, подошел к отцу и весь красный, но ²⁴ твердым, хотя то грубым, то тонким голосом сказал ²⁵:

— Ну, теперь, папенька, я решительно скажу — маменька тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...

Графиня только с ужасом пожалала плечами и ничего не сказала, но граф в ту же минуту оправился от волнения и тотчас же насмешливо обратился к Пете ²⁶:

— Ну, ну, — сказал он. — Глупости-то оставь.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, что все равно я не могу ничему учиться. и

²⁰ Перед этим начато: — Да я и сам не

²¹ В автографе оставлено место для дальнейшего текста воззвания.

²² Вместо «Наташа во время ∞ в ней» было: Регге во время чтения поглядывал на старого графа, на Наташу и Петю, которые трое сильнее других волновались, и чувствовал тоже какое-то новое для него душевное волнение. — Отлично, превосходно.

²³ Вместо «прерывался ∞ солью» было: прерывался от слез и с бумагой в руке ушел к себе в кабинет, где он имел обыкновение отдыхать после обеда. — Приходи покурить, Петр Кирилыч, — сказал он.

²⁴ Далее начато: дрожащим

²⁵ Далее начато: что он

²⁶ Далее начато: — Вотá! — сказал он.

теперь, когда...— Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кирилыч скажет, и Наташа скажет.

— Я тебе говорю — вздор. И то сердце заболело за одного, а тут ребенок, молоко не обсохло... Ну, ну, я тебе говорю.— И граф, взяв с собой бумаги, вероятно чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кирилыч, что ж, пойдем покурить.

Безухов встал²⁷, задумчиво покачивая головой. Петя выбежал за ним и, схватив за руку, шепотом проговорил:

— Петр Кирилыч, голубчик, уговорите, ради Христа²⁸.

Пете было решительно отказано. Он ушел один в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливым и мрачным, с заплаканными глазами.

После чаю, как обыкновенно, когда Риегге оставался вечер у Ростовых, он составил с Ириной Яковлевной и доктором партию графини. Риегге ездил к Ростовым для Наташи, но очень редко бывал <наедине> с нею и говорил с нею отдельно. Ему нужно было только для того, чтобы ему было радостно и покойно, чувствовать ее присутствие, смотреть на нее, слушать ее. И она знала и всегда бывала там же, где он, когда он бывал у них. Ей самой было приятнее всего в его присутствии. Он только один²⁹ не тяжело, а, напротив, утешительно напоминал ей о том мрачном времени. После игры Риегге остался у стола, рисуя на нем фигуры³⁰. Надо было уезжать. И как всегда, именно когда надо было уезжать, Риегге чувствовал, как ему хорошо было в этом доме. Наташа и Соня подошли к нему и сели у стола.

— Что это вы рисуете?

Риегге не отвечал.

— Однако,— сказал он Наташе,— вы не на шутку заняты войной, я этому рад.

Наташа покраснела. Она поняла, что Риегге рад ее увлечением, потому что увлечение это заслонит ее горе.

— Нет,— отвечая на ее мысль, сказал Риегге,— я люблю наблюдать, как женщины обращаются с мужскими вопросами, у них все выходит ясно и просто.

— Да и что ж может быть неясно, граф,— сказала Наташа оживленно.— Нынче, слушая молитву, мне так все ясно было. Надо только смириться, покориться друг другу и ничего не жалеть, и все будет хорошо.

— А вот вы жалеете же Петю.

— Нет, не жалею. Я бы его ни за что не послала, но ни за что бы не удерживала.

— Жалко, что я не Петя, а то меня вы посылаете,— сказал Риегге.

— Вас разумеется. Да вы и пойдете.

— Ни за что,— отвечал Риегге и, увидав недоверчиво-добрую улыбку Наташи, продолжал:— Удивляюсь, за что вы обо мне такого

²⁷ «Встал» написано поверх слова «вышел».

²⁸ Далее было: Вечером Риегге по обыкновению сидел с Наташей и Соней в диванной. Наташа с одушевлением, которого давно не было в ней, рассказывала ему свою мысль о том, как надо всем соединиться любовью, для того чтобы прогнать неприятеля, о том, как бы она распорядилась, ежели бы она была государь, спрашивала Риегг'a о том, как думают все, выиграют ли теперь сражение.

²⁹ Далее начато: без тяжелых воспоминаний

³⁰ Далее начато: Наташа с Соней

хорошего мнения,— сказал он³¹.— По-вашему, я могу все хорошо сделать и все знаю.

— Да, да, все³². А теперь самое главное — защита отечества.— Опять слово «отечество» задержало Наташу, и она поторопилась оправдаться в употреблении этого слова:— Право, я сама не знаю отчего, но я день и ночь думаю, что с нами будет, и я ни за что, ни за что не покорюсь Наполеону.

— Ни за что,— серьезно повторил ее слова.— Вы и не покоритесь,— сказал Риеге и стал писать.— А это вы знаете? — сказал он, пиша ряд цифр. Он объяснил, что все цифры имеют значение букв и что по этому численнию написать 666 — выйдет L'empereur Napoléon и 42. И рассказал предсказание Апокалипсиса.

Наташа долго с горячечно устремленными глазами смотрела на эти цифры и поверяла.

— Да, это страшно,— говорила она,— и комета.

Наташа так была взволнована, что Риеге раскаявался даже в том, что сказал ей это.

Второй отрывок также из ранней редакции «Войны и мира» — это первый вариант рассказа о Москве перед нашествием. Немало уже здесь совпадений с завершенным текстом, но существенны отличия от него. Главное — настроение Пьера, для которого то, что он испытал во время собрания купцов и дворян с государем в Слободском дворце, сделалось «эпохой жизни», и решение его ехать к армии и «своими глазами увидеть, что такое война».

Толстой хотел было душевное состояние Пьера и в этот важный момент связать с Наташей, отметить, что «эпохой жизни» его стала наряду с испытанным в Слободском дворце и последняя встреча с Наташей. Но тотчас отменил этот замысел и сохранил только то главное, что выделяло Пьера из его круга: «то, что составляло горе и страх для большинства людей его круга... делало счастье» Пьера.

После отъезда государя из Москвы, когда прошла эта первая минута восторга, московская жизнь потекла прежним обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о этих бывших днях увлечения и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно-патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму. Старики, покрехтывая, делали распоряжения о выдаче ратников и рекрутов и о исправлении брешей, которые эти жертвования делали в их хозяйствах. И опасность от врага, и патриотические чувства, и сожаление о убитых и раненых, и жертвования, и страх приближающегося врага — все в обыденной общественной жизни теряло свое строгое и серьезное значение и получало в разговорах за бостонными столами или в кругу дам, беленькими ручками щипавших корпию, характер ничтожности и часто было предметом споров, шуток или тщеславия.

И с приближением врага и опасности³³ взгляд на свое положение не только не делался серьезнее, но еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся опасность. При приближении опасности два голоса одинаково сильно всегда говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы³⁴ человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее;

³¹ Далее начато: Вы не хотите верить, чтобы я не был

³² Далее начата реллика Пьера: — Ну а отчего?

³³ Далее начато: не только

³⁴ Далее начато: опасность

другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть и спастись от общего хода дела не во власти человека и потому лучше отвернуться от тяжелого³⁵ до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большей частью отдается 1-му голосу, в обществе, напротив, 2-му. Так было и теперь с жителями Москвы. Новости о том, что наша армия отступила еще на марш к Москве и что было еще сражение, рассказывались вперемежку с новостями о том, что княжна грузинская очень занемогла и прогнала всех докторов, а лечит ее какой-то [1 нрзб.], делающий чудеса, и что Сатиче наконец поймала жениха, а князь Петр совсем плох. Афишки графа Растопчина³⁶ о том, что ему государь поручил сделать большой шар, на котором полетят, куда захотят и по ветру и против ветра, и о том, что³⁷ он теперь здоров, что у него болел глаз, а теперь он смотрит в оба, и о том, что французы народ жидкий, что одна баба может 3 французов закинуть и т. п., и эти афишки читались и³⁸ обсуживались наравне с последними буриме П. И. Кутузова, В. Л. Пушкина и Pierr'a Безухова. Некоторым нравились эти афишки, и в клубе в угловой комнате³⁹ собирались читать их и смеялись жидким французам. Некоторые не одобряли этот тон и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона, с такой же старательностью не забыть рассказывали, что Растопчин, отправляя их на барке, сказал: «Je desire qui cette barque ne soit pas pour vous la barque de Charron»⁴⁰, рассказывали, что выслали уже из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли⁴¹ шутку Шиншина⁴², что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить 800 тысяч, что Безухов еще больше затратил на свой батальон, но что лучше всего в поступке Безухова — это то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед батальоном и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости,— сказала Жюли Друбецкая⁴³, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.

— Безухов так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique⁴⁴.

— Штраф в пользу раненых за caustique,— сказал тот, кого обвиняли.

— Другой штраф за галлицизм,— прибавил другой.

— Вы никому не делаете милости.

— Вы не делаете милости.

— За caustique виновата,— отвечала Жюли,— я плачу. За удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить, но за галлицизмы не отвечаю, у меня нет времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски.

..... 45

³⁵ Далее начато: и думать

³⁶ Далее начато: читались

³⁷ Далее начато: у него

³⁸ Далее начато: крити[ковались]

³⁹ Далее начато: читались

⁴⁰ Я хочу, чтобы эта барка не стала для вас ладьей Харона (франц.).

⁴¹ Далее начато: что

⁴² Вместо «Шиншина» было «Безухова».

⁴³ Далее начато: шиплая

⁴⁴ Злоязычным (франц.).

⁴⁵ Строка точек в автографе.

⁴⁶ Для Pièrre приезд государя, собрание в Слободском дворце, чувство, испытанное там, сделавшееся эпохой жизни ⁴⁷. То, что составляло горе и страх для большинства людей его круга, эта опасность, это расстройство обычного хода дел и угроза разорения, то-то и делало счастье Pièrre'a, освежив и переродив его. «А мне то-то и хорошо и приятно,— думал он,— что пришло время, когда надоевший мне правильный охвативший меня порядок жизни изменится, и что пришло время для меня показать, что все это вздор, пустяки и ничтожество».

Pièrre подобно Мамонову тогда же затеял выставить батальон стрелков, который должен был стоять дорожке мамоновского, и, несмотря на то, что управляющий ⁴⁸ доказывал Pièrre'у, что с его расстроенными делами он разорится этой затеей, он говорил своему управляющему: «Ах, делайте только. Разве не все равно». Чем хуже шли его дела, тем ему было приятнее. Pièrre испытывал радостное беспокойное чувство, что изменяется наконец этот ложный, но всемогущий быт, который приковывал его. Он ⁴⁹ то сидел в своем комитете, то ездил по городу, жадно узнавал новости и всеми силами души призывал скорее ту торжественную минуту, когда все рухнет и когда ему можно будет [1 нрзб.], а просто бросить не только богатство, но и всю свою жизнь, столь же ненужную, как и богатство.

Несмотря на то, что всем своим знакомым Pièrre, краснея, одно и то же говорил ⁵⁰, что он не только никогда не будет командовать своим батальоном, но что он ни за что в мире не пойдет на войну, что он и по корпуленции своей представляет слишком большую мишень и слишком неловок и тяжел, Pièrre давно уже волновался мыслью о том, чтобы поехать к армии и самому своими глазами увидеть, что такое война.

Хотя Пьер один из тех героев, образ и путь жизни которых были достаточно уяснены Толстым, и замысел в отношении Пьера не претерпел коренных изменений, тем не менее и образ его и рассказ о его жизни потребовали упорной работы. В ранней редакции произведения уже отражены события жизни Пьера, его душевные потрясения и радости, которые известны по завершеному роману, не все разработаны, некоторые конспективно изложены, другие лишь намечены. В одном из ранних конспектов военной темы 1812 года скупо сказано о Пьере: в Слободском дворце на собрании купцов и дворян он кричит «ура», в Бородине «ездит под огнем». Уяснит себе Пьер, «что такое война», не при объезде позиций с генералом Беннигсеном в канун боя, а при встрече с солдатами и в беседе с князем Андреем, которую в одной из конспективных записей Толстой назвал «философией Пьера и Андрея». Толстой вел своего героя, так же как и князя Андрея, к тому, чтобы решающую силу сражения он увидел не в противоречащих одно другому распоряжениях командующих, а в войске. «Вид войск, которые проезжал Пьер, был очень серьезен. Не было слышно ни криков, ни ругательств, ни песен». По ранней редакции Пьер во время Бородинского сражения видел на лицах войска «один и тот же отпечаток озабоченности и недовольства и упреки в том, что заехал сюда без дела этот толстый человек в белой шляпе». А на полях этой рукописи появилась запись: «Pièrre удивляет всех своей храбростью. «Куда же вы едете?» — говорит ему адъютант. А он едет под страшным огнем на передовые позиции. В нем кровь отца». Запись эта получила развитие при обработке ранней редакции. Солдаты «мысленно» приняли его в свою семью и даже дали ему прозвище по тому белому ниспускавшемуся на его живот жилету: «Наш барин, белопупый барин». «Да уж это барин — поискать», «Ах да наш барин» — так говорили о нем солдаты. Уместно вспомнить, что и князя Андрея солдаты называли «наш князь».

⁴⁶ *Перед этим начато:* После своего

⁴⁷ *Вместо «чувство ∞ жизни» было:* и его вечером посещения Ростовых сделались эпохой в его жизни.

⁴⁸ *Далее начато:* и знакомые приятели

⁴⁹ *Далее начато:* ездил по городу

⁵⁰ *Вместо «краснея, одно и то же говорил» было:* упорно говорил

В ранней редакции совсем кратко рассказано о Пьере в оставленной жителями Москве и лишь конспективно отмечено: «Риег'а взяли и повели на Девичье поле к Даву» — и совсем по-иному, чем в завершенной, повествуется о Пьере в плену. Начинается сразу в канун того дня, когда уходившие из Москвы французы собрали всех пленных и вывели их на Смоленскую дорогу. Нарисована сильно изменившаяся внешность Пьера за время пребывания в плену, его жалкое одеяние, но «в глазах была свежесть, довольство и оживленность такие, каких никогда прежде не было», и он все время «радостно поглядывал» на свои «замозоленные босые ноги». А уж затем дан краткий обзор того, что пережил Пьер за месяц плена. Тут и допрос Даву и расстрел «поджигателей» (сцена эта в ранней редакции довольно подробно), во время которого Пьер «оглядывался, тяжело дыша, и волнение его еще более усиливалось тем, что вокруг себя на лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров — всех без исключения он читал больший испуг, ужас и борьбу, чем на своем лице». Коротко изображено положение Пьера в балагане среди пленных. Так же как солдаты в Бородине, так и пленные приняли Пьера в свою семью: «невольно сделалось между всеми пленными, все, как только кому-нибудь было плохо, как только все хотели предпринять что-нибудь, что обращались к Риег'у» и он пользовался большим уважением и пленных и французов.

При обработке ранней редакции Толстой перестроил композиционно повествование о Пьере, рассказал подробно о душевном состоянии Пьера после казни «поджигателей». На полях появилась конспективная запись: «Риеге испугался до ужаса после и передумал смерть и полюбил жизнь, детей, дружбу, еду, булку». Так отдаленно намечен путь к наступающему коренному перевороту мировоззрения Пьера. В соответствии с конспективной записью появился новый текст: Пьера, потрясенного всем увиденным, французские солдаты ведут в балаган к пленным. Толстой хотел было, чтобы Пьер ощутил «новое, не испытанное им радостное умиление жизни» под впечатлением природы, еще до знакомства с товарищами по плену. «Выйдя на воздух, Пьер вдруг очнулся. Он понял, что он жив и что его ведут теперь не на казнь, а к новым товарищам. Он оглянулся вокруг себя, увидал блестящие в лучах заходящего солнца купола и кресты Новодевичьего монастыря, увидал лесистые холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в синей дали лесистый берег, почувствовал прикосновение свежего воздуха, увидал голубое небо с чешуйчатыми облаками и услышал звуки летевших домой в Кремль галок. Он в первый раз понял условность, случайность тех зол и вечность тех благ, которые окружали, и новое, не испытанное им радостное умиление жизни охватило его. «Как это я не знал прежде, как это все хорошо», — думал он. Ему вдруг захотелось и есть, и спать, и говорить. Он обратился к солдатам, спрашивая их, можно ли ему будет поесть там, куда его ведут. Ему не отвечали. Пьер понял, что ему не отвечали только оттого, что им не велено было говорить с пленным, но что эти солдаты жалели его и рады бы были помочь ему; потому что и они были такие же прекрасные и добрые, как солнце и небо. Но все эти неоценимые, вдруг открытые наслаждения были ничто в сравнении с теми бесчисленными нравственными наслаждениями, с каждым днем открывавшимися ему после дня казни». При таком решении ослаблялась роль людей, с которыми Пьеру предстояло встретиться в балагане. Весь отрывок тотчас же зачеркнут. Его заменил другой: Пьера привели в балаган «в состоянии убитости и непонимания». Тогда же была написана публикуемая впервые вставка о встрече с пленными в балагане.

⁵¹ С первого же утра ⁵² после казни Пьер почувствовал совершенно новое ощущение жизни. То чувство уныния и слабости, которые он испытал в первые дни, теперь уже не возвращалось к нему. Напротив, он все время чувствовал себя возбужденным и готовым на все, что бы ни могло случиться с ним. И это чувство не только не покидало его, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения ⁵³. «Хуже ничего не может быть того, что было

⁵¹ *Перед этим начато:* а) В первый же день поступления в балаган Пьер; б) В первое же утро

⁵² *Далее начато:* проведенного

⁵³ *Далее начато:* Это состояние возбужденности, готовности на все — нравственной подобранности еще

со мной, а двух смертей не бывать, одной не миновать»,— говорил он себе. И это чувство <возбужденности>, готовности на все, нравственной подобранности еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое вскоре по его вступлении в балаган установилось о нем между его товарищами⁵⁴. Пьер с своим знанием⁵⁵ языков, с тем уважением, которое почему-то ему оказывали французы, с своей простотой, отдававший все, что у него просили (он получал офицерские три рубля в неделю), с своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену балагана, и с своей кротостью, с своей способностью сидеть неподвижно и думать представлялся солдатам несколько таинственно героическим и высшим существом, что те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него ежель не вредны, то стеснительны, его сила, пренебрежения к удобствам жизни, рассеянность здесь, между этими людьми, давали ему положение почти героя. И он чувствовал составившийся о нем взгляд и невольно поддерживал его. Невольно сделалось так, что⁵⁶ Пьер исполнял перед французами роль депутата от пленных не только своего, но и других балаганов и что французы через Пьера передавали свои требования пленным. В случаях недоразумений Пьеру представлялось решать их. И французы как бы предполагали, что Пьер имеет влияние власти на своих пленных, а пленные — что он все может потребовать от французов.

Однажды в одном из балаганов произошла драка между пленными и французами, и Пьеру, за которым тотчас же прибежали, удалось прекратить ее. В другой раз в деле о побеге русского солдата, унесшего ружье и заряды, Пьеру удалось спасти этого солдата.

Пленные почтительно и дружелюбно обращались с Пьером, называя его Кирилыч. Французы звали его Кириль или капитан Кириль.

Много еще раз перерабатывал Толстой главы о Пьере в балагане среди пленных солдат, пока поиски не привели его к Платону Каратаеву, сыгравшему решающую роль в возрождении Пьера. Печатаение «Войны и мира» приближалось к окончанию, и, читая одну из последних корректур текста, относящегося к Пьеру, Толстой приложил к ней автограф (две страницы), на полях которого сделал запись:

«Отсутствие цели, вера. Бинобль. Рассеяние, идеальное и далеко и вблизи».

Это был своеобразный конспект главы о том, как Пьер после своего освобождения из плена, окончания войны, перенесши тяжелую болезнь, «в первый раз почувствовал радость своего освобождения и своей жизни». Толстой, можно сказать, единым дыханием написал всю главу, которая почти дословно дошла до печати.

Сказка

В архиве известного толстоведа К. С. Шохор-Троцкого, члена редакторского комитета полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (юбилейного), коллекционера, хранилась сказка, записанная рукой неизвестного и озаглавленная «Сказка Л. Н. Толстого».

К. С. Шохор-Троцкий был тесно связан с членами семьи Толстого и с кругом лиц, в свое время близких Толстому и продолжавших дело собирания, изучения, публикации его произведений и материалов, ему посвященных. Это в первую очередь П. И. Бирюков, В. Ф. Булгаков, И. И. Горбунов-Посадов, В. Г. Чертков, а также многие малоизвестные люди из окружения Толстого.

⁵⁴ Далее было: Как и всегда бывает при вступлении нового лица в <сборище>, общество сжившихся людей, в первые дни солдаты, очевидно, с разных сторон пробовали Пьера, и все эти пробы оказались успешными для Пьера.

⁵⁵ Далее начато: немецкого

⁵⁶ Далее было: когда товарищи ссорились или спорили, они за разрешением вопроса прибегали к Пьеру.

Со дня основания Музея Толстого в Москве К. С. Шохор-Троцкий работал в нем в качестве научного сотрудника, и ему принадлежит огромная роль в комплектовании музея, его библиотеки и рукописного отдела.

Я была дружна с К. С. Шохор-Троцким, и после его скоропостижной смерти в феврале 1937 года вдова Ф. И. Шохор-Троцкая просила меня помочь разобраться в архиве ученого, который решено было отдать в Библиотеку имени В. И. Ленина. Предстояло выделить материалы, которые Ф. И. Шохор-Троцкая хотела оставить семье. Среди оставленных материалов были все автографы Толстого, которые постепенно передавались в Музей Толстого вдовой и дочерью К. С. Шохор-Троцкого. В числе последних поступлений была эта сказка.

То, что она находилась среди автографов Толстого (свидетелем чего я была), позволяет с достаточной долей достоверности признать авторство Толстого.

Бабушка Толстого Пелагея Николаевна Толстая любила перед сном слушать сказки. Рассказывал их живший в доме Толстых слепой сказочник Лев Степанович. Вместе с бабушкой слушали сказки и внуки, которые по очереди ночевали в ее комнате. Младшая сестра Толстого Мария Николаевна вспоминает, что у Льва Степановича был «такой тонкий слух, что он ясно слышал, как бегают мыши, и знал, куда они бегут. Одним из лакомств для мышей в комнате бабушки было лампадное масло, которое они лизали. И вот ночью во время равномерного рассказывания сказки Лев Степанович вдруг останавливался и таким же спокойным голосом заявлял: «А вот, ваше сиятельство, мышка побежала к лампадке масло лизать» — и потом с той же равномерностью продолжал свой рассказ». Вспоминал о Льве Степановиче и сам Толстой: «Из всего, связанного с бабушкой, самое... сильное, связанное с бабушкой воспоминание — это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степанович. Лев Степанович был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я знал его), остаток старинного барства, барства деда. Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему. Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входило надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович со своими белыми глазами, в синем длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед холочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» «Да, продолжайте»... Я не слышал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видел теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампы».

Впечатление этих вечеров сохранялось настолько сильным, что много лет спустя Толстой, который, по свидетельству его сына С. Л. Толстого, редко рассказывал своим детям о своем детстве, вспоминал лишь иногда о своей бабушке, любившей засыпать, слушая сказки, и «сказочник, как Шехерезада, рассказывал монотонным певучим голосом одну сказку за другой и только прислушивался к ее дыханию. Когда она засыпала, он бесшумно уходил и на другой вечер продолжал свою сказку как раз с того места, где она заснула вчера: «И взял Аладдин свою волшебную лампу, и пошел он...» — и т. д. опять пока графиня не уснет».

По всей вероятности, в репертуаре Льва Степановича были главным образом сказки из «Тысячи и одной ночи».

Толстой, вероятно, и сам читал в детстве арабские сказки. Более чем полвека

спустя, составляя список книг, произведших на него впечатление в детские годы до четырнадцати лет, Толстой включил в него две арабские сказки — «Сорок разбойников» и «Принц Каральзаман», а также «Народные сказки» (видимо, русские).

Мать писателя была «большая мастерица рассказывать увлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа». Своему старшему сыну Николеньке она начала рассказывать сказки, когда ему еще не было двух лет, и передала ему свой талант. Да и сам Толстой, видимо, также унаследовал от матери этот талант, любил и умел рассказывать сказки. В студенческие годы в Казани Толстой был близок с семьей начальницы Родионовского института Е. Д. Загоскиной, и дети Загоскиных «с захватывающим интересом» слушали сказки девятнадцатидвадцатилетнего Толстого. О том, что в молодости Толстой любил рассказывать экспромтом фантастические сказки, известно со слов Е. А. Берс (воспоминания ее относятся к 50-м годам). С. Плаксин в воспоминаниях, относящихся к 1860 году, ко времени пребывания Толстого вместе с сестрой и ее детьми за границей, рассказывает, что Толстой любил смешить детей «своими рассказами подчас самого неправдоподобного содержания» и, отправляясь с ними на прогулку, по дороге рассказывал им сказки. «Помню я какую-то, — пишет Плаксин, — о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города». Рассказывал Толстой по вечерам «страшные и смешные» сказки своим яснополянским школьникам.

Эти, по-видимому, многочисленные сказки не дошли до нас. Только одна известна по рукописи Толстого: «Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большая», написанная для детей М. Н. Толстой (одну из дочерей ее звали Варенька) зимой 1857/58 года. В устной передаче широко известна маленькая сказка об огурцах, которая твердо удерживалась в репертуаре Толстого на протяжении всей его жизни. В письме к жене от 1 декабря 1864 года из Москвы в Ясную Поляну Толстой упоминает, что рассказывал эту сказку ее трехлетнему брату. Это известное нам первое упоминание. Позднее Толстой рассказывал ее своим детям. «Мы любили один незатейливый рассказ папá, в котором он умел придать большое разнообразие интонациями, повышениями и понижениями голоса. Это был рассказ «Про семь огурцов». Он столько раз в своей жизни рассказывал его мне и при мне другим детям, что я помню его наизусть». Так вспоминала старшая дочь Толстого Татьяна Львовна и, приведя полный текст сказки, закончила словами: «Когда папá показывает, как мальчик ест седьмой огурец, то его беззубый рот открывается до таких размеров, что страшно на него смотреть, и руками он делает вид, что с трудом в него засовывает седьмой огурец... И все мы трое, следя за ним, невольно так же, как и он, разеваем рты. И так сидим с разинутыми ртами, не спуская с него глаз». Нельзя не вспомнить при этом суждение Толстого о том, что «для общения с маленькими детьми недостаточно слова: для общения с ними нужен и жест, и интонация, и взгляд. Может быть, я ошибаюсь, но таково было всегда мое мнение и таким оно остается».

Толстой рассказывал сказки и взрослым, это были сюжеты, по характеру своему близкие к сказкам, вошедшим в цикл народных рассказов 80—90-х годов. Был у Толстого тогда замысел «написать сказку, вроде Щедрина, о том, как был царь, у которого советники были все глухие. Стал другой царь, а прежние советники ушли куда-то. Начал другой царь спрашивать, каковы были советники у прежнего царя. Кто говорит, что они были глухие, а кто — нет. Тогда царь сказал: «Кто из глухих откликнется, тем во двугривенному». Все глухие сейчас же и откликнулись».

Большой интерес представляют записанные со слов Толстого две сказки, рассказанные им в период работы на голоде в Бегичевке в 1892 году. Первая — свидетельство дочери Толстого Марии Львовны:

«— Вчера вечером папá устал и улегся на диван. Вдруг говорит: «Расскажу вам сказку» — и начинает: «Жил-был в некоем государстве...» и т. д. Да такую интересную сказку рассказал, что мы все заслушались.

— Что ж он рассказывал?

— Всего пересказать не могу. Ведь дело в том, как папá рассказывал. Тут было много волшебных приключений. Сущность же та, что красавица принцесса не находила никого, достойного ее руки. Наконец являются еще три жениха. Один из них знатен и богат, он принц, но глуп; другой умен, но небольшого роста и дурен собой; третий — статный молодец, красавец собой и умен, но он мужик. Тут кто-то помешал, и папá

прервал рассказ. Мы его упрасивали продолжать, но он отказался, говоря: «Дальше я еще не выдумал...»

Автор второй записи — В. М. Величкина, работавшая на голоде вместе с семьей Толстых:

«Раз, когда на дворе мела такая сильная метель, что не только нам волей-неволей пришлось сидеть дома, но даже и к нам никто не решался прийти, несмотря на постоянно существующую нужду, Лев Николаевич предложил рассказать сказку. Понятно, что мы все восторженно встретили его предложение. Мы сидели в большом кабинете покойного Раевского, на мягкой кожаной мебели. Лев Николаевич полулежал на маленькой диванчике. Я плохо помню эту сказку, но приблизительно он рассказал следующее. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя, как водится, была красавица дочь. Задумал царь отдать ее замуж. Отовсюду съехались цари и царевичи, принцы и королевичи, знатные рыцари и храбрые витязи свататься за красавицу царевну. Но царевна решительно отказалась выбрать себе жениха из них. «Я выйду замуж за того человека, государь,— объявила она отцу,— кто будет всем доволен».

Немедленно послал царь гонцов во все четыре стороны своего царства искать такого человека, который был бы всем доволен. И вот один гонец привел простого мужика, дровосека в рваном полушубке, который и двух слов-то сказать не умел. Другой привел древнего старика, третий восьмилетнего ребенка, а четвертый я уже забыла кого, но кого-то совсем неподходящего для царской дочери.

Как раз в эту критическую минуту нам помешали, кто-то приехал, и нужно было что-то делать.

— Ну, мы завтра будем продолжать,— заметил Лев Николаевич,— и узнаем, кого выберет себе царевна...

Но «завтра» это не состоялось, и мы никогда не узнали, кого себе выбрала царская дочь».

В обеих незавершенных сказках использован один из наиболее распространенных сюжетов: царская дочь из множества женихов выбирает простого человека, а знатные женихи терпят поражение. Мужик берет верх над баринном. Сказка, записанная В. М. Величкиной, утверждает, что не в богатстве счастье. За двадцать лет до этого Толстой написал рассказ «Царь и рубашка» для «Азбуки», используя сюжет восточной легенды: для излечения царя надо было надеть на него рубашку счастливого человека; с большим трудом удалось найти такого человека, но он был так беден, что на нем не было рубашки.

Не известно, кем и когда записана публикуемая впервые новая сказка Толстого. По стилю своему и направлению она близка приведенным фрагментам, авторство которых бесспорно принадлежит Толстому.

Жил-был богатый человек, у него были сын и дочь. Он был очень богат, но отдавал все деньги бедным и жил в небольшом домике. У него была маленькая лошадка, корова и все необходимое для семьи. Отец умер. Сын и дочь говорят: «Что же мы живем как нищие? А денег у нас есть много». И купили они четверку белых лошадей с длинными гривами до полу, чудных, сильных и быстрых. Выстроили себе чудный дом со стеклянными потолками, где была налита вода и плавали рыбы. Вот к ним раз пришла странница, они начали показывать ей все свое хозяйство, она все разглядела и сказала: «Что же, у вас все очень хорошо, а только у вас нет поющего дерева». Они спросили: «Какое поющее дерево?» «А такое, что стоит, распустив ветви, и поет на разные голоса самые чудные песни чудным голосом». Она ушла, и сразу они почувствовали тревогу, им перестали нравиться потолки стеклянные и лошади, все, что у них было, а захотелось иметь поющее дерево. Однажды распростились брат с сестрой, и пошел брат искать поющее дерево. Он совсем не знал дороги и шел наугад. Встречается на дороге старая-престарая старуха, один зуб торчал

на челюсти, рот ее пересох, и она сделала ему знак, чтобы он подал ей напиток. Он принес ей воды, и она спросила его, куда он идет. Он рассказал. Она дала ему клубочек и сказала: «Вот ты пусти этот клубочек и иди за ним, куда он покатится, он тебя приведет к горе. Когда ты начнешь подыматься на гору, тебя сзади будут звать и страшно пугать, но ты ни за что не оглядывайся, или с тобой будет горе». Он поблагодарил ее, взял клубок, пустил его перед собой и сам пошел за ним. Приходит к горе и видит — стоит много каменных столбов маленьких и больших. И слышит он сзади себя рев льва, крики людей, его зовут, но он не оглядывается, и услышал вдруг, что один кричит: «Вот какой трус, боится даже оглянуться!» Он оглянулся и превратился в каменный столб.

А сестра его ждала и ждала. И вот она ждет месяц и другой и решила собраться сама, села на лошадь и поехала. Ехала, ехала. Видит она пещеру, и в ней сидит старик старый-престарый, усы у него выросли и закрыли рот так, что он не мог ни говорить, ни есть, а брови заросли до того, что он не мог видеть. Она ему остригла усы и брови и дала ему пить. Он ее спросил, куда она идет. Она рассказала ему, что она идет искать своего брата, который пошел искать поющее дерево и пропал куда-то совсем. Он ей сказал: «Вот возьми катушку и покати ее; куда она покатится, туда ты и иди; она тебя приведет к горе, у горы увидишь много каменных столбов, это все люди и между ними твой брат. Ты подымись на гору, тебя будут звать, пугать, но ты не оглядывайся, если ты оглянешься, то пропадешь, превратишься в столб, все те столбы — это люди. На горе ты найдешь поющее дерево. Ты его возьми и носи к столбам, и они сделаются людьми».

Она поблагодарила его и пошла за катушкой, пришла к горе, и у горы стоят столбы. Она пошла смело и прямо и вдруг услышала рев львов, крики людей, ее звали и смеялись над ней; вот кто-то крикнул: «Какой трус, даже оглянуться не смеет!» Но она не оглядывалась и шла все вперед; дошла до верху и увидела маленькое деревцо, которое удивительно пело. Она взяла его, так как оно не было велико, сошла вниз, и все столбы превратились в людей и ожили, как только слышали пение дерева. Между ними ожил и ее брат. Тут она сказала всем: «По-моему, это поющее дерево — причина всех наших несчастий. Надо его изломать и бросить». Все стали возражать, что не нужно ломать такую драгоценную вещь. Но один молодой человек согласился с ней, взяв дерево и изломал его. Она его полюбила, вышла за него замуж и ушла из богатого дома брата с плавающими рыбами и дорогими вещами и стала жить, как отец, в небольшом домике, во всем помогая бедным, в мире со всеми.

К о н е ц

Публикация Э. ЗАЙДЕНШУР.

Неизвестное письмо Л. Н. Толстого и связанные с ним события

В 1977 году в архив Государственного музея Л. Н. Толстого поступило неизвестное письмо Льва Николаевича, адресованное Александру Никифоровичу Дунаеву. Само письмо без даты, но на почтовом штемпеле можно было прочитать: 8 октября 1888 года.

Человек, ради которого писатель взялся за перо, малоизвестен, ничего выдающе-

гося не совершил, и события, связанные с ним, составили в жизни Толстого вполне обыденный эпизод.

Речь идет об одном из многочисленных посетителей Ясной Поляны, молодом неизвестном провинциальном журналисте Евгении Штанделе, который, идя в августе 1888 года из Орла в Москву, по пути зашел ко Льву Николаевичу, чтобы откровенно поговорить о том, что его беспокоило. Он провел в усадьбе писателя девять часов, причем два часа гость спал на диване в кабинете Толстого. Перед уходом молодой человек попросил у радушного хозяина разрешение описать свой визит и свои впечатления, на что Лев Николаевич ответил, как он обычно отвечал всем: «Можете пис. ь, мне все равно».

Придя в Москву, 30 августа Штандель написал статью «В Ясной Поляне», которая была напечатана в московской газете «Русский курьер» 4 сентября 1888 года. Вот ее текст:

«В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(От нашего корреспондента)

От Орла я шел три дня и на четвертый день, заночевав на станции Ясенки Московско-Курской железной дороги, в седьмом часу утра достиг Ясной Поляны.

Ясная Поляна, небольшое сельцо, или, вернее, поселок, находится в Тульском уезде, в 16—17 верстах от Тулы. Здесь имение нашего писателя и мыслителя графа Льва Толстого, к которому, собственно, я шел.

Скучная и пыльная трактовая дорога осталась направо. Надо держаться влево — по проселочной тропе, чтобы добраться до сельца. Совершенным особняком стоящая маленькая церковь — первое здание сельца; затем небольшим рядом вырастают перед глазами плохенькие мужицкие хатенки. По улице пустота; только собаки лают и заступают дорогу. Встретился еще какой-то босоногий мальчишка.

— Ясная Поляна? — спросил я его.

Он испуганно метнулся с дороги и неохотно ответил:

— Поляна.

— Льва Николаевича знаешь?

— Барина-то? Знаю.

— Что ж, землю пашет?

— Теперь покончил; все переборонил аnameдни.

— Проводи-ка меня, мальчик, до графской усадьбы, а то я собак боюсь. Я тебе пятачок дам.

Мальчик остановился, подумал с минуту и соблазнился пятачком.

Мы пошли с ним, преследуемые собаками, вдоль улицы. Завернули под гору за околицу.

— Гляньте-ся, избы-то вот новые: старый барин строил. Пожар был, а он потом помогать стал. Все сам делал. А вона усадьба-то, белый дом,— то барина Кузминского; а там, за деревьями, и графский. Идите таперя.

— А ты что же?

— Мамка браниться будет! Да ништо. Собак нету; штук пятнадцать у графа, да они ученые — не тронут. Пятачок-то сулили.

Я дал пятачок и пошел по спуску.

Панорама местности прекрасная. Со всех сторон длинными массами зеленеют леса. Сама Поляна мне кажется не чем иным, как по одну сторону лежащими полями. А то все горы да леса; зеленый колорит утомляет зрение. На небе ни одного облачка, солнце недавно взошло и не припекает, в воздухе пахнет бодрящим ароматом травы. Кое-где пролетают пестрые сороки да голуби, стрекочут кузнечики. В общем, какая-то пустота, нелюдимость. Вероятно, люди отъехали на работу. Пройдена лощина, глубокая, веющая холодом, приходится идти на гору к высокому белому дому по узенькой дорожке. Я устал — так много надо было идти, ноги отекают и еле двигаются; тело чувствует слабость, но на сердце хорошо при виде окружающей красоты природы и при известной надежде на что-то заманчивое и призрачное впереди...

Впереди... Там — светлая дорога! За мной ничего позорного не осталось позади! Идите же, ноги, скорее. И кажется, что зародись малейшее сомнение в сбыточности надежды — ноги подкосились бы, не пошли. Но они идут, следовательно, сомнения нет. Чего ж еще больше желать.

Владелец Кузминский, сосед графа Толстого, очевидно, махнул рукою на свои пажити — так заброшено, уныло выглядит его дом и простые стройки. Два-три мужика во дворе возьтятся с поломанной телегой у сарайчика апатично, неумело. Двор загрязнен, чистоты не видать и в саду и около дома. Кузминский не последователь графа, он сам по себе; землю пашут по найму ему, а он поздно встает и рано засыпает, придерживаясь традиций доброго старого времени, вне философского воззрения на жизнь и труд, но с несомненною верою в то, что все идет как надо. Усадьба слилась с соседнею графскою. Густая аллея деревьев, словно галерея, соединяет их между собою; по ней я пошел, оглядываясь постоянно из боязни собак. Встретилась баба — нечесаная, некрасивая.

— Это дом графский?

— Он самый. Идите. Лев Николаевич на работу уходит.

Среди ольхи, среди одуряющего запаха цветов показался дом, окруженный вековыми липами, бросающими темную тень на красивый фасад и цветники. Каких только нет здесь цветов: георгины, левкой, настурции, флокс, резеда перепутались в живописную сумятицу; редко придется где еще видеть такую массу и такую красивую гору цветов.

Но и здесь беспорядок; печать забвения прилегла плотно и к дому и к цветникам. За цветами и громадным парком, как видно, ухаживали предки; настоящие хозяева только не уничтожают их.

Я вошел в настежь открытые двери и попал в прихожую. Просунув голову в дверь другой комнаты, стоял и что-то говорил крестьянин в синей рубахе, портах и стоптанных сапогах. Мой кашель заставил его обернуться.

В крестьянине невозможно было не узнать великого писателя, пресыщенного славой, Льва Толстого, автора «Войны и мира», «Детства» и «Отрочества» и создателя новой философской теории жизни и труда.

Я узнал Льва Николаевича по портрету Репина. Пахарь стоял передо мною во всей простоте: добродушное лицо, ласкающий спокойный взгляд, немного сторбленая, но все еще высокая фигура.

— Лев Николаевич, извините, что я...

— Ах оставьте, — заговорил он быстро, — здравствуйте, здравствуйте! Павел Иванович, я сейчас! — крикнул он в дверь. — Пройдемте сюда.

Лев Николаевич скоро пошел с крыльца, надевая по дороге старенькое, плохое пальтишко, к миниатюрной лавочке под липами.

— Ну, садитесь. Рассказывайте свою повесть. Как зашли сюда?

Задача упростилась. Неловкую сцену рекомендации граф совершенно замял, и мне оставалось говорить о путешествии и о себе, что, конечно, не составляло труда. Боялся я именно тех минут, которые всегда следуют за первым знакомством.

Что нужно было говорить не мудрствуя лукаво, я сказал графу, и он слушал внимательно, сочувственно, не спуская с меня своих ласкающих глаз. С ним мне так хорошо стало.

Я говорил все Льву Николаевичу, беседуя откровенною исповедью, и он все слушал, изредка вставляя свои замечания.

— Как же пешком-то дошли, небось ноги болят?

— Болят, Лев Николаевич, но что же делать?

— Да. И рубль только у вас? И ничего нет.

— *Omnia mea mecum porto* ¹.

— По-латыни знаете. Говорите проще. Зачем же в Москву идете?

— Работать, Лев Николаевич.

¹ Все свое ношу с собой (лат.).

— Там трудно искать. Таких, как вы, там много, очень много, им же имя легион. Вакансий нет, а желающих много. Идите назад в О. и лучше бросьте свою профессию...

— И возвратиться назад? — спросил я, усиливая ударением значение слова, зная, что Лев Николаевич намекает на свою обстановку, начинает говорить о себе и своем культе.

— Да, именно н а з а д. Вперед — мрак. Цивилизация в том виде, как она идет, — мрак. Назад надо. Работа же всегда, но не бесцельная и корыстная. Цель жизни такая: давайте как можно больше и как можно меньше берите. Тогда спокойствие и довольство; иначе нет.

К нам подошел молодой человек с рыжей окладистой бородой, одетый так же, как и Лев Николаевич.

— Мой приятель Павел Иванович Гайдуков. Служит при «Посреднике».

Мы подали друг другу руки. Павел Иванович очень мне понравился.

— Идемте работать. Вы отдохните с дороги-то.

— О нет. Я тоже пойду, если можно.

— Что же, идемте...

Втроем мы отправились снова по спуску к тем избам, которые мне показывал босоногий мальчуган.

Лев Николаевич заговорил ровным тихим голосом. Речь полилась свободно, в оборотах простота и поучительность проповедника.

— Ограничьте ваши потребности. Доведите их до минимума. Давайте много и берите мало — так надо. Это хорошо, что вы идете пешком, с рублем. Но не все. Костюм у вас хороший. Вам стыдно идти, на вас внимание всех. Зачем вы его надели?

— Он один у меня остался, потому что его никто не купил.

— Да. Рублей тридцать ведь он стоит. На эти деньги можно полдесятины купить — и живите, кормитесь, работайте. А вы от старой профессии такой же ищете, лишь бы денег побольше. Нехорошо. К чему деньги? Деньги — исполнительный лист на бедняка. Когда я был помещиком и у меня были свои Петрушки и Ванюшки, я мог приказать им делать то-то и то-то, иначе наказание. Теперь нет крепостных, а есть деньги, за которые я также могу приказать и Ванюшке и Петрушке. Тогда я п р и к а з ы в а л только, теперь плачу деньги и приказываю — не все ли равно?.. Когда же потребности ваши станут ограничены лишь вами в смысле труда, тогда не нужны деньги, которыми платят ненужным извозчикам, на разврат и др., из-за них создают не труд, а профессию с корыстью. Служить богу и мамоне в одно и то же время нельзя. Служить слову и делу хорошо, но делать из слова профессию позорно. Если вы хотите проводить ваши мысли — проводите, хотя бы и через печать; это полезно; отчего другим и не знать ваших мыслей? Но делать из этого профессию позорно. Точно так же позорно делать профессию из органа деторождения, как это практикуют проститутки, позорно, хотя акт деторождения необходим.

Дошли и до избы, которую Лев Николаевич начал строить для бедной бабы-вдовы. Изба маленькая, но уютная. Лев Николаевич в это утро принялся за крышу по системе красноуфимской сельскохозяйственной школы, соломенно-ковровую. На работу приходит обыкновенно он, его дочь, Гайдуков и некая Марья Александровна. Она из крестьянок и, очевидно, пользуется расположением Льва Николаевича. Здесь же обыкновенно, как мне передавали, вертится пятилетний Васька, также принимающий деятельное участие в работе, исполняя нетяжелые поручения. Около хаты вырыта яма и уложены сплетенные соломенные постилки под гнетом пней. Лев Николаевич и Павел Иванович стали месить глину в большой кадушке, куда на лопате подавала ее Марья Александровна. Дочь Льва Николаевича занялась пряжею ниток для перевязи. Поочередно они с ведрами спускались к колодезю в лошину зачерпнуть воды.

Работа кипела. Все, по-видимому, чувствовали себя очень хорошо. Возникали споры на темы преимущественно домашних потребностей. В изложении проглядывала вульгарность, слышались злые насмешки над существующими порядками, а однажды граф сравнил мешание глины с одним известным обрядом... И дочь, и Павел Иванович, и Марья Александровна говорили чересчур свободно, и не все выходило естественно. Лев Николаевич, несмотря на мою полную готовность носить им воду, отстранял меня,

иронически называя «молодым человеком», так как постоянно говорил: «Молодой человек, как вас зовут?» Сначала я несколько конфузился, но потом сознался, что мне совестно быть перед ними в визитке и клетчатых брюках.

Прошла какая-то старуха. Лев Николаевич первым поздоровался с нею:

— Здравствуй, бабушка!

— Здорово живешь, Лев Николаевич, работаешь?

— Помаленьку работаем...

Подошел мужик. Граф разговорился с ним, продолжая месить глину, и я опять вызвался принести воды.

— Ну несите!

— Барчук, штаны подверните, а то замочите! — сострил крестьянин.

Все засмеялись, и хохот еще более усилился, когда мне пришлось засучивать штаны у грязного колодца. Несомненно и Лев Николаевич и другие следили, как это я воду буду доставать.

Конечно, я и достал и донес ведро. За следующим ведром отправился Лев Николаевич, а Гайдуков обратил мое внимание на то, что изба построена из земли с рубленной соломой.

— Отчего же не все новые так построены?

— А новость еще, не понимают. Нововведение Льва Николаевича. А между тем земляная изба удобна, главное — дешевле. Это мы вдове делаем. Крыша соломенно-ковровая... Тоже новшество.

— Мне приходилось встречать в печати статьи против таких крыш. Говорят, промокают!

— Что такое? — спросил Лев Николаевич, возвратившись с водой.

Я объяснил.

— Быть может. Но ведь пока мы пробуем. А глина-то, господа, хорошо растворилась, роскошь. Больше и воды не надо. Давайте в яму лить.

Работали еще с час. Солнце уже довольно высоко стояло над нами. Лев Николаевич отирал пот с загорелой шеи. Борода его седыми клочьями слипалась от влаги. Он заговорил с работающим возле на крыше соседом. Тот стал жаловаться, что не нашел подходящих стропил.

— Погоди, как-нибудь я по лесу пройду, тогда вырублю тебе! — утешил его граф и позвал нас домой завтракать.

— Дело одно сделали, отдохнуть надо. Идемте...

Около дома Кузминского к нам подошел какой-то старичок в коротеньком пиджачке и узеньких панталонах. Павел Иванович сказал мне, что это художник Ге, гостящий у Льва Николаевича.

Чай был приготовлен в большой зале наверху дочерью графа, опередившего нас в дороге. Пузатый тульский самовар пыхтел на столе, чашки из чистого фарфора; белый хлеб, сливки, масло — всего вволю. Впрочем, чай пили я и Марья Александровна. Хозяин, Ге и Павел Иванович спросили себе кофе. Лев Николаевич сам нарезал мне хлеба и вообще наблюдал за тем, чтобы я больше пил и ел.

— Вы с дороги, — говорил он, — не стесняйтесь. Сливки берите, хлеба... Оканчиваете распятие? — спросил Лев Николаевич у художника.

— Долго еще.

— Вот вам прекрасный сюжет для картины, как вы с Васькой на крышу залезли.

— Васька бедовый мальчик.

— Умный, еще бы. Сегодня про пилу, что я забыл, бабка сказывала, — так он нашел ее, выгатадил, на, говорит, дедушка, твою пилу; не забудет.

Художник обратился ко мне, заметив папироску:

— Зачем вы курите?

Что было отвечать...

— Я кинул. Вот и Лев Николаевич пятьдесят лет курил, а бросил. И не трудно вовсе. Курить скверно.

Лев Николаевич заговорил:

— Табак сумасшествие на человека наводит. Много говорит в это время человек, но неудачно. Затем, курение — праздность. То вас лень охватывает, а как закурите, кажется, что дело делаете. Маскируетесь. Но все не так гадко, как то, если кто курит в присутствии детей и слабогрудых. Это подло. Какое право вы имеете наносить им вред? Ведь не делаю я гадостей за общим столом, не забьет здесь никто в барабан... А курить почему можно?

— Вы не пьете?

Я сказал нет.

— Так поступите в наше общество трезвости.

Не согласиться было нельзя, сочувствуя идее.

— Много ли у вас членов?

— Теперь тысяча. Впрочем, за пятьсот поручился один сектант-старобрядец.

Лев Николаевич рассказал мне главные основания устава общества, возникшего в их кружке. Они имеют постоянные сношения с трезвенным швейцарским союзом, причем отсюда же взяты и главнейшие основания их общества. Граф Толстой особое значение придает пункту устава, по которому члену воспрещается подавать кому бы то ни было водку в своем доме. Надежда на то, что число членов увеличится, у Льва Николаевича большая. Он полагает, что дело это, несомненно полезное, быстро расширится.

— Хлебы замесили? — спросила у Марьи Львовны Марья Александровна.

— Замесила.

— Черные?

— Да, конечно.

— А вот мы еще и мяса не едим, — обратилась ко мне Марья Александровна, вообще, как видно, охотница поговорить и популяризировать образ своей жизни.

Последнее мне казалось настолько заметным, что я заподозрил ее в неискренности убеждений. Странно как-то видеть крестьянку, выросшую в деревне и только понаслышке говорящую решительно обо всем. Эта энциклопедичность как-то не шла к ее обстановке и была отчасти неприятна. Когда Лев Николаевич сказал ей, что я работал в газетах, она с апломбом заявила: «В ретигатуре?» (слышав ранее о литературе). Так и теперь она развязно заговорила о том, что такое вегетарианцы.

На их счет Лев Николаевич не распространялся.

— Собственно говоря, крестьяне наши давно вегетарианцы. Мясо они редко едят. А если бы ели столько же, как и господа, вообще если бы все население земного шара так ело, то скота не стало бы в один день. Об этом говорил Бекетов, и справедливо. Неужели вам не жалко скот убивать? Положим, теленка зарезать...

— А растения вы убиваете, уничтожаете?

— Да, убиваю. Но дойдем до того, что и их станет жалко уничтожать. Теленка мне жаль зарезать, а блоху задавить, комара — нет. Только вы, ради бога, Марья Александровна, ешьте мясо, вам оно нужно, вы больные... Дайте-ка мне кофею!

— А нету, Лев Николаевич.

— Тогда мы сами сварим.

В разговор вмешался Павел Иванович:

— Скупость какая, право.

— Что делать? Все так. Жена, значит, глава семьи, о нас забыли и сами собой забавляются. Всеми делами управляет.

Я убежден, что Лев Николаевич произнес эти слова с душевной мукой, с сожалением, что в семье образовался раскол и семья не следует его гуманному учению.

Наконец принесли еще кофе, выпили его, и сейчас же Лев Николаевич стал собираться на работу к хате бедной вдовы. Я идти не мог, так как сильно болели ноги. Лев Николаевич любезно предоставил мне свой кабинет, сказав, что могу спокойно там поспать, а сам ушел со своими сотрудниками.

Как убитый проспал я часа два и, проснувшись, стал осматривать кабинет корифея русской литературы, прославленного художника-писателя, в настоящее время как бы недовольного своей славой и ищущего новой жизни.

Какой беспорядок здесь! Кто не видел кабинета Льва Николаевича, тот нелегко

поверит действительной его обстановке. Кабинет делится на две половины, разьединенные дощатой перегородкой.

Чего только тут нет. Шкафы буквально завалены дорогими книгами в роскошных переплетах, русскими, французскими, немецкими, английскими наиболее выдающихся, популярных авторов; сочинения научные преобладают. Письменный стол завален беспорядочно брошенными бумагами. Кушетки кожаные, грубой работы, кресла простые. По стенам портреты родных и известных людей. Большая фотография — снимок Гончарова, Тургенева, Дружинина, Григоровича с их подписями; олени рога, на стене чей-то бюст в ее углублении. На перегородке двое мужичьих грабель, за спинкой стула пара изношенных лаптей, на окне все сапожничьи принадлежности и множество деревянных колодок, крестьянские рубахи. Стол в углу завален изданиями фирмы «Посредник». Пыль слоем легла на все эти вещи, влетая в раскрытые окна и двери. Потолок усеян мухами, которых никто не выгоняет. Впечатление от хаоса получается грустное. По крайней мере, я чувствовал себя нехорошо и вышел в сад. В стороне раздавались смех и оживленный говор. Там под липами разместились веселая компания людей: графиня Толстая, дети и посторонние гости. И костюмы и темы разговора были иные.

Блестящие от солнца, как золотые, высились липы и бесконечной вереницей тянулись книзу, где спокойно лежит графский пруд. В траве и заросшем кустарнике хрюкают одичалые свиньи, на пруду крикают утки. Не дует ветер, да ему, кажется, и не пробраться в эту необъятную рощу, которой конца не видно, которой другую трудно подыскать по красоте. В ней я пробыл до обеда, когда послышался мерный звон колокола.

Лев Николаевич удивился, что я так мало спал.

Обед прошел скучнее; они, интеллигенты-работники, заморились. Мясо не подавалось. Простой борщ, каша гречневая, молоко и квас с черным хлебом. Мне, впрочем, Павел Иванович принес кусок мяса с картофелем, чему я был, откровенно говоря, рад.

После обеда Лев Николаевич заговорил о литературе вообще и в частности о газетах.

Невысокого он о них мнения. Он рассказал мне о том, как к нему недавно обратился за помощью бывший редактор одного большого журнала Б., сидящий теперь в тюрьме за шантаж и подделку векселей. Граф не может найти для него помощи и ограничился советом «идти назад».

— Таких много, — сказал Лев Николаевич. — В прежнее время в литературе хотя что-нибудь можно было найти, в настоящее время ровно ничего. Тогда была любовь, теперь профессия. Лучше же на самом деле сапоги шить — полезнее. Из тысячи пар сапог может не годиться одна пара, из тысячи сочинений одно годиться, а 999 нет. В деле писания теперь нажива, да и не только теперь. «Вестник Европы», «Русскую мысль» и «Русский вестник» еще выписывают, чтобы после обеда почитать и бросить... Кто руководитель теперь печатного дела? — корыстолюбие. Если вы хотите писать, то пишите по вдохновению, нет вдохновения — не пишите. Что может выйти хорошего из человека, создающего из святого дела профессию? Возьмите гениев... Возьмите Бетховена в музыке и других — на что они, если они ремесленники? Что мне его симфонии, они не нужны. Не тот гений и талант, который за деньги пишет, сочиняет симфонии, а только тот, кому хочется писать и сочинять. Мальчишка забирается на чердак и играет на скрипке, а после его хозяин бьет. Но снова лезет мальчишка, уже зная о порке. Это ничего, и он делает хорошо. Возвратимся к газетам. Что дают они? Какое нам дело, развелась ли с Миланом Наталия или сколько шаров получил Буланже. А об этом «шуте гороховом» уже написано столько, что всего в залу не вместишь, если собрат. Не лучше разве ограничиться отделом торговли, справочным отделом или рецептами, как огурцы солить? Это полезно и не противно.

Заканчивая обличительную речь против газет, Лев Николаевич сказал:

— Быть может, и я еще сяду писать, все брошу, решительно все и писать буду, но это мне тяжело. Когда есть одно желание — надо писать. Я жду — оно у меня явится. Возьмите, что написано у нас за последнее время. Что написано, то гадко. Возьмите же лучше прочитайте «Злую невестку» крестьянина Животова. В нем я вижу талант. Он пресно, бесхитростно пишет и именно от любви.

На эту тему мы говорили очень долго. Лев Николаевич воодушевился и говорил охотно, красноречиво.

— Еще говорю вам — не идите в Москву.

Это были почти последние его слова. Он молчал все время до моего ухода, и когда я, пожал его мозолистую закрученную руку, сказал «прощайте», он несколько задержал меня, долго глядел тем же ласкающим теплым взором и произнес:

— Прощайте! Пишите, если что надо будет. Я всегда готов... А лучше назад идите... назад... — И отвернулся.

Я ушел с тоскою на сердце. Дорога предстояла длинная.

Москва, 30 августа 1888 г.

Евгений Штандель».

Петербургская газета «Новое время» в номере от 6 сентября 1888 года перепечатала со значительными сокращениями статью Штанделя, выбрав из нее цитаты о взаимоотношениях в семье Толстых. Опубликование сведений, касающихся внутрисемейного разлада, вызвало возмущение родных Толстого и людей, близких его дому. В частности, свояк Льва Николаевича Александр Михайлович Кузминский, женатый на Татьяне Андреевне, младшей сестре Софьи Андреевны Толстой, и бывший председателем петербургского окружного суда, которого Штандель упоминал в своей статье, в тот же день 6 сентября пишет жене, находившейся в то время в Ясной Поляне: «Нынешний день полон неприятностей: утром прочел в «Новом времени» глупейшую статью одного из темных посетителей, которую прилагаю; она рассердила меня своею пошлостью и наглостью. Кони догнал меня на улице, чтобы выразить свое негодование».

В ответном письме от 10 сентября 1888 года Т. А. Кузминская говорит: «Статью мы читали в «Русском курьере», написал орловский газетчик так глупо, неверно, нагнал пропасть, про тебя написал: «Владелец Кузминский загустил свои постройки, ложится спать рано и встает поздно, помня *«le bon vieux temps»*...»².

И дальше идут слова, очень важные для понимания характера Льва Николаевича и его реакции на эту статью: «И Левочка так хохотал, и что бы после ни делали, а он все приговаривал: «А Кузминский все спит», так что он под конец и нас рассмешил и мы перестали сердиться на этого олуха-газетчика, да и не стоит. Знакомые все негодуют на эту статью, а на неизвестных не стоит обращать внимания».

А. М. Кузминский, однако, не мог успокоиться и в следующем письме от 19 сентября 1888 года осудил жену за то, что она под влиянием Льва Николаевича перестала сердиться на Штанделя: «Как вы благодушно, однако, относитесь к орловскому газетчику; что касается меня лично, то я очень смеялся над его враньем, но относительно Толстых упоминание о разладе — верх неприличия. Все считая своим долгом выражать мне свое негодование по этому поводу и надоели порядочно».

Но Евгений Штандель был осужден не только в частной переписке. В «Новом времени» от 28 октября того же года выступил известный писатель Н. С. Лесков со статьей «О хождении Штанделя по Ясной Поляне», эпиграфом к которой он взял слова из Соборного приговора 1678 года: «В сказании сем не мало, но много писано неправды, и того ради аще бы отчасти нечто было и праведно писано, ни в чесом же ему яти веру подобает».

Дело в том, что один из близких друзей Льва Николаевича, его первый биограф и один из основателей издательства «Посредник» Павел Иванович Бирюков (которого Штандель назвал Гайдуков), послал Лескову письмо. На основании этой корреспонденции последний в своей статье и обвинил Штанделя в том, что он допустил девять фактических ошибок, начиная с того, что Ясная Поляна расположена не в Тульском, а в Крапивенском уезде, и кончая тем, что «при доме есть только небольшой цветник, как бывает при подгородных петербургских дачах, но никакой «горы цветов» нет».

Возмущенный Евгений Штандель в «Русском курьере» от 31 октября 1888 года пишет в ответ на статью Н. С. Лескова «Вынужденное объяснение», эпиграфом для которого он берет: «И рече Господь ко мне: что ты видишь Иеремие; и рекох:

² Доброе старое время (франц.).

смокви, смокви добрые добры зело; и злии зли зело, их же ясти не возможно за худость их».

«Я писал, нисколько не мудрствуя лукаво, писал только то, что видел, что пережил, — говорит Штандель в начале статьи. — Тем не менее мои слова показали некоторым газетам нескромными и оскорбительными для графа Толстого (что, впрочем, не помешало им не только цитировать мой фельетон, но и прямо-таки целиком перепечатывать). В то же время ни одна газета не объяснила, в чем, собственно, заключается оскорбление. «Не писать о графе» — вот к чему сводились мнения одних; «если писать, то только прекрасное» — выражалось в других мнениях».

Не уступая известному писателю в язвительности, Штандель показывает, что обвинения в неточностях хотя и обоснованны, но несущественны. Однако одно из возражений Штанделя заслуживает комментария. Это его характеристика Марьи Александровны Шмидт. Вот что пишет о ней Штандель:

«...«Марья Александровна, говорит г. Лесков, не из крестьянок... она дворянка, дочь доктора, получившая очень хорошее образование и занимавшая прежде должность классной дамы в одном известном воспитательном (!) заведении в Москве. Люди, и мевшие счастье знать эту просвещенную, добрую и благородную женщину, уважают ее и почитают за истинную христианку».

Я имел счастье видеть Марью Александровну, имел счастье говорить с ней, но... не принял ее за то, чем она должна быть по словам г. Лескова... я не мог по лицу угадать звания Марьи Александровны, а образованною она не выглядела ни обращением, ни разговорами. Не мог же я, слыша вместо «чего» «чаво», вместо «мешать» «мяшать», думать, что то говорила известная московская воспитательница. Не мог же я, слыша, как при первенствующем участии Марьи Александровны глумятся над тем, что глумлению не подлежит, вообразить, что это вполне интеллигентка и «истинная христианка»! Да будь у Марьи Александровны вкрест по платью вышито, что она образованная дворянка, бывшая воспитательница детей, и тогда я ни за что не поверил бы в это, слыша «чаво», циничные речи о «ретиратуре»...»

Здесь мнение Штанделя не совпадает не только с мнением Н. С. Лескова, но и с мнением самого Льва Николаевича, знавшего Марью Александровну не несколько часов, как Штандель, а несколько лет. Вот что пишет Толстой в дневнике от 18 февраля 1909 года: «Не знал и не знаю ни одной женщины духовно выше Марьи Александровны. Она так высока, что уже не ценишь ее. Кажется, так и должно быть и не может быть иначе».

В ответ на «Вынужденное объяснение» Евгения Штанделя Н. С. Лесков в газете «Новое время» от 6 ноября 1888 года публикует еще одно критическое письмо о «десятом грехе недостовверного Штанделя», обвиняя его в «крайней сомнительности всего повествования».

Очень интересна реакция самого Льва Николаевича на эти выступления Н. С. Лескова в его защиту. В письме от 12 ноября 1888 года М. А. Кузминская писала своей матери Татьяне Андреевне:

«Насчет перебранки Лескова с Штанделем дядя Ляля говорит, что ему это напоминает анекдот о двух кучерах и двух баринах. Едут два кучера один другому навстречу, и один кучер захлестнул барина другого кучера, а другой кучер говорит: «Как ты смеешь хлестать моего барина?» — и хлестнул барина первого кучера, и т. д. Так папа с дядей Лялей — два барина, а Лесков с Штанделем — кучера».

Судя по дальнейшим событиям, П. И. Бирюков послал письма по поводу своего мнения о статье Штанделя не только Н. С. Лескову, но и другим своим знакомым, в частности и Александру Никифоровичу Дунаеву. Для того чтобы понять характер участия А. Н. Дунаева в этой истории, нужно знать, кто был А. Н. Дунаев и его отношение к Льву Николаевичу.

Александр Никифорович Дунаев (1850—1920) был сыном владельца табачной фабрики в Москве, а после смерти родителей стал вместе со своими братьями владельцем фирмы «М. Р. Дунаева с сыновьями». В эти годы он был гильдейским старостой купцов первой гильдии, гласным Московской городской думы, выборным в купеческую управу, членом коммерческого суда, выборным Московского биржевого общества, директором Московского общества охоты, членом Общества размножения охотничь-

их и промысловых животных и правильной охоты. Когда табачная фабрика сторела, А. Н. Дунаев в 1886 году занял должность директора Московского торгового банка, где и проработал до национализации этого банка в 1918 году. Одновременно он в течение тридцати шести лет, а его жена Екатерина Адольфовна в течение тридцати трех лет, вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, были попечителями соответственно мужского и женского городских начальных училищ.

В 1888 году шурин А. Н. Дунаева инженер-капитан Николай Адольфович Люри за участие в польском революционном движении был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Это событие резко обострило назревавший душевный кризис, вызванный противоречиями между взглядами А. Н. Дунаева на жизнь и реальной жизнью. Позже в письмах Л. Н. Толстому от 6 февраля 1890 и от 1891 годов А. Н. Дунаев напишет о мучавших его противоречиях: «А жизнь уходит и уходит, дети растут, видишь, как портятся, и сознаешь, что отдаешь свое тело на то, что им не нужно, на квартиру с драпировками, на мягкие постели, на кровавые ростбифы, на гимназии, на сытую тунядную жизнь, и не умеешь, и не знаешь, как дать то, что едино нужно» (ГМТ³).

А. Н. Дунаев проводил «страшные и бессонные ночи с пистолетом под подушкой» и, вися над пропастью на тоненьком волоске, был готов на то, «чтобы не мучаться страхом упасть в черную пропасть, лучше сразу решиться и броситься вниз головой» (ГМТ).

В этот трудный для него период жизни А. Н. Дунаев впервые встречается с Л. Н. Толстым. Эта встреча произошла зимой 1885/86 года, и, по словам А. Н. Дунаева, двухчасовая беседа со Львом Николаевичем открыла ему глаза и из слепого сделала зрячим. В письме от 31 марта 1886 года А. Н. Дунаев, прося Льва Николаевича принять его еще раз и помочь ему разрешить сложный моральный вопрос, напоминает: «Я был уже у Вас раз, этой зимой. Хотя и мало пришлось мне слушать Вас, но и того мало я никогда не забуду как руководящих начал моей жизни» (ГМТ).

Боясь быть навязчивым и тем самым вызвать неудовольствие, А. Н. Дунаев в последующие два года не посещал Льва Николаевича и не писал ему, но эти два года он, по его словам, «не расставался» с Толстым. «...такой поток силы Вашего высшего, божеского, скажу я, пролился на меня в тот первый раз, когда слышал Ваш голос,— писал Дунаев Толстому.— Я два года был жив двумя часами и был бы жив всю жизнь, если бы даже не увидал Вас никогда более» (ГМТ).

По своей должности директора Московского торгового банка А. Н. Дунаев встречался со Львом Николаевичем при проведении финансовых операций по его счетам. Во время одной из таких деловых встреч в апреле 1888 года А. Н. Дунаев узнал, что Толстой вместе с Н. Н. Ге (сыном) намеревается отправиться пешком из Москвы в Ясную Поляну, и просил разрешения сопровождать Льва Николаевича в этом путешествии. Толстой ответил, что будет рад сообществу А. Н. Дунаева, и последний 19 апреля в Серпухове догнал Льва Николаевича и Николая Николаевича, вышедших из Москвы двумя днями раньше. В Ясную Поляну путешественники пришли 23 апреля, и А. Н. Дунаев прожил в имении Толстых до 29 апреля.

Этот пеший поход и жизнь в Ясной Поляне положили начало их дружбе, основанной на желании отказаться от избыточных материальных благ и невозможности осуществить это, не причиняя страдания близким: «...а ты не можешь ничего сделать, не насилуя другого, не заставляя его страдать более, чем он уже страдает». А. Н. Дунаев сам называет воздушными замками свои планы «уйти из этой каторги», распродать имущество, купить участок земли и жить, крестьянствуя. С 1888 года началась их более или менее регулярная переписка, продолжавшаяся двадцать один год, до 1909 года.

А. Н. Дунаев вошел в круг близких Толстому людей, и в их воспоминаниях мы находим отсылки о нем как о человеке широкообразованном, оригинальном в своих суждениях, который все читал, все знал, обо всем умел удивительно интересно рассказывать. Его современники также отмечали, что он ни о чем не умел говорить

³ Государственный музей Л. Н. Толстого. Далее: ГМТ — место хранения всех цитируемых архивных материалов.

хладнокровно и возмущался творившимися в России безобразиями и царившим беспорядком. Он был пылким защитником справедливости и громил духовенство и правительство не только дома, но и на улице. В день коронации Николая II, узнав о трагедии на Ходынке, А. Н. Дунаев вывесил на доме траурный флаг и «во весь голос кричал на улице перед толпами все то, что разрывало душу».

Довольно близким человеком стал Дунаев и для самого Льва Николаевича. Вот что записывал Л. Н. Толстой в своем дневнике об А. Н. Дунаеве: «После обеда подкинул подметки, пошел в баню с Дунаевым» (13 февраля 1889 года), «Тут же приезжали Дунаев с Алмазовым. Оставили хорошее впечатление. Особенно Дунаев» (10 января 1890 года), «Проводил милого Дунаева. И с ним легко» (3 апреля 1890 года), «Вчера приехал милый Дунаев. Привез овощи, бодрость и мускулы» (23 июля 1894 года).

В своих письмах жене Лев Николаевич так отзывался об А. Н. Дунаеве: «Дунаев очень был приятен. Он, кроме того что умный и образованный, еще и очень добрый человек; недостаток его — недостаток тонкости, не деликатности, а художественной тонкости» (29 или 30 апреля 1888 года).

А. Н. Дунаев, благодарный за ту моральную поддержку, которую ему оказал в критический для него период жизни Л. Н. Толстой, в письме от 12 октября 1890 года пишет: «Милый, милый Лев Николаевич, скажите, когда я Вам на что-нибудь буду нужен! Хоть когда-нибудь хотелось что-нибудь понести для Вас за ту ужасную тяжесть, которую Вы только поправили на плечах, потому что она нехорошо лежала, и она стала легка и радостна».

И Толстой много раз обращался к Дунаеву с самыми различными просьбами, и, судя по его письмам, Лев Николаевич делал это так же легко и просто, как он обращался к А. Ф. Кони, М. А. и С. А. Стаховичам и другим близким людям. Среди просьб Толстого были такие, как оказать денежную помощь подателю письма, направить на лечение больного, подыскать кому-нибудь работу, посетить в пересыльной тюрьме женщину, утешить и подкрепить ее, составить список отраслей наук с кратким означением их предмета, выписать определение науки и искусства, поискать некоторые сведения и материалы, нужные для «Хаджи-Мурата», и т. п.

Теперь, когда мы узнали, что собой представлял адресат, к которому обратился Лев Николаевич, можно продолжить рассказ.

А. Н. Дунаев, очевидно, прочитал статью Евгения Штанделя в «Русском курьере». У нас нет никаких документов, указывающих на то, чтобы он с 4 сентября, дня опубликования, до 22 сентября как-нибудь на нее реагировал. Но 22 сентября, то есть до появления статьи Н. С. Лескова, он написал Евгению Штанделю частное письмо, адресовав его из-за незнания адреса на редакцию «Русского курьера». Само письмо не сохранилось, но сохранился ответ Штанделя, судя по которому А. Н. Дунаев упрекает молодого газетчика в том же, в чем его публично обвинил известный писатель. Вот ответное письмо Евгения Штанделя⁴:

«Москва, 25 сент. 88 г.

Милостивый государь!

Письмо Ваше дошло ко мне 25 сент., хотя Вы поместили его 22-м. Я не всегда бываю в редакции «Курьера». Признаюсь, сначала я не хотел отвечать, но письмо Ваше причинило мне боль, которую несколько надеюсь облегчить ответом. Отвечаю Вам и Вас же прямо уличаю в неискренности: зачем Вы пишете, что не хотите осуждать меня, и затем осуждаете? Каждая строка Вашего письма дышит отрицанием формулы любви «не судите — да не судимы будете». Зачем же это? Излишне. Я нехорошо сделал, что напечатал о Л. Н., гадко сделал. А вы знаете, вы убеждены в этом? Вы слышали ответы на мои запросы Л. Н., что он сказал — «можете писать, мне все равно»? Излишни и Ваши поправки: и церковь там существ., и горы цветов, и г. Кузминский, которого мне же показывали и о котором мне же так много говорили. Не праздны о нем суждения, а правдивы. К чему затем гаерствовать моему замечанию о мужиках, о их неумелости? Я умею перо в руки взять — следовательно, я не могу отличить, хорошо ли мастер работает и мастер ли он? Бирюков, Вы говорите.

⁴ Письмо хранится в яснополянской библиотеке Л. Н. Толстого (ЯПб).

есть, а не Гайдуков. А меня знакомили именно с Гайдуковым, и я, по счастью вероятно, не пьяным был, чтобы не расслышать даже фамилии. Марья Алекс. не крестьянка — Вы это говорите. Я не обедал с ними, Вы думаете, так я, следов., и не могу знать, что они едят. Благодарю за советы, за признание во мне излишней дозы воображения.

Очевидно, Вы меня хорошо знаете. В самом деле, не знакомы ли мы? Скажите да.

Я не мог судить о людях, окружающих. А. Н.? Так ли! Ну а если эти люди своим присутствием оскверняют этого великого человека, если каждое слово их ложью дышит? Впрочем, Вы даже отрицаете в человеке способность понимания, анализа, восприимчивости. Я не скажу худого о А. Н.— он велик, они же пошлы, ничтожны. Им боли причинить невозможно.

Кончаю. Остальное, сказанное Вами, милост. гос., я оставляю без ответа не потому, чтобы ленился, а не стоит оно ответа. В письме нельзя сказать Вам то, что я чувствовал, мало места.

Не обидели Вы меня, о нет!

Не в оправдание я привожу Вам следующие соображения:

1) Раз А. Н. сказал «ему все равно» — я могу писать.

2) Раз человек внушает антипатию — я могу писать, мысли проводить...

3) Раз мне «есть нечего», я должен что-либо делать; из-за голода воруют даже, и то должно прощать.

Вряд ли Вы мне ответите; быть может, Вы рассчитывали на «Писателя» напасть.

Нет-с, Вы на голодного напали; мои желания сводятся к тому, чтобы завтра 10 к. было на весь день.

Марку в 4 к. я Вам последнюю отдал и тем отнял возможность у себя писать к маленьк. бедным сестрам.

О, если бы Вы вместо письма ко мне пришли и поглядели бы, как может на 10 к. существовать человек голодный, образов., дворянин России,— Вы не наговорили бы так много.

Простите. Я не обидеть Вас хотел.

Но я зол, т. к. голоден и не знаю, чем жить.

Ваш Евгений Штандель.

Меблир. комнаты Медведевой, № 17.
Большой Гнезниковский переулок».

Ответ Штанделя ошеломил А. Н. Дунаева. Он растерялся и не знал, что ему делать дальше: оставить молодого человека без помощи он не мог и не хотел, а помощь он видел только в том, чтобы убедить Штанделя в пользе страданий, лишений, нужды, которые якобы ведут к счастью. Штанделю же нужна была практическая помощь, обеспеченный гривенник на каждый день, а не рассуждения, и здесь полностью оправдала себя поговорка «сытый голодного не разумеет».

Не сумев сам найти выход из создавшегося положения и принять какое-нибудь решение, А. Н. Дунаев обратился за советом ко Льву Николаевичу, написав ему 3 октября 1888 года письмо (ЯПБ), к которому приложил ответное письмо Штанделя:

«Я получил это письмо, дорогой Лев Николаевич, и не знаю, что мне делать. Отвечать ли этому ослепленному, озлобленному и потому несчастному человеку; идти ли к нему, чтобы поговорить с ним, попытаться указать ему, что он несчастлив сам от себя, от своего упорного нежелания открыть свои глаза на свое положение, и если это невозможно, то постараться уменьшить его озлобление против меня и против других, разубедив его в том, что ему подсказывает его дурное чувство. Хочется сказать ему, что я не хотел причинять ему боль, не отношусь к нему жестоко, жалею его — и не знаю, в состоянии ли я достигнуть хоть вполнину желаемого. При таком упорстве в нежелании видеть правду, слышать даже о ней, какое видно в каждой строке его письма, боюсь за свою неумелость приступить к нему. Мне ужасно больно видеть эту испорченность и изломанность, и неприязненность чувства я испытываю к этому человеку; но я боюсь другого. Что я скажу ему? Что я не могу жалеть этого, что у него нет обеспеченного гривенника в день, что это не несчастье, а единственный путь к счастью,— ведь он в своей слепоте сочтет, что я насмехаюсь над ним, и я

только вызову этим в нем еще большее озлобление. Иного же я не могу ничего сказать; потому не могу сказать, что знаю по своему опыту, как хорошо терпеть нужду, лишения и что не злиться на них надо, а благодарить.

Они одни только выжигают и вырывают все зло и гадость, которые есть в человеке, и помогают ему любить и видеть истину. В страданиях, которые они причиняют, есть источник такого блага, которое заставляет помочь радоваться, что пришлось пострадать. У него же выходит как раз наоборот, и он еще ни же падает от сознания, что завтра у него нет гривенника. Главное же, что мне особенно показало противным и за что он особенно жалок, это его убеждение в том, что он, дворянин, образованный человек, не может сидеть без хлеба, что он имеет право требовать от людей, чтобы они кормили его и работали на него, и если это не так, то злота его законна и он не может не злиться. И вот соображая все это, я теряюсь и не знаю, что же я скажу ему, что помогло бы ему. Забыть же, что существует такой несчастный человек, которого я, может быть, невольно тронул за большое место так или иначе, но подходил к которому, я не то что не могу, но просто чувствую при этой мысли что-то тяжелое, что не вяжется с моим сознанием добра и единства с людьми. Я не хочу, да и не могу, сказать ему, что жалею его за то, что он сам жалеет себя; сказать же ему, что я жалею его за то, что он сам не хочет своего счастья... как я могу сказать ему это, когда он не послушал Вас и, как сам говорит, ушел от Вас с тяжелым сердцем и из всего, что слышал от Вас, не вынес ничего иного как желания рассуждать на тему о борьбе за существование, и остался при старом, что без гривенника он несчастен. Так что же делать? Я ничего не могу решить. Боюсь, что, оставив его, я тем самым скажу в своей душе: ничтожный, пропащий человек, и тем согрешу. Боюсь и того, что, пойдя к нему, вызову в нем худшее чувство, чем то, которому он наполнен теперь, и согрешу вдвое».

Через пять дней, 8 октября 1888 года, Лев Николаевич ответил на вопрос А. Н. Дунаева следующим письмом, которое было случайно найдено внуком адресата спустя почти девяносто лет после его написания:

Дорогой Александр Никифорович,
Получил ваше письмо с письмом Штанделя. Он очень жалок, и мой совет вам разыскать его и помочь ему, найдя для него работу. Спорить с ним не надо; надо постараться соглашаться с ним в том, в чем можно, а об остальном забыть и потому умалчивать, но не нарочно умалчивать. И, право, это нетрудно. Ведь это очевидный заброшенный, запуганный и добрый мальчик. И он симпатичен — вы сами увидите, если найдете его. Да, надо, ни о чем не помяная, попытаться вывести его из его нужды и той пуганицы обстоятельств, в которую он залез, тогда он сам все поймет.

А то письмо его именно страшно — этой голодной злобой, и я, так же как и вы, чувствую себя виноватым перед ни(м).

Сделайте это, si le cœur v(ou)s en dit⁵. А вы можете.

Любящий вас Л. Т.

Как же А. Н. Дунаев выполнил совет Толстого? В ответном письме от 25 октября 1888 года А. Н. Дунаев писал: «Я был у Штанделя два раза, но не застал его. Писал ему два раза; но он не отвечал мне. Очень жалею об этом. Для меня в этом деле остается чувство чего-то неоконченного, неопределенного».

И далее, извлекая для себя урок, он дает характеристику принципа, лежащего в основе поведения Льва Николаевича: «Вашему письму, бесценный Лев Николаевич, был очень рад, потому что понял ясно самое в нем важное указание, и понял его не умом, а сердцем: молчать о чуждом мне и вместе с тем не умалчивать нарочно. Знаете ли, дорогой мой и милый Лев Николаевич, что такое Ваше слово прибавляет мне каждый раз много силы и бодрости в минуты колебания и неуверенности».

В заключение было бы интересно узнать, как сложилась дальнейшая судьба Ев-

⁵ Если вам это говорит сердце (франц.).

гения Штанделя. Судя по имеющимся сведениям, он последовал совету Льва Николаевича и вскоре ушел из Москвы. Зимой 1890/91 года он прожил почти два дня в Ясной Поляне, что может служить подтверждением хороших взаимоотношений между Львом Николаевичем и молодым газетчиком и что ни с той, ни с другой стороны не было неприязни по отношению к другому. Евгений Штандель описал свои впечатления от повторного посещения Ясной Поляны в газете «Курский листок» от 3 января 1891 года в статье «День Л. Н. Толстого», опубликованной за подписью Ира. Любопытно отметить, что эта статья, воспроизведенная в столичной газете «Новое время» от 23 января 1891 года, послужила поводом для резкого письма Н. С. Лескова в «Петербургскую газету» от 24 января 1891 года, в котором он критиковал автора за пять ошибок в изложении фактов, причем сам писатель ошибается тоже, называя Штанделя Штейнгелем.

Других сведений о Евгении Штанделе, этом молодом человеке, вызвавшем у Льва Николаевича такое сочувствие и желание помочь, не найдено.

Публикация В. М. ДУНАЕВА.

Неизвестный автограф Л. Н. Толстого — дар Президента Французской Республики

В феврале 1910 года русский литератор и переводчик, живший в Париже, И. Д. Гальперин-Каминский послал Л. Н. Толстому письмо с просьбой высказать мнение о недавно вышедшей и с волнением обсуждавшейся французским обществом пьесе П. Бурже «Баррикада», в которой с клерикальных позиций осуждалось рабочее движение. К письму прилагались отзывы французской прессы об этом произведении. Письмо получили в Ясной Поляне 22 февраля, на другой день были получены вырезки из газет и журналов. В тот же вечер Толстой принялся их читать, чтение продолжалось и 24 февраля. Вечером этого дня Л. Н. Толстой написал Гальперину-Каминскому письмо, отдал его для перепечатки на машинке, очевидно, секретарю В. Ф. Булгакову, поставившему на нем дату «25 февраля 1910 г.».

Текст пьесы П. Бурже «Баррикада» был получен Толстым от Гальперина-Каминского 3 марта. Как отмечено в дневнике А. Б. Гольденвейзера, 4 марта Толстой рассказал ему содержание заинтересовавшей его драмы Бурже «La barricade». На конверте второго письма, которым Гальперин-Каминский сопровождал посылаемую пьесу, Толстой написал для своей дочери: «Мне напомни написать о Barricade». Это намерение Толстой, однако, не осуществил. Письмо Толстого, о котором идет речь, было опубликовано в «Сборнике Толстовского музея» в 1937 году и затем напечатано в томе 81 полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 1956 году по машинописной копии, сверенной с черновиком-автографом. Копии подшивались секретарем Толстого в специальные «копировальные книги» и хранились в доме писателя в Ясной Поляне, а затем в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Автограф письма Л. Н. Толстого возвратился в его дом шестьдесят пять лет спустя: письмо сохранилось во Франции в частной коллекции и было передано в дар яснополянскому музею при посещении его Президентом Франции Валери Жискар д'Эстэнном 15 октября 1975 года. Оказывается, перед отправкой письма по машинописному тексту, подготовленному секретарем, на первом экземпляре Толстой сделал небольшую правку стилистического характера, несколько уточняющую его мысль. В трех случаях Толстым собственноручно сделаны маленькие вставки слов (черными чернилами); в семи местах поправлено другим лицом, видимо по указанию Толстого. В сравнении с вариантом в томе 81 собрания сочинений¹ текст вследствие исправлений читается несколько иначе, поэтому имеет смысл привести его полностью.

¹ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах Юбилейное издание М. Госиздат. 1928—1958. Далее везде ссылка на это издание.

Илья Данилович,

Очень вам благодарен за присылку статьи о «Barricade». Я вчера получил и прочел часть самых интересных отзывов. Да, это очень замечательное явление, и хотелось бы высказаться о нем. Но дела так много, а сил и жизни осталось так мало, что едва ли удастся.

Больше всего поразило меня во всем этом удивительное соединение огромной эрудиции, большого ума, необыкновенного изящества языка, утонченной учтивости по отношению к противникам с самым наивным грубым эгоизмом, ничего не видящим, кроме себя и своего сословия, и с самым полным невежеством по отношению основных и необходимейших для жизни каждого человека религиозно-нравственных принципов, тех религиозно-нравственных принципов, без которых при всевозможных аэропланах и утонченнейшей игре артистов Theatre Français и т. п. люди все-таки спускаются на степень почти животного.

Особенно удивительно для меня при этом еще и то, что эти люди, как г. Бурже и другие, во Франции в 1910 г., после Вольтера, Руссо и др., могут еще серьезно говорить про католицизм. Ничто яснее этого не показывает тот ужасный, в смысле не ума, а разума, и не блеска, а нравственности, упадок, в котором находятся эти люди. В этой свалке, очевидно, *tous les moyens sont bons*². Католицизм — пускай мы знаем, что это грубый, бессмысленный, одуряющий народ, давно развенчанный обман, но он годен для нашей цели, давай его сюда.

В конце письма не было подписи; Толстой в заключение дописал черными чернилами после машинописного текста:

Про пьесу вашу знаю и про ее успех и поздравляю вас с ним. Всего хорошего. Лев Толстой.

Гальперин-Каминский спрашивал в первом письме о своей переделке в одноактную пьесу легенды Толстого «Зерно с куриное яйцо».

Письмо напечатано на листе тонкой писчей бумаги типа папиросной, обычного формата. Оно было передано Президентом Франции в папке с приложением напечатанного типографским способом перевода письма на французский язык (за исключением приписки). Папка вложена в изящный конверт темно-серого картона с надписью: «Lettre manuscrite de Liev Tolstoï. Offerte au Musée Tolstoï par Valery Giscard d'Estaing Président de la République Française»³. Передавая письмо Толстого, Президент сказал: «Я очень хотел совершить поездку сюда, посетить Ясную Поляну, потому что для меня Толстой является величайшим писателем всего мира. И от имени бесчисленных почтителей таланта Толстого во Франции я передаю память об этом посещении Ясной Поляны».

Т. Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого Ясная Поляна.

² Все средства хороши (франц.).

³ Автограф Льва Толстого — дар Валери Жискара д'Эстана, Президента Французской Республики Музею Толстого (франц.).



С. А. ТОЛСТАЯ



МОЯ ЖИЗНЬ

Мемуары Софьи Андреевны Толстой «Моя жизнь», начатые 24 февраля 1904 года, охватывают годы 1844—1901. Последние девять лет остались недописанными.

Софья Андреевна тщательно готовилась к написанию своей книги. Дневники Толстого, по ее словам, «служили дорогим материалом»; она делала выписки из своих дневников и из своей переписки с Толстым, из писем разных лиц к Толстому и к ней. Материалы и черновики «Моей жизни» хранятся в Ясной Поляне.

Мемуары С. А. Толстой представляют собой ценнейший документ жизни и быта семьи Толстых во всем богатстве, сложности и тонкости внутрисемейных отношений. Одновременно это панорама широких и чрезвычайно естественных общественных связей всей толстовской семьи. Социальная, политическая, культурная жизнь России того времени наша в жизни семьи Л. Н. Толстого свое удивительно глубокое и рельефное отражение.

Если дневники Софьи Андреевны, которые она вела почти все годы жизни с Толстым, живо и непосредственно фиксируют прожитый день, неделю, месяц и в этой непосредственности их особая поэтическая прелесть, то мемуары, которые писались с тридцатилетней дистанцией,— плод размышлений и чувств, которыми она сосредоточенно жила поздние годы своей жизни. Их обостренный драматизм— реальное свидетельство внутренней жизни, обладающее документальной ценностью, ибо ее внутренняя жизнь была частью судьбы Толстого. Нигде как в мемуарах «Моя жизнь» отношения Л. Н. Толстого и С. А. Толстой не прочтываются столь завершено, как событие большого исторического и нравственного смысла.

Многим, и не только близким, людям Софья Андреевна читала свои записки, желая узнать мнение о них. Знал о записках и Толстой и одобрял их. В январе 1907 года, когда записки были доведены до 1878 года, Софья Андреевна читала их М. С. Сухотину. «Меня интересовали 1876—1877 года, как те года, в которые совершился этот удивительный перелом в душе Л. Н.,— записал М. С. Сухотин в своем дневнике.—...К сожалению, переход этот совершился вне наблюдения С. А., и она отмечает это как факт, не будучи в силах дать ему какое-либо психологическое объяснение». Сухотин рассказал Толстому, «как неполно С. А. описала эту эпоху его жизни. Он подумал и сказал: «Да, пожалуй, и трудно было бы полнее и последовательнее описать; мне и самому это представляется чем-то необъяснимым, каким-то скачком, чем-то, что нельзя ничем наполнить»...»

Летом 1897 года Толстой, намереваясь уйти, в прощальном письме жене писал: «...с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это... благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне». Намерения своего Толстой тогда не выполнил, и письмо это Софья Андреевна узнала уже после смерти Толстого. А в последнем письме 1910 года из Шамордина Толстой также писал: «Не думай, что я уехал, потому что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе чем поступаю».

Из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого известно, что, едва выехав из Ясной Поляны, по дороге к станции Толстой сказал после долго молчания: «Что теперь Софья Андреевна, жалко ее». И всю последнюю неделю жизни мысль о Софье Андреевне тревожила Толстого. Дежурившая возле Толстого в последний день его жизни дочь Татьяна Львовна вспоминала, как отец, подзвав ее, сказал: «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились». Сказав это, он потерял сознание.

После смерти Толстого Софья Андреевна продолжала писать свои записки и к ноябрю 1912 года довела их до 1897 года. Спустя три года, в декабре 1915 года, она возобновила работу, закончив жизнеописание 1901 годом. Несколько глав из «Моей

жизни» Софья Андреевна сама опубликовала в 1912 и 1913 годах. Но полностью автобиография не публиковалась.

В конце 20-х годов в связи со столетием со дня рождения Толстого Сергей Львович стал готовить к публикации дневники матери. Работая над предисловием к дневнику трагического 1910 года, он сообщил Татьяне Львовне в сентябре 1933 года: «Читал я последнее время «Моя жизнь» нашей матери. Многое мне уяснилось, но в двух словах не умею это выразить, какую она прожила несчастную жизнь!» В предыдущем письме 1929 года он писал: «Вероятно, когда-нибудь «Моя жизнь» будет издана, но сейчас едва ли это желательно и возможно».

Прошло шестьдесят восемь лет после смерти Толстого. Время увесло многое, что служило препятствием к публикации записок Софьи Андреевны. Нет уже тех, кто обвинял Софью Андреевну, нет тех, перед которыми Софья Андреевна, понимая, что ей предстоит суд истории, старалась оправдаться. Быть может, справедливее по отношению к «Моей жизни» принять определение Софьи Андреевны из ее последнего письма Толстому (оно осталось непосланным). Она писала в нем, что хочет «не оправдаться, а только объяснить» свое поведение.

30 марта 1906 года Д. П. Маковицкий записал слова Софьи Андреевны, относящиеся к «Моей жизни», что она «распорядится не печатать ее раньше чем через 50 лет после своей смерти».

Пришла пора приступить к опубликованию «Моей жизни», помня письмо А. Г. Достоевской к Софье Андреевне, посланное 7 ноября 1910 года: «Если Вашему почившему мужу довелось дожить до 83-х лет, то этим вся Россия обязана Вам... Вашим неустанным заботам и Вашей горячей любви к нему...» Предлагаем вниманию читателей некоторые страницы этой рукописи.

1862

Хозяйка

Как только я вступила в Ясную Поляну, тетенька Татьяна Александровна передала мне все домашнее хозяйство. Мне легко было взять на себя эту деятельность, она была привычна.

Вошла я в хозяйственные переговоры с Дуняшей и бывшим еще крепостным поваром Николаем Михайловичем. Он был в молодости музыкантом, флейтовщиком в оркестре старого князя Волконского, деда Льва Николаевича.

— А почему же перешел в повара? — спросила я его.

— Амбушюру (embouchure *) потерял, ваше сиротство, — с грустью и улыбочкой иронии отвечал Николай Михайлович.

Готовил он недурно, даже многое очень вкусно, как только старинные повара умели готовить, но был чрезвычайно грязен, и я раз за обедом расплакалась, найдя в похлебке отвратительного паразита. Тогда я приняла энергические меры: завела куртки белые, колпаки и фартуки, ходила в кухню и смотрела за всеми. Но я любила этого милого старика, Николая Михайловича. Он был кроткий, безответный и старательный. Иногда напивался пьян, приходила готовить его бойкая жена, или же я сама хлопотала в кухне с чьей-нибудь помощью. И потом он со слезами просил прощения. Мы были с ним всегда друзьями, и умер он на пенсии, в кругу своей семьи в Ясной Поляне, завещав своему сыну Семке служить графу и графине. С этой целью он отдавал его в ученье в Тульский клуб, и этот Семка и сейчас у нас поваром, но уже не за 6 руб., как его отец, а за 25 рублей.

Вообще меня поражала простота и даже бедность обстановки Ясной Поляны. Пока не привезли моего приданого серебра, ели простыми железными вилками и старыми истыканными серебряными, очень древними ложками. Я часто колола себе с непривычки рот. Спал Лев Николаевич на грязной сафьяновой подушке, без наволочки. И это я изгнала. Ситцевое ватное одеяло Льва Николаевича было заменено моим приданым, шелковым, под которое, к удивлению Льва Николаевича, подшивали тонкую простыню. Просьба моя о ванне тоже была удовлетворена.

* Мундштук (франц.).

В первые дни моего замужества приходили все разные люди нас поздравлять: дворовые, крестьяне, школьники. Моя мать дала мне на мой расходу, чтобы первое время не брать денег у мужа, 300 рублей, и я почти все раздала поздравляющим нас.

Мне тогда казалось, что все такие добрые, так нас любят, и меня радовали, хотя очень конфузили, эти поздравления. Тут была и старая жена дядьки Николая Дмитриева — Арина Игнатьевна с дочерью Варварой; скотница Анна Петровна с девочками Аннушкой и Душкой, староста Василий Ермилин, кондитер Максим Иванович, старая горничная бабушки Пелагеи Николаевны — сухая, строгая Агафья Михайловна, веселая прачка Аксинья Максимовна с красивыми дочерьми Полей и Марфой; кучера, садовник и много всяких чуждых и чужих людей, с которыми после еще долго и долго пришлось жить.

Учителя сельских школ

В первый после нашей свадьбы праздник съехались из соседних сельских школ все учителя. Лев Николаевич ввел эти съезды учителей в праздники для их отдыха и для обсуждения школьных вопросов общим советом. Все эти молодые люди очень конфузились моим присутствием, и некоторые смотрели на меня враждебно, чувствуя, что теперь кончится их близкое общение с Львом Николаевичем, который перенесет все свои интересы с школ на семейную жизнь¹.

Сначала я всегда присутствовала при совещаниях Льва Николаевича с учителями школ, но вскоре, сделавшись беременна, я не могла выносить табак. И вообще всю жизнь его не выносила и потом. Лев Николаевич неоднократно бросал в жизни курить, но снова возвращался к закоренелой своей привычке и только к старости совсем бросил курить.

В то время маленькая гостиная или столовая наполнялась сразу таким дымом от куренья шести мужчин, что у меня темнело в глазах, я убегала, поднималась рвота, и я ложилась у себя в спальне одна, огорченная, что не могу участвовать в интересах и делах Льва Николаевича.

То же было и с хозяйством. Лев Николаевич хотел меня приучить к скотному и молочному делу и водил меня на скотный двор. Я старалась смотреть и считать удои, сбивание масла и прочее. Но вскоре от запаха навоза у меня делалась тошнота и рвота, и меня бледную, шатающуюся уводили домой...

Приехали к нам вскоре после моего замужества раз гости: отец с дочерью — Каменские. Когда Лев Николаевич был в Севастополе во время осады, он там познакомился с этими Каменскими. Их была большая семья, и на вопрос о том, почему они не выезжают из города, в котором уже так опасно оставаться, они ему сказали, что денег нет и нет никаких средств, чтобы выехать. Лев Николаевич помог им выехать и дал на это средства.

Помня это, старик проездом с дочерью заехал в Ясную Поляну, не зная о женитьбе Льва Николаевича, о которой он им объявил тут же. Меня позвали знакомиться. Как всегда конфузясь, я быстро вбежала в комнату, где были гости, и была поражена красотой высокой молодой девицы, которая, пристально посмотрев на меня, спросила:

— Как, Лев Николаевич, эта девочка ваша жена?

Как сейчас помню все это. На мне было очень коротенькое, коричневое, суконное платье, широко сшитое на беременность. Его заказывал и покупал сам Лев Николаевич, говоря, что за кринолином (широ-

кая юбка со стальными обручами) и за шлейфами он свою жену не найдет; да и неудобно такое одеяние в деревне. Я и потом долго ходила в коротких платьях.

Никольское и Черемошня

В ноябре мы в эту же осень поехали с Львом Николаевичем в его чернское имение Никольское-Вяземское на лошадях, в карете. Никольское от Ясной около 100 верст. Льву Николаевичу нужно было туда ехать по хозяйству. В Сергиевском мы ночевали, ехали довольно долго, и погода была сырая, скучная, осенняя.

В Никольском был в то время маленький деревянный домик, в 4—5 комнат, в которых всю почти жизнь жил старший и любимый брат Льва Николаевича — Николай, которому и принадлежало Никольское. В то время, как мы были там, жил еще и управлял имением старого типа, почтенный и уже пожилой приказчик — Петр Евстратыч. Он очень торжественно и учтиво приветствовал нас. Для услуги нам пришел бывший слуга Николая Николаевича Алексей Ляхин, более охотник по призванию и типу, чем лакей. Из окон никольского домика был прелестный и очень далекий вид на реку, лес, поля и деревни. Мне очень понравилось Никольское, я совсем развеселилась. Мне так радостно было быть вдвоем с Львом Николаевичем, почувствовать, что он в е с ь м о й и только мой. Но я стесняла его в хозяйственных делах: он не мог свободно уходить или уезжать от меня, потому что я боялась остаться одна и не в силах была, беременная и с тошнотой, следовать всюду за ним.

Вскоре приехал к нам в Никольское лучший друг Льва Николаевича Дмитрий Алексеевич Дьяков. Что это был за милый, остроумный, веселый и ласковый человек. Он и на всю последующую жизнь остался нашим лучшим и самым близким другом. Он и детей моих крестил: Таню и Илью. Со мной он обошелся как с ребенком: бережно, шутиливо. Он стал нас звать к себе, в его богатое имение Черемошню, где в то время находилась его семья. Лев Николаевич обрадовался этому приглашению, думая оставить меня на время в Черемошне и свободно заняться хозяйством. Дьяков тут же пригласил нас и 11 ноября увез нас на своей тройке, уже в санях к себе в Черемошню...

Увидав, как мне хорошо и удобно в Черемошне, Лев Николаевич хотел один уехать в Никольское хозяйничать на несколько дней, а меня оставить у Дьяковых. Но, узнав о его намерениях, я ни за что не соглашалась остаться и принялась громко, по-детски плакать...

Я видела, что Лев Николаевич первый раз испугался за свою свободу и ему были неприятны мои капризы. Тем не менее мы уехали в Никольское вместе, и я чувствовала себя хотя и виноватой, но вполне счастливой, что не рассталась с Львом Николаевичем, хотя в Никольском было очень неудобно, холодно и еда была ужасная, грязно и неумело приготовленная старательным Алексеем Ляхиным.

Возвращение в Ясную Поляну. «Казак»

В Никольском пробыли недолго, не помню сколько, и вернулись в Ясную Поляну. Лев Николаевич был в то время очень занят печатаньем в «Русском вестнике» «Казак» и «Поликушки».

Держать корректуру «Казак» взялся сам Катков, и я помню, что Лев Николаевич был иногда недоволен работой Каткова, который слегка коснулся и поправкой самого слога (стиля), а именно, например, вместо слова «который» ставил «что», и Льву Николаевичу неловко было это ему говорить, но когда мог, он восстанавливал свои слова.

Жизнь в Ясной Поляне опять установилась правильно: утром я с работой сажу вниз, в кабинете Льва Николаевича, молча, он пишет, потом идет гулять или по хозяйству. Когда же я не могла гулять, тогда я дома рисовала, читала или играла на фортепиано, очень плохо, старинном, особенно поражавшем меня бедностью звуков после прекрасного рояля Беккера, на котором мы играли дома.

Писательство и декабристы

В декабре 1862 года Лев Николаевич кончил издавать журнал «Ясная Поляна», отдал «Казак» и стал думать о новой работе. Он пишет в своем дневнике, что чувствует «силу потребности писать»...

Первое, что задумал писать Лев Николаевич, была вторая часть «Казак». Она была и начата и затеяна гораздо раньше. Но почему-то он не сделал этой работы, а заинтересовался историей декабристов и начал писать ее зимой 1863 года. Он весь погрузился в чтение материалов, писем, записок, трудно тогда доставаемых. Не помню когда именно, но он ездил и в Петербург, чтобы видеть место заключения декабристов, место, где они были повешены; он искал знакомства с оставшимися декабристами — Свистуновым, Завалициным, Муравьевым, и два раза в жизни возвращался к этой работе². Он высоко ценил, идеализировал деятельность людей, тогда стремящихся к освобождению крестьян, к улучшению жизни русского народа и свержению деспотической власти.

Впоследствии он говорил, что не мог продолжать историю декабристов, потому что разочаровался в них. Но интересоваться ими Лев Николаевич никогда не переставал и еще в нынешнем 1905 году он с увлечением перечитывал записки Якушкина, Завалишина, Розена и других.

Задумав писать роман времен декабристов, Лев Николаевич решил, что ему надо показать прежде всего, кто они были, из каких семей, какого воспитания и направления, какое было влияние на них предшествовавших войн и событий. Тогда Лев Николаевич начал свое повествование с 1805 года.

«Война и мир»

И вот вместо декабристов сложилась эпопея 1805 года — 1812 года, и вырос грандиозный, прекрасный роман «Война и мир»...

Как только Лев Николаевич начал свою работу, так сейчас же и я приступила к помощи ему. Как бы утомлена я ни была, в каком бы состоянии духа или здоровья я ни находилась, вечером каждый день я брала написанное Львом Николаевичем утром и переписывала все начисто. На другой день он все перемарает, прибавит, напишет еще несколько листов — я тотчас же после обеда беру все и переписываю начисто. Счасть, сколько раз я переписывала «Войну и мир», невозможно. Иные места, как, например, охота Наташи Ростовской с братом и ее посещение дядюшки, повторявшего беспрестанно «чистое дело марш», были написаны одним вдохновением и вылились как нечто цельное, несомненное.

Еще помню, мы были вторично в Черемوشне у Дьяковых и Лев Николаевич говорит: «А какой у меня сегодня создан дипломат Билибин — прелесть. Я так доволен им». Я в недоумении посмотрела на Льва Николаевича и не поняла его. Что такое дипломат и почему Лев Николаевич так обрадовался? Глуха я была еще тогда.

Иногда же какой-нибудь тип, или событие, или описание не удов-

летворяли Льва Николаевича, и он бесконечное число раз переправлял и изменял написанное, а я переписывала и переписывала без конца.

Помню, я раз очень огорчилась, что Лев Николаевич написал цинично о каких-то эпизодах разврата красавицы Елены Безуховой. Я умоляла его выкинуть это место; я говорила, что из-за такого ничтожного, малоинтересного и грязного эпизода молодые девушки будут лишены счастья читать это прелестное произведение. И Лев Николаевич сначала неприятно на меня огрызнулся, но потом выкинул все грязное из своего романа...

Часто я спрашивала себя: почему Лев Николаевич такое-то слово или фразу, казавшиеся совершенно подходящими, заменял другими? Бывало так, что корректурные листы, окончательно посланные в Москву для печатания, возвращались и переправлялись; а то телеграммой делалось распоряжение такое-то слово — иногда одно слово — заменить другим. Почему выкидывались целые прекрасные сцены или эпизоды? Иногда, переписывая, мне так жаль было пропускать вычеркнутые прекрасные места. Иногда восстанавливалось вычеркнутое, и я радовалась. Бывало, так вникаешь всей душой в то, что переписываешь, так сживаешься со всеми лицами, что начинаешь сама чувствовать, как сделать еще лучше: например, сократить слишком длинный период; поставить для большей яркости иные знаки препинания. А то придешь с готовой, переписанной работой к Льву Николаевичу, укажешь ему на поставленные мной кой-где в марзанах знаки вопроса и спросишь его, нельзя ли такое-то слово поставить вместо другого или выкинуть частые повторения того же слова или еще что-нибудь.

Лев Николаевич объяснял мне, почему нельзя иначе, иногда слушал меня, даже как будто обрадуется моему замечанию, а когда не в духе, то рассердится и скажет, что это мелочи, не то важно, важно общее и т. д.

Помощь перепиской, впоследствии держанием корректуры, переводами и составлением фраз и рассказов для «Азбуки» и 4-х «Книг для чтения», для «Круга чтения» теперь, в нынешнем году, я оказывала Льву Николаевичу всю мою долгую жизнь с ним.

1863

Пчелы

Лев Николаевич эту весну страшно увлекался пчелами. Купил несколько ульев у моего деда Исленьева, читал книги, делал рамочные ульи и имел такой вид, что для него теперь центр всего мира составляет пчельник и потому все должны исключительно интересоваться пчелами. Я старалась проникнуться всей значительностью пчелиной жизни, но трудно этого достигала.

В этом увлечении сказалась вся страстная натура Льва Николаевича. Во всю свою жизнь он увлекался самыми разнообразными предметами: игрой, музыкой, греческим языком, школами, японскими свиньями, педагогикой, лошадьми, охотой — всего не пересчитаешь. Не говорю уж об умственных и литературных увлечениях: они были самые крайние. Ко всему в данный момент он относился безумно страстно, и если ему не удавалось убедить своего собеседника в важности того занятия, которым он был увлечен, он способен был даже враждебно относиться к нему.

Занятия пчелами отвлекали Льва Николаевича от дома и от меня, и я часто скучала и даже плакала в одиночестве. Пойду на пчельник, иногда сама снесу Льву Николаевичу обед, посижу там, иногда пчела меня ужалит, и иду одинокая домой.

Когда в хозяйстве были неудачи, а это было довольно часто, Лев Николаевич приходил в отчаяние и в дурное настроение. Я даже пишу сестре, что ездили с Левочкой кататься на Могучем, ехали страшно скоро, и было так весело, что забыли про хозяйственные неприятности...

Еще что я наблюдала в своем писателе-муже, это то, что он, кажущийся такой необычайно тонкий психолог, часто совсем не знает людей, особенно если эти люди новые и малознакомые.

В каждом человеке Лев Николаевич видит тип цельный, художественно удовлетворяющий его. Но если в тип этот случайно вкрадется черта характера, нарушающая цельность типа, Лев Николаевич ее не замечает и не хочет видеть. Ему укажешь: «А вот ты заметь, этот человек кажется тебе исключительно занятый умственными интересами, а он любит всегда сам на кухне готовить...» «Не может быть», — отрицает Лев Николаевич. Или: «Ты поэтизировал такую-то А. А., считал ее высоконравственной и идеалисткой, а она родила незаконного сына не от мужа». Лев Николаевич ни за что не верит и продолжает видеть то, что раз создало его воображение.

Рождение первого сына

Тяжело мне будет описывать событие рождения моего первого ребенка, событие, которое должно было внести новое счастье в нашу семью и которое вследствие разных случайностей было сплошным страданием, физическим и нравственным.

Ждала я родов 6 июля, а родился Сережа 28 июня, по-видимому преждевременно вследствие моего падения на лестнице.

Моя мать приехала, кажется, только за день, а детское приданое, сшитое и посланное моей матерью к рождению ребенка, не поспело, а было еще в дороге. Жила у меня акушерка, полька, воспитанная и учившаяся при Дерптском университете акушерству, вероятно, в тамошних клиниках. Звали ее Марья Ивановна Абрамович, она была вдова и имела единственную дочку Констанцию, для которой и трудилась всю жизнь.

Марья Ивановна принимала всех моих детей, кроме одного, к которому не поспела, — Николушки, умершего 10-ти месяцев, следовательно, она была моей помощницей 25 лет, так как между первым моим сыном Сережей, родившимся в 1863 году, и последним, Ванечкой, родившимся в 1888 году, было 25 лет разницы.

Маленькая, белокурая, с маленькими ловкими руками, Марья Ивановна была умная, внимательная и сердечная женщина. Как умильно-ласково она обращалась тогда со мной, считая меня ребенком и как-то по-матерински любясь мной.

В ночь с 26 на 27 июня я почувствовала себя нездоровой, но, встретившись с сестрой Таней, у которой болел живот, и сказав ей и о моей боли, мы обе решили, что мы съели слишком много ягод и расстроили себе желудки. Мы болтали и смеялись с ней, но боли ее утихли, а мои стали обостряться. Я разбудила Льва Николаевича и послала его позвать Марью Ивановну. Она серьезно и озабоченно всю меня осмотрела и, выйдя в соседнюю комнату, торжественно объявила Льву Николаевичу: «Роды начались». Это было в 4 часа утра, 27. Июньские ночи были совсем светлые, солнце уже взошло, было жарко и весело в природе.

Лев Николаевич очень взволновался; позвали мою мать, стали делать приготовления, внесли люльку высокую, липового дерева, неудобную, сделанную домашним столяром.

Страдания продолжались весь день, они были ужасны. Левочка все время был со мной, я видела, что ему было очень жаль меня, он так был ласков, слезы блстели в его глазах, он обтирал платком и одеколоном мой лоб, я вся была в поту от жары и страданий, и волосы липли на моих висках; он целовал меня и мои руки, из которых я не выпускала его рук, то ломая их от невыносимых страданий, то целуя их, чтобы доказать ему свою нежность и отсутствие всяких упреков за эти страдания.

Иногда он уходил, заменяла его моя мать. К вечеру из Тулы приехал доктор Шмигаро, маленький полячок, главный доктор ружейного Тульского завода; за ним послали по просьбе акушерки, которая видела, что роды очень затягиваются...

Зловещая тишина была в минуту рождения ребенка. Я видела ужас в лице Льва Николаевича и страшное суетливое волнение и возню с младенцем Марьи Ивановны. Она брызгала ему воду в лицо, шлепала рукой по его тельцу, переворачивала его, и наконец он стал пищать все громче и громче и закричал.

Пошло обычное послеродовое омовение ребенка, уборка всего, и мы очутились в крайне неудобном положении без вещей и белья для ребенка. Его завернули в ночную сорочку Льва Николаевича и рукавами от нее запеленали мальчика. На другой день кое-что сшили, но бедствовали порядочно, пока не прибыло из Москвы детское приданое, великолепно приготовленное моей матерью.

Няни у нас не было: Лев Николаевич очень строго требовал, чтобы я сама и кормила и ходила за ребенком после того, как уедет акушерка. Я еще повиновалась ему беспрекословно и считала еще тогда все его желания и мысли безусловно непогрешимыми и несомненно хорошими.

Недоношенный, плохой мой мальчик все спал. Тельце его было желтое, грудь он не брал.

В ту ночь как родился Сережа, почему-то сочли нужным разбудить весь дом. Принесли шампанское, разлили по бокалам и стали пить за здоровье матери и ребенка. Помню сонные и лохматые головы Саши Кузминского, брата Саши и оживленное, но тоже какое-то измятое лицо сестры Тани и радостное — тетеньки Татьяны Александровны.

Позвали звать крестить брата Льва Николаевича, Сергея Николаевича, и с ним крестила тетенька Татьяна Александровна. Сначала ребенку хотели дать имя Ник о л а я, но я боялась давать имя умерших так преждевременно отца и брата Льва Николаевича, и чтобы дать имя в семью Толстых и этим сделать приятное мужу, я решила сына назвать Сергеем...

Лев Николаевич никогда не брал на руки Сережу. Он радовался, что у него сын, любил его по-своему, но относился к нему с каким-то робким недоумением. Подойдет, посмотрит, покличет его — и только. «Фунт», — вдруг назовет он сына, глядя на его продолговатый череп. Или скажет: «Сергулевич», почмокает губами и уйдет...

1865

Фет

Раз Лев Николаевич уехал с сестрой к Дьякову; сижу я одна со своей маленькой Таней, няню отпустила обедать, слышу — колокольчики. Жили мы тесно, прислуга вся обедает, все отперто. Входит вскоре господин и прямо называет себя, как бы незнакомый: «Фет, старый друг вашего мужа, позвольте вам вновь представиться».

Я сразу его не узнала, страшно сконфузилась, сказала, что мужа дома нет, пригласила сесть. Но, на беду, пора было кормить ребенка грудью, я держала ее на коленях, и она изо всех своих маленьких сил старалась расстегнуть, или, вернее, разорвать, мое белое тонкое нансуковое платье. Я конфузилась до слез. Наконец Фет с улыбкой сказал: «Ваша девица предъявляет законные требования, пожалуйста, не церемоньтесь со мной».

Надрез

Раз Лев Николаевич мне высказал мудрую мысль по поводу наших ссор, которую я помнила всю нашу жизнь и другим часто сообщала. Он сравнивал двух супругов с двумя половинками листа белой бумаги. Начни сверху их надрывать или надрезать, еще, еще... и две половинки разъединятся совсем.

Так и при ссорах, каждая ссора делает этот надрез в чистых и цельных, хороших отношениях супругов. Надо беречь эти отношения и не давать разрываться.

Трудно мне было обуздать себя, я была вспыльчива, ревнива, страстна. Сколько раз после вспышки я приходила к Льву Николаевичу, целовала его руки, плакала и просила прощения.

В его характере этой черты не было. Гордый и знающий себе цену, он, кажется, во всей своей жизни сказал мне только раз «прости», но часто даже просто не пожалеет меня, когда почему-нибудь обидел меня или замучил какой-нибудь работой. Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил никогда ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожество, неумелое, глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение. Это подавляло во мне все способности, это часто меня заставляло падать духом и терять энергию жизни.

Неужели я так-таки ничего хорошо не делала? А как я много старалась.

Поощрение, похвала иногда действуют на людей возбуждающим средством. Делаешь усилие — и воспрянешь...

Летом приезжали к нам Фет с женой... Лев Николаевич читал Афанасию Афанасьевичу военные сцены из «Войны и мира», но описанья сражений и военных действий мне в то время были скучны. Фет же очень восхищался всем и всегда считал, что эпическая форма в произведениях Льва Николаевича — лучшая.

По поводу последних глав «Войны и мира» Лев Николаевич недавно кому-то рассказывал, что Стендаль (писатель) имел на него влияние по отношению взгляда на войну. Читая описание Стендаля битвы при Ватерлоо, Лев Николаевич нашел так много общего во взглядах Стендаля на войну, что провел ту же мысль и в военном отделе «Войны и мира».

1866

Картинки к «Войне и миру» Башилова

Не знаю, чем руководствовался в данном случае Лев Николаевич, но желание мое было исполнено и Льву Николаевичу захотелось даже издать «Войну и мир» с иллюстрациями. Для этого он вошел в сношения с Башиловым Михаилом Сергеевичем, художником, директором

в то же время Школы живописи и ваения на Мясницкой. Этот Башилов был двоюродный брат моей матери, прожил с отцом просто от беспечности очень большое состояние, интересуясь гораздо больше музыкой Бетховена и живописью Рафаэля, чем какое количество сена или ржи поступит в продажу из их имений. В конце концов их обворовали, разорили; Михаилу Сергеевичу пришлось зарабатывать свой хлеб, а главное, содержать довольно большую семью.

Башилов вызвался нарисовать иллюстрации к «Войне и миру», за что он тотчас же и взялся, уговорившись о цене. Гравировал их Рихау, прекрасный мастер своего дела. Но Башилов работал медленно, приготовил очень малое количество рисунков и не кончил иллюстрации не только к первому изданию, чего очень желал Лев Николаевич, но и к последующим. Так эти картинки и остались без приложения их к роману «Война и мир». Несколько таких рисунков хранится в бумагах Льва Николаевича в Историческом музее в Москве...

1867

Описание моей жизни делается все менее и менее интересно, так сводится все к одному и тому же: роды, беременность, кормление, дети...

Но так и было: сама жизнь делалась все более замкнутой, без событий, без участия в жизни общественной, без художеств и без всяких перемен и веселья. Таковую ее устроил и строго соблюдал Лев Николаевич.

Сам же он жил весь в мире мысли, творчества и отвлеченных занятий и удовлетворялся вполне этим миром, приходя в семью для отдыха и развлечения.

В одной из своих записных книжек он пишет: «Поэт лучшее своей жизни отнимает у жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно, а жизнь дурна».

Жизнь Льва Николаевича не была дурна, но ее просто не было; проявлялась она разве только в охоте, которую он любил, главное, потому, что с нею связана всегда любовь к природе, и в прогулках в одиночестве, необходимом для новых мыслей и обсуждений будущего писания.

Сколько раз было, что робко попросишь Льва Николаевича: «Левочка, возьми меня гулять!» А он откажет, объясняя свой отказ тем, что ему необходимо уединение, чтобы обдумать дальнейшее писанье.

По поводу одиночества Лев Николаевич записал в своей записной книжечке пословицу: «Один идет, на каждом плече по ангелу, двое — один ангел, а трое — сатана».

О физическом своем здоровье Лев Николаевич очень заботился, упражняясь гимнастикой, поднимая гири, соблюдая пищеварение и стараясь быть как можно более на воздухе. А главное, страшно дорожил своим сном и достаточным количеством часов сна.

Недавно (теперь июнь 1906 года) Лев Николаевич мне говорил по поводу писания Бирюковым его биографии:

— Мне неприятно читать ее, это одна миллионная часть того, что я пережил. И все так у него ничтожно, с л у ч а й н о. Очень важное не сказано, неизвестно, а мелочи, случайно им пойманные, описаны. Все н е с о р а з м е р н о.

Так и в жизни. Важные причины наших поступков не видны, случайным придается большое значение.

1868

Денег у меня тоже не было. Деньги мне давал Лев Николаевич на хозяйство и мои личные расходы сколько мог и считал нужным. Когда деньги все выходили, я просила его дать еще, и всегда мне было трудно и неприятно просить, и я страшно старалась тратить как можно меньше.

Не могу не упомянуть, что более деликатное отношение к деньгам и ко мне по поводу денег нельзя себе представить, как отношение Льва Николаевича. В душе он скорее скуп, но мне он ни разу в жизни не давал почувствовать, что все состояние его, а что я бедная, ничего не имеющая бесприданница. Изредка, когда у него самого не было денег, он скажет: «Как, уже вышли деньги?» Тогда я торопливо бегу за записной книгой и прошу, умоляю его просмотреть мои расходы, научить, где можно еще поэкономить. Он тихонько оттолкнет книгу и скажет: «Не надо».

Под конец нашей жизни он все передал мне, но об этом потом.

1869

Николай Николаевич Страхов

Первую критику на это произведение написал Страхов и напечатал в журнале «Заря». Эта критика, написанная с высшими похвалами автору, послужила поводом к нашему знакомству со Страховым, этим умным, образованным по всем отраслям человеком.

Лев Николаевич говорил, что Страхов в своей критике придал «Войне и миру» то высокое значение, которое роман этот получил уже много позднее и на котором он и остановился навсегда. Между тем как живший в то время в Туле Салтыков (Щедрин) с презрением отзывался об этом произведении и говорил, что «Война и мир» напоминает ему болтливые рассказы нянюшек и бабушек. Хотя Салтыков был раньше знаком с Львом Николаевичем, он ни разу не был у нас, пока служил в Туле³.

Много я могла бы рассказать об этом милом человеке, Страхове, если бы раньше подумала об этом. Весь интерес его личности касался, разумеется, его умственной и духовной жизни. По внешности он был тихий, молчаливый и скромный старый холостяк. У него была большая и прекрасная библиотека книг по его выбору; он приобретал л у ч ш е е, как он сам считал, произведение каждого автора. Библиотеку эту он завещал Петербургской публичной библиотеке, где он прослужил библиотекарем много лет.

Он был сын священника и воспитанник С.-Петербургского университета, был магистр естественных наук и обладал огромными знаниями по всем отраслям. Бывало, гуляешь с ним и спрашиваешь о том или о другом. Он рассказывает подробно, логично, кратко и ясно обо всем, что хочешь узнать. Так, он мне на словах прекрасно изложил теорию Дарвина, которую я по недостатку времени не прочла сама. А то раз он рассказал мне все о звездах, и лучшего урока астрономии нельзя было получить.

Он очень любил литературу, писал много критики, но по складу своего ума был больше всего философ: Лев Николаевич часто и говорил и писал ему, чтобы он занялся исключительно философией. На это Страхов иногда говорил и писал Льву Николаевичу, что он прав, «но что же делать, когда я так л ю б л ю писать критики».

Посещая нас большей частью летом — и зимой только изредка на праздниках, — Николай Николаевич всегда преувеличенно хвалил ясно-

полянскую жизнь и крайне выражал свою благодарность за ту пользу, которую ему приносит яснополянская жизнь. Так, например, он пишет Льву Николаевичу 17 августа 1877 года: «Я как будто другой, как будто нашёл ту норму бодрости и серьезности, которой мне следует всегда держаться».

Он всеми силами старался быть полезен Льву Николаевичу и при втором издании «Войны и мира» предлагал внести нужные поправки опечаток и других ошибок. Кроме того, вел переговоры с издателями об издании «Войны и мира», торговался с ними и не пришел ни к какому соглашению.

Когда печаталась «Азбука» и «Книги для чтения», Николай Николаевич опять старался принять деятельное участие и помочь Льву Николаевичу. Он сам держал корректуру «Азбуки» и исправлял ее в 1872 году. Он пишет об ней так из Мшатки, от Данилевского: «За исправление «Азбуки» я еще не принимался; ее жадно читают дети Данилевского».

Он писал Льву Николаевичу и о том, что мало объявлений об «Азбуке», впоследствии огорчился, что плохо ее исправил и много опечаток.

В 1874 году представил он «Азбуку» и «Книги для чтения» в ученый комитет и пишет, что там ее критикуют по пунктам; так, в письме 22 сентября 1874 года он говорит: «Все, что бы вы ни предложили, будет отвергаться потому, что противоречит принятому и доказанному».

Лев Николаевич любил Страхова и относился всегда с уважением к его суждениям и к его огромному образованию.

Любила Страхова и моя сестра Татьяна Андреевна Кузминская, у которой Николай Николаевич в Петербурге обедал по вторникам. Дети мои, особенно Сережа, относились к Страхову тоже с любовью, доверием и уважением, а он любил их, как старые бессемейные хостяки любят семьи дорогих и близких им друзей.

В последний раз гостил у нас Страхов после смерти моего сына Ванечки в 1895 году. Ему только что сделали операцию языка, вырезали рак, но яд остался в крови, был как-то занесен в мозг, и Николай Николаевич скончался в Петербурге следующей зимой почти скоропостижно.

1870

Семинария для учителей

В то время у Льва Николаевича явилась прекрасная мысль устроить семинар для воспитания (не только преподавания) сельских учителей. Учителя эти, в свою очередь, должны были не только учить крестьянских ребят, но и воспитывать молодое крестьянское поколение, сами не выходя из крестьянского быта. Если бы мысль Льва Николаевича нашла осуществление, то, конечно, народ наш, правильно и умно воспитанный в детстве, вырос бы иной, чем он оказался теперь. Хорошо бы, если б эта прекрасная мысль воспитывать учителей, а посредством их потом народ нашла бы своих последователей. Но где теперь найти руководителей и преданных делу людей? Мысль Льва Николаевича была еще та, что летом эти учителя должны были возвращаться к своим крестьянским земельным работам.

Лев Николаевич тогда готовил и флигель наш в Ясной Поляне для учительской семинарии и писал правила к педагогическим курсам. В то же время задумывал свою «Азбуку» и «Книги для чтения». Но как Лев Николаевич ни любил педагогику, настоящее его дело — писательство над всем брало верх.

Устройство же семинарии не состоялось по следующим причинам, как мне рассказал сам Лев Николаевич. Чтобы начать это дело, потребовались бы, конечно, деньги. У нас их не было. Петр Федорович Самарин сказал Льву Николаевичу, что в Туле лежат 30 000 рублей, ассигнованные правительством на педагогическое народное дело. «Вот вы и просите эти деньги на нашу семинарию»,— говорил Самарин. Лев Николаевич подал об этом прошение. На общем съезде решили, что деньги эти пойдут на памятник Екатерине II, и отказали Льву Николаевичу наотрез.

Лев Николаевич постепенно охладел после этого к мысли о своем университете в лаптях, как он называл свою предполагаемую семинарию, и никогда не возвращался более к ней...⁴.

Учение детей и их жизнь

В этот год я уже начала учить своих двух старших детей читать и писать, а Сережу и арифметике и музыке. Оттого ли, что мы лучше и больше занимались старшими детьми, чем меньшими, но старшие — Сережа и Таня,— казалось, были самые способные и умные дети, учить их было очень радостно и легко; они сами просили, чтобы их поучить.

Уже на 8-м году Лев Николаевич сам начал учить Сережу арифметике и так часто и нетерпеливо кричал на бедного, очень прилежного и умного мальчика, что запугивал его, а я за дверями горько плакала, жалея своего сына. И какое же понимание и обдумывание задачи было возможно, когда мальчик весь дрожал от страха и криков отца?

Лев Николаевич сознавал, что дурно так сердиться и кричать, и даже просил Сережу останавливать его. Но робкий и деликатный Сережа страдал, а отца не осмеливался оговаривать и останавливать. Уча детей, мы с Львом Николаевичем находили очень несовершенными детские «Азбуки» и учебники. И снова у Льва Николаевича возникла мысль о составлении «Азбуки» и последовательного чтения для детей по образцу американских, и, кроме того, такого, которое должно бы было быть интересным, а не фальшиво-скучным, как почти все детские книги для чтения.

Вообще наш милый детский мирок все более и более требовал нашего участия и внимания.

Зимой устроили на пруду каток, и мы все, и двое старших детей, и англичанка, и приезжающие на праздники мои братья или гости,— все весело катались на коньках. Лев Николаевич со свойственной ему страстью во всем добивался делать на одной ноге круги и вообще всякие замысловатые туры на коньках. Это упражнение на катке составляло большое развлечение и удовольствие для всех. Когда снег засыпал наш каток, мы все брали лопаты и метлы и расчищали его для катанья. И так иногда проводили мы часа два на льду, при ярком морозном солнце, в тишине углубленного и защищенного со всех сторон деревьями нашего большого пруда.

Помню, как Лев Николаевич в декабре поехал в Москву и накупил там по моей просьбе и полотна на белье, и платья нам, и игрушки, и всякие вещи для елки. Все это он делал охотно и весело, и когда возвращался домой, то торжественно раскапывал вещи, дарил кое-что детям, мне, тетеньке и радовался на успех подарков. Раз он привез маленькой Тане соломенную плетеную колясочку и фарфоровых кукол, которых закинул себе всюду: в рукава, и в ворот блузы, и за пазуху, и за пояс. Он вынимал их постепенно из этих мест и отдавал Тане. При каждом появлении куколки из таких неожиданных мест был общий взрыв хохота, и Лев Николаевич и все были в восторге.

1871

Жизнь на Каралыке с башкирами

Поселился Лев Николаевич с моим братом Степой в простой башкирской кибитке без всяких удобств жизни; среди степей, в которых на огромное пространство не было ни одного деревца. Купил себе Лев Николаевич там лошадь и охотничью собаку и много охотился за утками, которых они с Степой ели, и за дрофами, которых не удалось убить.

Пили они кумыс весь день сколько входило и раздетые сидели в кибитке во время страшной жары или ходили голые по степи. Жизнь была самая первобытная, дикая, в нашей переписке с Львом Николаевичем за время его отсутствия прекрасно передана им вся его жизнь и обстановка на кумысе у башкир. Иногда он очень скучал и беспокоился о нас, о всей семье и писал мне нежные письма, но твердо держался на решении пить кумыс шесть недель и поправить здоровье. Брат Степа развлекал, поддерживал и бодрил его; слуга Иван, еще бывший с Львом Николаевичем на Кавказе, служил им и постоянно шутил, беспрестанно вставляя в свою речь французские слова, как делал это в старину на Кавказе.

Мысль о покупке самарских степей

Видя богатство тамошних земель и огромные урожаи пшеницы, Лев Николаевич, в то время стремившийся к увеличению состояния, приглядывался купить там землю. Ему сказали, что генерал Тучков продает жалованную ему царем землю, 2700 десятин по 7 р. 50 коп. за десятину. Это очень соблазняло Льва Николаевича, он собирал сведения и потом купил этот участок, уже позднее, после возвращения в Ясную Поляну. Сыновья мои и дочь Саша, получившие эту землю по разделу, продали ее уже по 75 руб. за десятину.

Первое время на кумысе у Льва Николаевича лихорадка не проходила и мучила его страшно т о с к а, о которой он мне пишет: «Ощущение, которое я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается».

Ярмарка в Бузулуке

Ездили они с братом на ярмарку в Бузулук, где его интересовали лошади и дикость башкирской жизни. Это было за 90 верст от их стоянки на Каралыке. Еще ездили они по башкирским деревням, где их везде угощали кумысом и бараниной.

Все опять осветилось для Льва Николаевича тем поэтическим светом, который он потом переносил в свои произведения.

Описывая башкирцев, он говорит: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по доброте и простоте народа».

Поправилось здоровье — воспрянул дух.

Пишет он еще: «Госка и равнодушные прошли, чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново».

Ровно шесть недель прожил Лев Николаевич на кумысе и вернулся домой здоровый, счастливый и бодрый около 5 августа. Это лечение надолго оказало ему пользу.

Хозяйственные дела Льва Николаевича

Мысль об увеличении состояния и после покупки самарских степей не оставляла Льва Николаевича. Он в своих покупках и всех хозяйственных занятиях всегда любил мечту в будущем. Или совершенствование пород лошадей и скота, скрещивание их, или выросший из посадки лес, или только что посаженный фруктовый сад, который в нынешнем, 1906 году дал такой урожай, какой никто не видывал.

В покупке участка в Самарской губернии Лев Николаевич видел в своем воображении горы пшеницы и других продуктов, видел стада удивительных пород овец и табуны лошадей, родившихся от киргизских маток и английских жеребцов. Но ни на что у Льва Николаевича не хватало ни выдержки, ни умения. Все заводилось и тотчас же гибло.

Когда Кузминский уехал на Кавказ, Лев Николаевич просил и его узнать о продающихся землях и участках казенной земли на берегу Черного моря. Он писал, что желает купить 1000 десятин по 10 рублей и чтобы плату производить в рассрочку. И в этой покупке Лев Николаевич видел выгодную будущность. Не помню, почему не состоялась эта покупка.

1872

Школа в доме

Занятый составлением «Азбуки» и «Книг для чтения», Лев Николаевич, по-видимому, хотел их испытать и использовать на деле. Кроме того, в Ясной Поляне в то время не было школы, а потребность в грамотности все увеличивалась в народе.

Однажды он пришел ко мне и высказал свое желание учить яснополянских ребят в доме, в просторной передней, кабинете и маленькой столовой внизу.

Учить по методу Льва Николаевича, т. е. выговаривая буквы: бе, те, ре,— а не по звуковой, как тогда начинал всюду входить этот способ преподавания азбуки. Я согласилась, а детям Сереже и Тане это показалось очень весело, и они просили позволить и им учить маленьких крестьянских детей. Так как я знала по себе, что, уча, учишься, и считала для детей полезным такой обязательный труд, то препятствовать их желанию не считала нужным.

Накупили всяких школьных принадлежностей и книг и начали школу по вечерам. С шумом внося морозный воздух, вваливались в переднюю оживленные ребята и тотчас размещались куда кто был назначен. Дядя Костя взял в кабинет старших, дети учили маленьких и часто шалили и смеялись с ними. Я взяла восемь девочек и двух мальчиков и учила их в столовой. Помню, у меня были две Доньки. Цветкова — умная, бойкая, училась хорошо и понимала все очень быстро. Другая Донька — толстая, добродушная, ничего не понимала и училась так туго, что ей одной уделять приходилось чуть ли не больше времени, чем на всех остальных. Задашь задачу, все стараются решить, большие, умные, серые глаза Доньки Цветковой так и блестят от желания все понять, разрешить, выучить. А Донька Матвеева сидит, улыбается и даже усилий не делает что-либо выучить.

Лев Николаевич руководил всем делом и казался очень доволен тем, что попал в любимую крестьянскую, хотя и детскую, среду и с очень любимым им делом — педагогикой.

Преподавание наше шло настолько успешно, что в неделю дети

выучились буквам и складам на слух. Всякий из нас хотел пощеголять своими учениками, и старались мы очень...

Между тем в Москве готовилась педагогическая выставка, назначенная на 30 мая, и Лев Николаевич очень заспешил с изданием к тому времени своей «Новой азбуки».

Помню, как мы с Львом Николаевичем усердно работали над этой «Азбукой». Мы сидели с корректурами оба до 4-х часов ночи, уже рассветало, когда мы легли спать. И какая была тогда ранняя, прелестная весна! Было тепло, уже в первых числах апреля цвели полевые и лесные, лиловые и желтые, цветы. Около 9 апреля уже были фиалки, и я помню, как мы с Варей Толстой и моими детьми собирали их в лесу, и Варя была уже давно невестой Нагорнова, с которым и венчалась в то же лето.

1873

Крамской

В эту же осень 1873 года недалеко от Ясной Поляны нанимали дом в так называемой Ваныкиной Даче, возле Засеки, почти на шоссе, два художника: Коровин и И. Н. Крамской.

Третьяков, которому принадлежала в Москве галерея картин, поручил Крамскому написать с Льва Николаевича портрет для Третьяковской галереи. Несколько раз пытался Крамской исполнить желание Третьякова, но Лев Николаевич упорно отказывал.

Наконец сам Крамской приехал и очень понравился Льву Николаевичу⁵. Лев Николаевич согласился, но позировать не обещал и, кроме того, поставил в условия, что Крамской напишет копию для нас за плату, которую сам назначит.

— Нет, я копии писать не могу, мне легче написать два портрета, — говорил Крамской и так и сделал.

По окончании двух портретов он предложил мне выбрать тот, который мне больше нравится, и за портрет взял сравнительно очень маленькое вознаграждение.

Помню, взойду я в маленькую гостиную, посмотрю на этих двух художников, один пишет портрет Толстого, другой пишет свой роман «Анна Каренина». Лица серьезные, сосредоточенные, оба художника настоящие, большой величины, и в душе моей такое к ним чувствовалось уважение.

Раз я их застала за разговором об искусстве. Они горячо спорили, но, к сожалению, я не запомнила их разговора. Портреты были закончены быстро, недели в две-три оба. Испортил он их отчасти тем, что написав головы и руки с натуры, весь торс написал за глаза. Лев же Николаевич тогда уехал с Оболенским на охоту и позировать не согласился. Как будто охота была важнее портрета, который будет существовать сотни лет.

Как сейчас вижу я Крамского набивающим серую блузу Льва Николаевича каким-то бельем и сажающим эту перепоясанную ремнем безголовую чучелу на стул. Если взглядеться хорошенько в портрет, то сейчас видно, как ненатуральна слишком выпяченная грудь, как неестественны складки и как мала голова сравнительно с телом.

Один из этих портретов находится в Третьяковской галерее в Москве, другой — в Ясной Поляне.

Милый, простой и умный был человек Иван Николаевич Крамской, и мы очень жалели его, узнав о его преждевременной кончине.

1877

Летняя жизнь и Оптиная Пустынь

Летом 1877 года приехала с Кавказа семья сестры моей Татьяны Андреевны Кузминской, и мы зажили своей обычной веселой летней жизнью. Кроме того, приехал гостить Николай Николаевич Страхов, и Лев Николаевич пригласил его ехать с собой в монастырь Оптиная Пустынь, славившийся в то время своими старцами, особенно знаменитым отцом Амвросием. В семье Толстых монастырь этот был искони почитаем. Туда ежегодно ездила тетенька графиня Александра Ильинична Остен-Сакен, рожденная гр. Толстая, там она и покоронена. Еще ездила туда гр. Елизавета Александровна Толстая, рожденная Ергольская, и ее сестра Татьяна Александровна, и детям Толстым было внушено особое благоговейное чувство к Оптиной Пустыни и ее старцам.

Прибыв туда, Лев Николаевич отправился к отцу Амвросию беседовать о вере и Евангелии. Подробностей этих разговоров взять негде, и сам Лев Николаевич об этой поездке мало помнит. Но беседой отца Амвросия и оптинских старцев Лев Николаевич остался доволен и признавал их мудрость.

На другое утро приезда Льва Николаевича и Николая Николаевича Страхова явился в гостиницу бывший приятель Льва Николаевича князь Дмитрий Александрович Оболенский, имение которого находилось недалеко от Оптиной Пустыни. Приехал он с Николаем Рубинштейном.

Оболенский привез Льва Николаевича к архимандриту, бывшему гвардейскому офицеру (Половцеву), и там были религиозные и политические беседы, во время которых особенно понравившийся Льву Николаевичу своим смирением старец отец Пимен тихо, как ребенок, заснул. Оттуда они вместе пошли к отцу Амвросию, а потом князь увез Льва Николаевича к себе в имение, где находилась его семья, а Страхов остался в гостинице. У Оболенских Льву Николаевичу было очень весело, добродушная жена Оболенского Дарья Петровна, молодежь и прелестная игра Николая Рубинштейна на рояле — все это доставило Льву Николаевичу большое удовольствие. Тогда он еще не отрицал музыки, а любил ее откровенно и просто. Он никогда и не переставал, как настоящий художник, любить музыку и всякое искусство, но дух отрицания вселился в него так сильно, что он одно время все крушил на пути своей жизни, что не было землей, народом и сельским трудом.

В это же лето Лев Николаевич ездил вместе с Страховым к Фету в деревню Степановку. В своих воспоминаниях Фет пишет, что у них, чуткий эстетик по природе, Лев Николаевич так и набросился на игру m-me Оберлендер. Он садился с нею играть в 4 руки, и переиграли чуть ли не всего Бетховена.

И никогда не мог Лев Николаевич отрешиться от своей любви к музыке.

1878

Тургенев и Урусов

В августе мы ждали к нам Тургенева, с которым Лев Николаевич был раньше в ссоре. Я пишу в своих записках об этом следующее: «Все более и более приходя в религиозное настроение, Льву Николаевичу стало грустно думать, что есть человек, с которым он как будто в враждебных отношениях, и он весной написал Тургеневу письмо

в Париж, в котором, между прочим, писал: «Простите меня, в чем я был виноват перед вами». Тургенев отвечал: «Охотно жму протянутую руку»...»

И Тургенев приезжал к нам 8 августа дня на два уговаривать Льва Николаевича участвовать в празднестве, устраиваемом в Москве в память поэта Пушкина. Лев Николаевич вообще не любил никаких юбилеев, празднеств, речей, обедов, никогда в них не участвовал и на этот раз тоже отказал Тургеневу.

Еще раз Тургенев заехал к нам в сентябре ⁶.

С Тургеневым Лев Николаевич много философствовал и спорил. Помню я, как наступило уже время обеда, нет ни Тургенева, ни Льва Николаевича. Я догадалась пойти их поискать в лесу Чепыже, в новой избушке Льва Николаевича. Прихожу — действительно стоит мощная фигура Ивана Сергеевича, который жестикулирует, весь красный, что-то оспаривает, а Лев Николаевич, тоже разгоряченный, ему что-то доказывает. К сожалению, этого что-то я не слышала.

Вечером споры приняли чисто религиозно-философский характер; у нас был еще в то время в гостях князь Леонид Дмитриевич Урусов, горячий последователь ученья Льва Николаевича о христианстве, частый посетитель Ясной Поляны и большой, преданный друг всех ее обитателей. Впоследствии этот князь Урусов прекрасно перевел сначала «Изречения Марка Аврелия», а потом «В чем моя вера» («Ma Religion») на французский язык — сочинение Льва Николаевича.

Урусов любил всякие религиозно-философские произведения и мысли. Он и меня приохотил тогда к чтению философов: Сенеки, Марка Аврелия, Платона, Эпиктета и других. Я жадно принялась тогда читать все подряд, делая выписки и буквально упиваясь философией. Эту область никто никогда передо мной не открывал, только в молодости, лет 16-ти, я читала много философии материалистов по рекомендации моего русского учителя — читала Бюхнера, Фейербаха; теперь, когда князь Урусов меня просветил и указал мне на красоту, глубину и важность философских вопросов, я с горячностью и энергией своей натуры отдалась всецело наслаждению чтения, особенно древних мыслителей, и много выписывала и даже заучивала из прочитанного. Мы с ним часто беседовали на всякие темы духовной жизни людей старого и нового времени, и когда впоследствии он переводил «В чем моя вера», мы вместе проверяли перевод, и князь внушал мне все величие мышления моего мужа и предсказывал, что оно охватит со временем весь мир. Когда мы занимались с ним раз вместе, он вдруг мне сказал: «Не правда ли, графиня, что ничто людей так не сближает и не привязывает друг к другу, как совместная умственная работа?»

Продолжение: Тургенев и Урусов

...В тот вечер, на котором я остановилась, были очень горячие споры, и князь Урусов, доказывая что-то Тургеневу, вдруг отъехал на своем стуле от стола и упал, как-то сразу сев на паркет. Сидя почти под столом, он с выразительными жестами продолжал свои горячие доказательства, что вызвало общий смех, а Тургенев, нарочно искажая фамилию Урусова, отошел с усталым видом от стола и сказал: «Ах, этот Трубецкой меня совсем измучил, он своими доводами меня с ума сведет».

В этот приезд рассказывал нам Тургенев удивительно художественно о впечатлении, произведенном на него статуей Антокольского ⁷, и еще о собаке Пегас.

1879

...В Киев же стремился Лев Николаевич очень и пишет мне, что город его притягивает. Но уже во втором письме видно, что он разочаровался в том, что ожидал.

Рассказывает Лев Николаевич об этой поездке еще следующее: что когда он приехал в Киев, он хотел остановиться где-нибудь в Лавре. Но стечение народа было так велико, что нигде уголка не было. У ворот жили в двух входных башенках два привратника, послушника. К ним обратился Лев Николаевич с просьбой его где-нибудь устроить. Они сочли его за простого человека, так как в то время он уже упростил и свои привычки и свою одежду до последней степени простоты и даже скупости. Привратники пригласили его к себе в башенки, где Лев Николаевич и прожил два дня. Один из них был из Бессарабии, человек простой, работающий, без всяких религиозных запросов. Другой был солдат, еще молодой, проделавший Турецкую кампанию с взглядами, что с неверными война не противна богу, и поступивший в монастырь по религиозным убеждениям. Лев Николаевич говорил, что это был красивый, умный и замечательный человек.

Понравился ему еще по простой и искренней вере своей молодой монах в пещерах. Но когда он в своем плохоньком пальто пошел беседовать о вере с монахами в высших монастырских сферах, то один из них, не зная, что это барин, да еще граф, резко сказал: «Мне некогда». А другой грубо и бессмысленно настаивал на неизбежности и законности войны.

1880

В конце апреля мы получили от Тургенева письмо, что он едет к нам, и, кажется, около 2—3 мая он приехал в Ясную Поляну, чему мы все, в особенности же я, очень радовались.

Ездили мы с ним на тягу по ту сторону речки Воронки, в молодой лес, граничивший с Засекой. Стали по разным углам небольшой полянки Лев Николаевич и Иван Сергеевич. Стою и я возле него, прислушиваемся, не летит ли вальдшнеп.

— Отчего вы больше не пишете? — спрашиваю я Ивана Сергеевича.

— Не могу, — отвечал он.

— А что надо для того, чтобы писать? — спрашиваю я.

— Нас тут никто не слышит? — как бы шутя и оглядываясь во все стороны, спрашивает меня шепотом Тургенев. — Так вот, душа моя, я вам скажу, что всякий раз, как я что-нибудь писал, меня перед этим трясла лихорадка любви. Чтобы писать, я должен влюбиться. А теперь, увы, я стар и не могу делать ни того, ни другого.

— Как жаль, — сказала я. — Ну, влюбитесь хоть в меня, — пошутила я. — Только чтобы опять начать писать.

— Нет, ни в кого больше не могу влюбиться. Все кончено, — с грустью задумчиво прибавил Тургенев, и я невольно вспомнила его стихотворение в прозе «Старик», и мне стало грустно.

Вечер был чудесный, но вальдшнепа убил только Лев Николаевич, и того ни собака, ни мы не нашли.

Пробыл у нас Тургенев только два дня; заказывал себе чисто русские обеды: манный суп с укропцем, пирог с рисом и курицей, гречневую кашу и другое. Он много беседовал с Львом Николаевичем, был ласков, тих и нежен и говорил Льву Николаевичу: «Как я рад, как хорошо, что вы женились на вашей жене».

Страхов писал в то время Льву Николаевичу: «Ваше свидание с Тургеневым и ваша работа ужасно радуют меня и тянут в Ясную. Да, бесценный Лев Николаевич, вы дошли до конца и стали твердо».

Лечение народа

Все это были хлопоты веселья, но приходилось немало и других хлопот. Доктора в то время у нас ни дома, ни в деревне поблизости не было, и ко мне приходили всегда больные со всех окрестных деревень и, конечно, также из Ясной Поляны. Своих детей, семью Кузминских и весь персонал гувернанток и прислуг — всех лечила я сама. Отчасти вынесла я кое-какие знания из моего родительского дома, отчасти научилась от докторов, лечивших в нашем доме, уже когда я вышла замуж, а то справлялась по лечебникам, особенно по Флоринскому⁸. Рецепты докторов я всегда берегла и по ним, зная, в каких случаях употреблялись лекарства, я их брала и для своих больных. Счастливая у меня была на это рука, и много я получила радости от выздоравливающих моих пациентов и пациенток. Бывало, особенно летом, выйдешь на крыльцо, а тут уже стоят бабы, одни и с детьми, стоят телеги с привезенными больными. Всякого расспросишь, посмотришь, дашь лекарство. А то сколько раз пришлось присутствовать при тяжелых родах.

Раз я целую ночь почти провела с роженицей, давала ей даже спынью, а к утру все кончилось благополучно. Но я была страшно встревожена тем, что у всех детей рожавшей бабы была скарлатина. Одного мальчика тут же в избе рвало прямо на пол, двое были в сыпи, старший мальчик раздулся, у него было осложнение в почках, а потом недели через три он умер.

У самой у меня тогда было уже много детей, и меньшего я кормила. Кажется, это был еще маленький Николушка, умерший впоследствии. Помню я, как прямо из избы я отправилась зимой в пустой, нетопленный флигель, сняла там решительно все, что на мне было, наскоро вымыла голову и тогда только вернулась домой. Другой раз меня позвали к роженице, истекающей кровью. Я тотчас же послала за акушеркой, не умея сама остановить кровотечение. Акушерка приехала из Тулы, но как ни старалась, никак не могла остановить крови и вдруг, совсем растерявшись, начала кричать: «Смертные ключи открылись, она умрет».

Тогда я на нее прикрикнула и велела продолжать вкладывать тампоны. К утру бабе стало легче, и она долго еще жила потом. Старший сын ее Игнат был у нас кучером, и я очень любила эту несчастную женщину, которую бил и мучил злой муж.

Спасла я еще женщину, у которой были неблагополучные роды. Спасла не сама, а послала за нашим доктором, умным и прекрасным человеком — Александром Матвеевичем Рудневым. Долго пришлось ему возиться с трудной операцией, при которой уже заранее умершего ребенка пришлось резать на части, чтобы извлечь из матери. Я помогала доктору как могла, но все эти случаи страшно волновали меня, и я не могу сказать, чтобы это было легко, чтоб я любила это дело лечения и акушерства. Но странное имели наши бабы доверие ко мне. Помню, из нашей деревни мучилась трое суток невестка нашего кучера Филиппа, все шло нормально, а она только одно просила: «Позовите вы графиню, у нее рука легкая, я скоро рожу». Делать нечего, пошла я к ней, посидела часа три, прибегла к разным невинным наружным средствам, и действительно все скоро и хорошо кончилось, и родился прекрасный мальчик.

Впоследствии я бросила это дело, передав дочери Маше, которая

усерднее и лучше продолжала лечить народ, сама походив в Москве в больницы и клиники, где многому научилась. Вот она действительно любила лечить, легко выносила вид ран, крови, даже страданий. Усердие и самоотверженность в ней были удивительные. Например, она бегала ежедневно в Телятинки за три версты промывать и перевязывать рану на ноге мужика, от раны уже было зловоние и куски отгнившего тела отпадали, а она продолжала свое доброе дело.

Стасов

В октябре 1880 года в первый раз посетил нас Владимир Васильевич Стасов, и я только тогда познакомилась с ним. В нашей однообразной деревенской жизни такой посетитель произвел большое впечатление, и он мне тогда очень понравился. Ему было уже 56 лет, но, пылкий, громкий, говорящий обо всем повышенно, картинно и крайне, он был более похож на юношу, чем на пожилого человека. К сожалению, подробностей его разговоров я не могу восстановить ни по памяти, ни по моим скудным материалам, помню, что он попросил у Льва Николаевича рукопись «Военных рассказов» для Публичной библиотеки в Петербурге и рукопись эту, уезжая, забыл на рояле. Я была этому очень рада и уже не отдала Стасову рукопись, за что он долго после сердился на меня. Главное, что меня очаровало в Стасове, это его отношение пылкое ко всякому искусству. Он любил искусство во всех его проявлениях, и в этом никто бы не мог горячее ему сочувствовать, как я.

Репин

В Москве в то время жил художник Репин, и Лев Николаевич посетил его в его мастерской. Он говорил Репину свое мнение об искусстве, находил, что картина «Проводы новобранца» холодна, о картине «Запорожцы» выразил мнение, что это не картина, а этюд, потому что в ней нет серьезной, основной мысли. Значение картины должно быть более высокое.

Репин в своем письме Льву Николаевичу после его посещения пишет ему о своей благодарности за посещение и за мнение его об искусстве вообще и о картинах его.

Репин пишет 14 октября 1880 года: «Раздумывая о каждом вашем слове, мне все более выясняется настоящая дорога художника... Вы принесли мне громадную духовную пользу...»

Я замечала часто, что Лев Николаевич умел всякого художника, музыканта, писателя — вообще всех служителей искусства воодушевлять и возбуждать в них своим обаянием и своим горячим отношением к искусству и энергию и лучшие их силы.

Так было тогда с Репиным, так раньше писал ему Чайковский, когда Лев Николаевич слушал его квартет⁹. То же испытал давно игравший у нас скрипач Нагорнов и позднее другие музыканты. Об этом подъеме энергии и лучших духовных сил, проявлявшихся после замечаний и сочувствия Льва Николаевича, пишут и Н. Н. Страхов и Бакунин, критическую статью которого похвалил Лев Николаевич¹⁰.

Искания Льва Николаевича

Работая усердно над своими религиозно-философскими сочинениями, Лев Николаевич и в жизни всячески старался провести свои идеи.

Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно

искал везде страдания людей, насилие над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным.

Это осуждение и отрицание распространилось и на меня, и на семью, и на всех и все, кто был богат и не несчастлив. Жаль было видеть, как Лев Николаевич вдруг стал страдать за человечество, вследствие чего был чрезвычайно мрачен. Точно он отвел глаза от всего в мире, что было радостно и счастливо, и обратил их в противоположную сторону. Николай Николаевич Страхов пишет в то время, что Лев Николаевич находится в странном религиозном настроении и обращается к нему с следующими словами: «Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясном и живом сознании... У вас всегдашнее сильнейшее отвращение от всех форм фальшивой жизни»...»

1881

О своем мирозерцании Лев Николаевич говорил, что у него изменился весь взгляд на людей. Прежде был небольшой известный кружок людей своих, близких, теперь же миллионы людей стали братьями.

Все решительно заинтересовались в то время резкой переменой Льва Николаевича, и доискивались причин, и огорчались, что он оставил свою художественную деятельность.

Графиня Александра Андреевна Толстая пишет Льву Николаевичу, что Достоевский очень заинтересовался настроением Льва Николаевича и просил ее достать ему статьи религиозные, написанные в последнее время¹¹. Но не пришлось Достоевскому ознакомиться с последними сочинениями Льва Николаевича, так как он неожиданно умер в этом же 1881 году. Уже 3 февраля я пишу, что Лев Николаевич не знал Достоевского, но огорчился его смертью...¹².

Пока его со всех сторон разбирали и обсуждали, Лев Николаевич шел своей дорогой, ища, мучаясь и прислушиваясь ко всяким религиозным верованиям. Так, например, он просил мужа моей сестры Александра Михайловича Кузминского узнать в Харькове, где он в то время служил, о том, есть ли там штундисты, какое их там положение и действительно ли там существует такая секта. Он даже собирался съездить в Харьков.

На это мой зять Кузминский отвечает из Харькова 14 февраля 1881 года, что там штундистов нет, а что, вероятно, Лев Николаевич смешал их с субботниками, которых в Харькове много.

Убийство царя Александра II

3 марта 1881 года поехала я в Тулу отдать визит Лопухиным, у которых часто бывал мой сын Сережа, и они были к нему очень ласковы. У заставы меня спрашивали люди: «Слышали вы, нашего царя убили?» «Как?» — с ужасом спросила я. «Мало ли мин под него подводили: вот карету разорвало, и убили».

С тяжелым сердцем приехала я домой, в Ясную Поляну, с этим известием. А там тоже уже было сообщено это событие прохожим мальчиком, итальянцем, который показывал дрессированную птичку, вынимавшую клювом бумажки с заданием из ящика, куда они вкладывались. Показывая свою птичку, он монотонным грустным голосом приговаривал: «Мой птиц не ел, царя убиль». «Что? Кого убили?» — спросил Лев Николаевич. «Царь убиль», — повторял мальчик.

Когда я приехала, я подтвердила сведения маленького итальянца и видела, как искренне был огорчен Лев Николаевич. Вообще же нас поражало, как общество и народ спокойно и равнодушно отнеслись к этому событию, по крайней мере у нас в Туле и ее окрестностях.

Льва Николаевича особенно огорчало то, что молодой царь, вступая на престол, сразу должен был совершить жестокое дело — казнить убийц отца. Еще до суда, в марте, Лев Николаевич решил написать государю Александру III письмо, в котором он просил о помиловании убийц и убеждал молодого царя не начинать своего царствования с дурного дела, а стараться душить зло добром и только добром, и слова свои Лев Николаевич основывал на Евангелии, которым был в то время весь духовно пропитан¹³.

На письмо это Александр III велел сказать графу Льву Николаевичу Толстому, что если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить. И вот повешены были тогда пятеро, к ужасу Льва Николаевича, в том числе Софья Перовская, женщина, что в то время возмущало многих.

Второе путешествие в Оптину Пустынь

В начале июня Лев Николаевич, которому дома все было скучно, собрался опять в Оптину Пустынь, но на этот раз пешком, и взял с собой лакея Сергея Арбузова и учителя яснополянской школы Дмитрия Федоровича. Вышли они приблизительно около 10 июня, и Лев Николаевич мне с дороги уже пишет 11 июня 1881 года: «Дошел хуже, чем я ожидал. Натер мозоли... я никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгляда на жизнь) увидеть, как живет мир божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе...»

Сохранилась маленькая записная книжка, в которой наброски карандашом, сделанные Львом Николаевичем в дороге. Тут кое-какие сведения о путешествии, как, например, что свернули с дороги и зашли в Мананки, деревню, где был священником Владимир Акимович, бывший учитель яснополянской школы, у которого и отдыхал Лев Николаевич. В этой же книжечке неясные наброски, понятные только самому Льву Николаевичу, впечатлений в дороге и материалов литературных. И вот что он пишет о своем путешествии: «Пришли в гостиницу. Ефим сердитый. Здесь странноприимный дом. Вот здесь и спи. Ты нажрался, а я не ел. Вот сюда сядь...»

Ефим был монах, гостиник в грязном, полном клопов странноприимном доме. Лев Николаевич был в синей мужицкой рубашке, поддевке и лаптях, и его принимали с презрением. Даже лакей Сергей, который был в шляпе-котелке, пользовался большим уважением. Льву Николаевичу дали маленький грязный номер с клопами, и он две ночи после усталости от ходьбы не мог все-таки спать от клопов. Ел он за общей монашеской трапезой и говорил, что все было очень вкусно: квас, борщ, каша. Ели из одной чашки несколько человек, и рядом с Львом Николаевичем сидел немой.

Перед каждой трапезой читалась общая молитва, но, по наблюдению Льва Николаевича, молиться никому не хотелось и никто и не молился.

Через два дня Льва Николаевича встретил его бывший еще крепостной, а теперь иеромонах, забыла, как по имени. Он тотчас же узнал Льва Николаевича и так взялся: «Ваше сиятельство, что же это вы так смирились? Пожалуйста в другую гостиницу».

И Льва Николаевича перевели в прекрасный номер более рос-

кошной гостиницы, и почет ему был уже совсем другой. Все узнали, что граф, поклоны, ваше сиятельство... — все переменялось.

В этой гостинице Льва Николаевича встретила какая-то женщина, все приговаривавшая: «Отца-батюшку убили, меня, грешную, погубили...»

Отец Амвросий

О своем свидании и беседе с отцом Амвросием Лев Николаевич еще мне на днях рассказывал следующее.

У отца Амвросия он провел два часа и беседовал с ним о религиозных вопросах и об Евангелии. В этом разговоре Лев Николаевич обличил отца Амвросия в неточном знании одного места из Евангелия. Дело было так. Отец Амвросий говорил, что право отпущения грехов дано только церкви, и основывал это на тексте (Матф., гл. 18, ст. 15), цитируя его следующим образом: «Если же согрешил брат твой... то поди» — и т. д. Лев же Николаевич говорил об отношениях людей между собой, в доказательство чего приводил, что в тексте сказано не просто: «Если же согрешил брат твой...», а «если же согрешил брат твой тебе».

Отец Амвросий отрицал слово тебе, но Лев Николаевич доказал ему свою правоту по Евангелию.

Еще беседовал он с монахом, отцом Ювеналием, и с ним поспорил и обличил его в незнании притчи об ужине, что одни из ужинавших побили посланных.

Из беседы с отцом Амвросием еще записаны Львом Николаевичем его слова: «Нищенство — совершенство. Ищите совершенства, но не удаляйтесь от церкви».

О различии людей и разных положений отец Амвросий говорил, сравнивая их с звездами: «Звезда от звезды отличается, так и человек. Как здесь: генерал, полковник, поручик, так и там будет».

На эти слова Лев Николаевич делает свои замечания, что отцу Амвросию кажется, что чины — это что-то натуральное (реальное), с чем можно сравнивать.

Но как ни старался Лев Николаевич найти спокойствие души и удовлетворение запросам ее, он был часто мрачен и писал знакомым и незнакомым лицам. Например, Николай Николаевич пишет Льву Николаевичу в июле 1881 года: «Как вы печально пишете... Ваша мысль о смерти больно поразила меня... 30-го буду у вас».

Сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей о ней пережил Лев Николаевич во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в этот вечный страх смерти, и объяснить его можно только тем, что редко в ком приходится встретить такую силу и полноту жизни — физической и моральной, — которая переполняла все существо Льва Николаевича и которая инстинктивно не могла не ощущать предстоящее ей неизбежное разрушение.

Гимназия и занятия детей

Но как ни будь расположен, когда вокруг большая семья, то надо же что-нибудь предпринимать. И вот Лев Николаевич отправился в казенную гимназию у Пречистенских ворот и узнавал там все условия поступления мальчиков, Ильи и Левы. Оказалось, что с Льва Николаевича потребовали подписать бумагу, что он отвечает за своих сыновей и ручается за них, что они не будут принадлежать ни к какому вредному обществу. Это насилие раздосадовало Льва Николаевича, он нашел это требование бессмысленным и отказался подписать бумагу.

Тогда кто-то указал Льву Николаевичу на гимназию частную, Льва Ивановича Поливанова, пользовавшуюся теми же правами, как и казенные классические гимназии. Лев Николаевич пошел к Поливанову, все ему там очень понравилось, как и сам директор, и отдали туда Илью в пятый класс и Леву в третий.

Лев Николаевич и Сютаев

...Не помню, кто именно свел Льва Николаевича с сектантом, стариком, крестьянином Тверской губернии Сютаевым. Кажется, Пругавин, писавший о Сютаеве, указал на него. Но помню, что Лев Николаевич очень был им увлечен в эту осень. Он поехал к Сютаеву в Тверскую губернию, в его деревню, посмотреть, как живет этот христианин-раскольник, и поговорить с ним. Там же в Твери Лев Николаевич повидался и с своими старыми знакомыми Бакуниными.

Сютаев проповедовал братство между людьми, отрицал всякое ограждение имущества, и у него нигде не было ни заповор, ни замков. Всякую внешнюю обрядность он осуждал и не признавал, и любимой поговоркой его было: «Все в табе (тебе)».

Сютаев сам выезжал за Львом Николаевичем на станцию, и когда они ехали с вокзала, Сютаев так заговорил с Львом Николаевичем, что пара лошадей куда-то завернула и опрокинула на них телегу. В своих речах Сютаев свои убеждения с натяжкой пригонял к словам Евангелия.

Не любил Сютаев и всякие учреждения, особенно детские. Говорил, что надо сирот и бедных детей разбирать по рукам и воспитывать и кормить их тем, к кому они попадут. Сютаев в ту осень приезжал к нам, в дом Волконского, и Репин одновременно с моей дочерью Таней нарисовал его портрет, который и теперь находится в Третьяковской галерее в Москве.

Разговор о том, что надо разбирать детей по рукам, возник вот по какому случаю. В зоологическом саду показывали слонов и устраивали какое-то торжественное шествие с слонами, для этого наряжали и нанимали уличных мальчишек. На одного из таких как-то набрел Лев Николаевич, он ему показался очень жалким, и его взяли к нам. Жил он на кухне, мы о нем заботились, но он так скучал, что опять ушел и стал заниматься в зоологическом саду на шествие с слонами в costume.

Новые замыслы

...Лев Николаевич хотел писать историю интеллигентного человека, отказавшегося от жизни своей среды и ушедшего с переселенцами на новые места. Эта жизнь на новых местах, это народное робинзонство всегда привлекало Льва Николаевича.

Задумав этот рассказ о переселенцах, Лев Николаевич на прогулках по большой дороге много беседовал с народом и, как всегда, вносил в свои записные книжки все, что ему казалось интересным из рассказов встречающихся ему на большой дороге людей, да и просто он вписывал множество чисто народных слов прохожих богомольцев, странников или крестьян, идущих и возвращающихся с работ с разных концов России и с разными наречиями тех местностей, откуда они произошли. «Я бросаю все это в свой умственный ящик и выбираю из него, что мне бывает нужно для писания», — говорил мне Лев Николаевич.

И опять поражаало его, что идут по всей России люди без денег,

без хлеба и их пустят на ночлег в избы, накормят, им помогут. «И что держит русский народ в таком дружном единении?» — спрашивал он себя. И ответ был тот, что держит их одна и та же вера, церковь, православие.

«Если хочешь быть и ты в этом дружном единении, исповедуй с народом одну и ту же веру», — мысленно говорил Лев Николаевич, говорил об этом и мне, и стал искать истины и религии в исполнении всех обрядностей православной церкви. Повторяю, что в 1876 году это едва зашевелилось в душе Льва Николаевича и только в 1877 году достигло полного развития и уже начало переходить в отрицание в 1878 году.

1882

Николай Николаевич Ге

В феврале приехал к нам знакомиться с Львом Николаевичем уже знаменитый в то время живописец Николай Николаевич Ге.

Он прямо бросился обнимать и целовать Льва Николаевича, выражая ему самую восторженную любовь. Плешивый, с длинными вьющимися седыми волосами вокруг довольно плоской головы, особенно торчавшими над ушами, сухой, с удивительно выразительными глазами, красивым носом и симпатичным обликом всего его существа, Николай Николаевич Ге всех нас сразу обворожил. Вне области искусства он был скорее легкомысленного, веселого характера, чувствовалась в нем французская кровь, он увлекался легко и в спорах и в разговорах, увлекался и людьми и даже женщинами. Но несмотря на увлечения, он был умен и всегда знал отлично, что хорошо, что дурно, что настоящее и в жизни, и в людях, и в искусстве. Говорил он выразительно, красиво и картинно, и когда впоследствии, изучая до мельчайшей тонкости Евангелие, он горячо рассказывал свои предполагаемые сюжеты картин, то в уме его и в речах картины выходили поразительные по красоте, но по исполнению потом, насколько я помню, картины были гораздо хуже, беднее его речей и разочаровывали меня.

Очень люблю я его небольшую картину, в которой изображен выход из каменного здания Христа с учениками после тайной вечери¹⁴. Стоит Христос, смотрит на небо. Иоанн, ученик, оглядывается по сторонам, некоторые апостолы уже идут, и лунная ночь, южная природа, какой-то голубой свет и торжественное настроение. Когда я хвалила ему эту картину, он был очень счастлив и подарил мне с нее фотографию. Христианство и Евангелие, которое он потом всегда носил в кармане, были главным звеном, соединявшим дружбою Льва Николаевича и Николая Николаевича. Они до конца жизни Николая Николаевича Ге, умершего в 1894 году, оставались близкими друзьями, и чем больше я узнавала Николая Николаевича, тем больше любила и ценила его. Это был настоящий художник по натуре — искренний, горячий, любящий свое дело больше всего на свете. Бывало, он упрекает мою дочь Таню за то, что она не занимается живописью, и говорит ей: «У тебя способности завидные, а вот страсти к живописи нет».

«Для того, чтобы быть настоящим художником по всякой отрасли искусства, — говорил Ге, — нужны два условия: талант и страсть к делу. Если талант без страсти или страсть без таланта, то ничего не выйдет».

Кстати, приведу и мнение Льва Николаевича о таланте:

«Настоящая проба таланта и он истинен и велик, если он совершенствуется с годами, а если вспыхнет, только пока страсти и жизни много, то он ничтожен и обманчив.

А главное, в человеке талантливом должна быть любовь к своему искусству, оно должно мучить его и доставлять наслаждение. Эта любовь-то и есть дар божий, искра небесного огня, который делает из человека великого художника. Он есть признак сильного, истинного таланта».

Еще Лев Николаевич говорил, что есть два рода талантливых натур: у одних есть дарование, вкус и мера, а нет любви к своему делу, нет внутреннего огня. А другие, напротив, весь огонь, любовь и желание достигнуть цели, а способности выражать — мало.

И вот в Тане не было этой страсти, и жаль. Репин тоже считал Таню очень талантливой, но жизнь забрала Таню больше, чем искусство...

Из произведений Николая Николаевича Ге я очень люблю и ценю его рисунки к рассказу Льва Николаевича «Чем люди живы». Хороши были и его рисунки — иллюстрации к Евангелию. Но замысел, композиция рисунков были лучше всегда, чем исполнение. Точно исполнив свою мысль, мечту в набросках, Николай Николаевич ими удовлетворялся и пренебрегал дальнейшей отделкой.

Помню я, как он привез в Ясную Поляну свои рисунки — иллюстрации к Евангелию — и развесил их во всю длину стены нашей большой залы и, позвав нас, как-то торжественно на них указал. Наброски по мысли были некоторые очень содержательны, но все это была какая-то мазня черным карандашом, мучившая мои близорукие глаза и исполнением нарушая впечатление содержания.

Когда кончен был мой портрет ¹⁵, Николай Николаевич Ге со своей женой уехали, обещав бывать у нас и дружить с нами. Впоследствии мы познакомились с их двумя сыновьями, Петрушей и Колечкой, и Колечка, прелестнейший молодой человек, был потом и нашим близким другом...

Из Ясной Поляны еще писал мне Лев Николаевич, что Москва все-таки дала ему многое, как, например, знакомство с Сютаевым, Владимиром Федоровичем Орловым, Николаем Федоровичем Федоровым, библиотекарем Румянцевского музея, заинтересовавшим Льва Николаевича своей аскетической жизнью и своей теорией о том, что смерть не должна быть...

Этот Федоров и вид имел аскета. В библиотеке музея он был незаменим, он все знал, мгновенно отыскивал все что нужно и умел лично советовать всякому, какие книги и источники могут быть полезны и нужны по всякой отрасли занятий.

Лев Николаевич любил с ним беседовать и часто ходил в Румянцевский музей заниматься.

«Перепись в Москве мне тоже многое уяснила», — пишет мне Лев Николаевич.

...Фет любил проводить вечера у нас. Он говорил, что, живя в Москве, он не любит посещать ни театр, ни концерты, ни вечера. «Я люблю с а м о в а р», — коротко отрезал он. Мы рассмеялись. «Что это значит?» «А то, что я знаю, что в таком-то доме в 9 часов вечера стоит самовар и сидит милая хозяйка. Вот этот-то самовар и привлекает меня».

Действительно, самовар этот был у нас всю жизнь, но, к сожалению, вокруг него не всегда было хорошо и уютно.

Сломилась жизнь

Не могу сказать, чтоб дальнейшая моя жизнь была лучше или даже такая же, как предыдущая. Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей и дочерей. Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье¹⁶. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителей в лице отца, а тоже только порицателя. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит все хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно, а когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости.

Поссорился Лев Николаевич в тот год и с своим старым другом графиней Александрой Андреевной Толстой, которая после посещения нас в Москве, где религиозные споры доходили до крайности, пишет мне с горечью: «Уезжая из Москвы, я видела, что Лев Николаевич не хочет больше переписываться. Он всегда жил только с своими мыслями и убеждениями, другим не предписывал никакой ценности».

В своей записной книжечке интересно пишет Лев Николаевич об отрешении своем от реальной жизни: «Мое пробуждение состояло в том, что я усомнился в реальности теперешнего мира. Он потерял для меня значение. Трудно представить изменение мирозерцания, а возможно».

Трудно ему, а как же возможно подобное мирозерцание предписать и внушить полным жизни людям и детям, окружающим Льва Николаевича?

В другом месте он еще записал: «Пример низшего служения: я имею страсть к земле. Я приобретаю землю, и целый ряд рассуждений слагается во мне и доказывает, как это необходимо для моих детей».

Высшее служение:

«У меня болит печень, мне тяжело жить, и жизнь представляется мне ходом к смерти — представляется мне моментом в сравнении с вечностью, ничтожеством.

Но желчь разрешилась, я любим и люблю, и смерть представляется мне крайней (бесконечно малой) точкой...

Мне не надо, глупо бы было думать о ней, о смерти. Есть только жизнь, которую надо прожить наилучше, и на нее напречь силы...»

Еврейский язык

Лев Николаевич вскоре после нашего переезда задумал вдруг учиться по-еврейски. Ему хотелось читать Библию и Евангелие по-еврейски. Для этого он пригласил очень почтенного человека, много и приятного еврея, раввина Минора. Он приходил давать уроки Льву Николаевичу, беседовал с ним...

Меня очень пугало занятие еврейским языком Льва Николаевича. Я еще хорошо помнила, как он совершенно расстроил свое здоровье изучением греческого языка¹⁷. Но, к счастью, выучившись читать еще не очень хорошо, Лев Николаевич бросил это занятие... Это напряжение умственных сил все-таки дурно повлияло на Льва Николаевича, он стал не в духе, более мрачен и утомлен нервами, чем был, когда мы только что приехали.

1883

Из самарских степей Лев Николаевич писал мне очень часто, и в нем как будто проснулась опять прежняя нежность и привязанность ко мне. Но я уже не доверяла ей, не по-прежнему радовалась и отвечала на эти временные порывы, а берегла свое сердце и свою душевную независимость. Он пишет мне: «Я вернусь к тебе ближе, чем я уехал. Мне тут скучно, и пусто, и нехорошо без тебя и без работы — оба эти нужны мне для жизни. Я утешаюсь тем, что я сплю эти 5 недель, и, выспавшись, буду лучше и с тобой жить, и работать».

Но лучше он стал со мной на короткое время. Я знала эти периоды страстности после разлуки, я боялась их, не любила этого захвата моей жизни в эту область взаимных страстно-любовных отношений и, измучившись сердцем, была уже не прежняя. Мне было часто жаль себя, своей личной одинокой жизни, уходящей на заботы о муже и семье, во мне просыпались чаще другие потребности, желание личной жизни, чтоб кто-нибудь в ней участвовал ближе, помогал мне и любил бы меня не страстно, а ласково, спокойно и нежно. Но этого так никогда в жизни и не было. Когда кончилась страстность, ее заменила привычка и холодность.

Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше.

Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых. Брат его Сергей Николаевич тоже прожил честную женатую жизнь со своей немолодой уже давно цыганкой Машей, некрасивой и совершенно ему чуждой по всему.

Почтовый ящик

Упомяну еще о нашем яснополянском почтовом ящике, в котором часто характерно отражалась наша летняя жизнь и настроение его жителей. Так, например, кто-то, кажется сам Лев Николаевич, писал «Идеалы Ясной Поляны»:

Льва Николаевича: нищета, мир и согласие. Сжечь все, чему поклонялся, поклоняться всему, что сжигал;

Софии Андреевны: Сенека. Иметь 150 малышей, которые никогда бы не становились большими;

Татьяны Андреевны: вечная молодость, свобода женщин;

Татьяны Львовны: стриженная голова. Душевная тонкость и постоянно новые башмаки;

Ильи Львовича: тщательно скрыть от всех, что у него есть сердце, и делать вид, что убил 100 волков;

Марии Александровны (Кузминской): общая семья, построенная на началах грации и орошаемая слезами умиления;

М-ме Сеурон: изящество;

Веры Александровны Кузминской: дядя Ляля (т. е. Лев Николаевич);

Коли Кисленского: быть разнообразным и глубоко понимать музыку;

Елены Сергеевны: верховая езда и старый муж;

князя Урусова: расчет в крокет и забвение всего земного;

Ольги Ивановны (учительница русская): свобода;

Лели (сына): издавать газету «Новости»;

Маши: звуки гитарных струн;
 Елизаветы Валерьяновны Оболенской: счастье всех и семейность
 вокруг;

идеалы малышей: напихиваться весь день всякой дрянью и изредка для разнообразия зареветь благим матом.

Приведу еще одну полушуточную характеристику жителей Ясной Поляны, не помню кем составленную, кажется самим Львом Николаевичем.

Что от кого родится:

от Льва Николаевича: книжки и мужики у крыльца;

от Татьяны Андреевны: кексы, пироги с вареньем, хорошенькие девочки и католические мальчики;

от кн. Урусова: споры, приятности в обращении, гостинцы и мальчик Сережа;

от m-me Seuron: des bonnes manieres, les verbes à copier et un beau garçon*;

от Ольги Ивановны: грамматика и простые умные разговоры;

от Бориса Вячеславовича Шидловского (молодой студент, мой двоюродный брат): меланхолические разговоры с тетей Соней, грация в мазурке и изобилие конфет, груш и слив;

от Николая Андреевича Кисленского: оживление, музыка, flirtation** и коляска с звоном, к восторгу малышей;

от Татьяны Львовны: топот, плохая картина, наряды и веселье вперемежку с мрачностью;

от Маши Кузминской: всеобщее умиление, желание всем дать гостинцы;

от Маши Толстой и Веры Кузминской: отрывки яблок;

от Веры: грубые, но всегда правдивые речи;

от Маши: ласковые, но не всегда правдивые речи;

от Лели: остроумие, один заяц и один бекас;

от Ильи: собачий лай, поросячий визг, много чертыханья и все-таки много любезного людям.

А что же от мамá? Да, от нее суета, обеда, завтраки, большие и малые дети, платья им на рост и бабы больные у крыльца.

1884

Чертков

В этом же 1884 году явился раз к Льву Николаевичу в Москве высокий, красивый, мужественный человек, настоящий аристократ с первого же взгляда на него. Это был Владимир Григорьевич Чертков. Начитавшись последних сочинений Льва Николаевича, Чертков, служивший в конной гвардии, вышел в отставку и старался жить по новым идеям Льва Николаевича. В нем совершился резкий перелом.

Отставка блестящего конногвардейского офицера, сына шефа Преображенского полка и придворной статс-дамы Елизаветы Ивановны Чертковой, рожденной гр. Чернышевой-Кругликовой, не могло пройти незаметно в Петербурге. Все заговорили об этом, выражая крайнее сожаление.

Чертков очень полюбился Льву Николаевичу, и так до конца он любил его и высоко ценил его искреннее, глубокое почитание всего, что писал и думал Лев Николаевич. До сих пор Чертков занят всем,

* Хорошие манеры, списки глаголов и милый мальчик (франц.).

** Флирт (франц.).

что выходит из-под пера Льва Николаевича, делает выписки из его дневника и хранит все в Англии в построенном им каменном здании. Сначала я огорчалась и завидовала, что у Черткова столько рукописей, писем и дневников Льва Николаевича, но теперь, поняв близость своей смерти и равнодушное отношение детей к рукописям отца, я стала к этому равнодушна.

Преобразование народной литературы

Не помню хорошенько, как договорились Лев Николаевич и Чертков до плохого состояния народной литературы, но после посещения Черткова вскоре началось дело преобразования народной литературы. Сначала Чертков хотел выпустить листки вроде газеты для народа. Потом решено было печатать и издавать рассказы, статьи и разные сочинения с чисто христианским направлением и с впрямь обдуманной целью религиозной пользы народу. Помню, как Лев Николаевич носился с народной лубочной книгой под заглавием «Милорд Георг» и возмущался ее безнравственным содержанием. Мысль о перевороте народной литературы была и по моему мнению одной из полезнейших и высочайших задач, и я страшно сочувствовала тогдашнему направлению писательской деятельности Льва Николаевича. Он начал писать народные рассказы один за другим и отдавал печатать Сытину, с тем чтобы продажа этих коротких рассказов не приносила никакой выгоды никому, а продавалась бы за самую дешевую цену, копейки по две. Так были напечатаны и прежде написанные рассказы «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет», и новейшие «Упустишь огонь, не потушишь», «Где любовь, там и бог», «Свечка», «Два старика» и др.

Под фирмой «Посредник»¹⁸ с девизом «не в силе бог, а в правде» стали издаваться эти идейные брошюры, и склад их был сначала в Петербурге на Васильевском острове, в небольшом помещении, куда собирались все новые последователи Льва Николаевича. К ним принадлежал и Павел Иванович Бирюков, бывший морской офицер, воспитанный в Пажеском корпусе, и девица Галя Дитерихс (впоследствии жена Черткова), и многие другие. Николай Николаевич Ге, посетив этот склад, «Посредника», с свойственным ему пылким воображением рассказывал о сборищах в этом «Посреднике» разных идейных, единомышленных лиц, прибавляя, что «это точно катакомбы первых христиан, и там удивительно хорошо». Потом склад был переведен на Большую Дворянскую, 25.

1885

Печатание полного собрания сочинений

...Приходилось много трудиться в жизни и начинать новое дело печатанья полного собрания сочинений Толстого¹⁹.

Начала я ездить по бумажным торговцам и типографиям, заказывать и сверять сметы, изучать качество бумаги, учиться, как узнавать большую примесь дерева в бумаге, что делало ее негодной. Кроме того, денег на издание не было ни копейки, и я тогда заняла у моей матери десять тысяч рублей и еще у старика Александра Александровича Стаховича, который тотчас же любезно дал мне 15 000 рублей по 5-ти процентов только, и я ему осталась навсегда благодарна, что вовремя выручил меня.

Заказала я тогда бумагу для полного издания сочинений у фирмы Кувшинова. Первый заказ они исполнили хорошо, но второй, на

отдельные книги «Война и мир», «Анна Каренина» и другие, Кувшиновы поставили мне отвратительную бумагу, почти всю из древесной массы, что меня и заставило более к ним не обращаться.

Поездка Льва Николаевича в Крым с Урусовым

В начале марта Лев Николаевич уехал с целью сопровождать кн. Урусова в Крым...

14 марта Лев Николаевич с Урусовым выехал в ландо из Севастополя...

Рассказывал Лев Николаевич, что, когда князь Урусов вышел из ландо, чтоб пройтись немного, он нашел в траве ядро горного артиллерийского орудия. И Лев Николаевич вспомнил, что из горного орудия в это направление был им сделан только один выстрел. Следовательно, это ядро было выстрелено им. Странное совпадение. Это ядро Урусов сохранил, не знаю, цело ли оно теперь.

Страхов слышал тогда, что Лев Николаевич считает дурным пользоваться своими авторскими правами для себя и для семьи и хочет от них отказаться. Это составляло большую, тяжелую заботу для меня. Семья была большая, помимо авторских средств, других было мало, а кроме того, я совсем не считала справедливым отнять права отца от семьи, чтоб ими пользовались разные богатые издатели.

Когда раз в неприятном разговоре с Львом Николаевичем он мне сердито пригрозил, что отнимет авторские права, я рассердилась и сказала ему: «Попробуй! Я подам государю прошение, чтоб он заступился за меня с семьей и отдал бы тебя мне под опеку как ненормального человека».

Разумеется, я не имела на это никакого нравственного права...

Перед тем как открыть подписку на сочинения Толстого, я написала Николаю Николаевичу Страхову, прося его спросить Анну Григорьевну Достоевскую, как она ведет свои дела по подписке и продаже сочинений своего мужа. Страхов мне дает тоже разные советы и пишет, что «предыдущие издания были несносно плохи, а это при вашем внимании выйдет почти образцовое».

От Анны Григорьевны Достоевской я в то время получила длинное письмо, в котором она советует мне печатать как можно меньше объявлений в газетах, потому что это и дорого и бесцельно, а напечатать обращение к публике вроде циркуляра с предложением подписаться на полное собрание сочинений Толстого с рассрочкой платежа, что я вскоре после того и сделала, объехав типографии и распорядившись как можно скорее брошюровать все книги и печатать мой циркуляр.

Дела все прибавлялось, и я теряла голову, затеяв дело подписки. Оставался незаконченным 12-й том, в который должен был быть включен и новый рассказ Льва Николаевича «Смерть Ивана Ильича». Он в то время, осенью, его кончал, отделявал и, вложив в портфель, подарил мне его в день моих именин, 17 сентября, сказав мне, что это его подарок к именинам для нового моего издания. Я очень была этому рада и благодарна, но впоследствии Лев Николаевич... этот рассказ отдал на общее пользование, как и все, что он писал после 1881 года.

Весь сентябрь Лев Николаевич был занят просмотром и поправкой этих двух рассказов для моего издания: «Смерть Ивана Ильича» и «История лошади» («Холстомер»). Иногда он просматривал новую корректуру нового издания, особенно же когда я уезжала.

1886

Веселый переезд и жизнь в Ясной Поляне

Мы назначили переезд на 11 мая. Александр Михайлович Кузминский выхлопотал целый вагон 3-го класса для своей и нашей семьи, посадили с нами и всю нашу и кузминскую прислугу, нагромодили пропасть вещей, припасли и мы и Кузминские разной еды и в Москве съехались все с восторгом на станции. Как мы все счастливы были свидеться. Как весело было молодежи и детям в этом большом, просторном вагоне. Болтали, пели, смеялись, играли целый день и вовсе не устали. А когда очутились в Ясной Поляне, где нас встретил Лев Николаевич, все почувствовали, что начинается опять тот праздник лета, который из года в год освежал наши жизни моральные и физические и давал нам силы для будущих трудов и невзгод. И как мы все были дружны. Сколько любви было обоюдной наших двух семей.

Закипела молодая жизнь, которую всеми силами старался Лев Николаевич повернуть на свои цели и свои работы.

Покос

Когда наступило время покоса, вся решительно молодежь из обоих домов примкнула к Льву Николаевичу и разобралась помогать разным артелям покосников. В почтовом ящике в официальном отделе было написано: «Назначаются в артель Прокофия — Александр Михайлович Кузминский и Илья Толстой. В артель Фоканова — Таня Толстая. Увольняется из артели Ершова — Вера Кузминская».

И вот я решила в один прекрасный день, что я пойду грести с бабами сено. Заменяла я беременную женщину и сразу горячо принялась за дело. Но проработав несколько дней, я сильно заболела: сделались жестокие боли, жар, послали за женщиной врачом Кидаловой, которая определила воспаление мочевого пузыря и начала меня лечить. Прохворала я очень долго, несколько недель, и еще более поняла бессмыслицу нашего барского вмешательства в непривычную жизнь и работу крестьян.

1887

«Власть тьмы»

В начале января Лев Николаевич, окончив свою драму «Власть тьмы» и передав ее в «Посредник» для напечатания²⁰, уехал с дочерью Таней к гр. Олсуфьевым в их имение Никольское. В то же время в Петербурге и Москве драма эта в рукописи ходила уже всюду по рукам, и петербургская актриса Савина приезжала в Москву еще до Нового года просить у Льва Николаевича разрешение поставить драму на петербургской сцене в ее бенефис.

Лев Николаевич согласился, но 2 января была получена от Савиной телеграмма, что пьеса эта запрещена цензурой, и не только для театра, но и для печатанья. По этому поводу я написала недомевающее письмо начальнику цензуры Феокистову, на которое он не ответил длинным письмом, объясняя, что драма для сцены по-прежнему невозможна, что в ней цинизм выражений, невозможные для нерв сцены и т. д. О том же, почему ее в эти запретили, Феокистов не дал мне никакого ответа. Во мне кипе-

ла злоба, хотелось ехать хлопотать и воевать в Петербурге. Но в отсутствие Льва Николаевича и Тани я не могла оставить детей одних.

Между тем драму эту читали всюду. Собрала и я у себя целое общество для чтения «Власти тьмы». Незадолго до этого я слышала, как ее превосходно читал сам Лев Николаевич, и научилась у него правильным интонациям, запомнив все, что было нужно для сносного чтения.

Собрались у меня гости самые разнообразные: кн. Урусов Сергей Семенович, Лев Михайлович Лопатин (философ), мои братья, Екатерина Петровна Ермолова (камер-фрейлина), Лев Иванович Поливанов (директор Поливановской гимназии), мои родственницы Свербеева и Шидловская и многие другие.

Сначала я заробела, сердце билось, но потом увлеклась и, как говорили все, прочла недурно.

Более всех взволновался Лев Иванович Поливанов. Я пишу о нем Льву Николаевичу:

«Мое чтение вчера удалось вполне. Было очень весело и приятно потому, что произвело на всех огромное впечатление, особенно на Льва Поливанова; он просто весь дрожал и говорил: «Это так ново, так оригинально, поразительно, что всякое лицо говорит своим личным русским языком, а обыкновенно в пьесах из народного быта все говорят однообразным языком»...»

На своем уроке в гимназии Лев Иванович Поливанов говорил ученикам о драме с восторгом, прибавляя, что «это будет одно из самых крупных явлений в русской литературе».

Описывая это Льву Николаевичу, я прибавила: «Это я знала с первого акта, когда я ее с таким азартом переписывала в Ясной Поляне».

Еще раз я читала вслух «Власть тьмы» у Беклемишевых по просьбе многих моих светских знакомых дам, и там впечатление было сильное.

В то же время Александр Александрович Стахович, известный всем по своей любви к театру и по прекрасному чтению, пришел в самый преувеличенный восторг от этого нового, впервые драматического произведения Льва Николаевича и принялся с рвением и горячностью всюду читать эту драму. В длинных письмах ко мне он подробно описывал свое чтение и впечатление, производимое на всех «Властью тьмы».

Читал Стахович у Шуваловой, яркой последовательницы лорда Радстока, известного в то время проповедника нового взгляда на Христа, она и ее апостолы, как выразился Стахович, были в восторге, и она просила мужа хлопотать у министра внутренних дел, чтобы разрешить драму к печати. Но Шувалов отказался.

Потом читал Стахович в кружке издательской фирмы «Посредник» при ее деятелях, и тут же были: Гаршин (писатель), Мясоедов и Репин (художники) и другие. Стахович пишет, что «понял один Гаршин».

Затем было чтение у кн. Оболенской (женская гимназия), и там все восторгалось и плакали.

Читал Стахович и у моей сестры Кузминской, на чтении этом присутствовали: Кони, Страхов, весь Суд, Градовский, Феоктистов и другие — всех 40 человек. После успеха этого чтения Феоктистов почему-то вдруг одумался и привез сам разрешение к печати «Власти тьмы» к Кузминскому.

Запрещение цензуры возмущало всех. Например, Михаил Александрович Стахович пишет мне, когда узнал о разрешении печатать «Власть тьмы», следующее: «В радости своей забываю все, что было глупого, досадного, непонятного в этой нервной борьбе величайшего

писателя с непризнанными судьями, этого познающего себя гения с не понимающими своих обязанностей глупцами...»

Еще 6 января читал Стахович драму у кн. Паскевич, сестры гр. Воронцова, и там был известный светский чтец и актер Жеребцов, и он «на стены полез от восторга».

После чтения Паскевич сказал: «Нет, хороши Григорович и Всеволожский, как же они смели говорить то, что говорили? Всеволожский умный человек, он, верно, не читал пьесы».

7 января было чтение у графини Александровны Толстой, где собрались старые фрейлины и великие князья Сергей Александрович и Константин Константинович, которые будто, по словам Стаховича, не решались выразить своего восторга, ожидая мнение государя.

Графиня Александра Андреевна потом писала Льву Николаевичу о драме следующее: «Она действует прямо на совесть и полезна всем, и в том числе и мне».

Один граф Воронцов, министр двора, всячески отказывался от разрешения играть драму на императорских театрах. Он говорил Стаховичу: «И слушать не могу, не трудитесь читать... и никак не разрешу для сцены...»

Целый месяц читал милый Александр Александрович Стахович излюбленную им драму «Власть тьмы».

Было чтение у всех высокопоставленных лиц в Петербурге. Когда у Сольской была прочитана драма, К. М. Ольденбургская пришла в такой восторг, что сказала, что будет просить государя пропустить драму в цензуре, а Льва Николаевича просит благодарить за нее и напомнить о ней и повидаться с ней в Москве: «Пусть он будет не только в блузе, но и в рубашке»,— говорила она. И если он к ней не придет, она сама к нему пойдет, если он влезет на печку, она за ним; если он на крышу — то и она туда.

Про пьесу она говорила, что «подобный перл нельзя держать под спудом, а на сцену, непременно на сцену».

Когда читали у Голицына, чтеца императрицы, там не понравилось, что Митрич ковырял мозоль.

Еще читалась драма у Емануила Нарышкина и, наконец, у государя, который пожелал сам ее прежде прочесть, а потом прослушать в чтении Стаховича. В экземпляре, данном государю, были выкинуты грубые слова и 8 строчек речи Акима о выгребных ямах, что считалось неприличным для чтения государя.

Странное было отношение цензуры к этой драме «Власть тьмы». 24 января мне пишет Стахович: «Ура! Драма на сцене пропущена. Воронцов распределял по актам роли и шутил, что Савиной надо ноги подрезать, если она хочет играть Анютку...»

Потом вдруг у Савиной отняли бенефис за то будто, что она не хотела играть в пьесе Мещерского «Миллион», и «Власть тьмы» была опять запрещена.

Подозревали многие недоброжелательство и зависть Григоровича и Потехина, влиявших в смысле запрещения. 22 еще января мне писал Стахович: «Вы знаете, как были предупреждены Потехиным, Григоровичем и через них Всеволожским (директор театров) — Воронцов и весь большой свет Петербурга против драмы...»

В письме от 3 февраля Стахович пишет, что получил от кн. Вяземского телеграмму от 1 февраля: «Решено репетировать. Сам будет на генеральной».

Стахович ликует и радуется, что пьесу «Власть тьмы» ставят по высочайшему повелению.

Но и тогда не была поставлена эта драма.

Уже в марте, 22, мне пишет А. Потехин, что «...«Власть тьмы» — срепетирована, декорации, костюмы, все готово, и вдруг запретили ее играть через управление министерством двора, все актеры ужасно огорчены...»

За костюмами, я помню, приезжали в Ясную Поляну и у нас просили указаний, кому во что одеться. Песни тоже были доставлены нами, записанные, кажется, сыном Сережей.

Потехин и другие звали меня в Петербург на генеральную репетицию, когда запретили пьесу, и надеялись, что я ее отвоюю и что мое присутствие поможет делу. Но Лев Николаевич не сочувствовал моей поездке и боялся всегда моей горячности, и так я не поехала в Петербург.

Уже много, много лет позднее, чуть ли не в 1895 году, была поставлена в Петербурге на императорском театре «Власть тьмы»²¹.

В ту же зиму, кроме проповеди о вегетарианстве, Лев Николаевич начал горячо преследовать мысль о трезвости в народе и обществе. Составлено было им и дочерьми Таней и Машей согласие против пьянства, и положено было собирать подписи и вербовать как можно больше народа.

Андреев-Бурлак

21 июня посетил нас известный в то время рассказчик и актер Андреев-Бурлак. Он много рассказывал нам, поражал своей талантливостью всех, особенно Льва Николаевича. Помню, что мы уже втроем — Лев Николаевич, я и сын Лева остались слушать еще его до 2-х часов ночи. Последний рассказ был о чуме. Мы много смеялись, а Лев Николаевич до того болезненно неудержимо хохотал, что мне стало даже страшно за его сердце.

Через несколько дней после отъезда Андреева-Бурлака Сережа-сын играл с Ляссоттой сонату Бетховена, посвященную Крейцеру, и на всех нас эта соната произвела огромное впечатление, я пишу о ней: «Что за сила и выражение всех на свете чувств!»

Рассказы Андреева-Бурлака и соната Крейцеру были первой побудительной причиной к повести, написанной позднее Львом Николаевичем под заглавием «Крейцерова соната». Помню я, как Лев Николаевич говорил, что надо написать для Андреева-Бурлака рассказ от первого лица и чтобы кто-нибудь играл в то же время «Крейцеру сонату», а Репин чтоб написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. «Впечатление было бы потрясающее от этого соединения трех искусств», — говорил Лев Николаевич.

Репин

...9 августа в Ясную Поляну приехал опять очень приятный и интересный гость — художник Илья Ефимович Репин. Прожил он до 16 августа и все время неутомимо работал.

Начал он писать портрет: за столом, в руках письмо, на столе предметы разные. Набросав портрет, Репин остался им недоволен и бросил его писать, говоря, что нет воздуха, нет перспективы, все предметы валяются точно на зрителя. Этот этюд он подарил мне и начал портрет снова. Лев Николаевич тогда позировал уже в большой зале, в кресле, с книгой в левой руке. Я и этот портрет не люблю. В нем нет Толстого — художника-мыслителя, а просто человек, и то не очень похожий. Этот портрет находится в Третьяковской галерее.

В промежутках между своей письменной работой и позированием для портрета Лев Николаевич еще находил время иногда заниматься и полевыми работами. Раз он пахал целый день, до 8 часов вечера, и ужасно устал. А то ходил косить рожь. Уже молодежь ему мало помогала, и он был одинок. Репин уходил за Львом Николаевичем в поле и ловил его со всех сторон, делая рисунки с него. Результатом была его прекрасная картина, на которой изображен очень верно пахущий Лев Николаевич с своими двумя лошадами.

После картины неутомимый Илья Ефимович начал быстро и усердно лепить бюст Льва Николаевича²².

Как интересно было видеть и следить впервые за работой и скульптурой даровитого художника. Это было также и ново и радостно. Все эти труды Репина уже теперь известны всем. Сам он, тихий, очень скромный и в высшей степени трудолюбивый, оставил самое приятное впечатление. Он часто про себя скромно говорил: «Я совсем не талантлив, я только трудолюбив».

Во время своих работ Репин часто беседовал с Львом Николаевичем, который сообщил ему о своем намерении написать повесть, навеянную ему сонатой Бетховена, посвященной Крейцеру, и рассказами Андреева-Бурлака.

— Вот и вы напишите картину как иллюстрацию к «Крейцеровой сонате»...

Интересное еще сведение доставил нам тогда в своем письме Николай Николаевич Страхов, уже совсем по другому поводу. Вот выписка из него: «16 ноября 1887 года. Киевская духовная академия недавно назначила премию Макария, 1750 р., за разбор «В чем моя вера». Слышал я также недавно от одного приезжего из Киева, что митрополит Платон осуждает запрещение ваших сочинений, считает их чрезвычайно полезными. Приезжий прибавлял, что ему известны многие случаи, когда нигилисты бросали свои затеи и становились христианами, вашими последователями».

И действительно это было так. Религиозные сочинения Льва Николаевича распространялись в то время в рукописях очень быстро. Помню, с каким благоговением переписывала их Мария Александровна Шмидт для многих лиц. Так, например, их все приобрел живущий в то время в Симбирске Александр Сергеевич Бутурлин, бывший революционер. Еще переписывались эти сочинения для какого-то Дм. Дохтурова, да и для многих других.

Воспроизведения картины Репина «Пахарь»

Вскоре, осенью, мы узнали, что копии с картины, написанной Репиным, на которой Лев Николаевич изображен пахущим, готовятся в бесчисленном количестве. Копии эти должны были быть сделаны и гравированные, и в олеографиях, и в разных еще видах. Это возмутило всю нашу семью и очень неприятно было Льву Николаевичу. Написали об этом Стасову, узнали и Страхов и Репин о нашем недовольстве. Я выставяла ту причину, что такую интимную вещь, даже задушевную, как работа в поле для бедной вдовы, неприятно опубликовать во всех возможных иллюстрациях и под фирмой кого же? Репина. Стало быть, Толстой позировал...

На это Репин писал 1 октября 1887 года: «Я даже не могу понять, почему Вы и вся семья Ваша против наглядной известности такого значительного, серьезного и прекрасного факта из жизни Льва Николаевича».

Чтоб смягчить меня, Репин льстиво упоминает в своем письме о

ничтожном факте, свидетелем которого он был у нас в свой приезд в августе: «Я не могу забыть на всю жизнь, как графиня Софья Андреевна Толстая на полу, на коленях, пригибаясь всем телом, стегает ватное платье бедной вдове, бывшей дворовой (это была Агафья Михайловна), выжившей из ума. Всякая светская дама, обладающая одной десятой тех даров природы и обстоятельств, какими владеете Вы, иначе эксплуатировала бы свои силы. Вот за что я не могу не благоговеть перед Вами. Простите за эту откровенность и не примите ее за лесть...»

А я не только приняла ее за лесть, но отчасти и за иронию.

Николай Николаевич Страхов тоже недоумевал, почему мы не желаем распространения картины «Пахарь»...²³.

Как бы то ни было, все клише были уже заготовлены за границей, и «Пахарь» появился во всех магазинах, газетах, иллюстрациях.

Серебряная свадьба

23 сентября сравнялось ровно 25 лет нашей свадьбе. Мы решили очень просто отпраздновать его. Собрались все дети, приехал бывший моим шафером мой старший брат Саша с серебряным кубком мне в подарок. Приехал и Дмитрий Алексеевич Дьяков, лучший друг Льва Николаевича. Когда Дьяков поздравлял нас и сказал, что можно искренне поздравить с таким счастливым браком, Лев Николаевич его оговорил словами, больно кольнувшими меня: «Могло бы быть лучше!»

Эти краткие слова ярко охарактеризовали эти вечные непосильные требования, предъявляемые мне моим мужем, которые я, несмотря на страшные усилия вечных моих трудов, не могла никогда удовлетворить.

1889

Философы и ученые

Приходили к нам тогда разные ученые и философы. Особенно часто бывал профессор философии, еще очень молодой, живой, маленький, с блестящими черными глазами и ореолом черных волос, — Николай Яковлевич Грот. Он говорил быстро, много, излагал одну за другой свои теории, движенья его были тоже быстрые, а расположение духа всегда бодрое и веселое. Он очень любил Льва Николаевича, интересовался его работами более чем кто-либо. Но о нем Лев Николаевич отзывается так: «Поразительно. Грот обо всем житейском говорит и думает как антифилософ, а теория его — карточные домики...»

И действительно — Грот совсем не был философом. Отец большой семьи, способный, легко говорящий обо всем, всегда деятельный, ему, казалось, и некогда было углубляться в мысли философские.

Другой посетитель, тоже философ, бывал у нас — Лев Михайлович Лопатин, с пискливым голосом, он тоже не внушал почтения как к мыслителю. Особенность его еще состояла в том, что он любил собирать вокруг себя молодежь — детей и барышень, садился на диван, где потемнее, и долго рассказывал, импровизируя, самые фантастические сказки, преимущественно страшные. Девочки это очень любили и всегда приставали к Льву Михайловичу, чтоб он рассказывал сказки. Слушательницами его были девочки Оболенские, девочки Толстые — дочери Сергея Николаевича, наши дети и другие.

Разговоры с этими философами Лев Николаевич называл философской болтовней.

А то раз привели они к Льву Николаевичу профессора Зверева. Этот Зверев, сын богатого мужика-старшины, представлял из себя что-то действительно зверское... по полному отсутствию... нравственных принципов и... предоставлению жизни людей без руководства — одному течению. Я помню, как он и мне и Льву Николаевичу не понравился. И этот человек был потом, хотя, к счастью, короткое время, министром просвещения! Лев Николаевич про него сказал: «Такие люди страшные лицемеры и книжники вредные...»

...Какие иногда сталкивались в нашем доме контрасты положения. Так, например, на праздниках 6 января я пригласила марионеток и театр Петрушки... и созвала в гости детей, которые очень веселились. А к Льву Николаевичу пришли гости, разные умные люди — профессора: Лопатин, Грот, Стороженко, Янжул, писатель Мачтет и другие. Я любила Ивана Ивановича Янжула за его простоту, ясный ум без компромиссов, большое образование и желание всегда сделать приятное людям. Большой, широкий, он говорил басом, к дамам обращался со словами «сударыня», был изысканно вежлив, но и прост. Лев Николаевич говорил про него, что с ним легко, потому что он «без запросов». Помню, он очень любил английские книги и много читал английских романов, о которых говорил с Таней, рекомендуя ей, что читать, и присылал ей часто книги...

Стороженко Николай Ильич был очень дружен с Янжулом. Это был очень симпатичный образованный профессор иностранной словесности, большой любитель Шекспира, в чем не сходился с Львом Николаевичем. У него была очень красивая и милая жена, умершая еще молодой, и прекрасные дети, которые со временем причинили ему больше горя, чем радости. Помню я, как мне было приятно, когда Стороженко, прочитав почему-то мое письмо к Льву Николаевичу, в котором я описывала женский монастырь и как там кормили нищих по случаю какого-то торжества, сказал Льву Николаевичу, что у меня, наверное, большие способности к писательству, а мне велел передать, что очень советует мне заняться литературной работой. Хорошо бы! Да где можно взять на это время?

Мачтет был довольно молчалив и мне не понравился. О нем ничего я не помню особенного. В тот же вечер, как были все эти гости, читали что-то Чехова, которого всегда так любил Лев Николаевич и о котором тогда зашла речь.

Юбилей Фета

В то время в январе поднялся с разных сторон вопрос о праздновании 50-тилетнего юбилея литературной деятельности А. А. Фета. Он сам этого страстно желал и насколько возможно хлопотал. Я считала Фета близким и давнишним другом нашего дома... И вот я горячо принялась за устройство этого юбилея ко дню 28 января. Переговорила я с Голицыным, Гротом, Соловьевым, просила разных знакомых подходящих участвовать, и вскоре открыта была подписка на обед, готовящихся речи, статьи, подношения и венки. Написала я и Н. Н. Страхову, приглашая его приехать и написать статью. Последнее он исполнил, но приехать не хотел. Его очень сердило то, что Фет так усиленно добивался камергерства и выхлопотал его через великого князя Константина Константиновича, который сам писал стихи, на этой почве сошелся с Фетом и любил его.

По поводу камергерства пишет Страхов, что Фету захотелось камергерства, а Полонский говорил об этом с недоверием и вследствие

этого разошелся с старым другом. Страхов приводит слова Полонского Фету: «Представь, о тебе распустили слух, что ты добиваешься камергерства. Я всем говорю, что это глупая клевета, что ты выше всего ценишь звание поэта, такое звание, которое никто не может дать и никто отнять...»

Я помню, что по поводу хлопот Фета, чтоб его государь узаконил как сына Шеншина и дал бы ему эту фамилию, еще Тургенев написал Фету: «У вас было имя (поэта), а вы переменяли его на ф а м и л и ю»²⁴.

Но если понять, как мучаются люди всю жизнь, неся на себе незаконность положения и стыд за мать, то извинят и Фету его слабость. Страхов, Полонский и др. не хотели этого понять, и Страхов даже жаловался на то, что ему самому дали совершенно не нужную ему звезду.

К юбилею Фету случилось для него неприятное событие: его жена сломала руку 5 января и боялась, что она не срастется к концу месяца. Прислали ко мне за мешком с льдом, и Фет и тут не пропустил случая написать мне эти высокопарные строки: «Небесное солнышко по одной своей живительной природе заставляет всюду радоваться его появлению совершенно независимо от того, вызывает ли оно у себя под тропиками пестрые и душистые орхидеи или, заглянувши в Гренландию и распустив льдины, призывает застывший мох к новой жизни. Ваше приветливое солнце осветило и оживило и нашу убогую Гренландию».

Мне было просто весело устраивать праздник и участвовать в нем. Я вообще люблю празднества, блеск, веселье, красоту, общество приятных людей, хотя, кроме последнего, т. е. общества приятных людей, мне суждено было прожить жизнь совершенно вне всего этого. И тогда судьба отвела от меня устраиваемое мною празднество.

...Приходил тогда часто к нам писатель Златовратский, и Лев Николаевич не любил его, говорил про него, что у него «образец наклеенной совести, под которой не выросла своя».

Бедекер, Федоров, Соловьев

Из собеседников, интересовавших в то время Льва Николаевича, назову трех: кальвиниста Бедекера, библиотекаря Румянцевского музея Федорова и Владимира Соловьева.

Кальвинист Бедекер говорил, что человечеству необходима проповедь и что мало «светить добрыми делами». Говорил он с большим пафосом и как бы искусственно вызывал на глаза слезы, хотя чувствовалась в его словах какая-то фальшь и холодность.

О Соловьеве Лев Николаевич пишет, что «он признает церковь только как зачаток. Но почему известная ему римская или другая есть этот зачаток?».

С Федоровым Лев Николаевич был знаком по Румянцевскому музею, где часто читал или брал книги Лев Николаевич. Теория Федорова состояла в том, что смерти нет, а все люди, раньше умершие, должны воскреснуть во плоти, а человечество должно всеми силами науки стремиться к этому. Николай Федорович Федоров при этом был крайний аскет, одевался бедно, спал на досках, ел самую скудную пищу. В музее он был незаменим. Он все знал, и тощая быстрая фигура его мелькала всюду, лазая по лестницам, по полкам с легкостью юноши. О нем как-то Лев Николаевич писал в дневнике: «С Николаем Федоровичем говорил. У него, вроде как у Урусова, в жизни и книгах не то, что есть, а то, что ему хочется. И интонации уверенности удивительные...»

Федоров написал книгу о своей теории и приобрел себе единственного последователя — Николая Павловича Петерсона, бывшего учителя в одной из сельских школ, устроенной Львом Николаевичем в 1861 году.

Американцы

Во время отсутствия Льва Николаевича приехали ко мне раз три довольно пожилых американца, и я очень огорчилась, что не застала Льва Николаевича. Один из них был писатель, другие два — пасторы. Они совершили это длинное путешествие из Америки с единственной целью повидать Толстого. Мне просто не верилось, и я им предлагала показать Москву, что в ней интересного и замечательного, пока они тут поживут в ожидании Льва Николаевича. Но они упорно от всего отказывались, уныло повторяя: «We came only to see count Tolstoy»* — и просили дать им указания, как проехать в имение князя Урусова.

Я очень боялась, что три лишних человека, да еще иностранца, стеснят князя в его одиночестве и будут стеснительны и Льву Николаевичу. Но отделаться я от них не могла и дала нужные сведения для их поездки. В деревне князя они пробыли без ночевки один день, с утра до вечера, и уехали обратно в Америку. Это только американцы способны на такой подвиг!

По-видимому, они не были неприятны князю и Льву Николаевичу, а скорее интересны.

8 апреля Лев Николаевич вернулся в Москву и опять принялся за тасканье из колодца воды, рубку дров и те работы, которые так вредили его печени.

6 октября написан был новый вариант «Крейцеровой сонаты», а в конце октября ее выпросила у Льва Николаевича уезжавшая в Петербург Маша Кузминская, чтоб дать прочесть своим родителям.

Сестра по случаю этого чтения созвала целое общество и просила А. Ф. Кони прочесть эту повесть. Об этом чтении пишет Николай Николаевич Страхов²⁵.

Я рада была, что мнение Страхова о том, что хорошо, что убита жена не по вине ее, сошлось вполне с моим, которое я и высказала Льву Николаевичу еще гораздо раньше.

Критика Страхова всегда интересовала Льва Николаевича, и вообще критики он тогда еще читал. Так, например, его очень в то время заинтересовала критика француза Renouvier на книгу «De la vie», переведенную мной²⁶. Впоследствии же все меньше и меньше старался он читать отзывы о себе, чтоб не волноваться ни в ту, ни в другую сторону и не сбиваться с толку.

На «Крейцерову сонату» нападали многие. Фет написал Страхову: «Толстой в этой повести ковыряется в собственной ревности». А кончает письмо словами: «Да здравствует Амур и брат его Вах!»

Что он хотел этим выразить, бог его знает.

Начальник по делам печати Феоктистов говорил, что «в герое этой повести, как марионетка, выскакивает сам Толстой...».

Рассказывали мне, что будто государь, прочитав эту повесть, сказал: «Мне жаль его бедную жену».

Странно то, что собственный брат Льва Николаевича Сергей Николаевич тоже выразил мне почему-то свое соболезнование. Чувствовали ли все ту сдержанную ревность в душе моего мужа, которую мне

* Мы приехали только для того, чтобы повидать графа Толстого (англ.).

мало приходилось ощущать открыто, но которая, вероятно, создала всю мою замкнутую, одинокую и невеселую жизнь в молодости.

На каком основании высказывались такие мнения, я не могу понять. Кто мог знать сердце Льва Николаевича по его отношению ко мне?

Первое представление «Плодов просвещения» в Ясной Поляне

Но тут в декабре ему пришлось всецело заняться комедией вот по какому случаю. Приехавшая из-за границы Таня вздумала устроить на праздниках какое-нибудь веселье. Зная, что всякое такое пробуждение вызывало неудовольствие отца, она придумала достать из портфеля отца его комедию «Исхитрилась» и разыграть ее в Ясной Поляне. Дети и я сочувствовали этому плану, и Таня с смелостью любимицы прямо объявила о своем плане отцу. Он сначала отнесся к этому довольно снисходительно и начал поправлять комедию, назвав ее уже тогда «Плоды просвещения».

22 декабря он пишет в дневнике: «Все три дня поправлял комедию. Кончил. Плохо. Приехало много народу, ставят сцену. Мне это иногда тяжело и стыдно...»

В то время как Лев Николаевич занимался отделкой своего произведения, мы с Таней энергично и горячо принялись за постановку его на сцене.

Прежде всего надо было пригласить участвовать в ней разных знакомых. Таня ездила в Тулу и вскоре собрала прекрасную труппу из друзей. С. А. Лопухин играл барина, сын Сережа — профессора, Соня Мамонова — барыню, моя Таня — горничную, Маня Рачинская, будущая жена сына Сережи, — Бетси, наша Маша — кухарку, три мужика были превосходны, и буфетного мужика Семена прекрасно изобразил Ваня Раевский.

Нигде, ни на какой сцене я не видала такого исполнения роли 3-го мужика, как у нас Владимиром Михайловичем Лопатиным. Когда он трогательно и вместе с тем комично и выразительно говорил: «Курьцу некуда выпустить», все дружно покатывались со смеху.

Превосходно играли и двух лакеев: щеголеватого Григория — молодой, красивый Александр Цингер, и маленького, добродетельного — учитель детей А. М. Новиков. Не помню, кто изображал пьяного повара.

Плотники живо воздвигли подмостки, декорациями занялся брат нашего управляющего — архитектор Бергер, прекрасно и скоро написал печь и другие принадлежности для кухни. Таня все время болезненно ждала братьев Олсуфьевых, особенно Михаила Адамовича, которые обещали приехать на праздниках. Она делалась все мрачнее и мрачнее и очень огорчилась, когда убедилась, что они не приедут.

Отказался играть и Миша Стахович, не решавшийся обидеть мать и семью и не приехать встречать с ними Новый год.

Приехал и Лева к праздникам и девочки Кузминские, и начались репетиции. То целая толпа съезжалась к нам, то все весело ехали на многих одиночках в маленьких санках по двое в Тулу. Разучивали усердно роли, всеми силами старались поставить пьесу как можно лучше.

Весь наш дом был полон гостей. Спали везде где только было возможно, даже на поставленной сцене. Я совершенно, как говорится, с ног сбилась, столько было забот о пище, ночлеге, отвозе и привозе гостей и проч. и проч. А главное, на душе было беспокойно и точно камнем давило то, что опять заболел 23 декабря мой маленький Ва-

нечка и горел весь в жару, но я не показывала своего горя и беспокойства и не хотела нарушать веселья молодежи.

И опять Лев Николаевич анализировал строго чувства свои и окружающих его людей, выражая свои мысли в дневнике таким образом 27 декабря 1889 года: «Дети все уехали в Тулу репетировать... Тяжело от лжи жизни, окружающей меня, и того, что я не могу найти приема, указать им, не оскорбив, их заблужденья. Играют мою пьесу, и, право, мне кажется, что она действует на них и что в глубине души им всею совестно и оттого скучно. Мне же все время стыдно, стыдно за эту безумную трату среди нищеты... Вчера была репетиция, пропасть народа, всем тяжело. Вера разревелась...»

Но тяжело не было. Всем было весело, все с должным благоговением относились к хорошему исполнению своих ролей. Лопухин играл сам себя, это такой хороший тип барина. Таня живо и грациозно играла горничную. Хорош был и наш Сережа в роли Сахатова, а Николай Васильевич Давыдов прекрасно сыграл роль профессора.

Лев Николаевич присутствовал на репетициях и часто заразительно весело — как только он это умеет — смеялся и радовался на игру. Нельзя было подумать, что ему неприятно. А в дневнике 31 декабря 1889 года он пишет: «Все время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и все время мне стыдно. Пьеса, может быть, недурна, но все-таки стыдно. Таню жалко, она кокетничает... и она несчастна... Хочу поправлять комедию».

Несчастлива же она была от отсутствия желательных ей гостей.

Погода была все время праздников прекрасная, тепло, тихо, и вся городская молодежь между репетициями пользовалась всю деревенскими удовольствиями: каталась и на коньках, и с гор, и в санях на лошадях.

Когда приехал на денек Миша Стахович, мы его очень уговаривали остаться у нас. Он колебался, ему не хотелось уезжать от такого веселого общества, но все-таки он уехал и рассказывал в Петербурге моей сестре о нас. Сестра мне потом передала их разговор: «...«Ну что, как в Ясной?» — спросила я. «Весело!» — выразительно ответил он. «Как же это Соня их всех кормит?» «Вкуууусно!» — говорит Стахович. «Ну а спят как же, столько народа?» «Хооорошо спят, крепко!» — шутил Стахович».

За шумным оживлением никто не ощущал неудобств и тесноты.

Публики из Тулы и из окрестностей Ясной Поляны наехало довольно много. Приглашали и жен священников и приказчиков.

Удивительно, как хорошо играли после пяти только репетиций!

Я помню, как преувеличенно восхищался этой комедией наш русский учитель Алексей Митрофанович Новиков, и почему-то Льву Николаевичу это было неприятно.

1890

Троицын день

Переехали в Ясную Поляну и Кузминские. 18-го, в троицын день, Льву Николаевичу стало лучше. Все нарядились, был общий парадный обед у нас. Приходили с деревни бабы и парни с гармониями. Огромная собралась толпа народа, пели, плясали. Явилась торговка с пряниками, жамками, дешевыми конфетами и неизбежными подсолнечными семечками. Мы скупили у нее почти все и раздали детям крестьянским. Потом вся толпа и наши дети отправились в лес. Красиво разбрелись эти яркие, пестрые фигуры, на которых преобладал красный цвет, — на зеленом фоне леса. Свивали из березовых веток венки и на-

девали их на головы. Напели венков и нашим детям и добродушно надевали их им на головы. Через некоторое время вся толпа с свежими зелеными венками двинулась в обратный путь. Опять подошли к дому, пели, плясали, выступая парами в середину хоровода, и плавно, скользя незаметными шажками, проделывали свои обычные фигуры с строго-серьезными лицами и плавными движениями всего тела. Потом отправились к большому пруду бросать венки. Старались забросить подальше, боялись, что утонет венок, что означало тому лицу, чей венок, смерть в этом году. По всему пруду зазеленели эти березовые венки, а толпа направилась с песнями на деревню.

Какое объяснение дать этому ежегодному языческому обряду, я никогда понять не могла, и мне в нем чувствовалось что-то фальшивое, нерадостное. Но дети и прислуга любили это ежегодное празднество троицына дня, и потому я и не препятствовала ему.

Из писем Страхова

Этим летом гостил у нас и Н. Н. Страхов, с которым Лев Николаевич вел усердную переписку и иногда спрашивал мнение Страхова о своих работах.

Раз Лев Николаевич написал Страхову, что он слишком хвалит его, а что он желал бы знать свои недостатки.

И Страхов тонко и умно отвечает ему следующее: «Вы у меня спрашиваете о ваших недостатках, в самом деле я их вижу, но вместе вижу, что ведь это и ваши достоинства, так что я теряю всякую охоту вас упрекать. Когда, бывало, вы при мне спорите и сыплете парадоксы и крайности (как это было целый день с Петром Федоровичем Самариним), мне бывало ужасно досадно на вас...»

И дальше: «Ваш главный недостаток в том, что вы живете чувством настоящего дня, вы все готовы отвергнуть, кроме этого чувства, и вы забываете то, чем прежде жили с таким же увлечением...»

«Всего неправильнее именно отрицательная сторона, резкое решительное отвержение того, что вне круга вашей мысли и вашего чувства. Кто не с нами, тот против нас — это правда. Но еще не значит: мы против всякого, кто не с нами. Со своей стороны, я больше всего осуждаю вас за забвение, за то, что вы забываете прежнюю жизнь своей души. (Как верно!) Вероятно, это неизбежно, но сам я в иных случаях так памятлив, что это меня удивляет в вас»²⁷.

...Погостив у нас месяц, Н. Н. Страхов поехал к А. А. Фету, где застал и поэта Полонского. Пишет оттуда 24 июля 1890 года: «Разумеется, разговоры идут преимущественно о поэзии, Марциале, Фаусте и т. д. После живого ключа, который бьет в Ясной Поляне, я попал на узкую и глухую тропинку, по которой они ходят взад и вперед».

Письмо сыновей на синодский отчет

В этом году, 1890, в мае появилось в «Новом времени» интересное извлечение из отчета св. синода, в котором Льва Николаевича упрекали за распространение своего учения в Кочаках, нашем приходе, и было упомянуто, между прочим, что старшие сыновья ограничивают расточительность отца.

Из ответа наших 3-х сыновей, Сережи, Ильи и Левы, видно содержание этого извлечения, возмущившего всю нашу семью. Вот ответ:

«Милостивый государь господин редактор, В «Новом времени» от 8 мая было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора св. синода на 1887 год относи-

тельно «распространения в Кочаковском приходе мировоззрения и нравственных убеждений графа Л. Н. Толстого», в котором мы прочли, между прочим, что «граф Толстой уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имения, так как старшие сыновья его начали ограничивать его расточительность и преследовать проступки против его собственности и уже не дозволяют хищнически хозяйничать в его имении».

Заметив, что отец признает действительную лишь помощь, оказываемую личным трудом, а при таком воззрении нет места расточительности (это видно из его сочинений, а также из отчета обер-прокурора, где говорится, что граф Толстой при случае оказывал помощь бедным своими трудами), и не касаясь всего прочего в отчете, мы, старшие сыновья графа Л. Н. Толстого, считаем своим долгом печатно заявить, что мы не только никогда не позволили бы себе ограничивать расточительность отца, на что мы не имеем никакого права, но мы считали бы неуважительным и непозволительным всякое с нашей стороны вмешательство в его действия...

Старшие сыновья Л. Н. Толстого Сергей, Илья, Лев Толстые. Просим другие газеты перепечатать»²⁸.

...Много было хорошего в стремлениях наших детей, но почему-то Лев Николаевич не видал или не хотел видеть их, так как дети шли своим путем, а Льву Николаевичу хотелось бы их согнуть по своим новым идеям. Он сердился на них, что особенно видно из его дневника 3 сентября 1890 года, в котором он пишет о своем недовольстве детьми, и дальше: «Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох».

И еще он пишет 6 сентября: «Да, дурно я повел свою семейную жизнь. И грех этот на мне и вокруг меня».

...В Ясной Поляне в то время гостил Николай Николаевич Ге. Он усердно лепил бюст Льва Николаевича, но по случаю сильно похудевшей во время болезни всей фигуры Льва Николаевича бюст вышел мало похож. Я пишу о нем Варе Нагорновой: «Сходство есть, а чего-то нет. Чего-то хорошего нет, того, что любил в Левочке и его лице»²⁹. Портрет Маши, начатый моей Таней, он дописал, и тот же недостаток: хорошо, а свету изнутри нет».

Зато рисунок карандашом черным, сделанный Николаем Николаевичем Ге с нашей Тани, вышел прекрасный и по исполнению и по выражению улыбающегося молодого лица.

Бюст Льва Николаевича Ге повез в Петербург, чтобы заказать там бронзовый бюст. Он сам был не совсем доволен своей работой, но справедливо говорил: «Там что ни на есть, а я этим бюстом бросил перчатку скульпторам, которые не догадались до сих пор сделать бюст Толстого».

Про портрет дочери нашей Маши он говорил, что Таня пишет его не так, не по характеру сестры, в белом платье, барышней. Он закрасил черным белую юбку, оставив только кофточку, и все повторял: «Ведь Маша бедственная, такой ее и надо изобразить».

Много было наивного и веселого в дедушке Ге, а главное, он был общителен и любил людей и молодежь. То вдруг затеет, чтоб топили баню и чтоб непременно все перебивали в ней. А то вечером соберет всю молодежь, и детей, и гостей, и Льва Николаевича, и начинаются разные игры — *petits jeux*. Даже маленького Ванечку принесут, чтобы был тут же.

1891

Репин и Гинцбург

29 июня 1891 года приехал в Ясную Поляну И. Е. Репин. В тот же день, помню я, пошли мы с ним погулять и сели на бугре возле березовой посадки отдохнуть. Со мной были меньшие дети: Саша и Ванечка.

— Какая прекрасная картина,— сказал... Репин и, взяв альбом, набросал карандашом нашу группу.

Трудолюбивый Репин тотчас же начал писать портрет Льва Николаевича пишущим в своем кабинете, внизу, под сводами. Картина вышла превосходная, и мы впоследствии очень огорчились, что она попала не в галерею какую-нибудь или музей, а в частные руки, к Михаилу Александровичу Стаховичу, который ее купил.. у Репина.

В то же время, увидав, как Лев Николаевич с купанья шел домой босой, Репин тут же зарисовал в таком виде Льва Николаевича и потом уже кончил его по фотографиям. Портрет этот совсем не похож, но его купили уже для музея Александра III в Петербурге³⁰. Туда же попал еще менее похожий портрет Льва Николаевича, очень дурно написанный тогда уже совсем большим художником Ярошенко.

Репин работал без усталости, часто ведя продолжительные беседы с Львом Николаевичем об искусстве, о религии и др. И когда в сентябре Репин писал Льву Николаевичу в ответ на какую-то приписку Льва Николаевича, он выразил ему следующие мысли:

«Вы умеете во всем видеть суть дела! Нет, вы никогда не можете сделаться сектантом; везде вам ясно представляется главная основа вещей, а не детали... Оттого так неудержимо хочется следовать вам... Большое вам спасибо за вашу приписку, ваше живое слово...»

Кроме портретов, Репин принялся еще лепить бюст Льва Николаевича из глины. Егс, по-видимому, побудило это сделать, глядя на бюст, сделанный Николаем Николаевичем Ге, который ему не нравился. Но и бюст Репина меня совсем не удовлетворил, он не был похож.

Вскоре приехал и Гинцбург и тоже принялся лепить Льва Николаевича. Он сделал недурную статуэтку и тоже очень плохой, огромный бюст Льва Николаевича. Если когда-либо будут ставить памятник Льву Николаевичу, то ни одна из всех скульптурных работ всех бравшихся за изображение Льва Николаевича не передаст настоящего его облика. Лучше других — маленький бюст с сложенными руками работы Трубецкого.

16 июля Репин уехал, закончив свои работы.

Во время его пребывания бывало много гостей: приезжал Фигнер и пел, маленький Гинцбург смешил всех своими комическими рассказами.

Исследование голода

Сначала Лев Николаевич поехал с дочерью Таней и Верой Кузминской опять в Пирогово к брату исследовать голод в их странах. Объехали они очень много деревень, но брат Сергей Николаевич недоверчиво и иронически относился к мысли о столовых, и это очень охлаждало Льва Николаевича.

Заезжали они к Бибиковым, Свечиным, обходили крестьян. У них еще был картофель и не так плохо, как думали раньше.

Поездки эти и расстроили и утомили Льва Николаевича, и он говорил, что чувствовал себя дурно и телом и душой.

22 сентября они вернулись, и мы ссорились с Львом Николаевичем, и я страдала, видя, что все стремится к нашей разлуке.

Приезжавший к нам Иван Иванович Раевский был первый, который утвердил Льва Николаевича в его намерении ехать кормить голодающих в их края посредством столовых. Он рассказывал, что исстари еще во время голодовок устраивали такие столовые, которые народ называл «сиротскими призреваниями».

Лев Николаевич тогда же решил, что он поедет в те края, куда указывал Иван Иванович, и тут же взял у меня денег на закупку свеклы, картофеля и тех продуктов, которые надо было перевезти на разные пункты до морозов.

Затем Лев Николаевич поехал с дочерью Машей в Епифанский уезд исследовать там голод. Поражала их там страшная нищета и при этом пьянство. 25-го Лев Николаевич с Машей был в Клекотках, станция железной дороги, а оттуда ездил к Писареву, видел и бывшего учителя Сережи доктора Богоявленского, и все подтверждали, что голод предстает ужасный. Решено было, что Лев Николаевич с дочерьми будет жить у пригласившего их к себе в Бегичевку Раевского и устраивать столовые по деревням. Тут же Лев Николаевич дал еще 90 рублей и просил купить немедленно картофеля.

Статьи

Перед отъездом в Епифанский уезд Лев Николаевич много писал и пытался писать и о голоде. Посетители его в то время: англичанин Баттерсби, беседовавший о религии, и потом разная молодежь — Новоселов, Леонтьев, Гастев и др. Упоминаю о них, потому что все они впоследствии отправились к Льву Николаевичу и усердно помогали ему в деле кормления голодающих, бескорыстно отдаваясь этому делу всей душой. На них оправдывалась мысль Льва Николаевича, что если бы люди, желая делать добро, кормили, учили и лечили — делали бы это с той страстностью, какая у людей к охоте, например, — как бы это было производительно.

На вернувшемся из Бегичевки Грота эти помощники произвели неблагоприятное впечатление, и он меня смутил рассказами, что Лев Николаевич до 3-х часов ночи пишет, а днем страшно занят столовыми. Маша всюду ездит одна, а помощники (те м н ы е, как мы их звали) ничего не делают и хорошо кушают.

Вернувшись из Епифанского уезда, Лев Николаевич усердно принялся писать статью о голоде под заглавием «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»³¹. Дополнительные сведения дал ему еще приезжавший в Ясную Поляну князь Д. Д. Оболенский. Приезжал еще Николай Яковлевич Грот, просивший статью для журнала, им издаваемого, — «Вопросы философии и психологии». О Гроде Лев Николаевич отзывался так: «Мы усердно с ним работали... Какой он энергический и милый, приятный для жизни человек!»

Очень мучился Лев Николаевич и вопросом о том, достаточно ли в России хлеба для равномерного распределения между голодающим населением. И об этом тоже писал Лев Николаевич статью «Страшный вопрос». Он уже весь поглощен был в мыслях вопросами голода и совсем перестал интересоваться семьей.

Все разъехались. В Бегичевке

22 октября, простившись с мужем и дочерьми, я уложилась и окончательно уехала в Москву с Ванечкой, Сашей и прислугой. Лев Николаевич равнодушно простился с нами и послал со мной дополнение к своей статье о голоде Н. Я. Гроту. В это же время была напечатана и статья «Первая ступень». Лев Николаевич чувствовал себя не

совсем здоровым и, выждав немного, уехал с дочерьми в Данковский уезд, в Бегичевку, к Раевским.

Удивило меня мнение дочери Тани о действиях ее отца. Она пишет в своем дневнике, что его действия непоследовательны и что для него это кормление голодающих — *second best*³².

29 октября приехали в Бегичевку в то время Лев Николаевич, Таня и Маша, Мария Кирилловна — их горничная, Вера Кузминская и И. И. Раевский. Перед этим они заезжали к Самариным поговорить о предстоящей их деятельности.

Вечером был совет, что делать. Приезжал сосед Мордвинов. Кто-то предложил затеять работы для баб³³. В некоторых местах уже были открыты столовые. Школы были закрыты, не было денег платить учителям. Нашим девочкам предложили заниматься с детьми, на что они охотно согласились.

В избах везде был холод, топили кое-как торфом и картофельной ботвой. Ждали помощи от правительства, а есть пока нечего и хлеба купить негде.

Недалеко от Бегичевки была деревня Горки, и туда ездила Таня и описывает, как там открыли столовую для детей и они прибегают с ложками и, держа ложки над хлебом, чинно едят. Тут же кормили и старух со стариками.

Пишет Лев Николаевич свои впечатления о столовых: «Очень радостное впечатление. Мальчика нищего пригласили ужинать. Ребята бегут: «Мы ужинать!», «Я тоже, вот и ложка!»...»

Самая бедная деревня была Пеньки, и когда приходили пеньковские бабы, плача и выпрашивая что можно, то никто не хотел к ним выходить, так они надоели. «Пеньковские, а!» — ужасались наши. Раз пришла старуха, на голом теле рваная юбка и кофта, ни белья, ни верхнего платья. Пришла девочка, ест вареную картошку и плачет от слабости и голода. Таня пишет, между прочим: «Девочки наши все обходили избы и сначала все плакали, а потом привыкли...» И еще: «Редкий день, что Маша и Вера не ревут, я потверже...»

Но, видно, и Тане было нелегко. Ей попала под руку какая-то книга, которую она читала и где описывалась светская и цивилизованная жизнь, и вдруг это перенесло ее в этот мир, и она пишет в дневнике: «Не всегда же я буду жить в глуши, а будет время, когда я увижу и хорошие картины, и цивилизованных и культурных людей и услышу музыку. Пока меня не тянет отсюда, и я рада, что тут; я считаю своей обязанностью принять на свои плечи долю тяжести этого года, и потом, главное, папá тут...»

Часто тосковала Таня и обо мне, и об отце, и об уехавшем в то время кормить голодающих в Самарской губернии брате Леве. А между тем писала: «Руки отнимаются что-либо делать, так все пусто и бедно».

Отъезд Левы. События в Москве

Лева все время колебался, но в душе стремился делать то же дело, как и отец. В сентябре еще он собирался с В. А. Маклаковым пешком обойти голодающие места, но это было бы очень долго, а 11 октября написал мне, что поедет в Самару во что бы то ни стало. Он не решился выходить из университета совсем, а, взяв 28-дневный отпуск, отправился в путь, снабженный мною деньгами, шубой, провизией и кое-чем необходимым для него лично и для первой помощи несчастным. Он отбивался от всего и ничего не хотел брать. Сначала

* Дело второстепенное (англ.).

Лева поехал в Бегичевку посмотреть, как организована там помощь, а потом уже уехал в Самару, кажется, 29 октября.

Приблизительно в то же время в Москве прочел В. С. Соловьев лекцию, кажется, тоже о голоде, но вообще очень либеральную. В то время в Москве был Победоносцев, и «Московские ведомости» тотчас же донесли ему о поступке Соловьева. Тут же арестовали только что отпечатанный ноябрьский номер журнала Грота «Вопросы философии и психологии» с статьей Льва Николаевича³⁴. Ее все-таки считали менее вредной, чем лекцию Соловьева. И 1 ноября, когда обедали у меня приехавшие из Петербурга Н. Н. Страхов и Н. Я. Грот, последний сказал мне, что он статью Льва Николаевича слегка смягчил и ее пропустили. Накануне читали ее у Фета, и всем она очень понравилась, и я тоже нашла ее уравновешенной и слушала ее с удовольствием. Фет и Страхов очень подбивали меня напечатать воззвание о пожертвованиях, но я еще колебалась. Вообще я боялась всякого вмешательства в общественные дела...

Смерть Дьякова

Должна я еще упомянуть о новом горе, которое я пережила в конце октября. Занятая своими делами и разлукой с семьей, я никого не видала по приезде в Москву из своих друзей. Узнала я от своих детей, что мальчики Дьяковы больны и в гимназию не ходят, и поехала их навестить.

Как только я вошла, меня со слезами окружили его дочь, сыновья, Лиза Оболенская и сообщили мне, что опасно болен наш старый друг Д. А. Дьяков. Я вошла к нему. Весь красный, с одним закрытым глазом, он тяжело дышал, и вздутый живот его то поднимался горой, то опускался. Во рту он держал папиросу и жадно курил. Я нагнулась над ним и поздоровалась. Он меня узнал и начал прерывисто и невнятно говорить о голоде народа, о том, что хорошо печь хлеб с подсолнечными жмыхами, спрашивал о Льве Николаевиче и дочерях и, по-видимому, не думал о своей болезни, а весь интерес его сосредоточился на деле голода.

Положение же его было безнадежно. Он ударился ногой о вагон, сделалась ранка, он ее заклеил английским пластырем, сделалось воспаление и заражение крови, что при его сахарной болезни привело его состояние к смерти. Скончался этот дорогой и верный наш друг 28 октября, и я хоронила его вместе с его семьей, и новый камень навалился на мое сердце, и новый страх за отсутствующих запал в мое сердце.

Мое отношение к голоду народа

Между тем слухи об усиливающемся бедствии в России все делались ужаснее. Становилось совестно просто жить и быть сытой. Пишу своим: «Как я охотно отдала бы вместе с собой все на ваше дело!»

Часто, садясь за обед, я ничего не могла есть, меня мучили мысли о голодных, особенно детях.

1 ноября я набросала небольшую статью, призывая людей к благотворительности. Статью эту я показала Н. Н. Страхову, который сделал небольшие поправки и сказал мне, что этот призыв вылился из моего сердца так цельно и горячо, что надо его непременно напечатать в том виде, как я его почувствовала непосредственно.

3 ноября появился в «Русских ведомостях» мой печатный призыв к обществу о помощи голодающим.

Привожу его здесь:

«Благотворительность и денежные пожертвования... так велики, что страшно приступить к этому вопросу. Но и бедствие народное оказывается гораздо большее, чем предполагали все. И вот еще и еще надо давать, и еще, и еще — просить.

Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой граф Лев Николаевич Толстой с двумя дочерьми находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых, или «сиротских призрений», как трогательно прозвал их народ. Два старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, и третий сын уехал в Самарскую губ. открывать по мере возможности столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их надо так много! Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служит невольным упреком, что в эту минуту умирает кто-нибудь с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие выносить вида даже малейших страданий собственных наших детей, неужели мы спокойно вынесли бы вид притупленных и измученных матерей, смотрящих на костенеющих от холода и умирающих от голода детей, на не питающихся вовсе стариков?

Но все это видела теперь семья моя. Вот что, между прочим, пишет мне моя дочь из Данковского уезда об устроенных местными помещиками столовых на пожертвованные ими средства:

«Я была в двух: в одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидела пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебала щи. Им дают щи, похлебку и иногда еще холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится вместе с топливом от 95 коп. до 1 руб. 30 коп. в месяц на человека».

Следовательно, можно спасти от голода за 13 рублей до нового хлеба человека. Но их много, и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться перед этим. Если мы, каждый из нас, прокормит одного, двух, десять, сто человек — сколько кто в силах, уже совесть наша будет спокойнее. Бог даст, нам в нашей жизни не придется переживать еще такого года! И вот решаюсь и я обратиться ко всем тем, кто хочет и может помочь, с просьбой способствовать материально деятельности семьи моей. Все пожертвования пойдут прямо, непосредственно на прокормление детей и стариков в устраиваемых мужем моим и детьми столовых.

Пожертвования можно посылать по следующим адресам (следуют адреса Льва Николаевича, Сережи и Ильи, Левы и мой).

Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души.

2 ноября 1891 г.

Гр. С. Толстая».

Пожертвования и жертвователи

Пожертвования стали поступать с необыкновенной быстротой. Уже в первое утро мне принесли более 400 рублей, а в сутки я получи-

ла 1500 рублей. Во все время голода и помощи мы получили на семью нашу около 200 000 и даже более. Справиться сейчас мне негде, но отчеты тогда печатались беспрестанно и до конца дела.

Больше всего меня радовало, что Лев Николаевич похвалил мое письмо и только оговорился, что я точно восхваляю всех своих.

У меня организовалось целое большое дело. Пришлось записывать имена и суммы, приходилось принимать и лично разных людей и их приношения. Многие требовали рассказов от меня о бедствии и о занятиях Льва Николаевича и моих детей. Много было трогательных минут. Пришли три городские учительницы, принесшие денег с своих скудных жалований. Как только они передали их мне и я поблагодарила, одна из них расплакалась, другая подошла ко мне и поцеловала меня. И сколько раз плакали жертвователи, и с какими прекрасными чувствами давали свою лепту.

Пробужденные моим воззванием добрые чувства людей доставляли мне огромное наслаждение. Вот та единственная власть, которая должна быть над людьми,— власть горячего, правдивого и искреннего чувства.

Пишу об этом Льву Николаевичу: «Очень трогательно приносят деньги: кто, войдя, перекрестится и даст серебряные рубли, один старик поцеловал мне руку и говорит, плача: «Примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту». Дал 40 рублей. Учительницы приносили, и одна говорит: «Я вчера плакала над вашим письмом». А то приехал на рысаке барин, богато одетый, встретил в дверях Андриюшу, спросил: «Вы сын Льва Николаевича?» «Да». «Ваша мать дома? Передайте ей...» В конверте 100 рублей. Дети приходили и приносили 3, 5, 15 рублей. Одна барыня привезла узел с платьем... Одна нарядная барышня, захлебываясь, говорила: «Ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот возьмите, это мои собственные деньги, папаша и мамаша не знают, что я их отдаю. А я так рада!» В конверте 101 рубль 30 копеек...»

Везде за границей перепечатали мое письмо и при посылке пожертвований писали лестные письма... Тысячи писем получили мы и многие сохранили. Было много от неизвестных лиц с большими и малыми жертвованиями. Доверие к нам было удивительное, и как горячо мы старались его оправдать!

Приведу несколько маленьких отрывков из писем, случайно попавших мне, все еще ноябрьские:

Харьковская губ., село Боровенково, от учителя менонитского училища: «Прочитав письмо ваше, я сам тронут был до слез. Но что делали мои ученики, когда я им прочитал это письмо? Они не только тронуты были, но заявили желание пожертвовать свои копейки в пользу голодающих, и непременно детей...»;

из Волынской губ. посылают 13 рублей и пишут: «При этом считаю долгом добавить, что в числе присылаемых денег три рубля пожертвованы находящейся у меня в услужении молодой девушкой, что составляет ее месячное жалованье... Да благословит вас бог и всю вашу семью, совершающих великий подвиг бескорыстного служения на пользу меньшей братии...»;

от начальника Медведского почтового отделения: «Прочитав ваше письмо, перепечатанное в газете «Северный Кавказ», я невольно прослезился о бедственном состоянии братьев наших и, уделив от скудных средств семьи моей, посылаю 5 рублей...»;

от рыбаков-старообрядцев Бессарабской губ., посада Волкова 26 руб. Известный процент их ежемесячного жалованья;

от крестьян Курской губ., село Ламокино 45 рублей; «Дошло до

нашего захолустья ваше трогательное воззвание о помощи голодающим...»;

при 50 рублях уездный землемер города Липовца Киевской губ.: «Ваше сиятельство! Вы не поверите, если скажу, что, прочитывая строки о ваших и дорогих детей ваших подвигах в данном деле, у меня невольно покатались слезы из глаз при мысли, что если бы у нас хоть тысячная доля была таких сподвижников, как сей высокопоставленный боярин и его благословенное семейство, то не было бы и десятой доли бедствующего в таких случаях народа...»;

из Балахны отставной подполковник посылает деньги из пенсии своей: «Видно, что семья ваша, помимо всяких комиссий и формальных докладов, взялась непосредственно и дружно за внушенное богом дело помощи бедственному населению...»;

«5 рублей от старика Семена с женой и от читальщика по покойникам...»;

от А. А. Зиновьева 100 рублей; «Семейство ваше с благородной простотой решило задачу действием, и я, ленивый и бесстрастный человек, все-таки люблюсь на него и преисполнен странным сожалением, что в нём не 100 сердец и не 200 рук для взятого дела...»;

50 рублей; «Старшая дочь моя Варвара, сделавшись невестой, просила меня устроить ей самую скромную свадьбу, но вместе с тем не отказать ей устроить перед свадьбой угощение бедняков, которым она хотела сама прислуживать. Дочь моя умерла, не дождавшись желанного дня. Пусть на посылаемые от ее имени деньги и будут накормлены несколько стариков и детей...»;

из Екатерининской гавани на Коле Архангельской губ. прислали 68 рублей от штурманов, механиков, матросов. Пишут: «Глубокоуважаемая София Андреевна, усердно молим бога за вас и ваше доброе семейство и шлем посильные пожертвования для бедных».

Сотни трогательных писем было получено тогда, но ни одного осуждающего или недоброго письма.

Что бы это было теперь, в 1909 году, при тех же обстоятельствах? Сколько яда, лжи, несправедливости и злобы вылилось бы на семью нашу из уст подобных Меншикову и ему подобных газетных писаков. В то время подлы, лживы и злы были только «Московские ведомости».

Николай Яковлевич Грот писал нам тогда, что «сиротские призерия» вызвали в обществе большое сочувствие, а в Петербурге он слышал, что министр внутренних дел Дурново в претензии на меня за мое воззвание и говорит, что жалеет, что я не обратилась к нему лично, так как сам бы дал денег или послал бы семье.

Получила я от неизвестного лица бриллиантовое кольцо и долго не могла продать его. Наконец кто-то его купил за 1200 рублей, кажется.

Несмотря на мой личный договор с директором театров Всеволожским и его обещание платить 10% гонорара автору за «Плоды просвещения», я получила от него в октябре отказ. Тогда я написала письмо министру двора и сообщила ему намерение Льва Николаевича отдавать эти деньги голодающим.

Учтивый и воспитанный граф Воронцов написал мне изысканно вежливое письмо, в котором изъявил согласие выдать гонорар автору ввиду благотворительной цели без всяких дальнейших формальностей.

Помню, что за эти годы голода пришлось получить несколько тысяч рублей, которые я с большой готовностью и радостью употребила на помощь голодающим.

Хотя я все время была больна, но, затеяв хорошее дело, я отдалась ему всей душой, перестала тосковать по своим и деятельно трудилась. Получала в день до ста и больше конвертов с деньгами, вносила записи

в книгу, отвечала на письма, делала разные закупки. Иногда приходила мне помочь Вера Северцева, но большей частью приходилось работать одной.

К 11 ноября у меня собралось уже около 9000 рублей денег. На 3000 я через Писарева тотчас же купила хлеба, потом купила около 100 пудов гороху.

Давали мне пожертвования и вещами. Я иногда ездила сама и выпрашивала. Так, например, К. С. Попов дал 160 пачек чая, а Боткин 10 ф., Расторгуев 20 ф. сахара, Савва Тимофеевич Морозов пожертвовал 1500 аршин бумажной материи, из которой мы кроили и шили рубашки и простыни для тифозных больных в Самарской губернии. Помню я, как целыми днями я кроила в Москве наверху, в зале, с экономкой Дуняшей, нашей няней и англичанкой эти рубашки. Иногда пожертвования были довольно странные, например 20 пудов вермишели от купца Усова из Петербурга.

Послала я тогда денег и просящему их Лева, который в короткое время уже организовал в Самарском крае помощь населению с помощью живущего там А. А. Бибикова.

Писанья Льва Николаевича

Сначала Лев Николаевич пытался еще заниматься своими художественными работами. Так, например, 6 ноября он еще записал о своей повести «Отец Сергей»: «Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях бога».

Тогда же Лев Николаевич начал рассказ, который никогда не кончил и который думал дать в сборник в пользу голодающих, о чем просил его Д. Д. Оболенский. Отрывок этот под заглавием «Кто прав?» читали уже гораздо позднее в устраиваемом мною благотворительном концерте в пользу приюта, которого я была попечительница.

Но материальные заботы, по-видимому, мешали заниматься, и уже 17 ноября Лев Николаевич пишет в дневнике: «Нет духовной жизни... Дело идет равномерно. Но нет удовлетворения. Нет и стыда, и раскаяния...»

Еще день полный был посвящен устройству столовых в Никитском и Пашкове, еще день в Горках. Ездил в Пеньки и писал статью о столовых».

И дальше пишет: «Писал 8-ю главу».

По мере того как шире и шире распространялась деятельность, прибывали и деньги и помощники. Приехал некто Матвей Николаевич Чистяков, лучший помощник из всех. Он мог вполне заменять Льва Николаевича во времена его отсутствия. Он привез корректуру статьи Льва Николаевича «О непротивлении»³⁵. Предложили свои услуги две девицы: Черняева и Вагнер. Поступили еще разные молодые люди: Гастев, Новоселов, Леонтьев, Усов. Некто Владимир, человек энергичный и горячий, возымел хорошую мысль взять на прокормление лошадей крестьян и, взяв 80 голов себе, распределил еще многих среди крестьян других, не голодающих мест. Сам он еще пожертвовал вагон овса и обещал прислать еще лык для лаптей и льна для баб, чтобы дать заработок крестьянам.

Кормили лошадей и тех крестьян, которые подвозили провизию со станции и развозили по столовым.

Распределять по деревням помощников было тоже дело нелегкое. А когда они собирались в Бегичевке, то происходила такая суета, что голова от них кружилась.

Сомнения

17 ноября заболела Таня, у ней сделался жар, и, узнав об этом, я пришла в ужас. Вернулся на время и Лева из Самарской губ. повидаться и взять денег для дальнейшей помощи населению. Маша тревожила меня затейным ею романом с Петей Раевским, юным студентом, моложе ее.

В деятельности семьи моей иногда возникали тяжелые сомнения. Лев Николаевич говорил про Россию, что, сколько ни старайся, впереди крушение... Таня думала, что результатом того положения, в котором находилась тогда Россия, будут или рабы хуже крепостных, или восстания. Последние можно было предвидеть, но те ужасные казни, которые совершаются теперь, в 1909 году, ни один пророк предвидеть не мог.

В своем дневнике Таня пишет, что, впрочем, «ничего нельзя предвидеть и что только каждый должен класть свои силы, чтобы сделать вокруг себя что может». «Папá стал часто говорить и пишет в своих письмах, что дело, которое он делает, не то, а что это уступка. Я этому рада, значит, я не ошиблась...»

И все чувствовалось Тане, что что-то не то, что не надо выбирать бедных, а надо всех пускать в столовые, кто хочет прийти. Пишет: «Мне совестно иметь участь этих людей в своих руках и рассуждать *du haut de mon luhe**, кто более и кто менее голоден. Вообще мне никогда не было так стыдно быть богатой, как это время...»

Пришел к ней раз мужик просить принять в столовую детей. «Ничего с утра не ели, мальчик пошел побираться, ждем его».

Таня удивилась и выразила сожаление, что ребенка послали побираться. «Детей-то жалко»,— сказала она. «Об них-то и толк, как сатка»,— сказал мужик, отвернулся и заплакал.

В другой раз Таня зашла в избу, где было пять человек детей, почти все раздетые. Изба холодная, по вечерам давно уже нигде по избам не зажигали огня.

Таня не могла видеть вида этих несчастных, сняла с себя теплую шаль и отдала, и, как всегда при всяком подаянии, получавшие его заплакали.

В ноябре была напечатана статья Льва Николаевича «Страшный вопрос»³⁶ о том, хватит ли в России хлеба. Тотчас же «Московские ведомости» перефразировали, например, такое место в статье Льва Николаевича, напечатанной, кажется, в «Неделе». Лев Николаевич пишет: «Ведь то, что люди этой Епифанской деревни не могут прожить зимы... если они не предпримут чего-нибудь, несомненно, как и то, что колодка пчел без меду и оставленная на зиму помрет к весне. Но в том-то и вопрос: предпримут они что-нибудь или нет? До сих пор похоже, что нет. Только один из них распродал все и уезжает в Москву...»

И «Московские ведомости», указывая на слово «предпримут», написали, что в нем Лев Николаевич подразумевает революцию и призывает к ней русский народ.

Пишу о них Льву Николаевичу: «Сегодня пишу письмо министру внутренних дел по поводу статей «Московских ведомостей». По-моему, они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого,

* С высоты моей роскоши (франц.).

Грота и Соловьева к какой-то воспрянувшей, по их мнению, либеральной партии, которая, воспользовавшись народным бедствием, хочет что-то делать в смысле политическом. Рассказать всю эту подлость — трудно... Мысль, которую я хочу провести министру, есть та, что если революционерам указывают на эту мнимую опору лучших представителей интеллигенции, то они поверят своему счастью и поднимутся опять...»

Письмо мое к министру просмотрел Н. Я. Грот и одобрил.

Но несмотря на мои объяснения министру внутренних дел, недоверие и недовольство правительства возникло с страшной силой, и был издан циркуляр от главного управления по делам печати ни где н и к а к и х статей Л. Н. Толстого не печатать³⁷.

Со временем все объяснилось и уложилось. Грот ездил в Петербург, и это очень способствовало уяснению и восстановлению истины.

25 ноября 1891 года мне пишет Лев Николаевич: «Статью мою, гротовскую (т. е. та, которая была у Грота), пожалуйста, возьми в последней редакции без смягчений, но с теми прибавками, которые я просил Грота внести, и вели переписать и пошли в Петербург Ганзену (датчанин) и Диллону и в Париж Гальперину. Пускай там напечатает; оттуда перейдет и сюда...»

Но как всегда поразительна рознь, существующая между правительством и всяким добрым делом! В то время как не только вся Россия, но и иностранцы с любовью смотрели и помогали нашему делу помощи голодному населению, на Льва Николаевича направили клевету и гонение. Но народ не обманешь, и все-таки любовь, благодарность и доверие народа к Льву Николаевичу остались навсегда.

Существует длинная переписка между мной и Львом Николаевичем, дающая ясное понятие и о его жизни с дочерьми, и о моей с детьми, и, главное, о деятельности нашей. Но всего здесь не передашь.

Смерть Раевского

В конце ноября Лев Николаевич стал собираться с дочерьми к нам в Москву повидаться. Я и радовалась этому и не хотела никаких действий и жертв ради моей радости и спокойствия. Я постоянно писала им, что если это им неудобно и нежелательно, то чтобы не приезжали.

Обстоятельства вдруг круто повернули все дело и надолго отозвались на моем счастье и спокойствии. Я думала раньше, что, дав ход делу помощи и имея для этого достаточно денег, дело пойдет и без нашей семьи под руководством милого Ивана Ивановича Раевского, живущего у себя в имении, где он был дома. Но вышло иначе. Иван Иванович, съездив раз в город Данков, верст за 40, по делам помощи голодающим, вернулся домой совсем больной. Его тряс сильный озноб, после которого наступил вскоре жар до 40 градусов. Началось с простой инфлюэнцы; доктор земский Богоявленский все время не видал опасности, но все-таки выписали и жену Раевского Елену Павловну и сыновей старших. Болезнь колебалась: то лучше, то хуже, все время большой страшно волновался общественными делами, оживленно говорил о них. Инфлюэнца осложнилась воспалением в легких, и 26-го числа И. И. Раевский скончался. Сангвиник, брюнет, полный, сильный и здоровый, он не выдержал высокой температуры, и, главное, быстро ослабела деятельность сердца.

Горе семьи и всех друзей было очень большое и тяжелое.

Льву Николаевичу и девочкам **уже нельзя было** уехать, надо было

и похоронить дорогого друга, и побыть с его семьей, и успокоить население, что, несмотря на смерть хозяина Бегичевки, дело помощи голодающему населению прекращено не будет. Меня же эти две смерти — Дьякова и Раевского — повергли в полное отчаяние. Мне стало ясно представляться, что умрет и Лев Николаевич. Хотя я писала, чтобы не ездили ко мне Лев Николаевич и дочери, все же я болезненно ждала и желала этого. Пишу им: «Не надо, не надо, не ездите; ваше дело стоит моей временной скуки, и не ставьте меня в то положение, что я буду сама себя съедать упреками за то, что оторвала вас от здоровой жизни и хорошего дела...»

Но это было написано еще до смерти Раевского. А у меня только что болели все дети инфлюэнцей и болел еще Лева.

От 30 ноября до 9 декабря Лев Николаевич и дочери мои погостились со мной в Москве. Радость свиданья была большая, но продолжалась недолго. Мы оба чувствовали, что смерть Ивана Ивановича Раевского нас теснее связала с делом кормления голодающих и главою этого дела остался один Лев Николаевич. Я все время тогда хворала, у меня делались удушья с сильным сердцебиением, шла постоянно кровь то носом, то горлом, и нервы дошли до крайнего расстройства. Но я не унывала, трудилась, выезжала, занималась детьми.

Помощники

Помощников в нашем деле все прибавлялось, и много приходило ко мне в Москве молодежи, которая просилась на помощь к Льву Николаевичу. Поехали к нему Илья, Алексей Николаевич Коншин, очень милый, идейный человек, и, главное, деятельно взялся за покупку и доставку хлеба и разных продуктов Николай Николаевич Ге младший, живший тогда, после смерти только что скончавшейся матери, по внушению Льва Николаевича на хуторе с отцом и с своей незаконной семьей, состоящей из хохлушки Гапки, его первой любви в юности, и из 4-х детей. Он сам работал с Гапкой сельские работы, был по-своему счастлив и охотно взялся нам помогать...

Выписала я тогда в декабре 5 вагонов ячменя, 10 вагонов ржи, 6 вагонов гороху и 2 вагона муки, которые послал мне Николай Николаевич Ге (сын), доставивший и закупивший продуктов больше всех других. Давали тогда от губернатора свидетельства Красного Креста на даровой провоз всего для голодающих. Труднее всего было доставать дрова и вообще топливо, но и это затруднение преодолевали, и многие жертвовали дрова, и, кроме того, отпускали из нашей казенной Засеки.

Странное и в то время несправедливое было недоверие общества и иностранцев к деятельности Общества Красного Креста. Некто Моррисон выразил это и просил указать ему верное помещение его 300 рублей в Самарской губернии...

Покупки и пожертвования

Чтобы народ не болел цингой, Лев Николаевич решил, что надо выписать кислой капусты, и написал мне, чтобы я купила в Москве также и лук у огородников. Поехала я куда-то за Дорогомиловскую заставу по указанному адресу к огородникам. Вхожу в небольшой деревянный домик, выходит ко мне молодой огородник и недружелюбно обращается ко мне с вопросом, что мне надо. Я говорю, что желала бы купить вагона два капусты кислой и вагон (600 пудов) муки. Он удивился и начал отказывать, говорить, что это много, негде набрать, что дорого будет стоить. Я стала рассказывать о голодающих

с большим жаром и увлечением, достала письма Льва Николаевича и Тани, читала самые трогательные места. Смотрю, из разных углов стали выходить люди, женщины, дети. Хозяйка пригласила меня сесть. «Не желаете ли чайку? Милости просим». Не прошло четверти часа, все эти люди стали друзьями, мы вместе обсуждали покупку капусты и лука, и вскоре после моего посещения этот милый огородник доставил мне по довольно низкой цене прекрасную кислую капусту и очень хороший сухой лук.

Большой успех имела эта моя покупка в столовых, куда развезли кадки с капустой и лук.

Поехала я еще раз в магазин сукна Поповой. «Продайте мне,— говорю я главному приказчику Петухову,— бракованного, дешевого сукна для одежды голодающим детям в деревнях, где работает моя семья». Петухов сказал, что спросит хозяина, и мне прислали бесплатно очень много разного сукна, из которого голодные, и праздные тоже, деревенские портные пошили нам за недорогую плату поддевки раздетым детям. У кого-то я еще выпросила 100 фунтов ваты. Помню, в каком восторге был один почти нищий мальчик из села Татищева, которому первый раз в жизни пришлось надеть что-нибудь новое. Он глядел на себя и все время смеялся от восторга.

В самарских степях

Такие зрелища доставляли часто удовлетворение и радость. Гораздо тяжелее была картина голода, куда опять уехал бедный наш Лева. Он писал, например, что там повальный тиф и инфлюэнца. Посланы были туда врачи, сестры милосердия и фельдшера. Я поспешила послать белья и 8 вагонов ржи, которую купила довольно дешево, по 95 коп. за пуд.

Писал Лева еще, что у них там удавился вдовец-крестьянин, потому что не мог выносить вида умирающих от голода своих 3-х детей.

При Лева же сапожник, не имевший заработка от обедневших крестьян, перерезал себе ножом горло, и когда позвали Леву, спасти этого человека было уже поздно.

Помощниками поехали тогда к Лева молодой Цингер и наш управляющий, двоюродный брат Раевских и Цингерсв,— Иван Александрович Бергер, добрый и мягкого сердца человек, которого мы все очень любили.

Заговорили всюду о сильно распространявшейся оспе. В гимназиях распустили всех мальчиков с предписанием строгим дома привить оспу. И мои мальчики подверглись тому же. Они были очень рады быть дома и не учиться, и помнится мне, что в эту осень мы с Андрюшей по вечерам читали «Князя Серебряного» гр. Алексея Толстого.

Приехавшая к нам дочь Таня и я— мы обе себе тоже привили оспу. Это было что-то ужасное! Руки вспухли как две красные подушки, жар, бессонные ночи— мы с ней тогда просто исстрадались!

«Плоды просвещения»

12 декабря 1891 года была в Москве в Малом театре генеральная репетиция комедии «Плоды просвещения». В Петербурге ее уже давали раньше и прислали мне гонорар автору— 2200 рублей, которые я и отослала Льву Николаевичу на помощь голодающим.

Со мной в театре были Философовы и две племянницы Льва Николаевича— Лиза Оболенская и Варя Нагорнова.

Вдрут в первом акте входит сын Сережа. Я ему очень обрадовалась. Он побыл со мной день, а потом, побывав в Туле по каким-то

общественным делам, уехал опять к себе в Никольское тоже для помощи голодающим и для исполнения должности секретаря при Красном Кресте.

Конец года

Подшли праздники рождества, и стало грустно без семьи, т. е. без Льва Николаевича и старших детей. Вспоминая предыдущий, 1890 год, когда вся семья была в сборе в Ясной Поляне, я пишу Льву Николаевичу: «Все больше и больше остается в прошлом. Как куст с цветами или яблоня с плодами, так жизнь: осыпаются цветы и плоды, и все голее и голее дерево и, наконец, совсем засохнет...»

25-го я сделала детям небогатую елку, которой заведовал сын Андрюша. Всякая роскошь уже мне была неприятна, и когда Мария Петровна Фет раз заехала за мной и Андрюшей в своей карете и повезла меня на светский благотворительный базар, я не могла долго на нем оставаться.

Помню эту безумную роскошь обстановки в залах Благородного собрания, эти киоски, эту огромную раковину, в которой сидела красивая, в бриллиантах купчиха и продавала шампанское.

Толкотня, блеск, безумная роскошь нарядов — и все это для голодного народа! Не люблю то, что нарушает в чем бы то ни было гармонию, а здесь все нарушало гармонию чувств.

Меня окружили все мои светские знакомые и все купеческое общество, которое я знала отчасти по знакомству с Марией Петровной Фет, рожденной Боткиной, а отчасти по Третьяковым, а в настоящее время по общественным делам.

Кто угощал меня чаем, тартинками, кто конфетами и фруктами, кто показывал и предлагал купить разные вещицы на базаре. Многие расспрашивали о моей семье и ее деятельности и выражали сочувствие. Меня даже тронуло столь ласковое и милое отношение ко мне московского общества. Но недолго я могла смотреть на этот базар и вскоре уехала.

1892

Москва и «Плоды просвещения»

Прожили тогда со мной в январе Лев Николаевич и дочери Таня и Маша целых три недели, и я отдохнула немного душой, хотя много болели дети. Сначала Маша, ослабев от тяжелой работы, хворала инфлюэнцей, потом Миша свалился и Ванечка. В конце января Таня привила себе оспу, и так сильно она принялась, что совсем свалила Таню в постель.

До этого еще, а именно 7 января, давали в Малом театре комедию «Плоды просвещения». Поехало большое общество, пришел и Лев Николаевич, и когда это узнали, его перевели в директорскую ложу, куда стремительно прибежала актриса Федотова и бросилась целовать Льва Николаевича, очень смутившегося от этого неожиданного изливания чувств.

Лев Николаевич ушел раньше конца, не выразив ничего по поводу этого представления. И вообще, как и всегда, он чувствовал себя в Москве нехорошо и жаловался на все: на суету, на праздность людей, на роскошь и чувственность, как выражался он сам.

Утром того дня, когда Лев Николаевич ходил в театр, он зашел к Антону Григорьевичу Рубинштейну, очень ему обрадовавшемуся. Рубинштейн давал в то время концерт в пользу голодающих.

Во время пребывания Льва Николаевича в Москве к нему приходили и его последователи: Чертков, Горбунов, Трегубов, Орлов, АLEXИН и еще Соловьев. Но я замечала, что Льву Николаевичу как будто привычнее, легче и приятнее было общение с людьми обыкновенными, своего круга и исчезла та узость и упорство, которые были в нем раньше. Добрее, проще принимал он все впечатления города, семьи и событий.

Отец и сын

В начале января вся моя семья собралась в Москве, не было только сына Льва. Он оставался в Самарской губ. и напряженно был занят кормлением голодающего населения. Письма его производили раздражающее впечатление. Например, он пишет: «Больных такая масса, что просто страшно...» И еще пишет Лева на упреки отца, что он не только открывает столовые, но раздает и муку: «Здесь все поголовно без хлеба, и пока мы будем заниматься открыванием столовых, рядом будут резаться и умирать с голода, от тифа и т. д.».

Тяжелое впечатление произвело тогда на Леву следующее событие: деревенский сапожник, не получая заказов от обнищавших крестьян и видя умирающих с голода детей своих, зарезался ножом, перерезав горло. Когда позвали Леву, сапожник уже хрипел и вскоре умер. Тиф и цинга тоже немало поглощали жертв. Священник по 20 раз в день причащал умирающих, и люди постоянно ходили, прося на похороны, на доски для гробов и проч.

Дальше Лева пишет: «Какие тут столовые, когда нужен хоть маленький кусочек хлеба... Можно бы открыть столовые, я согласен, что они нужнее раздачи, но давай нам 100 солдат пекарей, 10 вагонов привара и целую толпу людей... Пекарня наша идет отлично...»³⁸.

Доводы Левины не убедили отца в том, что, кроме столовых, нужна выдача мукой. Лев Николаевич судил по своей местности и не принимал во внимание огромных пространств самарских степей, очень больших сел и населений без помещиков, без пунктов для складов и без дров. А главное, Лева был только вдвоем с Иваном Александровичем Бергером, а у Льва Николаевича было большое количество помощников. Только много позднее приехала к Леве частная санитарная помощь с князем Долгоруковым. И то их было очень мало: на 10 000 населения приехали тогда один доктор и одна фельдшерница. Позднее персонал прибавился. Приезжал еще туда от комитета наследника князь Кропоткин, но ненадолго. Сам Лева заболел тоже тифом, но так как дела было очень много, он почти не ложился и стойко выносил все невзгоды, хотя ему едва минуло 22 года, при этом не было ни опыта, ни достаточно сил и здоровья.

Правительство и общество по отношению к голодающим

Между тем пожертвования все прибывали, дело расширялось, и оставить его было невозможно. Правительство смотрело на дело помощи голодающим очень несочувственно. Чего-то боялись, всему мешали, а сами в правительственных сферах, очевидно, не справлялись с помощью народу. Возникло недовольство, появлялись, например, такие статьи: «Свободное слово», СПб., январь, — в которых, между прочим, сказано: «Благотворительная деятельность семьи Толстого ограждается только именем знаменитого романиста. Открыто предлагаемая помощь отвергается, если предлагающие требуют гарантий, что помощь дойдет по назначению. Люди, желающие подавать милостыню, должны просить разрешение и не всегда получают его. Люди,

желающие кормить голодающих, должны почти тайком пробираться в деревню...»

И дальше еще: «Генерал-губернаторы, губернаторы, министры привели Россию к самому краю пропасти. Пора призвать других людей. Только созыв выборных представителей земли и свободное обсуждение настоящего положения рассеют вялость и недоверие общества, сделают ненужным развращающие лотереи, вызовут энтузиазм самоотвержения, которое всегда спасало Россию».

Вот и еще литографированная, присланная нам статья, не помню чья: «Уже десять лет тому назад все непредубежденные и не слепые люди пришли к убеждению, что само правительство не в состоянии справиться с задачей современного государственного управления Россией...»

Дальше о голоде: «Дело помощи обставлено так, что нельзя быть уверенным, доходят ли пожертвования по назначению. Правительство охраняет безгласность злоупотреблений и делает невозможным обличение администрации...»

И под конец сказано: «Пора подумать о таком правительстве, которое находило бы поддержку в обществе и народе и заботилось бы больше о нуждах страны, чем о себе. Настало время созвать народное представительство и дать измученной стране свободу, а с нею возможность залечить язвы, нанесенные невозможным режимом, и возродиться для великого будущего...»

Невольно приходит в голову, что в 1905 году попытались дать эту свободу, и что же вышло?..

Но не в одной России встречались нелепости. Писал мне датский переводчик русских произведений на свой язык, некто Ганзен, раньше нам знакомый, что получил письмо от сочувствующего русским бедствиям писателя Бьернсона: «От Бьернсона я получил на днях письмо, в котором он, между прочим, сообщает, что за его симпатии к России радикальная Норвежская партия обвиняет его в измене, прямо заявляя, что он подкуплен Россией...»

Ганзен присылал нам тоже пожертвования из Дании.

Но помимо давлений от правительства получались при жертвованиях часто очень трогательные письма. Я уже дала раньше несколько случайных выписок, хочу и теперь дать еще несколько:

от Е. Н. Самариной: «Слежу за тем, что делают ваши на святом своем поприще...»;

остров Хортица Екатеринославской губ., от немцев-менонитов — 14 рублей; „Gott segne die werthätige Liebe der gräflichen Familie, welche Liebe nicht in Worten, sondern in der That besteht, die Hungernden zu speisen“*;

от неизвестного 10 рублей: «Прошу принять в ваши чистые руки для дела помощи народному бедствию 10 рублей... Наша местная попытка помочь голодающим путем «лавинь» встретила тормоз в циркулярах министра, и сбор пожертвований запрещен администрацией...»

Недоверие к казенным комитетам и учреждениям было всюду. Правительство же не доверяло Льву Николаевичу и нам, а общество не доверяло правительству.

Вот, например, пишет из Харькова студент при посылке 33 рублей: «Чтобы эти скромные средства не сделались еще скромнее в руках хищников, которых за это время так много наплодилось на святой Руси, мы решили послать эти деньги именно вам, многоуважаемая

* Да благословит господь графскую семью за их деятельную любовь, которая выражает себя не в словах, а деяниях по насыщению голодных.

Софья Андреевна, как особе, вполне заслуживающей доверие общества...»

Из Кяхты телеграмма: «Ваше сиятельство Софья Андреевна, мы, живущие на границе Китая, кяхтинские купчихи, желая принести некоторую пользу голодающим России, берем на себя смелость обратиться к вам сердечную просьбу принять жертвуемую нами сумму 4000 рублей... Деньги употребите, как укажет ваше доброе сердце. С глубочайшим благоговением перед высоким вашим служением...»

От сельского учителя Псковского уезда, Загорье: «Графиня Софья Андреевна, прочтя в «Неделе» строки из вашего письма в «Русских ведомостях» о детях, живущих в роскоши, и детях голодающих, я, взглянув на своих ребятишек, хотя и просто, не роскошно, но одетых, обутых и сытых, решил послать вам посильную лепту (25 р.) для голодающих. Знаю, как и все посылающие вам жертвы, что при посредстве вашей семьи все копейки пойдут целиком и толком. Продай бог дни ваши и вашей семье!..»

Из Севска было письмо и пожертвование хлебом от тамошнего зажиточного крестьянина.

Привести в известность те тысячи пожертвований и писем, которые мы получали в то время, совершенно невозможно.

Многих из тех, в ком удалось моим письмом пробудить добрые чувства, уже нет на свете. Но то умиление, готовность помочь, доверие людей — все это как электрическая сила быстро пробежало по всей обширной России и дальше, начиная с границы Китая и кончая далекими севером и югом — Финляндией и Кавказом и даже Польшей. И не могло это не оставить хороших следов. Много было денег от детей, теперь, в 1909 году, уже взрослых, от учениц и учеников разных заведений, студентов, войск и проч. Например, из Училища живописи и ваяния ученики и ученицы прислали деньги со словами «боготворящие вас»...

Близкие писали, например, так: «Хотелось бы мне долго у вас сидеть и ездить к вам каждый день...»

Многие стремились участвовать в нашем деле, но не всем это было возможно³⁹.

Мой отъезд в Бегичевку. Диллон. Статья в «Московских ведомостях»

Прожив три недели в Москве, Лев Николаевич решил опять вернуться в Бегичевку. Таня ехать не могла, она очень расхворалась от привитой оспы, и тогда я решила сама поехать посмотреть на месте, как производится помощь голодающим и как там живут все мои. Маша поехала тоже с нами, а Таня взяла на себя заботу о моих четырех меньших детях, живших в Москве, и прием пожертвований.

Выехали мы 23 января из Москвы. Помню я, что была страшно нервна всю дорогу. Перед самым нашим отъездом появилась в «Московских ведомостях» статья, обвинявшая Льва Николаевича в том, что он поднимает народ на революцию. Статья «Московских ведомостей» ссылалась на статью в «Daily Telegraph» в переводе Диллона в Англии и перефразировала слова Льва Николаевича следующим образом. Лев Николаевич пишет: «Ведь то, что люди этой Епифанской деревни не могут прожить зимы... если они не предпримут чего-нибудь, несомненно, как и то, что колодка пчел без меда и оставленная на зиму помрет к весне. Но в том-то и вопрос: предпримут они что-нибудь или нет? До сих пор похоже, что нет, только один из них распродал все и уезжает в Москву...»

Весь смысл статьи сводился к тому, что в народе пропала энергия и что он себе не представляет ясно своего положения.

«Московские ведомости» объяснили слова «если не предпримут чего-нибудь» в том смысле, что предпримут восстание, революцию, и сопоставили слова Льва Николаевича с революционной прокламацией, о которой упоминали как присланной в университет, а мы о ней и понятия не имели.

Дело же со статьей «Помощь голодным» в январе было так. Лев Николаевич еще в сентябре написал статью для журнала «Вопросы философии и психологии» по просьбе профессора Грота, который ездил в Петербург хлопотать о разрешении статьи, и министр Дурново почти обещал разрешить. Но статью запретили, прибавив, что она и не подходит под программу журнала.

Тогда Лев Николаевич просил передать ее в журнал «Неделя» и разрешил редактору сделать нужные поправки и пропуски для цензуры. Это было сделано редактором Гайдебуровым, и статья появилась в «Неделе» в январской книжке.

В то же время англичанин Диллон явился к Льву Николаевичу с просьбой позволить перевести эту статью. Лев Николаевич ничего не имел против и направил Диллона в редакцию «Недели». Вместо того чтобы перевести то, что было напечатано, Диллон старательно подобрал то, что было выпущено Гайдебуровым в рукописи, и привез в корректуру Льву Николаевичу.

Приехав в Бегичевку к Льву Николаевичу, Диллон сам написал к себе от имени Льва Николаевича письмо, в котором было сказано, что Лев Николаевич согласен и одобряет перевод Диллона, и это письмо Лев Николаевич не прочитав подписал. Не имея еще основания сомневаться в честности Диллона, Лев Николаевич по недостатку времени и излишнему доверию отказался просмотреть и корректуру статьи. Последнюю я и не видела и не читала, но волнение Диллона, поспешность его сборов к отъезду — все это меня навело на мысль, что Диллон затевает что-нибудь недоброе.

Я просила его показать письмо, подписанное Львом Николаевичем. Он отказался и сказал, что боится опоздать к поезду. Тогда я загорьдила ему чеходан и сказала, что не дам ему вещей, если он не покажет мне письма, написанного им самим и подписанного Львом Николаевичем. По-видимому, он понял, с кем имеет дело, и достал письмо. Когда я его прочла, я так и ахнула. В нем было сказано в самых лестных словах, что Лев Николаевич вполне согласен и одобряет перевод Диллона.

Я побежала к Льву Николаевичу и показала письмо. Он удивился и был недоволен. Тогда я разорвала в мелкие куски письмо, а Лев Николаевич написал только, что хотя он перевод Диллона не читал, но не считает себя вправе сомневаться в его точности.

А между тем еще перед самым моим отъездом в Бегичевку Лев Николаевич просил меня написать в газеты письмо с опровержением клеветы, нанесенной на Льва Николаевича в «Московских ведомостях». Письмо я написала по указаниям Льва Николаевича и послала в «Правительственный вестник». Оттуда ответили, что полемических статей они не печатают. В «Новом времени», куда хлопотала напечатать мое опровержение моя сестра Кузминская, тоже не напечатали, ссылаясь на запрещение цензуры.

Но хотя я смутно чувствовала что-то неладное во всей этой истории, я не могла себе представить, какой переполох она произвела и в правительственных сферах и в обществе. Узнала я это только по возвращении в Москву.

В Бегичевке. Разочарование в деле

Во время же нашего путешествия с Львом Николаевичем в Бегичевку он еще по пути железной дороги измучил меня своей суетой. Выходил на каждой станции, много разговаривал с пассажирами и наконец совсем исчез...

В Бегичевке Лев Николаевич остался недоволен теми распоряжениями, которые были сделаны в его отсутствие. Сын Илья хотя и старался, но был неопытен и не знал хорошо положения дел. Кроме того, он страшно нервничал, говорил, что боится привидения умершего И. И. Раевского, и рад был уехать домой, к своей семье.

Мрачно посмотрел тогда и Лев Николаевич на свою деятельность. Раздача дров производилась неправильно, всюду стала замечаться зависть и жадность. Стал он хворать желудком и пишет в своем дневнике: «Вял и грустен, и не хочется ни думать, ни делать»...

Принялась я в Бегичевке помогать в чем могла. Поручил мне Лев Николаевич подсчитывать заборные по провизии книжки, делать и выдавать новые. Потом я позвала голодного, без работы портного, и мы с ним скроили 19 поддевок, которые он сшил, и мы раздали самым бедным. Также раздала я пожертвованные валенки и полушубки. Какую это доставляло радость! И как добро, ласково жертвовали мне то, что я выпрашивала у добрых людей. Попросишь дешево продать бракованный товар, а фирма бр. Поповых пришлет даром большой кусок сукна, или Савва Тимофеевич Морозов 1500 аршин бумажной материи, которая пошла вся почти на белье тифозным в Самарской губ. и часть на рубашки беднякам. Или кто еще пришлет чаю, сахару. Я часто жалела, что не жертвователи, а мы имели радость видеть, как трогательно все принималось бедняками.

К нашей помощи присоединилась в то время помощь от земства, и стали выдавать народу муку. Тогда Лев Николаевич устроил столовые без хлеба, а люди приносили с собой хлеб и ели в столовых приварки, щи, горох, свекольник и проч.

Трудно было все справедливо и умно распределять. Очень об этом старался и Лев Николаевич и его помощники, но часто унывали. Так, например, Лев Николаевич пишет 4 февраля 1892 года: «Утомляют и мучают попрошайки... Самое тяжелое — это попрошайничество, недовольство, требовательность, зависть и т. п... Нам кажется, что все это должно идти гладко, ровно, без тяжести борьбы напряжения, не напряжения труда (его не много нужно, и он легок), а напряжения доброты, насколько она есть...»

Поражала и меня страшная нищета и удивляло то, что при такой бедности еще живы люди, и дети особенно. Поехали мы в маленьких санках вдвоем с Львом Николаевичем по деревням, два раза на раскатах вывалились, везде овраги, и я к ужасу своему поняла, каким опасностям и невзгодам подвергаются все объезжающие столовые. Раз Лев Николаевич уехал один, провалился в снеговую яму и едва выбрался. На этот раз вывалились мы на дороге и приехали в деревню, где нашли ужасающую бедность в избе, совершенно раскрытой и наполненной шестью полузамерзшими детьми. Холод, голод, везде течет, а дети, к моему удивлению, здоровые, прекрасные и даже веселые.

Рядом изба тоже раскрытая. Мы поспешили купить соломы и покрыть эти избы.

Поразил меня еще вид семьи из трех душ: старик, старуха и их взрослая дочь. Никогда не забыла я выраженья глаз этой девушки, мрачно сидевшей за прялкой. Никто из них в этот день не ел, изба крошечная, совсем пустая, грязная, нетопленная, пол земляной. Хуже нельзя себе представить. И вообще впечатление общее: худоба людей,

лохмотья на их плечах, грустные лица. Только еще мальчиков маленьких видала веселых. Бегут с своими ложками в столовую, садятся за стол, хозяйка в столовой обносит в решете ломти хлеба, потом наливает щи, все чинно едят. К обеду два блюда, к ужину тоже.

Столовые производили отрадное впечатление. Но когда я видела все это, на меня все-таки находило отчаяние невозможности помочь этой громадной безнадежной нищете и делалось тоскливо на душе. В наших странах ничего подобного я не видала, да и нет такой бедности, особенно в нашей Ясной Поляне...

В письме ко мне 4 февраля Лев Николаевич просит меня похлопотать о дровах у казны и у Д. А. Хомякова.

«Нынче я убедился, что эта нужда ужасная»,— пишет он.

Хлопоты мои кончились успешно со стороны Д. А. Хомякова. Он пожертвовал нам 50 кубич. саженой. Казна же нам ничего не дала, кроме свидетельств Красного Креста на даровой провоз дров, и губернатор Зиновьев ответил мне: «У вас денег много, можете купить».

Недаром беспокоился Лев Николаевич, когда я уехала 3 февраля, потому что 4-го в Москве поднялась такая страшная, именно страшная метель, которая бывает не больше двух раз в зиму. Но я рада была, что видела всю ту тяжелую работу, которую несли Лев Николаевич и мои дети. Часто я досадовала раньше и смотрела недоброжелательно на то, что Лев Николаевич бросил меня с детьми в Москве и уехал от нас, теперь же это переменялось на чувство сожаления к нему, к его трудам и явилось еще большее сочувствие к его тяжелой, но, конечно, несомненно полезной деятельности. Все это я ему пишу и, кроме того, пишу: «Я увидала, как тебе трудно и далеко не весело и как невозможно теперь все это оставить...»

Настроение Льва Николаевича было действительно такое, что можно было его пожалеть. Пишет в дневнике 3 февраля 1892 года: «Нынче уехала Соня, мне жалко ее. Наступило разочарование в деле: зависть, жадность, обман, недовольство, и тяжело, что стоишь посреди всего этого».

И 5 февраля 1892 года: «В постели думал: от сна пробуждаешься в то, что мы называем жизнью, в то, что предшествовало и следует за сном. Но и эта жизнь не есть ли сон? А от нее смертью не пробуждаемся ли в то, что мы называем будущей жизнью, в то, что предшествовало и следует за сновидением этой жизни?»

Видно было, что, устав от материальных забот, Лев Николаевич все больше углублялся в обычный мир своих отвлеченных мыслей.

Вот еще отрывок из его дневника: «Если молитва не есть важнейшее в мире дело, такое, после которого все хуже, все ничто, после которого ничего нет, то это не молитва, а повторение слов».

Переполах в Москве и Петербурге по поводу статьи в «Московских ведомостях»

Первое впечатление по приезде моем в Москву был общий крик и стон по поводу статьи в «Московских ведомостях». К сожалению, у меня ее нет сейчас под руками. Пока я была в Бегичевке, я не могла даже себе представить, что произошло в наше с Львом Николаевичем отсутствие. Больше всех хлопотал умный и милый профессор Грот, чтобы восстановить истину и объяснить клевету «Московских ведомостей». Он даже ездил в Петербург, носил корректурные гранки статьи Льва Николаевича, с которой переводил Диллон, к товарищу министра Плеве и показывал, как были перетолкованы слова «подни-

мется народ». Эта фраза всех с ума сводила, и никто ее не мог понять в Петербурге, пока Грот не растолковал ее.

Говорили мне в Москве, что государь, прочитав у графини Александры Андреевны Толстой газету «Московские ведомости», сказал ей: «Смотрите, прочтите-ка, что наш с вами protégé написал...» И будто он еще сказал: «Толстой меня предал моим врагам англичанам, а я еще его жену принял...»

Говорили еще и то, что, когда государь потребовал статью Льва Николаевича и кто-то ему упомянул о статье в «Московских ведомостях», он сказал: «Меня не интересует эта подлая газета, а интересует мой Толстой...»

Были слухи, что Толстого хотят водворить безвыездно в Ясной Поляне, но что государь строго приказал Толстого не трогать никак. Брат Степа писал мне из Витебска, что ходят слухи о ссылке Толстого в Соловецкий монастырь.

Сестра еще писала мне из Петербурга, что был собран комитет министров, на котором решено было выслать Льва Николаевича за границу.

Все это страшно меня тревожило, и все эти толки измучили меня, и я не знала, что мне предпринять. Я даже написала Льву Николаевичу упреки: «Погубишь ты нас всех своими задорными статьями. Где же тут непотворение и любовь?»

В то время приехали в Москву Бирюков и Репин, который собирався в Бегичевку посмотреть на деятельность нашей семьи и на бедствие народа. И они были смущены разными толками. Особенно же обеспокоило меня письмо А. М. Кузмицкого, мужа моей сестры, который не стал бы меня тревожить пустыми слухами. Он, между прочим, писал 7 февраля 1892 года: «Вчера я обедал с графиней Александрой Андреевной Толстой и получил от нее сведения, которые считаю необходимым тебе передать. Она два раза имела разговор с государем об этой статье. В первый раз вслед затем как она появилась. Государь обнаруживал неудовольствие, но ничего грозного в том, что говорил, заметить нельзя было. Во второй раз, 2 февраля, государь выражал крайнее негодование и, между прочим, высказал, что самое краткое опровержение со стороны Льва Николаевича в том смысле, что статья в «Daily Telegraph» написана не им, совершенно было бы достаточно для того, чтобы снять с него обвинение, которое теперь ему предъявляется, и, таким образом, успокоить умы, взволнованные этой статьей. Положение, созданное для Льва Николаевича этой статьей, как нельзя более серьезно...»

Писала мне и сестра отчаянное письмо, чтобы я скорее действовала, что грозит нам опасность, вызывала меня немедленно в Петербург для личного объяснения с властями, и я чуть не уехала в Петербург 8 февраля. Но удержала меня мучительная невралгия от разных тревог и страх оставить детей, так как моя Таня уехала уже в Бегичевку с Верой Кузминской.

Тогда я засела писать письма во все стороны. Написала министру внутренних дел Дурново, потом Елене Григорьевне Шереметевой, рожденной Строгановой, дочери великой княгини Марии Николаевны, затем написала в «Правительственный вестник», где объяснение мое в печать не приняли.

Копии ответов на эти письма прилагаю.

1 — министр внутренних дел:

«Милостивая государыня
графиня Софья Андреевна,

При всем желании исполнить Вашу просьбу я затрудняюсь допустить обнародование доставленного мне Вами опровержения по той

причине, что оно, вызывая по существу своему вполне основательные возражения, несомненно породит дальнейшую полемику, весьма нежелательную по соображениям, до общественного порядка относящимся.

Примите, милостивая государыня, уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Иван Дурново.

13 февраля 1892 г.».

Все письмо написано собственноручно министром.

2 — главный редактор «Правительственного вестника»:

«Милостивая государыня

графиня Софья Андреевна,

Вследствие письма Вашего от 8-го текущего февраля имею честь уведомить ваше сиятельство, что так как к печатанию в «Правительственном вестнике» статьи, имеющие полемический характер, не допускаются, то и присланное Вами опровержение на статью, помещенную в № 22-м «Московских ведомостей», напечатано быть не может.

Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном моем уважении и преданности.

К. Случевский.

11 февраля 1892 г. № 330-й».

Только подпись его рукой.

3 — письмо от гр. Елены Григорьевны Шереметевой, рожденной Строгановой:

«Петербург, 18 февраля 1892 г.

Многоуважаемая графиня,

Простите, пожалуйста, что так долго задержала статью, присланную Вами, и за которую Вам очень благодарна, но это случилось по не зависящим от меня обстоятельствам*.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Елена Шереметева».

Помог мне в писании письма в газету, кажется «Новое время», опять-таки милый Грот. Но письмо опять не напечатали, отказали. Всем, что я написала, я была недовольна. Слишком я была взволнована, чтобы умно и хорошо действовать. Для этого прежде всего нужно спокойствие.

Когда я уезжала из Бегичевки, Лев Николаевич очень беспокоился, что я простужусь, озябну и т. д.

Но насколько тяжелее были мои тревоги об аресте Льва Николаевича! Я ему пишу: «Мне смешно, Лечка, вспомнить, что ты беспокоился о том, что я озябну. Если бы ты знал, насколько хуже, ужаснее то состояние, в котором я теперь, всякой простуды и болезни...»

У великого князя Сергея Александровича

10 февраля я поехала в Нескучное к вел. князю Сергею Александровичу, который разрешил мне его повидать. Я имела с ним длинный разговор по поводу этой злосчастной статьи и просила его приказать напечатать в газетах опровержение ложных толков. Вел. князь был, по-видимому, очень заинтересован этим делом, но сказал мне, что пока сам Лев Николаевич не напишет опровержения, он сделать ничего не может. Налегал он, главное, на то, что именем Льва Николаевича взволновали умы. И чтобы их успокоить, нужно опровержение

* Графиня Шереметева выжидала удобного случая показать статью Льва Николаевича государю, что и сделала.

официальное от Льва Николаевича в «Правительственном вестнике». Этот разговор был еще раньше ответа от редактора «Правительственного вестника». А когда Лев Николаевич послал опровержение, то его письмо напечатать отказались.

Провожая меня, вел. князь Сергей Александрович сказал учтиво и любезно: «Очень благодарю вас, графиня, за ваше посещение...» Потом прибавил: «Я слышал, что вы так много трудитесь, что на вас так много возложено обязанностей и во всем вы одна...»

И после моего визита вел. князь Сергей Александрович говорил Истомину, своему правителю канцелярии, нашему хорошему знакомому: «Мне так жаль графиню, она так волнуется, а нужно только несколько слов от графа, и государь и все мгновенно успокоятся...»

Тогда я написала Льву Николаевичу следующее: «Напиши, милый друг, несколько слов, а именно: что в иностранные периодические издания ты ничего не посылаешь, ни писем, ни статей, что на основании отказа своего от авторских прав ты разрешаешь и разрешил и Диллону переводить свои сочинения, что статья, о которой поминают «Московские ведомости», была предназначена для журнала «Вопросы философии и психологии», а что «Московские ведомости» ее перефразировали и придали ей совершенно не свойственный ей характер. Все это будет правда, будет умеренно и кротко...»

И дальше я пишу, прилагая написанный мною листок: «Если в будущем письме твоим я найду твое письмо в газету или увижу подписанием тот листок, который прилагаю, я приду в такое радостное, спокойное состояние, в котором давно не была. Если же нет, то поеду, вероятно, в Петербург, разбужу еще раз свою энергию, но сделаю нечто даже крайнее, чтобы защитить тебя и истину, а так жить не могу...»

В ожидании ответа от мужа я получила ответ Случевского, редактора «Правительственного вестника», что полемических статей они не принимают. Я спросила директора канцелярии вел. князя Сергея Александровича, Владимира Константиновича Истомина, почему же великий князь именно на это мне и указал, чтобы Лев Николаевич послал опровержение в «Правительственный вестник». Истомин мне на это ответил, что вел. князь мог не знать этого закона. По поводу этого отказа Случевского я пишу Льву Николаевичу 20 февраля 1892 года: «Сейчас получила письмо с отказом от «Правительственного вестника». Прости меня, милый Левочка, что я вызвала тебя это писать. Теперь я зарок даю ни в какие дела не вмешиваться. Министр просвещения Делянов сказал Гроту: «Пусть граф напишет в «Правительственный вестник», и мы поверим». Великий князь сказал приблизительно то же. Вот и пойми их!..»

Министр же внутренних дел Дурново тоже написал мне письмо в ответ на мое, что мое опровержение ввиду дальнейших толков напечатать нельзя..

Графиня Александра Андреевна Толстая велела мне передать через Бирюкова и Кузминского, что Шереметева мое письмо с объяснением передаст и покажет государю, который продолжал быть недоволен. Об этом пишет Страхов 27 февраля 1892 года: «Главная беда, как я понял, в том, что рассердился государь, теперь никто не решается сказать слова в пользу Льва Николаевича. Разубеждать — тяжело и неприятно для разубеждаемого. Итак, во-первых, не хотят сказать слова, а во-вторых, и не умеют. Мне стоило невероятных усилий втолковать Случевскому истинный смысл и цель статьи «О голоде»; да и то он слушал с недоверием... Представьте себе, что никто не имеет ясных понятий о социальном вопросе как об отношении имущих к неимущим, ни о христианской любви, ни о заповеди непротив-

ления. Что же вы можете объяснить таким людям?.. Петербург, очевидно, обиделся теми укорами в равнодушии и бессердечии, которые выразил Лев Николаевич... Никто не читает «Недели», а все «Московские ведомости», вникать в дело никто не хочет... Напишите Льву Николаевичу, что если он хотел нанести удар людям чиновным, живущим казноу, то вполне попал в цель: обиделись жестоко и считают его зловреднейшим человеком».

18 февраля ко мне заезжал старик Стахович Александр Александрович и очень меня расстроил своими рассказами о Петербурге и об отношении к делу статьи общества и правительства. Общество раздражено более еще, чем правительство, что ему и на руку. Говорил Стахович, что положение наше не безопасно, малейшее что — и нас не пощадят.

Все это в Бегичевке, где шла тяжелая, напряженная работа, чувствовалось, в Москве же я испытывала то, что должен испытывать зверь, когда его травят, точно и я лично была в чем-то виновата. Хотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы ничего не видеть и не слышать.

В то же время говорили про появившуюся в университете с фальшивой подписью Льва Николаевича прокламацию чисто революционного характера, что ее напечатала и издала тоже редакция «Московских ведомостей», чтобы еще раз оклеветать Льва Николаевича. От этой газеты, основанной на лжи, всего можно было ожидать.

Еще говорили, что расстроенная молодежь, горячо любившая Льва Николаевича, после статьи его рвала его портреты, на что Лев Николаевич, узнав об этом, писал, что те, которые рвут портреты, лучше бы их и не имели раньше.

Содержание письма, написанного Львом Николаевичем сначала в «Правительственный вестник», отказавший его напечатать, а потом посланного в разные газеты, следующее.

Письмо Льва Николаевича:

«Г-ну редактору «Правительственного вестника».

Милостивый государь,

В ответ на получаемые мною с разных сторон и от разных лиц вопросы о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых приводятся выписки и содержание которых будто бы излагается в № 22 «Московских ведомостей», покорно прошу Вас поместить в Вашей газете следующее мое заявление.

Писем никаких я в английские газеты не писал. То же, что напечатано в № 22 «Московских ведомостей» мелким шрифтом, есть не письмо, а выдержка из моей статьи о голоде, написанной для русского журнала, выдержка весьма измененная вследствие двукратного и слишком вольного перевода ее сначала на английский, а потом опять на русский язык. То же, что напечатано крупным шрифтом вслед за этой выдержкой и выдается за изложение второго моего письма, есть вымысел. В этом месте составитель статьи «Московских ведомостей» пользуется словами, употребленными мною в одном смысле, для выражения мысли не только совершенно чуждой мне, но и противной всем моим убеждениям.

Примите, милостивый государь, уверения моего уважения.

12 февраля 1892.

Лев Толстой».

Лев Николаевич мне писал 12 февраля: «Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях «Московских ведомостей» и что ты ездила к Сергею Александровичу... Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй и не прибавляй, и даже не позволяй изменить».

Когда получен был отказ от «Правительственного вестника» напечатать письмо Льва Николаевича, тогда мы с Гротом решили послать его в тридцать редакций разных газет. Где-нибудь да напечатают, а тогда и другие газеты перепечатают.

Так и сделали. Живо оттектографировали 100 экземпляров, разослали в газеты и многим правительственным и частным лицам.

Не помню теперь, в каких именно газетах поместили статью Льва Николаевича, но появилась она несомненно в некоторых.

Как относился ко всей этой истории сам Лев Николаевич, видно из следующего его письма ко мне:

«По письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон тот, что я в чем-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу что думаю и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет.

В частном же этом случае происходит следующее: правительство устраивает цензуру, нелепую, незаконную, мешающую появляться мыслям людей в их настоящем свете, невольно происходит то, что вещи эти в искаженном виде являются за границей. Правительство приходит в волнение и, вместо того чтобы открыто, честно разобрать дело, опять прячется за цензуру и вместе чем-то обижается и позволяет себе обвинять еще других, а не себя.

То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю и буду говорить до самой смерти и что говорит со мной все, что есть просвещенного и честного во всем мире... и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужащаются.

Пожалуйста, не принимай тона обвиненной. Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять — не «Московские ведомости», которые вовсе неинтересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно все то, что возможно у нас. Я давно тебе хотел написать это...»

В другом письме, в котором было прислано подписанное Львом Николаевичем заявление в газеты, он пишет мне: «Пишу же заявление и подписал потому, что, как справедливо пишет милый Грот, истину всегда нужно восстанавливать, если это нужно...»

После того как это заявление появилось, я успокоилась. И Лев Николаевич мне пишет 18 февраля 1892 года: «Особенно рад, что ты успокоилась. Я не мог беспокоиться, потому что знал, что не сделал ничего особенно дурного в том смысле, что дурное я всегда, к сожалению, делаю, но с этой статьей ничего не сделал и, главное, не хотел сделать дурного, и ни в чем не каюсь, и потому и беспокоиться не мог...»

В то же время, 20 февраля, сын Сережа мне пишет из деревни: «Не волнуйтесь, милая мамá, о «Московских ведомостях»... Вольно же им делать нелепые выводы...»

С другой стороны, графиня Александра Андреевна Толстая пишет мне: «Радуюсь, что вы теперь успокоились и что ваша примерная энергия вернулась к вам...»

И действительно все улеглось.

20 февраля я была опять у вел. князя Сергея Александровича, представилась и милой великой княгине Елизавете Феодоровне, которая была особенно любезна и потом велела мне сказать, что очень мне

сочувствует, чтобы я не беспокоилась, что «n'est qu'il n'a rien, mais absolument rien à craindre»*.

А когда я побывала на jour fixe у старой фрейлины Екатерины Петровны Ермоловой, я почувствовала такое к себе отношение, что я une victime ** и что «la pauvre comtesse, comme elle est dérangée!»***.

Таня, дочь моя, как-то сказала: «Как я устала быть дочерью знаменитого отца!» А уж я-то как тогда устала быть женою знаменитого мужа!

Болезни детей

Только-то я отдохнула от одних волнений, наступила новая беда. Заболел сильным жаром с расстройством пищеварения от плохой пищи в самарских степях приехавший оттуда повидаться и посоветоваться наш сын Лева.

Вслед за ним перехворали почти все дети. 22 февраля Ванечка маленький не спал всю ночь, пугался, говорил, что его медведь хватает, так что я перенесла его в свою комнату, положила на свою постель, и он заснул только к 6-ти часам утра, а я просидела с ним всю ночь.

А накануне, 21-го, он оживленно, весь красный, в жару, диктовал письмо отцу и сестрам, сидя в своей кроватке, и сам смеялся весело.

Лева на него смотрел, смотрел и сказал: «Не жилец он на этом свете!» И мне стало еще тоскливее. А на деле предсказание Левы было верно. Как раз в феврале, 23-го, через три года, Ванечки не стало.

В письме, продиктованном мне Ванечкой, между прочим, он велел написать всем приветы: «Лева ужасно хороший мальчик, и Ваня любит, когда Лева на фортепианах играет, и Тата и папа хорошие, и Маша ужасная душечка, и Таня, голубушка, моя хорошая, и напиши...»

Когда дети и Лева выздоровели, он поехал к отцу в Бегичевку, а я осталась одна с меньшими детьми. Андрюша и Миша стали особенно старательны и получали отличные отметки за поведение, что меня очень радовало. Мне казалось, что они меня жалели, видя мои заботы, тревоги и труды. Мы решили с ними пожить и потом go-веть. Здоровая Саша доставляла мало забот и мало радости. Ванечка же после болезни был особенно весел и весь день пел песни.

Выставка картин и Репин

Посетила я тогда выставку картин, которую привез Репин. Мне она очень понравилась. В «Запорожцах» поражало меня чрезвычайное богатство типов, красок и мастерство письма картины. С этой выставки купил Михаил Александрович Стахович картину Репина, изображающую Льва Николаевича пишущим за столом в комнате под сводами. Нам с Таней это было очень досадно. Лучше всего было бы продать эту прекрасную картину в галерею или музей или же в нашу семью.

В это же время Репин подарил Тане бронзовый бюст Льва Николаевича.

Вскоре Репин поехал в Бегичевку, где нарисовал прекрасно карандашом портрет Тани с каким-то капюшоном на голове, подгорюнившуюся, только что приехавшую с объездов столовых.

* Ему нечего, абсолютно нечего бояться (франц.).

** Жертва (франц.).

*** Бедная графиня, как она расстроена! (франц.)

Дело помощи разрастается

Дело помощи голодающим все разрасталось. Еще до приезда Репина поехали Лев Николаевич, Таня, Лева и Наташа Философова (14 февраля) в Богородицкий уезд к Бобринским, а оттуда в Пирогово к брату Сергею Николаевичу и заезжали еще к Бибиковым. Лев Николаевич хотел изведать положение крестьян и в этой местности, пишет мне: «Поездили по деревням, и я нашел, что при той большой выдаче, которая дается, помощь столовых не нужна...»

Вернувшись в Бегичевку, Лев Николаевич и его помощники занялись усердно выдачей дров, в которых была очень большая нужда, и устройством приютов для маленьких детей.

О дровах особенно хлопотал некто г. Рубцов, приславший в то время из Смоленска 62 вагона дров по необыкновенно дешевой цене. Говорили, что он приплачивал большую часть своих денег и скрывал это.

Приюты для детей от 1 до 3-х лет состояли в раздаче жидкой молочной каши из разных круп и пшена, которую разливали по горшочкам и давали приходившим за ней. Это было очень важно и нужно для поддержки жизни малышей.

Столовых в то время было 120. Иногда Лев Николаевич испытывал такое чувство при помощи голодающим: «Часто страшное испытываешь чувство: люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: «Зачем же я здесь, если они не бедствуют?» Да они и не бедствуют оттого, что мы здесь, и через нас прошло — как мы умели пропустить — тысяч 50».

Но хотя Лев Николаевич сознавал пользу от своей деятельности, настроение его изменилось. Так, например, он пишет в своем дневнике 24 февраля 1892 года: «Здесь работы много и тяжести. Что дальше живу, то мне труднее. Но труд этот не может не быть, и я не могу расстаться с ним».

Еще пишет 29 февраля:

«Огрубеваешь. Мужик с мальчиком вчера со слезами. (Описано в статье.) Была страшная метель. Приехала Баратынская и четверо темных (так я называла толстовцев).

Мне тяжело от них, я очень устал. Среди всех этих людей я одинок, совсем одинок и один...»⁴⁰.

А когда сын Лева, пожив с нами и с отцом, начал опять стремиться в Самарскую губ. к своему делу и заявил, что в Москве и без дела он уже жить не может, Лев Николаевич его вполне понял и согласился с ним.

Он пишет мне в письме: «Леву я вполне понимаю. Как ни кажется иногда ничтожной и нескладной деятельность здесь, московская жизнь как-то особенно тяжело переносится после этой. Это я говорю совсем не потому, что не хочется ехать к вам в Москву, напротив — очень хочется, и с радостью об этом думаю. Но я — другое дело: я, во-первых, стар, во-вторых, у меня есть письменная работа, которая иногда представляется тоже нужной и которую удобнее вести в Москве...»

Все тяжелее

Жизнь в Бегичевке становилась все тяжелее. Обе помощницы — Персидская и Величкина — уехали.

Приехал в конце февраля швед Стадлинг тоже исследовать голод в России и поехал с Павлом Ивановичем Бирюковым и сыномлевой 3 марта в Самарскую губернию, где страшно развился по де-

ревням сыпной тиф и появилась цинга. Лева писал оттуда, что из медицинского персонала заболевает уже третья фельдшерица. Сам он тоже заболел тифом, но настолько сносным, что он почти не ложился и мужественно продолжал свое дело. Вскоре он телеграфировал мне прислать медикаментов и 5000 рублей денег.

25 февраля привез мне из Бегичевки И. Е. Репин совсем больную Таню. У нее открылся вскоре сильный кровавый понос, и я позвала немедленно доктора.

— Сама Таня заболела! — торжественно провозгласил наш детский доктор профессор Нил Федорович Филатов и принялся ее лечить.

Долго после этой болезни, нажитой плохой пищей, ездой во всякую погоду и нервным трудом, оставалась Таня бледна, слаба и нездорова. И я писала Льву Николаевичу: «Таня бледна и жалка... мне очень и тебя жаль, и я боюсь, что вам стало тяжело ваше дело, потому что вы утратили в нем часть веры и горячность, которую имели вначале...»

Помню, как Репин тогда отзывался о способностях Тани к живописи. Говорил, что он завидует ее этюдам, так она схватывает сходство в портретах. Лев Николаевич говорил, что Таня не умеет писать не похоже. И еще старик Ге говорил про огромные дарования Тани к живописи. Но она мало работала и относилась небрежно к занятиям живописью.

Болезнь Тани меня снова очень расстроила, и уход за ней брал много времени. А между тем и у меня было очень много дела.

Я вела огромную переписку с жертвователями денег и продуктов, все записывала, принимала пожертвования, делала большие закупки. Так, например, стали поступать ко мне постоянные требования о закупке кислой капусты, которая стала необходимой по случаю появления цинги.

К деятельности своей Лев Николаевич все более и более относился отрицательно. Еще в Москве он писал в дневнике: «Отношение к своему занятию проводника пожертвований — страшно противно мне».

По-видимому, и помощникам по делу кормления голодающих становилось трудно и скучно, и они постепенно разъезжались. 14 или 15 апреля мне пишет Лев Николаевич: «Присылайте больше народа, если будут проситься, — особенно хороших. А то многие уходят...»

Хорошие результаты помощи

Когда Лев Николаевич после своего приезда в Бегичевку обошел и объездил все свои столовые и приюты (около 212), то получил хорошее впечатление от них. Особенно детские приюты порадовали его. Забирались туда бабы с детьми, и дети здоровенькие и сытенькие, и бабы всем и хозяйкой довольны.

Говорили про графа, какой он благодетель, детей кашей кормит, обо всех пекутся, народ кормят и все несправедливые дела с кукурузной мукой справедливо разобрали. Праведный он человек!

Отчет

Весь конец апреля мы втроем — Лев Николаевич, Таня и я — готовили в газеты подробный отчет наших действий. Мне в Москве помогал с счетами и деньгами Александр Никифорович Дунаев, директор Торгового банка. Приходу за апрель благотворительных денег

было 141 тысяча, расходу 108 тысяч. Лев Николаевич да и мы все приписывали отчетам большое значение, потому что отчет дает понятие жертвователям, как именно и куда расходовались деньги, и их охотнее давали.

30 апреля отчет появился в «Русских ведомостях», которые я и послала Льву Николаевичу.

Работала я в то время страшно много: шила и кроила своим детям летние платья, вела дело голодающих, так как центр денежный был у меня, и покупки многие производила я, не говоря о платежах за все доставляемые продукты в голодные места.

Позирование Серову отнимало немало времени, и этим я очень тяготилась. Кроме того, я и учила детей, и корректуры держала того, что печаталось в то время, и письма писала, отвечая на разные вопросы жертвователей. Лев Николаевич иногда замечал мое усердие, и я этому радовалась...

Казалось, что дело помощи голодающим должно было кончиться. Но Льва Николаевича мучило положение народа, и он снова уехал в Бегичевку с сыномлевой и дочерью Таней. Это было 10 сентября. Заезжали они в Молоденки к Петру Федоровичу и Александре Павловне Самариным и застали там очень большое светское общество.

По пути туда встретили они на железной дороге губернатора, его чиновника и 400 солдат, ехавших усмирять бунт мужиков гр. Бобринского. Мужики не давали рубить лес, который считали своим, и помнится мне, что везли розги сечь мужиков. Губернатор Зиновьев был, по-видимому, очень смущен встречей с Львом Николаевичем, который вообще скорбел обо всем происходившем⁴¹.

Швед фон Бунде Авраам

В конце апреля явился к Льву Николаевичу неожиданно старик швед, о котором Лев Николаевич сам мне пишет следующее 1 мая 1892 года: «Явился к нам старик 70-ти лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски и очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной) и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажень земли без рабочего скота, одной лопатой... Тут копает сам под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитая все сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывая под голову бутылку... Самовар... называет идиолом. Про него говорят, что он... антихрист, он обещает прокормить на осьминнике 20 человек, но... с уговором, чтобы ему душу продать...»

Идеал этого шведа был health, т. е. здоровье, и все должно происходить во имя здоровья, вся теория жизни в этом. Нравственных и духовных идеалов у него не было никаких, и чувствовалось в нем что-то грубое, животное. Был когда-то богат, скучал, болел. Понял, что простота, первобытность в жизни дают здоровье и спокойствие, и достиг того и другого. Лежит весь день, бывало, на траве, как корова, или полощется в Дону, много ест. Покопается немного лопатой, придет в кухню и там лежит.

Живущие в Бегичевке говорили, что, как только все уйдут спать, он вынет из-под головы бутылку, снимет с вешалки где-нибудь пальто и постелит себе под голову, свернув в комок.

Когда он потом приехал в Ясную Поляну, я немало видела с ним горя. Он поселился у нас, как он говорил, навсегда, и когда я ему внушала, что я этого не желаю и он не имеет права насиловать мои желания, он становился твердо своими грязными голыми ногами и говорил мне по-английски: «Если вам нужен этот клочок (spot) земли, то я отодвинусь и займу рядом такой же клочок. Ведь должен же и я иметь свое местечко на земле».

При этом он сдвигал свои босые ноги на следующее место, на котором умещались его две ступни. Все бы это ничего. Но он, рябой, страшный, воображал себя красавцем и просил Таню написать его портрет...

Лев Николаевич посмеивался и ничего не предпринимал. Я же приняла энергические меры и сказала этому шведу, что если он не уедет добровольно, я попрошу губернатора выслать его с полицией. И тогда он уехал.

Лев Николаевич писал о нем в дневнике, когда он приехал в Ясную: «Явился швед, Бунде Авраам. Моя тень... минус чуткость. Много хорошо говорит и пишет...»

Фет и его кончина

Осенью 1892 года здоровье Фета стало заметно слабеть, но, несмотря на то, он не прекращал переписки со мною. Еще в сентябре он диктовал письмо:

«Прежде всего просим поцеловать за нас милых приятелей наших Сашеньку и Ванюшу (моих детей) и сказать им, что старички вместе со скворцом (жившим у Фета и говорившим) поздравляют их с именинами мамаша...»

Я был серьезно болен в течение целой недели. Не боюсь смерти, но ненавижу страдания».

Фет все так же высоко ценил и любил Льва Николаевича, который в то время читал «Фауста» в переводе Фета и писал мне о нем 23 октября 1892 года: «Начали «Фауста» Гёте, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это — и с ним особенно, — что люди составят себе представление о том, что я должен отчудиться от них, и сами отчудятся меня...»

Часто страдания Фета были очень тяжелы. Он дышал кислородом и все-таки задыхался и кашлял.

Раз как-то я была у Фетов, и он мне сказал: «Скажите Льву Николаевичу, что я, читая «Войну и мир», прежде осудил его за то, что князь Андрей, умирая, сурово отнесся к Наташе. А теперь я понял, как это удивительно верно. Когда человек умирает, то и любовь его умирает. У меня сердце перерезано пополам страданием и бессилием, бессилием во всем, стало быть, и в любви...»

Духом Афанасий Афанасьевич был бодр и тверд. Он умирал постепенно, сосредоточенно и серьезно. Очень величественно и крайне интересно и трогательно это терпеливое, здоровое умирание.

Еще раз он мне говорил: «Вот я это время умирал и вспомнил «Смерть Ивана Ильича», как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если в эту минуту вошел бы Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица или громадина...»

А мне он еще рассказывал, что никто его так не успокаивает, как простая женщина, давно живущая у них. Сидит возле него и спокойным голосом его утешает: «Ничего, батюшка, потерпите, вот

пройдет 12-е число декабря, повернется солнце на лето, а зима на мороз, и все болезни тогда легче...»

И эта Акулина действовала на Фета, как мужик буфетный в повести Льва Николаевича на Ивана Ильича.

Застала я как-то у Фета сотрудника «Московских ведомостей» Говоруху-Отрока (Николаев) и стала его упрекать за статью против Льва Николаевича. Он говорил, что в этом не участвовал, и прибавил сожаление о том, что Лев Николаевич пишет статьи, а не художественные произведения. Фет его остановил и сказал: «В Африке мы пришли в пустыню, вся она белая, покрыта песком, и никого нет. И вдруг мы увидели: ходит могучий Лев и рычит. И он один, а кругом пустота...»

И этот Лев был, конечно, Лев Николаевич.

Совсем больной Фет все читал сочинения Льва Николаевича и пишет мне (диктуя своей секретарше) 14 ноября 1892 года: «Перечитывал «Детство» и «Отрочество». Я не знаю книги, где бы черта между приличием и неприличием была бы проведена так ярко, как в «Детстве» и «Отрочестве». Лев Николаевич раз сказал: «Человек хочет исправлять свет, а не умеет войти ко мне в комнату. Он сейчас нога за ногу заложен...»⁴².

Вообще Фет любил всякое внешнее и внутреннее благообразие. Жена его, добрая, недалекая и преданная, выросшая в купеческой семье (Боткиных), любила соблюдать все празднества, угощать, кормить на убой; и тогда поговаривали о пироге в день рождения Фета, 23 ноября. На этот разговор случайно пришла я, и Фет спросил мое мнение, нужно ли принимать гостей и родных и звать на пирог. Я сказала, что я бы не советовала при его нездоровье и слабости принимать гостей, разговаривать и портить воздух духотой. «Умница,— сказал он мне, целуя кончики своих пальцев.— Такая и всегда была»,— прибавил он тихо.

Но Фет не дожид до дня своего рождения и скончался 21 ноября 1892 года...

Я была на похоронах Фета. Отпевали его в университетской церкви. Народу и венков было немного. Положили Афанасия Афанасьевича в гроб в его камергерском мундире по его желанию. Странно было видеть в гробу этот золотом шитый шутовской наряд и тут же бледное, строгое лицо покойника с горбатым носом и впалыми губами и этим озабоченным, неземным выражением всего облика.

Я близко подошла к гробу и положила Фету на грудь пышную живую розу, с которой его и похоронили. «Подари эту розу поэту...» — вспомнила я его стих.

С грустью видела я, что гроб был металлический, что закрыли его плотно. Меня всегда смущает то, что не дают телу человека исполнить свой природный закон обращения в землю, а берегут его разложившуюся гниль тела в его собственном разложении. Зачем? И я всегда умоляю близких хоронить меня в самом дешевом деревянном гробу, а лучше всего прямо в землю, как татары, кавказцы и другие народы.

Николай Николаевич Страхов, узнав о смерти Фета, писал мне: «Для Фета смерть была, конечно, избавлением, и я готов повторить его стихи: «Ты отстрадал, а я еще страдаю!..» Он был сильный человек, всю жизнь боролся и достиг всего, чего хотел»⁴³.

Когда по просьбе Страхова я написала ему подробности смерти Фета, он писал мне 10 декабря: «Получил ваше письмо, где вы рассказываете о смерти Фета, драгоценное письмо, заставившее меня столько думать и удивляться его энергии... Он 6 дней ничего не ел,

не мог или не хотел? Но вообще смерть его прекрасная, и жизнь по-своему очень хороша...»

Страхов еще писал о Фете следующее: «Фет был несомненная и яркая действительность. Прелесть его стихов несомненная. Самые вершины поэзии. Чем дальше, тем больше будут это понимать и другие...»

«Фет был в сношениях твердый, ясный человек, жестокий только на словах...»

...Прислал мне Страхов и свои книжечки и статью о Фете, очень хорошую, и я, прочитав их, написала ему свое мнение. Вскоре получила от него и ответ. Между прочим, он пишет: «Благодарю Вас за внимание к моей книжечке, и к стихам, и к повести. Как опасно вообще писать! Мне кажется, чуткий человек сейчас и увидит все мои недостатки, всю мою слабую душу, в которой хорошо разве только чувство идеала...»

26 декабря 1892 года он еще пишет: «Заметил ли кто, что статья о Фете проникнута грустью?»

1893

Я замечала в моей долголетней жизни, что счастье поднимает в человеке все его лучшие способности и чувства и вопрос только в том, нужен ли людям этот подъем.

В Бегичевке

Своего рода служение богу происходило и в Бегичевке, где продолжалась помощь голодающим и где было в то время 90 столовых для бедных. Заведовал тогда этими делами Павел Иванович Бирюков, и были его помощники: крестьянин-писатель Семенов и некто Линденберг, которые перессорились между собой. Еще был там Сопоцько, впоследствии бранивший очень Льва Николаевича и все его мирозерцание. Пренеприятный был он человек, этот Сопоцько, и всегда.

Как только Лев Николаевич из Ясной Поляны переехал опять в Бегичевку с дочерьми Таней и Машей, Павел Иванович уехал. Тяжела была и жизнь и деятельность в этих голодающих странах. Вскоре по приезде своем Лев Николаевич с дочерьми начал объезжать столовые в деревнях по Дону. Приехавшая из Бегичевки Екатерина Ивановна Баратынская с ужасом рассказывала мне, что Лев Николаевич по пояс в снегу насилу двигался, обходя столовые и объезжая их, и страшно утомлялся. Я усиленно его вызывала оттуда, но он простудился наконец и сильно начал кашлять, что и задержало их еще на некоторое время...

1894

Жили мы в то время в Москве, и Лев Николаевич писал в начале января свои притчи.

Я же по просьбе своих в то время незамужних дочерей Тани и Маши затеяла пристраивать в Ясной Поляне дом с противоположной стороны от зала. Для этого я поехала в Ясную Поляну, куда приехала ко мне Мария Александровна Шмидт, чтобы не оставить меня одну в пустом доме. Прислуги у нас не было, и мы с Марией Александровной делали все сами: готовили обед, топили — вообще весело робинзонствовали. Провизию я привезла из Москвы, и три дня мы так с ней прожили.

Выписала я из Тулы архитектора, мы с ним все размеряли, соображали, но как-то невесело мне было затевать эту пристройку...

В январе почти все разъехались, я осталась одна в Москве с меньшими детьми: Андрюшей, Мишей, Сашей и Ванечкой. А потом, к большой моей радости, сын Сережа, взяв отпуск на два месяца, прожил их со мною. Сына Льва доктора послали за границу, и он уехал в Саллес с рекомендованным нам доктором Флеровым молодым врачом Горбачевым. Лева видел последнее время, как скучал его отец Лев Николаевич от жизни в Москве, а когда ему описали устроенный нашей молодежью и знакомыми маскарад, т. е. неожиданно появившихся на святках ряженных, и наши субботы — приемные дни, — он написал отцу следующее: «Странно, когда я вижу тебя участвующим во всем том, что ты отрицаешь, когда вижу других, чутких людей, как Меньшикова, который, очевидно, страдал у вас в субботу, как страдала Лидия Ивановна Веселитская в Ясной от этой лжи, которая так бьется в глаза, особенно при первом впечатлении от нашего дома, от противоречия того, что люди узнают и слышат от тебя, и того, что видят, — каждый раз и мне горько и грустно делается. Я люблю тебя тогда меньше. Я вижу, что я люблю то, что ты говоришь, больше тебя. Вот что я думал эти дни. Но я каюсь, а не сужу. Сохрани меня бог, и ты прости меня. Я знаю, как и тебе иногда бывает тяжело и как ты всегда стремишься в чем можешь выйти и не участвовать во всей этой роскоши и лжи...»

Все эти рассуждения сына и страдания отца как бы укором ложились на меня. Но что было делать, как иначе жить, как перевернуть весь ход жизни, никто никогда не высказывал и не указал. Было 9 человек детей, хотя многие были уже взрослые, но тем более требовали еще больше денег и всяких удобств. Тот же бедный больной Лева нуждался и в платном враче и в жизни за границей, а деньги добывала я, хозяйничала невольно я и только к одному стремилась — чтоб всем было весело, удобно, радостно и хорошо. А как иначе устроить жизнь, я не знала. Жили все вместе, а осуждали меня одну. А как тяжело мне было видеть моего любимого мужа в том угнетенном недовольстве жизнью, в котором он бывал все чаще и чаще. Изводил он себя и физически. Возил из колодца в большой кадке воду на салазках. Тяжесть такая, что он не раз совсем надрывался, говорил, что что-то сделалось в груди, и писал: «...слабость и близость смерти стала гораздо ощутительнее...»

Осуждая мою жизнь, но не указывая, как ее изменить, Лев Николаевич жаловался на нашу обоюдную отчужденность, хотя с моей стороны я ее не чувствовала и все так же любила его, как и прежде.

...Свою семейную жизнь Лев Николаевич отживал совсем. Еще теплилась где-то в глубине его сердца любовь ко мне, к дочерям, которые ему были и нужны и приятны, но он уходил, уходил быстро, и я все больше и больше чувствовала свое одиночество и всю ответственность за себя и за свою семью. Никто, кроме разве Тани, не заглядывал в мою больную душу, никто не помогал в моих тяжелых ответственных делах жизни, ее осложнениях, трудах, соблазнах и вечного страдания от неудовлетворенности и молчаливых укоров моего тоже страдающего и неизменно любимого мужа.

А жизнь нам дала так много. И здоровье, и любовь, и детей, и довольство, и прекрасную умственную жизнь Льва Николаевича — из всего он сделал почему-то одни страдания. Даже писать, творить что-либо он часто не мог от какой-то тоски...

Упадок физической и нравственной в себе энергии признавал сам Лев Николаевич и писал об этом, что, может быть, это новая ступень старости, к которой он еще не привык.

Картина Н. Н. Ге «Распятие»

Пребывание у нас Николая Николаевича Ге было всем нам очень приятно. Трогательно было видеть, как он учился по-английски у моего маленького шестилетнего сына Ванечки и говорил про него, что он умнее нас всех и давно все в мире познал, так как уже раньше жил неоднократно.

Привез Николай Николаевич свою большую картину «Распятие»⁴⁴. Оно произвело на нас огромное, потрясающее впечатление, но не нравилось мне. Лев Николаевич смотрел на нее с недоумением каким-то, но хвалил. Очень любил Николай Николаевич беседовать с молодежью. Раз он вернулся в 3 часа ночи очень усталый с Мясницкой, где происходили в Школе живописи и ваяния разговоры об искусстве с милыми барышнями, как он выразился, и на другой день все слышалось его похрапывание в опустевшей Таниной комнате.

Присутствие Ге и побудило Льва Николаевича пойти в Третьяковскую галерею, где он делал вслух при нас свои замечания. Про картины Васнецова он говорил, что бездарно и просто технически дурно написано. Восхищался и умилялся над картиной Орлова «Умирающая старуха благословляет домашних». Долго он не мог отойти от картины Репина «Арест нигилиста». Понравилась ему картина «Священник у приговоренного». Проходя мимо репинского «Грозного», т. е. «Убийства Иоанном Грозным своего сына», и картины Репина же «Не ждали», Лев Николаевич сказал: «Tout ça je déteste» *⁴⁵ Перед «Пилатом», т. е. картиной «Что есть истина?» Ге, Лев Николаевич остановился и сказал: «Прекрасно».

В это время у Льва Николаевича было много замыслов в его творчестве. Кроме бесчисленных писем, ему хотелось писать драму⁴⁶, «Изложение христианского учения для детей» и др.

...Когда еще не вся семья переехала в Ясную Поляну, в начале мая, Льва Николаевича очень напугала горловая болезнь дочери Маши. Он ей выписал Марию Александровну Шмидт, которая и ходила за ней. 3 мая приехали в Ясную Таня, Вера Кузминская, Николай Николаевич Ге. Потом привезла и я своих детей. Вскоре после переезда к Льву Николаевичу приехал какой-то пастор, который и раньше присылал на помощь голодающим по 1000 р. Приезжал еще американец Кросби, очень чтивший Толстого. Этот Mr. Crosby побывал и у меня в Москве и рассказывал о том, что делается в Ясной, спросил меня, что, я думаю, он нашел самым замечательным в Ясной Поляне. Я говорю: «Разумеется, моего мужа». «Нет,— сказал он,— вашего маленького сына (Ванечку). Я никогда в жизни не встречал такого ребенка». Mr. Crosby мне еще более понравился после такой оценки моего маленького любимца. Кросби присылал нам потом свои книги, стихотворения и переписывался с Львом Николаевичем.

Смерть Н. Н. Ге

2 июня была нами получена телеграмма от сына Николая Николаевича Ге, что отец его скончался от удара. Еще в Москве мы заметили в выражении лица милого старого художника что-то жал-

* Все это я ненавижу (франц.).

кое, усталое, непривычное. Он слишком утомлялся, собирал молодежь, говорил речь. Помню, рассказывали, что на съезде художников он начал свою речь словами: «Все мы любим искусство». И говорил так хорошо, просто и красноречиво, что ему в этот вечер сделали громкие овации. Вернулся он к нам в Хамовники счастливый, но весь разбитый от усталости.

Когда он приехал к себе на хутор, он сразу заболел и умер. Смерть его очень огорчила Льва Николаевича. Он сказал про своего умершего друга: «Я никогда не думал, что так люблю его. Это был прелестный, гениальный, старый ребенок».

15 июля приезжала в Ясную Поляну из Америки русская дама Мак-Гахан и привезла Льву Николаевичу книги от Генри Джорджа, которыми очень интересовался Лев Николаевич и писал в дневнике: «Очень живо сознал вновь грех владения землей». Он об этом много беседовал с Николаем Николаевичем Страховым, загостившимся у нас по случаю холеры в Петербурге. Он по вечерам читал нам вслух критику о Достоевском, а днем гулял и охотно пил кумыс, который готовили для больного Левы приехавшие из самарских степей башкиры. Но кумыс Леве не помог, а скорее повредил. Он был очень худ, мрачен, говорил, что у него кишки парализованы и что он застрелится. Помню, какое страдание мне доставлял болезненный вид столь любимого мною сына, особенно когда он своими черными страдальческими глазами с упреком и грустью смотрел на отца, когда тот не верил в болезнь сына и несправедливо упрекал его за нее, говоря, что надо себя взять в руки, не опускаться, заниматься и т. п. Лев Николаевич никогда не мог жить в атмосфере страданий других, особенно близких ему людей, и умышленно — а скорее даже инстинктивно — отрицал их, бежал от них. Так было всегда и со мной.

Ванечка

...Стала я собираться опять в Москву и на этот раз увозила меньших: Сашу и Ванечку. А потом писала Льву Николаевичу и дочерям: «Самое мое лучшее, т. е. счастливое осталось с вами, и в вашей тишине, и в серьезной, духовной атмосфере. И дети мои маленькие здесь не те, как не то ни небо, ни сад, ни люди, ни все то, с чем живешь. А кроме того, бедный Лева очень плох и душой и телом. Доктор советует теплый климат...»

Перед отъездом мы с Ванечкой пошли прощаться с любимыми местами в Ясной Поляне. Когда мы влезли на вышку (беседка в конце сада), мы с ним залюбовались видом. Был ясный, слегка морозный октябрьский день. Блестело все от замерзшей росы. Ванечка долго всматривался вдаль и сказал: «Красота, и я с тобой. И ничего больше не надо». Бедный мальчик уже и тогда понял, что на свете ничего не может дать столько счастья, как красота и любовь. Это было его последнее прощание с его Ясной Полянкой. Он умер в феврале следующего года в Москве.

1895

В Москве. Заболел Ванечка

Оставшись с больным Левой и меньшими 4-мя детьми, я все свое время и силы отдавала им. Лева был необыкновенно нервен, пользовался советами доктора Белоголового, лечился электричеством, но, по-видимому, ничего ему не помогало. Ко мне он относился неласко-

во, и хотя я это приписывала его нездоровью, я не могла не огорчаться. Огорчали меня и Андрюша с Мишей. Учились плохо, и я чувствовала, что борьба и усилия приучить их исполнять свои обязанности делаются мне непосильны, а только портят наши хорошие отношения. Иногда бывало и радостно. Раз Миша пришел ко мне, прося просмотреть его изложение «Капитанской дочки» Пушкина, и мы вместе поработали. А то мы с ним по вечерам играли сонаты Моцарта и сочинения Шуберта со скрипкой. Он уже играл тогда довольно хорошо и доставлял мне удовольствие.

Маленький Ванечка тоже очень любил, когда Миша играл на скрипке, особенно восхищался вальсом Шопена. Раз он слушал, слушал и говорит мне: «Мама, как бы я желал выучиться делать что-нибудь очень, очень хорошо. Учи меня, мама, скорей музыке».

5 января рано утром няня разбудила меня словами: «Ванечка заболел». Сколько раз в моей материнской жизни болезненно обрывалось мое сердце от этих двух слов: Сережа заболел, Таня, Алеша, Андрюша и др.— заболел. И всегда я страшно пугалась, как и на этот раз. Я так тесно прицепила свое существование к жизни Ванечки, что это было и дурно и опасно. Он такой был деликатный, слабый мальчик. И опять стало уныло на душе. А только еще накануне мы весело читали вслух рассказы Жюль Верна. Саша и Ваня просили прочесть им «80 000 верст под водой» и «Детей капитана Гранта». Когда я им сказала, что они ничего не поймут, Ванечка мне возразил: «Ты увидишь, мама, как мы от «80 000 верст под водой» и «Детей капитана Гранта» поумнеем».

Болезнь Ванечки все усиливалась. Оказалась лихорадка с разными осложнениями. Он худел, бледнел, почти не ел, не ела и я ничего от сердечных страданий, глядя на моего любимца, ощущая его тоненькие ручки и ножки, целуя его бледные, дряблые щечки.

К лихорадке присоединился грипп и сильный кашель. Лечил профессор по детским болезням Нил Федорович Филатов. Но жар и к 15 января не проходил и мучил Ванечку ежедневно. Филатов утешал, что это простой грипп, но потом и сам задумался над болезнью ребенка...

Жар у Ванечки все усиливался и 20-го числа дошел до более 40 градусов. Филатов нахмурился и усилил приемы хинина. Я начала приходить в отчаяние, меня мучило тяжелое предчувствие. К концу января Ванечке все-таки стало лучше. Я проводила с ним все дни, читала ему сказки Гримма, и мы перенесли его наверх, в гостиную, где больше тишины, света и никакой сырости.

Раз, лежа на тахте в гостиной, он мне говорит: «Мама, мне все надоело, я хочу, как папа, сочинять. Я тебе буду говорить, а ты пиши». И он мне так художественно продиктовал маленький рассказ из его детской жизни под заглавием «Спасенный такс». Рассказ этот был напечатан в детском журнале «Игрушечка» и потом в моей книжечке «Куколки-скелетцы».

За несколько дней до своей кончины Ванечка удивлял меня тем, что начал раздаривать свои вещи, прилагая к ним записочки своей рукой: «На память Маше от Вани» или «Повару С. Н. от Вани» и проч. Потом снял раз со стены своей детской разные картиночки в рамках, снес их в комнату брата Миши, которого он страстно любил. Он взял у меня гвозди и молоток и повесил все свои картины в Мишиной комнате. Он так любил Мишу, что был до отчаяния несчастлив и горько плакал, если, поссорившись с Мишей, тот не сразу хотел с ним мириться. Насколько Миша любил маленького Ванечку — не знаю. Но со временем назвал его именем своего первого сына.

Незадолго до своей смерти раз Ванечка смотрел в окно, вдруг задумался и спросил меня: «Мама, Алеша (умерший мой маленький сын) теперь ангел?» «Да, говорят, что дети, умершие до 7 лет, бывают ангелами». А он мне на это сказал: «Лучше и мне, мама, умереть до 7 лет, теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел. А если я не умру, мама милая, позволь мне говеть, чтобы у меня не было грехов».

Слова эти мне болезненно запали в душу.

20 февраля дочь Маша вызвалась вместе с няней повезти Ванечку в клинику к профессору Филатову, который назначил нам для приема этот день. Вернулись они веселые, бодрые, Ванечка объявил мне с восторгом, что ему позволено все есть, много и гулять и даже ездить. После завтрака он пошел с Сашей гулять и потом прекрасно ел за обедом. Намучившись, глядя на болезнь Ванечки, все в доме были веселы. Таня и Маша, не имея своих семей, всю способность материнской любви перенесли на маленького брата.

Вечером 20-го Саша и Ванечка попросили сестру Машу читать им переделанный для детей рассказ Диккенса «Большие ожидания» под заглавием «Дочь каторжника». Когда пришло время идти спать, Ванечка пришел ко мне прощаться и поразил меня своим грустным, усталым видом. Я спросила его о чтении. «Ах, не говори, мама. Так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа».

Мы пошли с ним вниз, в детскую, он зевал и говорил мне с такой грустью и со слезами на глазах: «Ах, мама, опять она, она — лихорадка». Я поставила градусник, температура 38,5. Жаловался Ванечка на боль в глазах, я думала, начинается корь. Когда я убедилась, что Ванечка опять заболевает, я заплакала, и, увидав мои слезы, он сказал: «Не плачь, мама, вот это воля божия».

Незадолго до этого он просил меня растолковать ему молитву «Отче наш», и я особенно горячо толковала ему, что значат слова и их смысл: «Да будет воля твоя». Потом он попросил меня дочитать ему начатую нами сказку Гримма, кажется, что-то о вороне. Я исполнила его просьбу. Вошел в детскую сын Миша, а я вышла в спальню. Мише, как я узнала после, Ванечка сказал: «Я знаю, что теперь я умру».

Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором Филатовым, и он тотчас же определил, что у Ванечки скарлатина. Жар достиг уже до 40 градусов, присоединились боли в животе и сильнейший понос, объясняемый тем, что скарлатина осложнилась дифтеритом кишок.

В 3 часа ночи Ванечка проснулся, посмотрел на меня и сказал: «Прости, милая мама, что тебя разбудили». Я ему говорю: «Я выпала, милый, мы с тобой по очереди сидим». «А теперь чей будет черед, Танин?» — «Нет, Машин».— «Позови Машу, иди спать». Заботливо посылал мой милый мальчик и начал меня целовать крепко, крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки и прижимаясь ко мне. Я спросила его: «Что у тебя болит?» «Ничего не болит».— «Что же, тоска?» — «Да, тоска».

После этого он почти уже не приходил в сознание. Жар на другой день достиг до 42 гр. Филатов обертывал его в простыни, намоченные в горчичной воде, сажал и в теплую ванну, но ничего не помогало, головка свисала беспомощно на сторону, как у покойника, потом стали холодеть ручки и ножки, он еще раз открыл свои глазки, как бы удивившись чему-то, и затих.

Это было в 11 час. вечера 23 февраля.

Левочка, муж мой, увел меня в комнату Тани, сел со мной на кушетку, и я совсем потеряла сознание, положив свою голову ему,

на грудь. Мы точно оба замерли в отчаянии. В самые последние минуты при Ванечке была моя дочь Маша и Мария Николаевна, монахиня, все время молившаяся. Няня, обезумев, как я, от горя, лежала на кровати и изредка всхлипывала, как мне потом рассказывали. Таня то входила, то убегала из детской.

Когда Ванечку одели в белую курточку и расчесали его длинные, белокурые, кудрявые волосы, мы с Левочкой решили войти в детскую. Ванечка лежал на кушетке, я положила ему на грудьку образок, кто-то зажег восковую свечу и поставил у головки.

Скоро весть о смерти столь любимого всеми Ванечки распространилась среди наших родных и знакомых. Прислали множество цветов и венков, вся детская была точно сад. О заразе никто не думал. Милая, сердечная Сафо Мартынова, у которой своих было четверо детей, тотчас же приехала, плакала с нами и приняла горячее участие в нашей горе. А мы все как-то особенно страстно примкнули друг к другу в любви нашей в покойному Ванечке. Мария Николаевна жила с нами и так душевно, религиозно утешала нас. В дневнике Льва Николаевича в то время записан крик его сердца: «Похоронили Ванечку. Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, отец. Благодарю тебя».

На третий день, 25 февраля, Ванечку отпели, заколотили гробик, и в 12 ч. дня отец с сыновьями и Павлом Ивановичем Бирюковым вынесли гробик и поставили на наши четырехместные большие сани. Сели мы с мужем друг против друга и, провожаемые друзьями, тихо двинулись...

Молча везли мы с Левочкой наше последнее, любимое дитя, нашу светлую будущность. Когда мы стали подъезжать к Покровскому кладбищу близ с. Никольского, куда везли хоронить Ванечку рядом с его братом Алешей, Левочка начал вспоминать, как он, влюбленный в меня, часто ходил и ездил по этой самой дороге в Покровское, где мы тогда жили на даче. Он умилялся, и плакал, и ласкал меня и словами и воспоминаниями, и мне было так хорошо от его любви.

В сельце Никольском близ Покровского кладбища было много народа и местного и прибывшего на похороны. Было воскресенье, школьники гуляли по деревне, любясь венками и цветами.

С саней сняли гробик опять же Лев Николаевич и сыновья. Все плакали, глядя на старого, скорбленного, убитого горем отца. При похоронах, кроме семьи нашей, были еще: Маня Рачинская, Соня Мамонова, Коля Оболенский, Сафо Мартынова, Вера Северцева, Вера Толстая и многие другие. Все громко рыдали.

Когда гробик опускали в яму, я опять потеряла всякое сознание, точно и сама куда-то провалилась. Говорили потом, что сын Илюша загораживал от меня эту ужасную яму, а кто-то держал меня за руки. Мой муж Левочка, обняв меня, прижал к своей груди, и я долго оставалась так в каком-то оцепенении.

Опомнилась я от веселых криков множества крестьянских детей, которым няня по моему поручению раздавала разные сладости и калачи. Дети смеялись, роняли и подбирали опять пряники, я вспомнила, как Ванечка любил всех угощать и что-нибудь праздновать, и разрыдалась в первый раз после его смерти.

Тотчас же после похорон художник Касаткин приехал на могилу, когда уже все разъехались, и набросал два этюда с свежей могилы. Один он подарил мне, другой Тане, написав при этом очень милое, сердечное и поэтичное письмо с любовью к Ванечке, которого называл прозрачным.

Вернулись мы осиротелые в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу, в столовой, сел на диван, принесенный

раньше для больного Левы, и, заплакав, сказал: «Я думал, что Ванечка, один из моих сыновей, будет продолжать мое дело на земле после моей смерти...»

И в другой раз повторил приблизительно то же: «А я-то мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело божие. Что делать!..»

И мне было еще тяжелее смотреть на его глубокую скорбь, чем страдать самой...

Ванечка из всех детей был больше всех лицом похож на отца. Те же глубокие, вдумчивые и светлые глаза, та же серьезность духовного внутреннего содержания. Как-то раз, расчесывая свои вьющиеся волосы перед зеркалом, Ванечка обернул ко мне свое личико и с улыбкой сказал: «Мама, я сам чувствую, как я похож на папу».

После похорон

В первую же ночь после смерти Ванечки я вскочила в каком-то ужасе от галлюцинации запаха, и долго после преследовал меня этот запах, хотя спавший тогда со мной муж мой уверял меня, что никакого запаха нет, что мне это так кажется. А то вдруг я слышала голосок Ванечки, нежный и ласковый. Бывало, помолюсь с ним богу, мы перекрестим друг друга, и он мне скажет: «Поцелуй меня покрепче, положи свою головку рядом с моей, подыши мне на грудь, чтобы я заснул с твоим дыханьем».

Нет любви чище, сильнее и лучше любви матери и ребенка. Со смертью Ванечки кончился в нашем доме детский, милый мирок. Саша осиротелая ходила одиноко и грустно по дому, не зная, куда прислониться душой. Она была дика и необщительна по характеру. Ванечка же, напротив, любил людей, любил писать письма, угощать, праздновать, дарить; и как многие любили его!

Даже холодный Меньшиков писал о нем: «Когда я видел Вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее своего отца». Много, много чудесных писем получила я с соболезнованием о смерти Ванечки и о нем самом. Н. Н. Страхов пишет Льву Николаевичу: «Он много обещал, может быть, наследовал бы не одно ваше имя, а и вашу славу. А как был мил — сказать нельзя».

Отношение Льва Николаевича к смерти Ванечки

Лев Николаевич во всем в жизни больше всего проявлял художественность. Художественность момента, положения, слов людей, природы — все в области и жизни и мысли. Он часто оставался глух к страданиям людей и плакал слезами над книгой, музыкой или устными речами людей. Так как всякому, кому попадутся эти записки, конечно, интереснее всего будет узнать, как отнесся Лев Николаевич к смерти Ванечки, я дам несколько выписок из его дневника и письма гр. Александре Андреевне Толстой.

Из дневника 12 марта 1895 года:

«Смерть Вани была для меня, как смерть Николеньки. Нет, в гораздо большей степени, проявления бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю... что это милосердное от бога, приближающее к нему, распутывающее ложь жизни — событие.

Соня не может так смотреть на это. Для нее боль почти физическая — разрыва, скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери (а я говорила, что мне точно на время открылись небеса) и обнажилась та божье-

ственная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством,— все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви...

Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение во всеобщей любви и становится неразрешимо мучительно... Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней. Она еще физически слаба... Все мы очень близки друг к другу... Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но попробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос.

Как ласточки, прилетающие слишком рано,— замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка...»

Сергей Иванович Танеев

Еще весной я лежала полубольная на кушетке на балконе хатовнического дома, как пришел Сергей Иванович Танеев навестить меня. В разговоре с ним я спросила его, где он проводит лето. Он мне сказал, что обычно он проводил лето у друзей своих Масловых в деревне Орловской губ., но что в нынешнем году туда привезут больного ребенка и ему было бы неудобно их стеснять, а что он ищет нанять себе отдельное помещение где-нибудь в барской усадьбе. Мне тотчас же пришло в голову отдать ему внаймы наш яснополянский флигель, но мы еще не знали, займет ли его больной сын Лева, как предполагал раньше, или останется в Ганге. На всякий случай я предложила Сергею Ивановичу флигель, если получу отказ Левы проводить в нем лето. Мое предложение, казалось, пришлось по душе Танееву, и мы расстались с тем, что он подумает, а я поговорю с своей семьей и перепишусь с Левой. И все сложилось так, что Сергей Иванович со своей старой нянюшкой поселился во флигеле с платой за все — 125 рублей. Я не хотела брать денег, но Танеев не соглашался жить у нас даром. Эти деньги я отдала на благотворительное дело, т. к. пребывание Танеева и его удивительная игра на фортепиано, кроме радости, ничего нам не доставляли.

После обеда он обыкновенно играл с Львом Николаевичем в шахматы, а по вечерам, позднее, часто много играл на рояле, и все были в восторге от его игры. С Львом Николаевичем у него был такой договор: если Сергей Иванович проиграет партию в шахматы, он должен сыграть Льву Николаевичу то, что Лев Николаевич ему закажет. А если Лев Николаевич проиграет, то он должен прочесть Сергею Ивановичу то, что Лев Николаевич написал нового. Этот договор нам всем был очень выгоден, т. к. слушателями были мы все и вечера наши были содержательны. Помню, с каким лихорадочным нетерпением я ждала вечера и чудесной игры Танеева, под которую усыплялись мои острые душевные страдания. Иногда я ходила к флигелю, где жил Танеев, и, не видимая им, сидела на крыльце и слушала из открытых окон, как Сергей Иванович повторял какой-нибудь заказанный Львом Николаевичем полонез Шопена, сонату Бетховена и др. пьесы. В эти минуты я не думала о своем горе, а уносила куда-то в другую область, отдыхала душой и болезненно ждала вновь и вновь повторения этого блаженного состояния. По правде сказать, я только тогда хорошенько поняла, что такое музыка. В концерты я почти не ездила, музыкантов хороших, особенно пианистов, я не знала. Игра

Танеева была особенная. Он был и философ в музыке, он же иногда проявлял в своем исполнении такую страстность, что жутко делалось, тем более что в жизни он был скорее флегматичен, по-видимому, совершенно бесстрастен, любил шуточки, был насмешлив, любил поест и был по внешности своей прозаичен до крайности. Надо было хорошо его узнать близко, чтобы понять его внутреннее содержание и самую суть его характера и душевной жизни. Одно, что было на-верное, это то, что он любил больше всего на свете — музыку и свою старую няню Пелагею Васильевну.

С Танеевым, Сашей и ее милой англичанкой мисс Вельш я иногда ходила гулять, но часто, если что-нибудь непосредственно напоминало мне Ванечку, я убегала с плачем одна домой. С своими близкими гулять мне было еще тяжелее. Помню, Лев Николаевич позвал меня пойти с ним погулять, я обрадовалась его ласковому приглашению, но дорогой расплакалась и расстроила моего бедного мужа, который и так говорил с тоской: «Ничего как-то нет, и лета никакого нет, точно новая эра в жизни, совсем непривычная и очень, по-моему, тяжелая».

Весь день мы проводили каждый в своем уголке и сходились только за обедом, ужином и чаем. Часто грустила я и от отсутствия семьи сестры, с которой жили вместе каждое лето чуть ли не 25 лет сряду.

Описывая факты, я очень жалею, что в то время не записывала ни разговоров Льва Николаевича, ни того, чем он жил духовно. Лично я всегда интересовалась и его творчеством и его настроением, записывать же мне просто не приходило в голову. Не думала же я, что на старости лет буду писать историю всей моей жизни.

1896

Жандарм

Сидим мы раз все на террасе, подходит какой-то человек и прямо подходит к Льву Николаевичу. Его спросили, что ему нужно. Он говорит, что нужно с Львом Николаевичем побеседовать. Лев Николаевич, как всегда, согласился и пошел с ним в дом. Оказалось по признанию этого незнакомца, что он переодетый жандарм, шпион, приставленный правительством следить и все доносить о Льве Николаевиче, его семье и посетителях⁴⁷.

— О чем я буду доносить? — говорил раскаявшийся жандарм. — Здесь все живут как святые...

То, что правительство приставило его к должности шпиона, было противно Льву Николаевичу. Но, с другой стороны, раскаяние и признание жандарма в том, что он делает дурное дело, доставило Льву Николаевичу радость. В то время Лев Николаевич вообще был не в духе. Он пил Эмс от болезни печени, все ему были в тягость, любви настоящей ни к кому не было, а стремление любить в с е х было очень сильное.

Отрываясь от текущей работы, он задумывал тогда еще новое сочинение — картины из самарской жизни: степь, борьба кочевого, патриархального с земледельческим, культурным. Очень тянуло его к этой работе, к излюбленному им сюжету, и уже не в первый раз. Хотел он и раньше писать о переселенцах, поселившихся в необитаемых местах, мечтал и сам, уже женатый, уйти с переселенцами, взяв с собой работницу бабу. Все это я тяжело переживала, и все-таки он ушел! Задуманную работу Льву Николаевичу так и не пришлось выполнить.

1897

20 декабря получено было Львом Николаевичем анонимное письмо⁴⁸, всех нас очень расстроившее. В нем было написано, что если Лев Николаевич не изменится к 1898 году, то его в такой-то назначенный день убьют. Не помню, какой именно день был назначен для убийства, но очень хорошо помню, что в этот день Лев Николаевич, как бы бравируя опасностью, все-таки пошел на свою обычную прогулку и особенно долго гулял. Пошла и я с ним и еще несколько человек друзей и близких охранять Льва Николаевича. Я вздрагивала беспрестанно, вглядывалась в встречаемых, но никакого покушения не было, только мы все страшно устали и от нервного напряжения и от слишком долгой прогулки.

Сам Лев Николаевич писал в дневнике: «И жутко и хорошо...»

...Приехав рано утром, меня как громом поразило, что Лев Николаевич, получив известие о моем приезде, немедленно уехал к брату в Пирогово. Я тотчас же поняла причину и немедленно отправилась с скорым поездом в Лазарево и оттуда на ужасном ямщике в Пирогово. Там встретил меня, вглядываясь своими любопытными, испытующими глазами, брат Льва Николаевича Сергей Николаевич.

— Что у вас произошло? — спросил он у меня. — Левочка так расстроен. Что же это? — как бы иронически допрашивал он.

— Да ровно ничего не произошло, — ответила я. — Даже совестно говорить о ревности к 53-летней старой женщине, а между тем причина всего, что произошло, это ревность Льва Николаевича к Танееву.

И я рассказала, как мы жили с сестрой Машенькой в Москве и Танеев приходил заниматься в беседке в саду, а это вызвало досаду в Лье Николаевиче и огорчило его, о чем очень сожалею. «Где Левочка?» — спросила я. «В саду».

Я пошла в сад его искать. Вижу, лежит, бедный, на траве, прикрывшись полотняным халатом, сшитым мной, и в белой фуражке, тоже сшитой мной. Он спал. Увидав его, я заплакала. Как скучны, ненужны, ничтожны показались мне все люди, все события, вся музыка рядом с моей любовью к этому спящему любимому человеку. Он открыл глаза.

— Зачем ты приехала? — спросил он меня недобрим голосом.

— Как зачем? Приехала за тобой...

Сначала Лев Николаевич был суров и строг. Но мы хорошо поговорили, я просила его простить меня, если я его огорчала, уверяла его в любви своей, и смягчила его сердце...

1898

Любовь моя и увлечение музыкой привлекали к нам часто музыкантов, которые чувствовали понимание музыки Льва Николаевича и его любовь к ней и дорожили его мнением.

Так, 6 февраля пришли к нам Сергей Иванович Танеев и А. Б. Гольденвейзер и сыграли нам в 4 руки симфоническую увертюру из оперы Танеева «Орестея».

Слушатели мало ее поняли и мало оценили. Лев Николаевич сдержанно сказал, что тема ему нравится. О музыке Танеева он всегда отзывался, что она, несомненно, очень благородная, но часто скучная.

Так еще раз Лев Николаевич высказал свое мнение о симфонии Танеева, сыгранной им нам 12 марта 1898 года. На просьбу Танеева Льву Николаевичу сказать свое мнение о симфонии Лев Николаевич

отнесся серьезно и с уважением и стал излагать свои впечатления. А именно, что «и в этой симфонии и во всей новой музыке нет ни в чем последовательности, ни в мелодии, ни в ритме, ни даже в гармонии. Только что начнешь следить за мелодией, она обрывается, только что усвоишь себе ритм, он перебрасывается на другой. Чувствуешь все время неудовлетворенность. Между тем в настоящем художественном произведении чувствуешь, что иначе оно не могло быть, что одно вытекает из другого, и думаешь, что я сам точно так же сделал бы это».

Сергей Иванович слушал Льва Николаевича внимательно и с уважением, но его все-таки, мне показалось, огорчило, что симфония его не так понравилась Льву Николаевичу, как бы он того желал. Еще как-то раз принес Танеев свое сочинение для 4 голосов «Восход солнца» и сыграл нам. Красиво в нем сопоставлены два момента: ожидание солнца и появление его.

...Странное я вывела заключение из отношения Льва Николаевича к моей любви к искусству. Никто не поймет и, пожалуй, не поверит, что, когда я жива, т. е. увлекаюсь музыкой, книгой, живописью или людьми, того стоящими, тогда мой муж несчастлив, тревожен и сердит.

Когда же я, как в то время, шью ему блузы, переписываю, занимаюсь всякими практическими делами и тихо, грустно увядаю, тогда мой муж спокоен, счастлив и даже весел. И вот в чем моя сердечная ломка! Подавить во имя счастья моего мужа все живое в себе, затушить свой горячий темперамент, заснуть и не жить, а дичь,— как писал Сенека,— существовать бессодержательно.

...Побывала я и в самом Киеве, где была раньше, после смерти сына Ванечки, и мое впечатление от этого красивого, старого и полного религиозной поэзии города было все так же сильно, как и раньше. Ходили мы с сестрой по всем соборам, понравилось мне во Владимирском соборе «Воскрешение Лазаря» Сведомского и очень не понравилось «Крещение народа» Васнецова. Грубо, без настроения, и не веришь в него. Очень я люблю на берегу Днепра памятник Владимиру святому с крестом в протянутой руке. На этот раз я решилась пойти в пещеры. Желавших собралось человек 12—15. Я шла вслед за провожавшим нас стареньким монахом, у всех были зажженные восковые свечи, шли почти все время нагнувшись. И вдруг мне стало страшно чего-то. «Вернемтесь,— просила я,— выпустите меня, задыхаюсь».

Старый монах спокойно взглянул на меня и сказал: «Люди годами жили здесь, а ты пройти 15 минут боишься. Сейчас церковь, помолись».

Показывали еще в пещерах отверстия в стене, за которой добровольно замуравливали себя святые. В этих застенках они жили и умирали, а в небольшие отверстия им подавали хлеб и воду...

В конце ноября меня напугали в Москве слухи о том, что Лев Николаевич встретил где-то икону, которую куда-то везли, бранил икону мужикам и его будут судить. Вообще об этом много шумели и встревожили меня. Когда я сделала об этом запрос Льву Николаевичу, он мне ответил так: «Я, наткнувшись на икону, объехал ее полями... сказал смотрителю, что не советую предаваться обману и идолопоклонству... Какой дурак тебя напугал и какое нам дело до того, что говорят в Петербурге или Казани?..» Дальше Лев Николаевич приба-

вил: «Ну да это не нарушит того настоящего... внутреннего счастья, которым мы живем, как, например... эти $2 \frac{1}{2}$ дня в Ясной...»⁴⁹.

1899

...По-видимому, работа над «Воскресением» еще не вполне была окончена. Опять и опять он возвращался к ней. 17 января он вызвал к себе смотрителя Бутырской тюрьмы⁵⁰, который дал разные указания из обстановки и жизни заключенных. Тогда же Лев Николаевич поспешно, до окончательного напечатанья романа, послал в редакцию «Нивы» эпиграф из Евангелия, который просил включить в роман, не помню перед какой главой⁵¹. Очень меня огорчало, что по цензурным соображениям много из «Воскресения» выключалось. Были места, которые и я бы выключила. Редактор «Нивы» Маркс обещал мне восстановить в трех экземплярах пропуска, но не исполнил обещанья.

Несмотря на мое желанье иметь более полный экземпляр «Воскресения», ко многому в этом романе я относилась не только отрицательно, но с болезненной досадой. Например, вино и хлеб для причастия он называл крошкой, вместо распятия Иисуса Христа он писал, что Иисус был «к а з н е н н а в и с е л и ц е», и многому другому я выражала горячий протест. Сам Лев Николаевич потом выразил желанье выкинуть эти слова из романа, огорчившие и сестру его Марию Николаевну. Но глупый и упрямый деспот Чертков, несмотря на желанье Льва Николаевича уничтожить их, все-таки напечатал в заграничном издании.

Брат Петра Ильича Чайковского Модест Ильич говорил мне, когда я с ним виделась у Масловых, что есть письмо Льва Николаевича к Петру Ильичу, в котором он пишет, что признает музыку высшим искусством, и дает ей в мире искусства первое место, и я с этим совсем согласна. В музыке всегда остается мечта, она не доскажет до конца своей мысли, между тем в картине и в литературном произведении все ясно, все сказано до конца⁵².

У нас часто велись интересные отвлеченные разговоры о разных предметах. Помню, были какие-то гости, и в разговоре с ними Лев Николаевич утверждал, что можно совершенствоваться духовно, если даже поступки человека слабы. Я лично не была с этим согласна. При дурных и слабых поступках движенья духовного быть не может, оно остается неподвижно.

В начале марта, около 9-го, 10-го, кн. Паоло Трубецкой лепил в Москве статуэтку Льва Николаевича верхом. Хотя у Льва Николаевича была в Москве своя верховая лошадь, красивый белый Тарпан, лепить его было невозможно, он ни минуты не стоял смирно, и Трубецкой достал какую-то другую лошадь.

По утрам Лев Николаевич много занимался, потому что был здоров и бодр. И так как некому было для него переписывать, я взяла на себя эту работу и много писала. В делах моих по изданию сочинений Льва Николаевича, и продаже книг, и подписке в рассрочку усердно помогал мне Николай Николаевич Ге (сын), милый и умный друг нашей семьи.

Вместе со статуэткой Льва Николаевича верховым Трубецкой лепил и маленький бюст с сложенными руками, который более других его скульптурных портретов похож на Льва Николаевича. Для этих работ Трубецкого Лев Николаевич ездил ежедневно верхом из Хамовнического переулка на Мясницкую.

Еще раз лепил П. Трубецкой Льва Николаевича верхом на какой-то кляче уже перед самым уходом Льва Николаевича осенью 1910 года⁵³.

Когда я спросила Трубецкого, почему он не лепил его на Делире, лошади, на которой всегда ездил Лев Николаевич, Трубецкой ответил, что кляча теперь для возраста и характера Толстого более подходяща.

...Как в ящик бросаю свои воспоминания, часто самые отрывочные, иногда неинтересные и скудные сведения. Но записывая их последовательно, по мере того как шла жизнь, я переживаю ее в своей памяти, и мне это приятно, хотя и плачу иногда, поднимая со дна души все, чем она болела.

Свадьба дочери Тани и ее последствия

Роковой день свадьбы Тани приближался. Сначала назначили ее на 12 ноября, а потом на 14. В доме было какое-то натянутое, унылое настроение, точно что-то глубоко внутри напухло и невыносимо наболело. Когда в октябре Таня доживала свои последние дни в Ясной Поляне, Лев Николаевич в дневнике написал: « В Ясной Поляне живет одна Таня напоследках, и жалко. Языческий строй жизни, и все из него вытекает...»

Сама Таня была очень грустна, но чувствовалось, что она все исчерпала в молодости и теперь, в 35 лет, девичья жизнь уж ничего ей не даст. Захотелось новой жизни, любви и материнства.

Таня не хотела венчаться в обычном свадебном наряде с померанцевыми цветами, вуалем на голове и белым платьем и надела простое серенькое платье. Но все-таки она согласилась, чтоб я ее благословила образом, что я и исполнила с братом моим Александром Андреевичем Берсом. Венчали ее в нашей приходской церкви Знаменья в Зубове. Шаферами Тани были ее братья, а Михаила Сергеевича — его племянники, Фохт. Ни Лев Николаевич, ни я в церковь не пошли.

Когда Таня пошла прощаться с отцом, он так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни. Все старческое тело его подбрасывалось от усиленных рыданий.

При Тане, благословляя ее, и при Льве Николаевиче я крепилась, но когда она уехала под венец и я сошла в ее опустевшую комнату вниз, на меня нашло такое безумное отчаяние, я так рыдала — так же, как после смерти Ванечки; казалось, сердце должно было разорваться. И весь день все плакали. В лице Тани мы теряли друга, помощницу всякому в семье, кто нуждался в помощи, сочувствующую всем, кому нужны были утешенье и любовь.

При прощанье я со слезами благодарила Таню за все, что она мне дала во всю 35-летнюю совместную нашу жизнь.

Про Сухотина мы знали, что он светский, легкомысленный, 50-летний вдовец с 6-ю детьми. Жена его умерла чахоткой, и все это не обещало счастья.

20 ноября Лев Николаевич писал в своем дневнике: «Я в Москве. Таня уехала зачем-то с Сухотиным. Жалко и оскорбительно. Я 70 лет все спускаю и спускаю мое мнение о женщинах, и все еще и еще надо спускать».

Но после 3-х лет брака Таня писала мне, что ни одной минуты не раскаивалась в своем решении отдаться Сухотину.

«Я отдала себя в хорошие руки», — писала она еще из Вены после своего решения.

И прожитые с Михаилом Сергеевичем 15 лет она казалась счаст-

лива, и Лев Николаевич даже полюбил потом своего зятя и охотно ездил к нему и к дочери в Кочеты.

После свадьбы молодые провели остальное время дня каждый в своем доме: Таня у нас, в Хамовническом переулке, в ее прежней комнате, а Михаил Сергеевич у своей сестры. На другой день они уехали за границу. Мы все ее провожали, и никто не позволял себе плакать, чтобы не расстраивать друг друга.

Только в этот день, 15 ноября, за обедом Лев Николаевич, взглянув на пустой стул и прибор возле себя, где всегда сидела Таня и никто не решился сесть в этот день, со слезами на глазах сказал таким глухим, раздирающим сердце голосом: «А Таня не придет».

Всем стало жутко от этого горя старого отца.

После обеда как будто шутя, но, в сущности, с большой горечью Лев Николаевич сказал, обращаясь ко всем: «Ну, теперь пойдёте все к Тане». Когда я взшла к нему в комнату наверху, он как-то умоляюще сложил свои старческие руки и с отчаянием и слезами в голосе воскликнул: «Боже мой! И кому мы ее отдали!»

Шли дни, грустные и тяжелые. Лев Николаевич топил свое горе в усиленной окончательной работе над «Воскресением». По-видимому, ничего его не радовало, он плохо спал и мало ел. Наконец организм не выдержал горя в связи с работой, и 21 ноября, неосторожно поев на ночь слишком много гречневой каши, Лев Николаевич заболел. Сделались адские боли в желудке и печени, продолжавшиеся 28 часов. Поднялась страшная рвота, сначала пищей, потом желчью и наконец кровью. После рвоты пульс упал до 55. От боли Лев Николаевич кричал на весь дом, но докторов не хотел звать и не принимал ничего того, что ему предлагали...

Статьи Льва Николаевича о Вильгельме. Гриневка

Около 4 и 16 декабря Лев Николаевич написал разные статьи, одну по поводу трансваальской войны⁵⁴, другую, прекрасную, «О самоубийстве»⁵⁵. Потом Лев Николаевич написал и еще две статьи: «Заповеди Христа»⁵⁶ и «Как читать Евангелие».

В статье по поводу трансваальской войны Лев Николаевич пишет в ответ на статью неизвестного мне автора, поразившую меня особенно в наше время (1916 год), характеристику Вильгельма: «Брошюрка слаба не потому, что слишком резка, но потому, что недостаточно ясно выставляет отталкивающие черты одного из самых отвратительных, если не комических, представителей императорства — Вильгельма II...»

Интересно и еще определение Львом Николаевичем личности Вильгельма в 1900 году, где в статье по поводу убийства короля Гумберта «Не убий» Лев Николаевич, горячо отрицая войну, приписывает властителям влияние среды, окружающей с детства этих властителей, и, между прочим, пишет о Вильгельме: «Что должно сделаться в голове какого-нибудь Вильгельма германского, ограниченного, малообразованного, тщеславного человека с идеалом немецкого юнкера, когда нет той глупости и гадости, которую бы он сказал, которая бы не встречена была восторженным hoch! * И, как нечто в высшей степени важное, не комментировалось бы прессой всего мира. Он скажет, что солдаты должны убивать по его воле даже своих отцов, — кричат ура! Он скажет, что евангелие надо вводить железным кулаком, — ура! Он скажет, что в Китае войска должны не брать в плен, а всех убивать, и его не сажают в смиренный дом, а кричат ура...»

* Ура! (Нем.)

Еще раньше, в 1896 году, 2 января, в письме Джону Мансону Лев Николаевич писал о Вильгельме: «Император Вильгельм одно из самых комических лиц нашего времени, оратор, поэт, музыкант, драматург и живописец и, главное, патриот, нарисовал недавно картину, изображающую все народы Европы с мечами, стоящие на берегу моря и... смотрящие на сидящие вдалеке фигуры Будды и Конфуция. По намерению Вильгельма это должно означать то, что народы Европы должны соединиться, чтобы противостоять надвигающейся отсюда опасности. И он совершенно прав с своей отставшей на 1800 лет языческой, грубой, патриотической точки зрения».

Вот еще мнение Льва Николаевича о Вильгельме II, о котором упоминал П. А. Сергеенко: «„Недавно Вильгельм II,— писал Л. Н. осенью 1894 г.,— заказал себе новый трон с какими-то особенными украшениями и, нарядившись в белый мундир с латами, в обтянутые штаны и в каску с птицей и сверх этого надел красную мантию, вышел... и сел на... трон”⁵⁷.

Особенно отталкивала Льва Николаевича антихудожественная натура Вильгельма с его вечной жаждой крикливых эффектов, этих злейших и непримиримых врагов всего истинного и прекрасного.

Главное же, Толстой усматривал в феерических наклонностях немецкого кайзера опасные признаки мечущейся наполеоновщины, не останавливающейся ни перед чем для удовлетворения своего распаленного тщеславия.

Толстой работал над фантастической легендой о реставрации ада⁵⁸, и вот, символизируя различных пороки, хотя и в сказочных, но все же человеческих характерных образах, Лев Николаевич не нашел более подходящей формы для олицетворения грабительской страсти, как фигура немецкого кайзера.

Это было так неожиданно, что вызвало невольное недоумение среди некоторых читателей Толстого. Типический славолюбец, снедаемый жаждой ошеломляющих триумфов, блистательный герой феерии, неутомимый претендент на титул полубога — и он же вдруг заведующий грабителями! Не шарж ли это? Не слишком ли карикатурный штрих художника, искажающий контуры образов, столь мастерски сделанных самим же художником? И вот оказалось, что это был не шарж, а действительно пророческое предсказание гениального художника».

1900

...11 января я получила от хорошей моей знакомой, графини Э. А. Капнист, письмо, в котором она изъявляла радость, что я согласилась быть попечительницей основанного ею приюта для бесприютных детей. Пишет мне: «Молю бога, чтобы это святое дело принесло вам столько же сердечной радости, сколько любви вы на него с самого начала полагаете...»

Как только я сделалась попечительницей, по просьбам моим на помощь приюту посылались разные пожертвования: 130 аршин бумази от Губнера, бумага от Говарда, сукно от Попова, книги, даровые бани и проч.

С. Н. Фишер, начальница женской классической гимназии, нашла дарового законоучителя и почему-то пишет: «Это опять одно из чудес». Гр. Капнист сначала передала свой приют А. Н. Унковской, но обе они не могли продолжать свою деятельность по причине нездоровья. Не имея никакого в Москве дела, которое я считала бы делом добрым, я решилась взять на себя это совершенно мне незнакомое дело, но очень робела, не зная, хорошо ли буду исполнять свои обязанности.

Назначено было заседание в доме попечителя приюта князя Николая Петровича Трубецкого. На этом заседании подвергались обсуждению текущие и хозяйственные дела приюта.

Как-то выходило, что с милейшим старым кн. Трубецким у меня всегда было полное согласие во мнениях.

На одном из заседаний с самого начала меня выбрали единогласно в попечительницы и помощницей мне назначили княгиню Урусову, рожденную Лаврову. Раз она вдруг высказала мнение, что в приюте надо воспитывать прачек, потому что в них большой недостаток для нас, господ.

В приюте наши девочки могли оставаться только до 13 лет, потом мы их размещали куда могли. Какие же могли быть прачки в 13 лет?

«Во всяком случае, княгиня,— возражала я,— мы как попечительницы должны думать не о наших удобствах, а о том, что полезно и лучше для вверенных нам детей».

Князь приподнялся в кресле и сказал: «Я совершенно согласен с графиней», т. е. со мной.

Я всегда любила детей и горячо взялась за приют. Собирала членские взносы, причем купец Морозов спросил моего посланника, жена ли я Льва Николаевича. И на утвердительный ответ прислал вместо 5 р. членского взноса 50 рублей.

Сама я внесла в приют 2000 рублей, деньги покойного Ванечки. Купила корову, связала и сваяла 32 шапки мальчикам, привозила детям игрушки, апельсины, которые привезла раз вечером и раздала их уж тогда, когда дети были в постелях, что вызвало шумное веселье.

Когда я приезжала в приют, дети бросались ко мне навстречу с радостными криками: «Графиня приехала!» Существует афиша концерта с группой детей, окружающих меня, в приюте.

Привезли нам раз в приют мальчика, которого заставляли в мороз кривляться в шутовском наряде на балконе балагана. Отец его был пьяница, а мать умерла. Этот мальчик оказался очень добронравным и умным. А то привезли трех детей: двух мальчиков и одну девочку, очень умненькую и миленькую. Старший мальчик подаванием и часто сухими корками кормил себя и брата с сестрой. Когда его взяли в приют, он скоро оказался каким-то царьком по уму и поведению среди всех мальчиков. Учился прекрасно, и мы его потом отдали в городскую школу. Зато меньший мальчик оказался каким-то диким зверьком, не умевшим даже чистоплотно удовлетворять свои нужды. Но за него энергично принялась наша очень хорошая начальница приюта и воспитала его.

Учили у нас старших мальчиков, кроме грамоты, шить сапоги, а девочек вязать, шить и стряпать поочередно. Постом я говела в приюте с детьми и всеми нашими служащими.

Так как приют существовал на средства благотворителей, то, боясь остаться без средств, приходилось прибегать к разным способам доставанья денег. И вот я затеяла устроить литературно-музыкальный вечер в пользу моего приюта. Много пришлось хлопотать. Был тогда в Москве некто Литвинов, который довольно хорошо дирижировал и имел свой небольшой оркестр. Он согласился участвовать в моей затее и поставил Аренского «Бахчисарайский фонтан», слова Пушкина. Очень красива эта музыкальная поэма, сочиненная Аренским специально к пушкинским празднествам. Потом М. А. Стахович прекрасно прочитал небольшой отрывок Льва Николаевича «Кто прав?», который мне дал Лев Николаевич для моего концерта. Приезжал Вержилович и превосходно сыграл арию Баха и другие вещи на виолончели.

Весь концерт носил характер нарядного, аристократического праздника. Публика была избранная, за несколькими столами с корзинами цветов сидели по две и по три барышни из высшего общества, одетые в нарядные белые платья.

Сама я, моя новая помощница А. А. Горяинова и исполнительницы в концерте — все были в нарядных белых платьях. Барышни продавали афиши, на которых была изображена группа всех детей приюта со мной и со всеми служащими.

Много было мне хлопот, а выручили денег немного: всего 1500 рублей. Пришлось представлять в цензуру отрывок для чтения на этом вечере, ездить к вел. князю за разрешением концерта. Начальство боялось оваций по отношению к Льву Николаевичу, и полицмейстер Трепов мне делал запрос о том, не помогу ли я усмирить публику в том случае, если будет шум и беспорядок. Мне это показалось даже смешно. И все-таки мне сделали неприятность, которая имела последствием столь незначительную денежную выручку. А именно: переодетых полицейских послали к собранию останавливать публику, которой говорили: «Вы в концерт? Ни одного билета нет, все распродано, не трудитесь и входить». Результатом было то, что все дорогие места и хоры были полны, а за колоннами и дешевые места были пусты.

В 1901 году я уехала в Крым с больным мужем и передала заботы о приюте моей помощнице А. А. Горяиновой. Все нужное, одежду, пищу, учебные принадлежности и проч., я доставила приюту. И вдруг я получаю от нашего нового председателя Бутенева письмо, в котором он пишет, чтоб я возвратилась к исполнению моих обязанностей или вышла в отставку. Служила я попечительницей бесплатно, в приют все было доставлено что нужно, была моя заместительница — и вдруг такое грубое ко мне отношение! Я немедленно написала и послала прошение об отставке и сообщила обо всем милой графине Капнист. Выслушав меня, она очень огорчилась и даже заплакала. «Восемь лет я мечтала о вас, как о попечительнице, — говорила она. — И вдруг вам наносят такое оскорбление!»

Бутенев потом спохватился и писал мне, что на коленях просит простить его. После меня сменилось много попечительниц, и наконец приют сдали городу...

...В ту осень Поссе, редактор журнала «Жизнь для всех», привез к нам юного писателя, сделавшегося уже известным, — Максима Горького. И тогда, в то время, как он, возвращаясь с прогулки, подходил к дому с Львом Николаевичем, я фотографировала их обоих. Горький пришел в восторг при получении от меня этого снимка, о чем и писал мне 12 октября⁵⁹.

Яванец

...20 ноября приехали странные гости: один с острова Ява, говоривший по-французски⁶⁰, другой с мыса Доброй Надежды, говоривший по-английски. Рассказывали, что в столице Явы уже есть электрическая конка, опера, высшие учебные заведения, а в провинции полное отсутствие цивилизации — есть даже людоеды и настоящие идолопоклонники.

Этот приезжий малаец начитался философских сочинений Льва Николаевича и нарочно приехал в Россию познакомиться и побеседовать с ним.

1991

...Между тем в отсутствие Льва Николаевича я взяла газеты и прочла в них отлучение Льва Николаевича от церкви. Сразу почувствовала я такое возмущение, негодование от этой выходки синода, что тут же написала письмо Победоносцеву, а на другой день, рассудив, что подписывались и митрополиты, я такое же письмо написала им. Меня особенно удивило участие Победоносцева в отлучении от церкви Льва Николаевича. В 1900 году в беседе его с гр. А. А. Толстой Победоносцев высказал мнение, что нельзя лишать Льва Николаевича церковных похорон, так как никто не может знать, что произошло в душе умирающего за 2 минуты до его смерти. Это было говорено по поводу описания обедни в романе «Воскресение» и угрозы отлученья.

Когда Лев Николаевич 24 (или 25) февраля вернулся с прогулки, письмо к Победоносцеву было уже отправлено на почту. Я прочтала ему черновую письма, он улыбнулся и сказал: «Об этом вопросе написано столько книг, что и в этот дом не уложить, а ты хочешь их учить своим письмом».

Тем не менее письмо мое облетело чуть ли не весь мир. Перевели его на все языки, писали лестные отзывы о моем поступке, хвалили мою смелость, а синод и духовенство притихли. Статья об этом деле самая умная была митрополита Антония. Говорили, что он был против отлучения. Потом и Лев Николаевич написал всем известный свой «Ответ синоду». Но он не так нашумел, как моя неожиданная выходка женщины, заступившейся за своего мужа. Когда позднее мы жили в Крыму, барышня, заведовавшая читальней в Кореизе, рассказывала мне, что письмо мое духовенству читали у нее целыми днями, переписывали его и очень хвалили даже инородцы. Привожу это письмо:

«Прочитав вчера в газетах жестокое распоряжение синода об отлучении от церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидав в числе подписей пастырей церкви и вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги духовно погибнет муж мой: это не дело людей, а дело божье. Жизнь души человеческой с религиозной точки зрения никому, кроме бога, не ведома и, к счастью, не подвластна. Но с точки зрения той церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, которая создана Христом для благословения именем божьим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских... которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех,— с этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение синода. Оно вызовет не сочувствие... а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления, и им не будет конца, со всего мира.

Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мной от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? Умершего, ничего не чувствующего уже человека или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим богом любви, или непорядочного, которого я подкупаю большими деньгами для этой цели? Но мне этого и не нужно. Для меня церковь есть понятие отвлеченное, и служителями

ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение церкви. Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон — любовь Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от нее.

И виновны в грешных отступлениях от церкви не заблудившиеся люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее и вместо любви, смирения и всепрощения стали духовными палачами тех, кого вернее простит бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви пастырей ее.

Опровергнуть мои слова лицемерными доводами легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей никого не обманет.

Графиня София Толстая.

Москва, Хамовнический пер., 21.

26 февраля 1901 г.».

5 сентября мы выехали из Ясной Поляны в Крым.

В Севастополе мы остановились отдохнуть, сварить Льву Николаевичу овсянку и пообедать. Льву Николаевичу очень хотелось пройтись и проехаться по городу, вызывая ряд воспоминаний о том времени, когда он был в Севастополе во время войны. Трогательны были воспоминания этого 73-хлетнего старца о пережитом 45 лет назад. «Здесь был перевязочный пункт, тут происходило сражение, здесь жил такой-то» — и проч. Все эти воспоминания очень волновали Льва Николаевича.

Из Севастополя мы поехали в Гаспру в коляске и любовались на виды по дороге. Я никогда не была в Крыму, не знала юга России, и мне было все ново и интересно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Записки С. А. Толстой «Моя жизнь» состоят из восьми частей. Каждая часть разделена на главы, которые имеют законченный характер. Они посвящены либо отдельным лицам («Николай Николаевич Страхов», «Тургенев и Урусов», «Стасов»), либо событиям («Учение детей. Школа», «Охота», «Пожар в Ясной Поляне»), либо произведениям Л. Н. Толстого. Каждая рукописная часть представляет тетрадь большого формата (18×22) в плотном черном переплете с серыми уголками и серым корешком. Заглавие «Моя жизнь» выисано С. А. Толстой поверх зачеркнутого «Автобиография».

Настоящая публикация готовилась по машинописному тексту «Моей жизни». Весь цитируемый материал сверен с источниками — и опубликованными, и хранящимися в рукописном отделе ГМТ. Очевидные ошибки исправлены в тексте. Если же С. А. Толстая неточно цитирует письмо (так случилось с письмами Н. Н. Страхова Толстому), мы предпочли дать точный текст в комментариях.

Комментарий составлен кратко, учитывая одновременное переиздание «Дневников С. А. Толстой» и обширный справочный материал в богатой литературе о Толстом.

¹ Студенты-учителя яснополянской и других школ, открытых Толстым в Крапивенском уезде в 1861 году.

Учителя и С. А. Толстая были правы в своих предчувствиях; сам Толстой писал в дневнике 8 февраля 1863 года: «Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю. Как мне все ясно теперь. Это было увлечение молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большою. Все она» (т. 48, стр. 51). Осенью 1863 года занятия в школах не возобновились.

² В феврале 1879 года Толстой прекратил работу над романом «Декабристы». В письме к А. А. Фету он писал 17 апреля 1878 года: «Декабристы мой бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, писал, то лишь себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества» (т. 62, стр. 483). Больше ни в одном из писем Л. Н. Толстой не говорит о причинах, приведших его к прекращению работы.

³ С М. Е. Салтыковым-Щедриным Толстой познакомился в 1856 году. В 1856—1858 годах Толстой и Салтыков продолжали встречаться.

⁴ Замысел Толстого организовать семинарию для учителей («университет в лаптях»), то есть курсы в Ясной Поляне по подготовке для народных школ учителей у народа, относится к 1874 году. Вскоре были составлены «Правила для педагогических курсов» (опуб., т. 17, стр. 331—335). Проект Толстого обсуждался в Московском учебном округе и ученом комитете министерства народного просвещения; дело тянулось два года. Разрешение было получено, но курсы не были открыты.

⁵ На И. Н. Крамского беседы с Толстым производили глубочайшее впечатление. 23 февраля 1874 года он писал Репину: «Граф Толстой, которого я писал, интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже. На гения смахивает». Об этом же в письме к Толстому от 29 января 1885 года («И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи». СПб. 1888, стр. 207 и 513).

⁶ С. А. Толстая называет не все встречи Толстого с Тургеневым после их примирения и относит разговор об участии в пушкинских торжествах не к тому времени, когда он состоялся в действительности. Даем точную хронологию их встреч: 8 августа 1878 года — Тургенев в Ясной Поляне; 2—4 сентября 1878 года — Тургенев в Ясной Поляне перед отъездом за границу; 2—4 мая 1880 года — Тургенев в Ясной Поляне уговаривает Толстого принять участие в пушкинских торжествах в Москве по случаю открытия памятника Пушкину; 19—20 мая 1880 года — Толстой вместе с Л. Д. Урусовым у Тургенева в Спасском; 6 июня 1881 года — Тургенев заезжал к Толстому по пути в Спасское; 9—10 июля 1881 года — Толстой посетил Тургенева в Спасском, это была их последняя встреча.

⁷ Имеется в виду скульптура М. М. Антокольского «Христос перед судом народа» (1874, бронза, Государственный Русский музей; 1876, мрамор, Государственная Третьяковская галерея).

⁸ В. М. Флоринский. Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления. СПб. (первое издание 1881 года, пятое — 1892 года).

⁹ Знакомство Толстого с П. И. Чайковским состоялось в Москве в середине декабря 1876 года. После этого они обменялись письмами, и в письме от 24 декабря 1876 года Чайковский писал, вспоминая музыкальный вечер в Московской консерватории, устроенный для Толстого: «Наши квартетисты играли в тот вечер как никогда. Вы можете из этого вывести заключение, что пара ушей такого великого художника, как вы, способна воодушевить артиста в сто раз больше, чем десятки тысяч ушей публики» (т. 62, стр. 299).

¹⁰ В письме к Н. Н. Страхову от 26 февраля 1887 года Толстой с похвалой отзывался о книге П. А. Бакунина «Основы веры и знания» (СПб, 1886), чтение которой было для него «большой радостью» (т. 64, стр. 20).

¹¹ В письме от 17 января 1881 года А. А. Толстая сообщала Толстому, что она «в эту зиму очень сошлась с Достоевским»; он «много расспрашивал» ее о Толстом и желал бы «лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует» (Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка. СПб. Изд. Общества Толстовского музея. 1911, стр. 332).

¹² С. А. Толстая, очевидно, имеет в виду свое письмо к Т. А. Кузминской, датированное 2 февраля 1881 года, в котором она писала, что смерть Достоевского «ужасно поразила» Толстого («Яснополянский сборник»). Статьи и материалы. Тульское книжное издательство. 1962, стр. 88).

¹³ Письмо Александру III Толстой писал с 8 по 15 марта 1881 года и передал его через Н. Н. Страхова К. П. Победоносцеву для передачи царю. Когда Победоносцев отказался передать письмо, оно было передано через великого князя Сергея Александровича. Дальнейшая его судьба неизвестна; ответ Александра III известен лишь в передаче С. А. Толстой (см. т. 63, стр. 44—55).

¹⁴ Картина Н. Н. Ге «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский сад» (закончена в 1889 году). Толстой писал о ней: «Настоящая картина, то есть она дает то, что должно давать искусство; и как радостно, что она пробрала всех, самых чуждых ее смыслу людей» (т. 64, стр. 249). Картина находится в Государственном Русском музее.

¹⁵ Портрет С. А. Толстой, начатый Н. Н. Ге в 1882 году, показался ему неудачным и был им ссним уничтожен; в 1886 году он написал портрет С. А. Толстой с дочерью Александрой на руках (находится в Доме-музее Л. Н. Толстого в Ясной Поляне).

¹⁶ В своих воспоминаниях И. Л. Толстой писал: «Первый человек из всей семьи, в то время близко подошедший к отцу, была моя покойная сестра Маша.. Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону» («Мои воспоминания». М. «Художественная литература». 1969, стр. 195). В письме, написанном Марии Львовне 12 января 1897 года с пометой «читай одна», Толстой писал: «Из всех семейных ты одна, как ни сильно твоя личная жизнь и ее требования, ты одна вполне понимаешь, чувствуешь меня» (т. 70, стр. 16).

¹⁷ Толстой занимался греческим языком с декабря 1870 года по март 1871 года. В письме к А. А. Фету он сообщал, что «с утра до ночи» учится по-гречески и читает в подлиннике Ксенофонта (т. 61, стр. 247). В письмах того времени Толстой жаловался, что здоровье его «скверно» (там же, стр. 253).

¹⁸ С. А. Толстая пишет о книгоиздательстве «Посредник», основанном Толстым вместе с В. Г. Чертковым и П. И. Бироковым в конце ноября 1884 года с целью печатать художественную и научно-популярную литературу для народного чтения. Издательство просуществовало до 1920-х годов.

¹⁹ Получив в мае 1883 года от Толстого доверенность на ведение всех дел и издание его сочинений, написанных по 1881 год, С. А. Толстая в течение двадцати шести лет (с 1886 по 1911 год) выпустила восемь изданий собраний сочинений Толстого (начиная с пятого издания) и большое количество изданий отдельных произведений.

²⁰ Пьеса была опубликована в издательстве «Посредник» в феврале 1887 года под заглавием «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть».

²¹ Вначале Александр III разрешил пьесу к постановке, но Победоносцев написал царю письмо с резким отзывом о пьесе и добился отмены царем его первоначального разрешения. Запрет был снят лишь в 1895 году. 18 октября 1895 года пьеса «Власть тьмы» впервые была поставлена на сцене Александринского театра с М. Г. Савиной в роли Акулины.

²² Ошибка С. А. Толстой: И. Е. Репин лепил бюст Толстого в 1897 году.

²³ Приводим отрывок из письма Н. Н. Страхова Толстому от 5 ноября 1887 года. Сообщив, что он «дважды был в мастерской Репина», Страхов пишет:

«Конечно, он по искусству стоит далеко выше всех наших живописцев. Давно уже я испытал, что если на выставке есть одна-две картины Репина, то они обыкновенно заслоняют собою всю выставку.

Но как он сам мил! Более серьезного, скромного и спокойного человека я не встречал! Он весь погружен в свое искусство, нет у него и тени тщеславия, и с какой живостью и завистью он ценит достоинства чужих произведений! У него я нашел портрет покойного Мстислава Прахова, человека очень мне дорогого. Видел и удивительную картинку, на которой вы пашете. Это доходит до совершенства. Слышал я от него, что вы не позволяете ему пустить ее в полиטיפажах и в олеографии. Почему это, дорогой Лев Николаевич? Об этом начинают довольно много говорить, я же всегда думал, что вы вовсе не желаете нарочно производить шум. Вы меня простите, что, не зная хорошенько дела, суюсь к вам со своим мнением. Но я видел картину и хочу сказать только об ней. Она никого не может ни удивить, ни повести к каким-нибудь толкованиям. Дело совершенно просто. Что вы пашете, это знают и в России, и в Европе, и в Америке. Что Репин вздумал вас так написать — дело самое естественное; что же иное делать живописцу? И мог ли он выбрать что-нибудь лучше? Потом он захотел размножить свою картину, так же как всякую другую; это ведь все равно что человек, написавший повесть, хочет ее напечатать. Конечно, он позаботится сколько может, чтобы снимки были хороши. Кому же охота выпускать в свет свое произведение в искаженном виде? И так, все имеет самый натуральный в мире ход; почему же этому препятствовать?

В душе я всегда очень восхищался тем, как вы действуете относительно вашей известности и ваших произведений. Вы никогда не делали ни шагу ни для того, чтобы что-нибудь распространять, ни для того, чтобы что-нибудь скрывать. Все шло само собою, и вы оставались спокойным и при похвалах и при нападках; если искажались и перевирались ваши мнения, если вас обвиняли в безбожии и всяких преступлениях, вы не протестовали; когда «Русский вестник» отказался напечатать конец «Анны Карениной», вы не сказали ни слова. Отчего теперь в таком простом случае, как картина Репина, вы изменяете ваш образ действий? Трудно вам взять на себя заботу о своей репутации; что бы вы ни делали, все только будет увеличивать шум и вместе кривые толки. Вы же до сих пор всем своим поведением доказывали, что вы чужды и всякого тщеславия и всякой шепетильности» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894». СПб. 1914, стр. 361—362).

²⁴ 26 декабря 1873 года царем был издан указ, по которому А. А. Фет получил право на присоединение «к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими». До этого времени Фет считался незаконным сыном и носил фамилию матери. В письме, которое неточно цитирует С. А. Толстая (от 12 (24) декабря 1874 года), Тургенев писал: «...как Фет Вы имели имя, как Шеншин Вы имеете только фамилию» (И. С. Т у р г е н е в. Полное собрание сочинений и писем в 28 тт. Письма. М.—Л. «Наука». 1965, т. 10, стр. 339).

²⁵ Приводим отрывок из письма Н. Н. Страхова Толстому от 6 ноября 1889 года: «Сильнее этого вы ничего не писали, да и мрачнее тоже ничего. Много есть замечаний и описаний изумительных по глубине, до которой они проникают в душу, и страшных по своей правде. А сказаны и схвачены так просто и ясно! Герой ваш — несравненный пример эгоиста, и эгоизм его является во всей своей отвратительности. Как хорошо, что он убивает жену не за вину, а просто по ревности, для которой у него в душе нет ничего сдерживающего и которая совершенно права в отношении к его жене. Какой ужас! Какие мучения! Он убил, но они все-таки продолжают ненавидеть друг друга — вот где верх несчастья и страдания!

Что и говорить — правда дышит в каждой строке, в каждой сцене. Несмотря на то, я заметил, что впечатление у слушающих было смутное, да и мне самому что-то мешало вполне вникать в отдельные мысли и описания. Вы взяли форму рассказа от лица самого героя, форму, которая вас очень связывала, а у слушателей явились вопросы: кто собеседник? Почему рассказчик долго-долго не приступает к делу, а ведет

рассуждения об общих вопросах? Притом есть, как мне показалось, одна главная неясность: в каком духе он рассказывает? По некоторым местам можно подумывать, что эгоизм в нем сломлен, и он уже видит свои действия в истинном их значении, по другим кажется, что он готов опять и без конца убивать свою жену и нет в нем и тени раскаяния.

Кроме того, развязка происходит слишком быстро, т. е. мало рассказано до той минуты, когда появляется музыкант. Поэтому кажется, что герой — не вполне нормальный человек, непомерно ревнив, нервен. Между тем он человек обыкновенный и постепенно пришел в такое состояние. Долгие рассуждения, которые предшествуют рассказу, глубокие и важные, теряют силу от ожидания, в котором находится слушатель. Их следовало бы положить в сцены, которые, однако, не мог продолжительно рассказывать убийца, занятый больше всего последнею сценою — убийством.

Но какое богатство содержания! Например, рассуждение о докторях, о музыке, о детях — да всех не пересчитаешь! А мысль о том, что люди престанут наконец совершать грех, ведущий к деторождению! Она меня очень восхитила. Вообще хотя многое взято односторонне, но удивительно верно, и односторонность понятна у человека, который приведен к убийству жизнью без понятий о долге, жизнью самоугождения, всеми теперь принятой и проповедываемой.

Вероятно, я с каждым новым чтением буду все больше влюбляться в вашу повесть — так ведь всегда со мной.

Закончил Страхов письмо следующими словами: «А больше всего на чтении меня завяла Татьяна Андреевна. Никто не слушал с такою жадностью; она вся волновалась от впечатления» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894», стр. 395—396; 397).

²⁶ Прочитав критику французского философа Ренувье на свой трактат «О жизни», Толстой записал в дневнике 4 октября 1889 года: «Получил критику «De la vie Repouvier, меня постыдно заняло и долго не спал» (т. 50, стр. 154).

²⁷ Ввиду неточности письма Н. Н. Страхова Толстому от 21 мая 1890 года в тексте С. А. Толстой даем отрывок целиком: «Вы у меня спрашиваете о ваших недостатках; в самом деле, я их вижу, но вместе вижу, что ведь это и ваши достоинства, так что я теряю всякую охоту вас упрекать. Когда бывало, при мне вы спорите и сыплете парадоксы и крайности... мне бывало ужасно досадно за вас, но я видел, что в основе вы правы, а ваш благороднейший противник стоит на пустяках и вас не понимает. Ваш главный недостаток тот, что вы живете чувством настоящего дня; вы все готовы отвергнуть, кроме этого чувства, и вы забываете все то, чем прежде жили с таким же увлечением. Но ведь от этого именно и происходит, что вы проникаете в такую глубину, открываете такие стороны, каких никто другой не видит. От этого самого происходит, что ваши рассуждения и ваши рассказы полны жизни, крови, силы, яркости неслыханной. Вас нужно слушать и учиться, а не рассуждать о ваших недостатках.

Если, бог даст, приеду к вам, то, может быть, я решу указать вам, что мне кажется всего неправильное в вашей деятельности. Да нет, можно вообще сказать и теперь. Всего неправильнее именно отрицательная сторона, резкое решительное отвержение того, что вне круга вашей мысли и вашего чувства. Кто не с нами, тот против нас — это верно; но это еще не значит: мы против всякого, кто не с нами.

С своей стороны, я чаще всего осуждаю вас за забвение, за то, что вы забываете прежнюю жизнь своей души. Вероятно, это неизбежно, но сам я в иных случаях так памятлив, что меня это удивляет в вас» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894», стр. 404—405).

²⁸ Старший сын С. Л. Толстой получил ответ от редактора «Нового времени» А. С. Суворина, в котором тот сообщал, что он не считал себя вправе «помещать опровержение против официального документа», и обратился к Е. М. Феокистову с просьбой показать письмо братьев Толстых К. П. Победоносцеву. 26 мая Суворин был уведомлен, что Победоносцев «ничего не имеет против напечатания письма», и 27 мая 1890 года письмо сыновей Толстого появилось в «Новом времени» (см. «С. Л. Толстой. Очерки былого». Тула. Приокское книжное издательство. 1975, стр. 179).

²⁹ Над бюстом Толстого Н. Н. Ге работал в Ясной Поляне осенью 1890 года. В письме к Н. Н. Ге от 30 июля 1891 года Толстой, сравнивая этот бюст с работами И. Гинцбурга и И. Репина, писал: «Ваш лучше всех» (т. 66, стр. 24). Бюст находится в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

³⁰ Эскиз «Толстой на молитве» хранится в Государственной Третьяковской галерее, картина того же названия, написанная по нему в 1900 году, хранится в Государственном Русском музее. По мнению старшего сына Сергея Львовича, Толстой в ней изображен «с каким-то несвойственным страдальческим выражением лица. Отец,— писал он,— был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Он редко ходил босиком и говорил: «Кажется, Репин никогда не видал меня босиком...» (С. Л. Толстой. Очерки былого, стр. 328).

³¹ Статья была написана Толстым с целью рассказать обществу об устройстве столовых для голодающих, «с тем, чтобы каждый знал, как пользоваться этим чудесным, простым, практическим, народным и лучше других достигающим цели средством» (т. 84, стр. 94). Статья вышла в свет около 10 декабря 1891 года в сборнике «Помощь го-

лодающим», изданном «Русскими ведомостями», а через несколько дней и отдельной брошюрой. А. П. Чехов в письме А. С. Суворину от 11 декабря 1891 года так на нее откликнулся: «Толстой-то, Толстой! Это по нынешним временам не человек, а человецище, Юпитер. В «Сборник» он дал статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора «Русских ведомостей» Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в «Сборнике», а в «Правительственном вестнике»...» (А. П. Чехов. Полное собрание сочинений. М. 1949, т. XV, стр. 288).

³² 26 октября 1891 года Т. А. Толстая записала в дневнике: «...я нахожу, что действия папá непоследовательны и что ему neprистойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мамá, которой он только что их отдал» (Т. А. Сухотина. Воспоминания. М. «Художественная литература». 1976, стр. 201).

³³ По совету Л. Н. Толстого Татьяна Львовна решила занять крестьянских женщин ткацкой работой и прядением, а готовые холсты отправлять в город на продажу, «с тем, чтобы им отдавать то, что останется за работу», заранее обещав прядильщиц льняной пряжей.

³⁴ Осенью 1891 года, сразу же после объезда голодающих деревень Богородицкого, Ефремовского, Епифанского уездов Тульской губернии и Данковского уезда Рязанской губернии, Толстой начал писать статью «О голоде». «Пишу теперь о голоде,— сообщает он М. А. Новоселову 8 октября.— Но выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями. И статья разрастается, очень занимает меня и становится нецензурной» (т. 66, стр. 52). Помещенная в ноябрьском номере журнала «Вопросы философии и психологии», статья не была напечатана, так как 24 октября номер был арестован. После небольших сокращений и смягчений и смягчений Н. Я. Гроту удалось добиться разрешения статьи в цензуре, но и это не помогло. Главное управление по делам печати разослало редакторам всех газет приказ, запрещающий публиковать статьи Толстого. Появилась статья в «Книжках Недели», в январском номере за 1892 год под заглавием «Помощь голодным». По сравнению с текстом для журнала «Вопросы философии и психологии» она была сильно переделана и смягчена самим Толстым.

³⁵ Статья «О непротивлении», которая позднее переросла в трактат «Царство божие внутри вас». В 1894 году трактат был впервые издан на русском языке в Берлине в издании А. Дейбнера.

³⁶ Статья «Страшный вопрос» была напечатана в ноябре 1891 года в «Русских ведомостях». «Мне кажется,— писал Толстой Софье Андреевне,— что она может быть полезна. Красноречия там нет, и места для него нет, а есть нечто, точно нужное и мучающее всех» (т. 84, стр. 91). В статье был поставлен вопрос: «Есть ли в России достаточно хлеба, чтобы прокормить до нового урожая?» (см. т. 29). По словам Софьи Андреевны, после этой статьи «дали сообщения и приказали до 20 ноября счесть весь хлеб» («Письма С. А. Толстой к Л. Н. Толстому», стр. 465). Все изложенное далее до конца главы относится к истории печатания статьи «О голоде». См. об этом также в главе «Мой отъезд в Бегичевку. Диллон...».

³⁷ После того как статья Толстого «О голоде» была запрещена в журнале «Вопросы философии и психологии», Толстой послал ее Э. Диллону, корреспонденту английской газеты «Daily Telegraph». В переводе Диллона статья публиковалась в нескольких номерах газеты 12—30 января (ст. ст.) в виде «писем» под заглавием «Почему русские крестьяне голодают?», «Московские ведомости» (№ 22 от 22 января) в редакционной статье, озаглавленной «Граф Лев Толстой о голодающих крестьянах», привели одно из писем в неточном обратном переводе с английского, отметив, что «письма» Толстого «являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя». С. А. Толстая 23 января послала «Письмо к издателю «Московских ведомостей» с опровержением, но оно не было напечатано. При дворе шли разговоры о высылке Толстого или определении его в дом для умалишенных.

³⁸ Л. Л. Толстой не смог применить в Самарской губернии метод помощи голодающим, который был принят Л. Н. Толстым. Он вынужден был раздать продовольствие на руки крестьянам, что не спасало их от голода так, как если бы они пользовались столовыми. Толстой был недоволен таким решением. Он писал сыну 23 декабря 1891 года: «Главное же пойми, что ты не призван прокормить 5000 и 6 тысяч или х^п количество душ, а призван наилучшим образом распределить ту помощь, какая попала тебе в руки. Делаешь ли ты это перед своей совестью?» (т. 66, стр. 120). Позже Толстой пожалел, что был слишком резок в отношении деятельности сына, и написал ему об этом (письма не сохранились).

³⁹ А. П. Чехов так писал об этой сложной и трудной работе на голоде, в которой и он принимал участие по Нижегородской губернии (письмо Е. П. Егорову от 11 декабря 1891 года): «В сентябре московская интеллигенция и плутократия собирались в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали для совета сведущих людей: все толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией помощи самостоятельно. Решили послать в голодные губернии своих агентов, которые знакомись бы на месте с положением дела, устраивали бы столовые и проч. Некоторые главари кружков, люди с весом, ездили к Дурново просить разрешения, и Дурново отказал, объявив, что организация помощи может принадлежать только епархиальному ве-

домству и Красному Кресту. Одним словом, частная инициатива была подрезана в самом начале. Все повесили носы, пали духом; кто озлился, а кто просто омыл руки. Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг» (А. П. Чехов. Собрание сочинений, т. 11, стр. 519).

⁴⁰ Приведены неточно и в сокращении дневниковые записи Толстого за 29 февраля и 3 апреля 1892 года. Эпизод с мальчиком подробно описан Толстым в «Отчете об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 г.» («Русские ведомости», 31 октября 1892 года). Н. Н. Страхов писал об этом: «Отчет Льва Николаевича всеми был замечен, и рассказ об мальчике очень поразил. На днях я сказал Делянову (министр народного просвещения), вечно нападающему на Льва Николаевича, что никто не показал себя таким истинным христианином, и Делянов принужден был смолчать» (письмо к С. А. Толстой от 18 ноября 1892 года, ГМТ).

⁴¹ Это произошло на станции Узловая Сызрано-Вяземской железной дороги. Бирюков, ждавший приезда Толстого в Бегичевке, позже вспоминал: «Я встретил его на крыльце дома, когда он выходил из экипажа. Радостная улыбка встречи остановилась на моих губах, когда я увидел взволнованное, расстроенное, мрачное лицо Льва Николаевича... и только что Лев Николаевич взшел в дом, как, не садясь, с волнением и слезами в голосе начал рассказывать о том, что с ним произошло» (П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого. М. 1922, т. III, стр. 202). Работая в это время над заключением трагата «Царство божие внутри вас», Толстой вновь его переработал и включил рассказ о случае на Узловой (т. 28, гл. XII).

⁴² С. А. Толстая неточно цитирует письмо А. А. Фета к ней не от 14 ноября, а от 14 сентября 1892 года. Приводим этот же отрывок по подлиннику: «Я... на днях прослушал по вечерам чтение «Детства» и «Отрочества» и очень был рад, что давно все забыл, и теперь читал с таким наслаждением и пользой... Я не знаю книги, где бы черта между приличным и неприличным была проведена так ярко, как в «Детстве» и «Отрочестве». Когда-то Лев Николаевич озадачила меня справедливым замечанием (о чем я на другой же день сообщил Сергею Николаевичу): «Человек хочет исправлять свет, а не умеет войти ко мне в комнату. Он сейчас нога за ногу заложит» (ГМТ).

⁴³ Приводим полностью текст письма Н. Н. Страхова С. А. Толстой от 28 ноября 1892 года, относящегося к Фету: «Все тяжелее и тяжелее мне думать о смерти Фета. Первый удар, телеграмма Марии Петровны в самый день смерти, казалось, обошелся не очень трудно; но с тех пор не перестаю вспоминать покойного и тоска не убывает, а растет. Обидно мне было видеть, как равнодушно встретили печальное известие даже те, кого оно больше всего должно было тронуть. Какие мы все эгоисты! Но мне в таких случаях всегда кажется, что часть моего существования, часть моего мира вдруг куда-то ушла и исчезла, и я начинаю чувствовать, что сам я с душою и телом распускаюсь в туман и пропаду бесследно. Этого уже недолго ждать, и, как говорит Лев Николаевич, нужно последние дни проводить как следует, не отдаваясь пустякам и легкомыслию. Для Фета смерть была, конечно, избавлением, и готов повторить его стих: «Ты отстрадал, а я еще страдаю!» Последние годы были ему очень тяжелы; он говорил мне, что иногда по часу он сидит совершенно одурелый, ни о чем не думая и ничего не понимая... Он был сильный человек, всю жизнь боролся и достиг всего, чего хотел: завоевал себе имя, богатство, литературную знаменитость и место в высшем свете, даже при дворе. Все это он ценил и всем этим наслаждался, но я уверен, что самое дорожное на свете ему были его стихи и что он знал — их прелесть несравненна, самые вершины поэзии. Чем дальше, тем больше будет это понимать и другие. Знаете ли, иногда всякие люди и дела мне кажутся несуществующими, как будто призраками и тенями; но, встречаясь с Фетом, можно было отдохнуть от этого тяжелого чувства: Фет был несомненная и яркая действительность. Нет, грустно жить так долго и провожать столько дорогих людей в могилу! Простите меня! Мне очень хотелось поделиться с кем-нибудь своею тоскою, и я знаю, Вы чувствовали большое расположение к покойному поэту и, верно, опечалены не меньше меня» (ГМТ).

⁴⁴ Картина Н. Н. Ге «Распятие» начата в 1884-м, завершена в 1894 году. По распоряжению Александра III была снята с выставки и запрещена. 14 марта 1894 года Толстой писал художнику: «То, что картину сняли, и то, что про нее говорили, — очень хорошо и поучительно... Снятие с выставки — ваше торжество» (т. 67, стр. 81—82).

⁴⁵ С. А. Толстая вспоминала, как несколько лет спустя (1898) И. Е. Репин обратился с просьбой к Толстому дать тему для картины. «Он говорил, — писала она, — что хотел бы последние силы жизни употребить на хорошее произведение искусства, чтоб стоило того работать. Лев Николаевич отнесся к просьбе Репина внимательно и сказал, что подумает» («Моя жизнь», т. 8, стр. 3). Сюжет, предложенный Толстым, относился к казни декабристов: «Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом — скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице» (Т. Л. Сухомина. Воспоминания. М. «Художественная литература». 1976, стр. 229). Репин не очень охотно принял это предложение, однако через С. А. Стахович спрашивал у Толстого, к кому следует обратиться за историческими подробностями. Картина не была написана.

⁴⁶ Драма «И свет во тьме светит» была задумана в начале 90-х годов, работа началась в 1896 году. Осталась незаконченной. Опубликована впервые с цензурными изъятиями в книге «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого» (М. 1911, т. 2).

⁴⁷ Тульский жандармский унтер-офицер П. Т. Кириллов.

⁴⁸ 20 декабря Толстой получил анонимное письмо от члена подпольного общества «Вторые крестоносцы» (ГМТ). Убийство Толстого было назначено на 3 апреля 1898 года.

⁴⁹ Слова «ну да это не нарушит... эти 2½ дня в Ясной» приведены из собственного письма Софьи Андреевны Л. Н. Толстому от 17 ноября 1898 года (С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 716).

⁵⁰ Толстой беседовал с надзирателем Бутырской тюрьмы И. М. Виноградовым, расспрашивая его о тюремном быте, пересылке заключенных и т. д.

⁵¹ Толстой отослал А. Ф. Марксу четыре стиха из Евангелия в качестве эпиграфа ко всему роману (см. т. 72, стр. 50).

⁵² Имеется в виду письмо Л. Н. Толстого П. И. Чайковскому от 19—21 декабря 1876 года.

⁵³ В середине июня 1910 года Трубецкой лепил статуэтку — Толстой верхом на буланом сибирском иноходце Кривом.

⁵⁴ Под заглавием «По поводу Трансваальской войны» печатался ответ Толстого на письмо Г. М. Волконского, приславшего Толстому, кроме письма, свои брошюры, посвященные трансваальской войне.

⁵⁵ Под заглавием «О самоубийстве» печатался (без двух последних абзацев) ответ Толстого от 25 августа 1889 года на письмо З. М. Любчинской.

⁵⁶ Имеется в виду статья «Христианское учение».

⁵⁷ Цитируется статья Толстого «Христианство и патриотизм». Писалась с октября 1893 по март 1894 года.

⁵⁸ Легенда «Разрушение ада и восстановление его». Толстой работал над ней в 1902—1903 годах. Впервые в России была напечатана в 1917 году.

⁵⁹ Известно письмо Горького С. А. Толстой от 11 или 12 октября 1900 года, в котором он пишет о том, что с нетерпением ждет снимка и заранее благодарит за честь «видеть себя на карточке рядом со Львом русской литературы». Письма Горького, в котором сообщалось бы о получении снимка, в ГМТ нет.

⁶⁰ Толстого посетил близкий ему по взглядам Энгеленберг, чиновник голландского правительства. Прочитав «Царство божие внутри вас» Толстого, он решил бросить службу и приехал в Европу, по словам Толстого, «узнать людей, живущих христианской жизнью». П. И. Бирюков писал об Энгеленберге: «Он занимал важный административный пост в голландской Индии на острове Ява. Исповедуя учение, отрицающее насилие, он удивительно своей сильной волей и бесстрашием умел укрощать без применения репрессий буйные выходы туземцев... но его мучило то, что его деятельность служит к укреплению метрополии и, следовательно... к насилию. Вот за разрешением этих и других сомнений он и поехал к Толстому» (П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого. 1923, т. IV, стр. 14—15). После посещения Энгеленберга Толстой возобновил занятия голландским языком.

Публикация и подготовка текста И. А. ПОКРОВСКОЙ и Б. М. ШУМОВОЙ

Государственный музей Л. Н. Толстого.



ВЕНОК ТОЛСТОМУ



ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

Дедушка и маленькая внучка

Чтоб сгорбить нас не в силах были годы,
Снисходит благодать по временам,
И провиденье или власть природы
В дни старости дарует внуков нам.
Воспоминаний забывая груду,
Вернувшись в детство столько лет спустя,
Немыслимо не удивиться чуду —
Тому, как мир исследует дитя...
Побег зеленый нежен, свеж и тонок,
Что древу потрясенному милей?!
И жизнь ребенка жметя, как мышонок,
Согревшись у заржавленных корней.

И нет, как видно, у детей досуга,
Пусть утро или вечер, все равно —
Пространство разбежавшегося круга
Загадками всегда начинено.
Мысль родилась, и не прервать работы,
Ты копишь впечатления свои,
И, словно пчелы медом полнят соты,
Ложатся гибкой памяти слои.

Чуть сдвинешься и выпрямишь колени...
Куда идти? Сама ты не поймешь.
Но первый шаг... Он всем на удивленье,
На первый выход в космос он похож.
Пройти вдоль стен от стула до дивана
Совсем не то, что через реку вброд,
Пути Колумба или Магеллана
Куда труднее этот переход!

Так тянется трава к лучам светила,
Со дня творенья снова и опять
Все то, что человечество открыло,
Приходится ребенку открывать.
Уже владея мирозданьем целым,
Какой-то поиск продолжает он,
И каждым жестом, каждым словом, делом
Весь путь и подвиг рода повторен.

На внучку дед глядит... Пусть мысль под спудом.
 Но путеводна ощущенья нить,
 И кажется познание высшим чудом.
 О, если б этот миг остановить!
 И ласточек услышать сердце радо,
 И на плечах бы горы перенес,
 Лишь бы глядеть на внучку — вот награда
 За годы боли, и обид, и слез.

Воспоминание

Они поднимаются в гору.
 Зонты,
 Пестрея, рассыпались по крутосклону.
 Ждет чудо на гребне его высоты,
 И надо увидеть святыню, икону.
 Устали. Так душно. Шаги тяжелы.
 Но отступа нет...
 Стали выше вершины.
 Из сил выбиваются даже волю,
 И давят на плечи большие хурджины.
 Как полымя, красные пышут шатры,
 Шагают одетые в красное дети.
 Все матери, жены, невестки на свете
 Идут босиком по уступам горы.
 Козлята играют. Звенят бубенцы,
 И овцы, раскачивая сосцы,
 Идут по горячему пыльному следу,
 И шумные куры заводят беседу.
 Но кто бы смекнул, прокудахтал полслова:
 «Ведь завтра не будет из нас никого!»
 Идут, все идут... Впереди — торжество,
 Дорога еще далека и сурова.
 Козлята и овцы — в крутом багреце.
 Их выкрасивший в эту охру, блажен ты!..
 Вы встретитесь там, на вершине, в конце,
 Молящиеся и приносящие жертвы!
 А там, над горою, еще высота.
 Вот, кажется, неба открылись врата!
 Идут, все идут... Застывает мгновенье.
 Как жарко. Моление о дуновенье...
 И море людское волною наклонной
 Припало к святыне и мает кресты.
 ...Но мне никакой не хотелось иконы.
 И в сердце моем и в глазах — беззаконный
 Единственный лик... Это ты. Только ты.

Перевел с грузинского М. СИНЕЛЬНИКОВ.

ПЕТРУСЬ БРОВКА

* * *

В России избяной, туманной,
 Жандармом втиснутой в острог,
 Светилась Ясная Поляна
 Среди разъезженных дорог.

В года страданий и гонений
И вызревающих Начал
Суровый совестливый гений
Добро и мудрость излучал.

Не мог молчать. И непреклонно
Одну лишь правду говоря,
Он сотрясал устои трона,
Грозил канонам алтаря.

Владыки в ярости и в страхе
Его осилить не могли.
А был он с виду прост, как пахарь,
Вздымающий пласты земли.

Перевел с белорусского Я ХЕЛЕМСКИЙ.

ЕМ. БУКОВ

Что такое утро, или Экзамен по эстетике

Это вешних майских бурь
вплоть до утренней авроры
зарожденье,—
птичьи хоры,
устремленные в лазурь!
Будто все цветы весны
собрались отныне вместе,
будто это все предвестье
пробужденной вышины!

Это майские ступени,—
вихрь, промчись по ним живей!
Здесь деревья моют в пене
локти девственных ветвей;
но пред чьими же глазами
проведется над травой
удивительный экзамен
по эстетике живой?

Ветка спрашивает ветку,
лист качает головой:
кто им выставит отметку
по эстетике живой?

Все еще покуда слепо,
малость самую нелепо,—
день еще собой не горд:
листья блеклые обвисли,
все еще — в буквальном смысле —
не пейзаж, а натюрморт,
то есть мертвая природа,
иль красоты напоказ,
но без пристального взора
человечьих влажных глаз.

Только вдруг цветы воскресли,
тусклых красок больше нет,—
это все возможно, если
доминирующий цвет
в той сумятице сумятиц
над цветущею гурьбой —
взгляд живого человека,
карий или голубой!

Это взор струится мудро
в лепестках разверстых век:
знаю, что такое утро —
Пробужденный Человек!

Человек проснулся к жизни,
отметая блажь и ложь,—
ты его весной в отчизне,
в майской доблестной отчизне
пробуждением назовешь!
— Что за шорох в недрах века?
Что за шелест естества?
— Появлением Человека
оживленная листва!

Перевел с молдавского А. ГОЛЕМБА.

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

Дерево бедных

Пустынна Ясная Поляна.
Закат над липами горит.
Рассеянно и осиянно
вяз пред усадьбою стоит.
И там, где колокол над ухом
висит, растерянно гремя,
пристанище для нищих духом,
для бедных странников скамья...

Здесь не слышны мольбы и пени,
когда сквозь мокрый полумрак
мыслителей российских тени
являются в закатный парк.

И вот осенний ветер свищет,
на вязе колокол стучит;
тень Герцена чего-то ищет,
тень Чаадаева молчит.

И сам, как белый ангел с неба,
спускается к скамье пустой
с краюхой призрачного хлеба
Лев Николаевич Толстой...

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Толстой

Переплетение ветвей,
Жизнь будущая и бывшая.
И взор его из-под бровей
Просверкивал, испепеляя.

Писатели из тех, кто вхож
К нему, в волнении глубоком
Тайком испытывали дрожь,
Как бы общаясь лично с богом.

А те, что жили невдали,
Обожжены толстовским светом,
Писали ярче чем могли,
Как это было даже с Фетом.

Вмешательство поезда в наши дела
Не в том, что поехать возможность была —
За это иному воздастся хвала,—

А в том, что характер навязывал свой,
Что грохотом выдал себя с головой
Летающий полями экспресс голубой.

Что чай расплескался от дома вдали,
Что с книгою вместе очки поползли,
Что видно в окошке вращенье Земли.

Декабрьский вечер. Холод злой.
Несчастливым птицам нету корма.
А над безлюдною землей
Горит небесная платформа.

Блистательно оснащена
Густая звездная лавина,
И ей одной освещена
Пустая снежная равнина.

На этот замерший простор,
Полей мерцающую корку
Безмерный мир свой свет простер
Сквозь отодвинутую шторку.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

1

Миф о богоборце

Напряженное сопротивление чему-то,
что он чувствует над собой.

Горький, «Лев Толстой».

Бог боролся с Иаковом во мраке.
Бог велик, а Иаков худ и мал.
Иаков победил, но после драки
он всю жизнь отчаянно хромал...
Этот скажет слово что отрубит.
Тот умрет в пороховом дыму.
Бог того всего сильнее любит,
кто сопротивляется ему!
И горят библейские созвездья,
освещая торные пути...
Есть одна дорога благочестья—
с богом в рукопашную войти!
Силы неба на хвалу не падки.
Пусть с мольбой склоняется левит...
Богоборец, только в смертной схватке
светлый бог тебя благословит.

2

Даль

Как жадно ждал я в детстве мига,
чтоб сесть за книгу в уголке!
Но для чего мне эта книга
на непонятном языке?
Но для чего мне эти строки,
где ничего не разберешь?
Но в поле облака высоки,
и встала до полнеба рожь.
И я иду себе,
читая
вот эту даль, что глубока,
ведь книга Бытия простая,
как эта рожь и облака...
Скажу когда-то:

голубили
просторы речку неспроста,
но в книге той, добавлю, были,
однако, темные места.

3

Что еще мне попросить у бога?
Собрались морщины по челу.
Я с утра задумался глубоко,
трудно барабанил по столу.
Что еще мне попросить у бога?
Утренний остыл в стакане чай.
Новый день опять встает с востока.

Не продешевить бы невзначай!
 Что еще мне попросить у бога?
 Нечего. Вот мировой контраст.
 Он ни в чем не заслужил упрека.
 Жизнь он дал мне. Смерть еще мне даст.

4

Ты одна все та же год от года,
 да и нету никакой иной.
 Ты ли, бестелесная свобода,
 в ночь летишь — и крылья за спиной!

Ты прости:
 тебя постигнуть тужась,
 я понять не смог твоих границ!
 Вызываешь ты безмерный ужас
 у простертых пред тобою ниц.

И, неодолимая как слава,
 ты летишь, подав условный знак,
 плещущимся факелом кровава
 быстро расступающийся мрак,
 чтобы стать победносно за гранью,
 не постигнув, где же твой предел,
 над высокой, отданной закланью
 грудой мертвых юношеских тел.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ
Пять песен Хаджи-Мурата

— Да, правда, лихая была голова,—
 сказал один из офицеров.

Лев Толстой.

Пять раз моя прострелена папаха,
 Наиб достойный сабли и коня,
 Хаджи-Мурат, я родом из Хунзаха,
 Как пять молитв, пять песен у меня.

И первая для матери, чтоб знала:
 Моя еще не срублена башка,
 И скакуна мне удаль оседлала,
 И неразлучна с саблею рука.

Вторая песня, схожая с молитвой,
 Для Дагестана, чья бедна земля,
 Где наречен был, вознесенный битвой,
 Я правую рукою Шамиля.

Хочу, чтобы земля родная знала:
 Моя еще не срублена башка,
 И скакуна мне удаль оседлала,
 И неразлучна с саблею рука.

А третья песня для жены, с которой
 Не часто я бывал наедине.

Наследник мой пусть будет ей опорой,
Когда она заплачет обо мне.

Я песню для нее пою, чтоб знала:
Моя еще не срублена башка,
И скакуна мне удадь оседлала,
И неразлучна с саблею рука.

А песнь моя четвертая для сына.
Вблизи и вдалеке родных вершин
Врагов моих всех знает до едины
Воинственный, единственный мой сын.

Хочу, чтоб в нем душа лихая знала:
Моя еще не срублена башка,
И скакуна мне удадь оседлала,
И неразлучна с саблею рука.

А недругу над лезвием булата
Пред боем песню пятую пою:
— Не отступай, встречай Хаджи-Мурата,
Я по тебе соскучился в бою.

Хочу, чтоб сторона чужая знала:
Моя еще не срублена башка,
И скакуна мне удадь оседлала,
И неразлучна с саблею рука.

Перевел с аварского Я. КОЗЛОВСКИЙ.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

Уход

1

Над Ясной Поляной свинцовые тучи.
Не будет уже ни дождливей, ни знобче.
Все смотрится ярче, а значит, и — лучше,
как эти снежинки, летящие с ночи.

Журчит в колее, обтекая колеса,
вода, перед тем как замерзнуть до мая.
Не будет уже вековечных вопросов,
а будет дорога — стальная, прямая!

Швыряются липкою грязью копыта.
Возок исчезает в расхристанной роще.
Ничто не иссякло, ничто не избыто,
ничто в этом мире не сделалось проще.

2

Толстой стоял в дверях вагона
вдали от всех и от всего.
Старушка, будто на икону,
перекрестилась на него.

Бежал... о жизни беспокоясь,
о дне грядущем... Гнев из глаз!
И вот его увозит — поезд,
машина, а не тарантас!

Все получалось мощно, грозно!
...Толстой нашел диван пустой.
Его узнали два подростка,
пропели тихо: «Ле-ев Толсто-ой...»

Скрипит старушка деловито:
«Далече, старец!.. О-хо-хо...»
А Лев Толстой сидел сердитый.
Он знал, что едет — далеко.

СООРОНБАЙ ДЖУСУЕВ

Часы отстанут — и цена им грош,
Часами их уже не назовешь.
Горящую свечу зовут свечою.
Засохший мак не может быть хорош.
Мне жаль очей, в которых ночь и мгла,
Исеченного шрамами чела,
Жаль соловья, утратившего голос,—
Вся радость жизни от него ушла.
Прекрасен гор величественный лик.
Прекрасен вставший на утес кийик¹.
Прекрасен и охотник не уставший.
Прекрасен не мелеющий родник.
Мне песни жаль бездушной и глухой,
Семьи бездетной, словно пень сухой,
Мне жаль руки бессильной и беспалой,
Мне жаль комуза с лопнувшей струной.
Судьба, прошу тебя, моей души
И на закате дней не иссуши,
О, не пошли мне сожаленья ближних,
Но вдохновеньем свежим всполоши!

Перевел с киргизского М. СИНЕЛЬНИКОВ.

КИРИМИЗЕ ЖАНЭ

Великий подарок

В конце прошлого века в адыгейском ауле Тахтамукае жил старик самоучка по имени Гаггогу. Он вел переписку с Л. Н. Толстым. Книги великого писателя старый Гаггогу читал своим сверстникам и переводил как мог на адыгейский. Как вспоминают старожилы аула, большому любителю литературы Лев Николаевич Толстой прислал в дар свою книгу.

Зачем же жизнь, коль в жизни все напрасно —
И тяжкий труд, и полный горя век?..

¹ Кийик — общее название крупной дичи.

А где-то далеко, в Поляне Ясной,
 Жил все на свете знавший человек.
 И он ответил на вопрос адыга
 И удивил всех мудрой простотой —
 Прислал в аул он дарственную книгу
 И написал: «Адыгу — Лев Толстой».
 И посветлело вдруг в Тахтамукае,
 И стал Гаттог бодрей и веселей.
 Его изба убогая, косая
 Желанным домом стала для гостей.
 Казалось, что привет пришел от друга,
 И не страшила больше их беда,
 Когда в часы недолгого досуга
 Читал адыг им книгу по складам.
 Да, утекло воды в Кубани много.
 И что прошло — года или века?
 Давным-давно на свете нет Гаттога,
 Но люди вспоминают старика.
 А земляки его теперь Толстого
 Читать на двух умеют языках,
 И все неузнаваемо и ново,
 Все для людей, и все у них в руках.

Перевела с адыгейского Л. ТИТОВА

СТ. ЗОЛОТЦЕВ

Зимнее

На палую листву спадает снег
 в тиши яснополянского Заказа...
 Столетие назад под этим вязом
 о чем он думал, хмурый человек?

О том ли, что уходит вера в разум,
 в простые чувства, в правду... И обрек
 себя на ложь и тленье странный век,
 с которым он пером и сердцем связан.

А может, не про истину и ложь
 он думал, а про убранную рожь
 и летошние добрые приплоды.

Чистейший снег. И чистый лист в дому...
 И русская всесильная природа
 светила снегом сыну своему.

РИММА КАЗАКОВА

Русло

Выходила из берегов...
 И немножечко грустно,
 что закон у жизни таков:
 обретается русло.

Одна любовь освещена порывом
 Соединить два времени в себе,
 Но и любовь в беспамятстве слиянья
 Из двух отдельных лишь рождает третье,
 Опять отдельное, как тот и та...

И яблоко, и облако, и зяблик —
 Вне времени. И сила повторенья
 Им возвращает неизменный облик,
 Они бессмертны, ибо никому
 Не задают вопросов. И в ответ
 Благоволенье им, вознагражденье:
 Им смерть — как сон, а завтра — повторенье.

Я слишком жив, не уложиться мне
 В горизонтальный круг существованья,—
 Не яблоко, не облако, не зяблик,
 Невидимую ось ищу на ощупь,
 Бросаю по сквозящей вертикали
 И вверх и вниз раздвоенный вопрос.

За то, что я не сплю, а вопрошаю,
 Отказано мне в вечном повторенье.
 Но, может быть, дарована награда:
 Единственное может приподняться
 Над временем. Один не воин в поле,
 Но волен поле в песню претворить.

И музыка, и муза, и молитва —
 Над временем. У музыки ли спросишь —
 Ей сколько лет и где она ночует,
 Когда она уходит от тебя?

И музыка, и муза, и молитва
 В свободном измерении живут,
 Где души, звери, вещи, времена,
 Смеясь, берутся за руки, как дети,
 Где человек проходит через стены
 И птица пролетает сквозь стекло,—
 Не одинока боль, сны не отдельные,
 Не расстается с тополем звезда.

Вот только это, видишь, только это
 Я, тонущий во времени, бросаю
 На берег — неизвестно для кого...

Но только так я время побеждаю.

МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ

Ясная Поляна

1

Весна, вступив в свои права.
 Уставшая в борьбе со снегом,
 Опять тиха, опять права,
 Она — покой, и лень, и нега.

А птичий щебет стоголосый
Повис над рощей черно-белой,
Где строй берез простоволосых
Прочерчен четко, точно мелом.

Земли меняется покров
В ее докорности дочерней.
И громоздится облаков
Гряда на небе предвечернем.

И вдруг — откуда что взялось?..
Как нежность, мужество и милость,
Поляна, ясная насквозь,
Червонным золотом омылась.

В такой вот вечер золотой
Здесь мальчик пылкий и влюбленный
Мечту о радости простой
Доверил Палочке Зеленой.

2

Как будто золото вокруг.
Шурша, не меркнет под ногами.
Кленовый лист, сорвавшись вдруг,
Уже становится стихами.

Какая синь и глубина,
Какая власть у листопада.
Вся стать стволов обнажена,
Красе ветвей одежд не надо.

Исполненные торжеством,
Они и розовы и сизы.
Тысячеруким божеством
Взирает роща, сбросив ризы.

Не так ли полнится душа
В преображеньи и свершеньи,
Когда слетает мишура
В торжественности обнаженья.

Ужель я слова не найду
Столь искупительно простого?!
К поместью рождества Толстого
Кленовым золотом иду.

МИХАИЛ ЛЬВОВ

Мне Классика в года сиротские
Заменой матери была
И, душу пестуя по-родственному,
От гибели ее спасла.

Был только хаос безвидный, в котором
проснувшийся творческий дух метался.

И вот в клубящейся туче
нечто янтарно блеснуло.

И тогда прозвучало:
«Да будет!»

И Слово стало Делом.

И возник из материи мнимой
несомненный, неупразднимый,
запаянный в капле янтарной
дивный простор светозарный.

Перевел с литовского Л. МИЛЬ.

СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН

Бегство Толстого

О том помыслил он с тоской
и нежностью, старик суровый:
бежать от суеты мирской
к несуетной судьбине новой.

От рукописей и вещей,
жены, издателей, усадьбы:
се от лукавого... В душе:
на божий суд не опоздать бы.

На стыках скрежетал вагон.
Чадил табак. Сквозило адом.
В душе — единственный закон
под облаком и звездопадом.

Поверх вагонного стекла
смятенно и невыразимо,
топорщась в сумерках, плыла
его осенняя Россия.

Он думал, очевидно: вот
к чему я шел все эти годы;
как встарь, огромный небосвод
и острый холодок свободы.

Вегетарьянец и пророк
в своей возлюбленной отчизне,
бежал назло и поперек,
бежал от смерти или жизни?

Бог знает! Главное — побег:
за светом истины последней
бежал великий человек
в предошущенъе тьмы предсмертной.

Последний путь, последний жест,
мучительный рывок из дому
от всех парадов и торжеств:
здесь не умеют по-иному...

Поселков захолустных, тишь,
записки, письма, мгла сырая,
но далеко не убежишь
отсюда — даже умирая...

Свободы нет, но в безднах лет
она единственно прекрасна —
последний путь, последний след,
прощальная тоска пространства.

Его последние слова
(свидетельствует сын): «Оставьте
меня в покое...» Черта с два —
вокруг газетчики и страсти.

Измены. Злоба. Деньги. Лесть.
Даваться некуда отсюда,
но все-таки надежда есть
на избавление и чудо...

Смертельно болен человек,
подъемлет очи к небосводу,
готовясь исподволь — навек —
к невозвратимому уходу...

ЛЕВ ОЗЕРОВ

* * *

Он был сплетеньем всех корней
России, ствол ее и крона,
Певец ее трудов и дней,
Ее сермяга и корона.
В нем встретились, схлестнулись в нем
Ее дворянство и крестьянство.
В непостоянстве — день за днем —
Ее живое постоянство.
Туляк в нем видит земляка,
Родную душу — парижанин.
Рабочая его рука
Своею мощью поражает,
Своею нежностью, своей
Неутомимостью, и, право,
Из-за кустов его бровей
Глядит колюче наша слава.

СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ

Над могилою Толстого

Знаю, поздно или рано
Нас у сходен бытия
Примет Ясная Поляна,
Только каждого —
Своя.

Примет ясная,
Согласно
Добросердью, и уму,
И мечте о жизни красной
Не себе лишь одному.

Не ловчись отсрочить встречу
Иль чужое застолбить,
Каждый имеет то,
Чем мечен,
Чем и вечен, стало быть.

Все исходит из простого:
Что посеешь,
То пожнешь...
Над могилою Толстого
Даже полдень
В звездах сплошь.

Войдя во вкус морозной тишины
И пахнущего банной веткой чая,
Я, как пришелец аховый с Луны,
Живу, все будто внове замечая:
На фоне снежной седины берез
Рябин заиндевшие румяна,
И пня сухого посиневший нос,
Вздремнувшего на солнце у поляны,
И, разоренный галочьей ордой,
Безжизненный под снегом
Муравейник...
Знакомой сказке с сивой бородой
Внимаю, как дитя,
Благоговейно.

Живи,
Не умирай, дитя, во мне,
Семижды убиваемый доселе:
Смертями близких,
Павших на войне,
Фашистскою бомбежкой оголтелой,
Прифронтовым прогоркнувшим пайком,
Сыта была б
Синица лишь которм,
Простудною заходчивою хворью,
Глядевшею дырявым сапогом,
Как яблоня,

Прошедшая сквозь сушь,
Телесным усушением до срока...

На всякий случай
Прочесала глушь
Скороговоркой огненной сорока.
Метнулась куропатка не шутя
Под хвойный свод,
Как под стальную каску...
Живи,
Не умирай во мне, дитя,
Семижды выгоняемый из сказки!

РАСУЛ РЗА

МЛАДЕНЧЕСТВО

Звезды!
Их измерен век
Мириадами столетий.
Времени бесшумен бег,
А они — всего лишь дети.
Мы идем за родом род
И уходим безвозвратно,
Но минута — целый год
Для кого-то,
Вероятно.
Только крылья мотылька
Вспыхнули, отголубели...
Человечество! Пока
Ты младенец в колыбели.

Перевел с азербайджанского М. СИНЕЛЬНИКОВ.

ВАДИМ СИКОРСКИЙ

1

На станции Астапово

В троеперстье, хладея, сошлись не напрасно ль
пальцы правой руки?.. Как нам смысл уловить?
То ли он за перо неизменное брался —
смерть свою не страшась описать собирался...
То ли в мире оставшихся благословить...

Или даже и там он не принял покоя,
даже там взбунтовался хладеющий прах,
и сказать после смерти он смог бы такое.
что не смог за всю жизнь, в девяноста томах...

2

Кто выше встал, не меряю в гордыне.
Какая разница — я или ты,

когда все человечество отныне
на мир взглянуло с новой высоты.

Не все ль равно, чьим именем зовется
та звездная полоска в вышине,
что отразилась в тайной мгле колодца
и растворилась в зыбком чистом дне.

3

Бывает же такое совпадение:
взгляд лучезарный ясной тишины
и в небе тихо — звезды, блеск луны...
Жизнь и земля легки, как сновиденье.

Бывает совпадение такое:
был вечер счастья, мудрости, любви...
И на земле — хоть признак улови
грядущего ль, былого ль покоя.

Такое совпадение бывает?
Кругом такое ж все, как и в тебе.
И небо — как фрагмент в твоей судьбе.
И явь земная сна не разбивает.

ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

Молодой Толстой

С ружьем и собакою в чаще густой
Идет по траве и бурьяну
Влюбленный без памяти юный Толстой
В Кавказ и казачку Марьяну.

Он губы свои окунает в родник,
Пропахший цветами и мятой.
А вечером все это впишет в дневник,
Укрывшись шинелью помятой.

И в душу нисходит ему типина.
С чинарою шепчется тополь.
Еще предстоит ему мир и война,
Москва и в дыму Севастополь.

Над тихой станицей сгущается тьма,
Казачки идут на гулянье.
Еще предстоит ему зрелость ума
Отыскивать в Ясной Поляне.

Еще он не знает — все это не зря.
Он любит, он видит и слышит
И вечером, выпив стакан чихиря,
До ночи читает и пишет.

Еще он не знает... По чаще густой,
По солнечной роще зеленой
Идет никому не известный Толстой,
В казачку Марьяну влюбленный.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

* * *

Меркнет зрение, сила моя —
Два незримых алмазных копыя.
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома.
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волю,
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сторел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Догореть и затихнуть, как слово.

ВАДИМ ШЕФНЕР

Неразгаданность

Иду через квадратные миры,
Ищу на безответное ответа.
Через чужие старые дворы
Шагаю в полдень в середине лета.
У чьих-то заколоченных дверей
Шаги я замедляю виновато;
Таинственные травы пустырей,
К ногам сбегаясь, дышат горьковато.
Кругом царит вещественный покой,
И среди камней, в тени кирпичных зданий
Пасется память — мой усталый конь —
На солнечных лугах воспоминаний.
И где-то здесь, среди будничных забот,
Не признавая пышных декораций,
Царевна Неразгаданность живет
И чудеса грядущие гнезятся.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

Творчество

Летам невозможно не верить,
что жизнь все короче, короче,
а я еще все на галере
работаю веслами строчек.
Собой обреченный когда-то
на сладкую каторгу эту,
гребу и за датую дату
на сердце бросаю как мету.
Но сердце не ведает страха
над меридианами весен,
как будто последнего взмаха
не будет у весел.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

Из «Яснополянских записок» Д. П. МАКОВИЦКОГО

Среди множества документальных источников о Льве Николаевиче Толстом имеется обширный и важный труд, единственный в своем роде, но оставшийся до сих пор недоступным читателям. Это дневник Душана Петровича Маковицкого, озаглавленный им самим «У Толстого», но более известный специалистам под названием «Яснополянские записки». Подлинники дневника хранятся в Советском Союзе и в Чехословацкой Республике. Домашний врач, секретарь и друг Толстого, словак по национальности, Маковицкий прожил в Ясной Поляне с конца 1904 года по 1910 год и сопровождал Толстого в его последней поездке, превратившейся в пути болезнью и смертью писателя.

«Яснополянские записки» — летопись всего, что на протяжении своей жизни возле Толстого видел и слышал Маковицкий. Это своего рода хронограф жизни великого писателя не только по дням, но часто буквально по часам. Это вместе с тем широкая панорама быта яснополянского дома. Это, наконец, интересный памятник эпохи, своеобразно отражающий те кризисные для страны годы, в которые он создавался, — годы русско-японской войны, первой русской революции и последовавшей за ее поражением полосы реакции.

Главная и ценнейшая особенность дневника Маковицкого — множество приведенных в нем высказываний и мыслей Толстого. Маковицкий записывал слова Толстого синхронно их произнесению, иногда по свежей памяти. Часть внесенных в дневник высказываний падает на бытовые и автобиографические темы, в том числе ретроспективного содержания, другая часть относится к необозримо широкому кругу идейных интересов писателя и к его откликам на острейшие социальные и политические вопросы современности. Источниковедческая ценность записанных Маковицким суждений и оценок Толстого неоспоримо велика, особенно тех из них, содержание которых не отражено в каких-либо других документах.

Издание «Яснополянских записок» было заветной мечтой Маковицкого. Оно предполагалось многотомным и международным, на ряде европейских языков. Однако эти большие планы остались неосуществленными.

После Октябрьской революции начиная с 1922 года в Советском Союзе был предпринят ряд фрагментарных публикаций записей из дневника Маковицкого. Но почти все они относились лишь к первым месяцам его пребывания в Ясной Поляне и воспроизводили не аутентичный авторский текст, а его литературную обработку, сделанную одним из секретарей Толстого, Н. Н. Гусевым.

Ныне, к юбилею Толстого, завершена занявшая несколько лет эдичионно-текстологическая работа по подготовке первого полного издания «Яснополянских записок». Оно осуществляется «Литературным наследством» (издательство «Наука»), при участии Государственного музея Л. Н. Толстого (Москва), Карлова университета (Прага) и Института литературоведения Словацкой Академии наук (Братислава). Издание займет две книги «Литературного наследства» (т. 90), общим объемом около 200 листов.

В настоящем номере «Нового мира» впервые публикуются записи из последних шести тетрадей дневника Маковицкого (лишь запись от 28 октября была известна ранее). Они относятся к драматическим эпизодам ухода Толстого из Ясной Поляны, заболеванию в пути и смерти на станции Астапово. Эти вовсе не известные ранее

тетради сохранились у племянника автора дневника, также Душана Маковицкого, проживающего в Братиславе. Они были предоставлены им «Литературному наследству» для публикации при посредничестве чехословацкого участника издания дочерью Карлова университета С. Колафы.

Записи последних дней, быть может, самые драгоценные в обширном дневнике Маковицкого. Он единственный человек, который безотлучно провел рядом с Толстым все десять дней ухода, бездомного скитания, завершившегося кончиной на глухом, железнодорожном полустанке.

Как врач он профессионально записал историю предсмертной болезни и самого умирания Толстого. Он подробно запечатлел каждый из этих драматических дней, со всеми событиями, переездами, метаниями, страхами. И он зафиксировал все оттенки душевного состояния Толстого, настроения его, колебания, надежды и сохранил для потомков живой облик великого писателя в его трудном последнем пути от Ясной Поляны до Астапова.

Однако в глубинные причины духовной драмы Толстого, определившие его решение об уходе из ненавистного ему «мира господ», Маковицкий не заглядывает. Он видит или фиксирует только непосредственные поводы ухода Толстого — бегство от жены Софьи Андреевны и всех, кто затеял вокруг него недостойную борьбу за «наследство», создал ему невыносимо трудные условия для жизни и духовной работы. И он почти не выходит за пределы хроники событий, их «протокола». Но в этих рамках заключительная часть дневника Маковицкого уникальна по своему содержанию. Она не имеет себе равных во всей огромной литературе о Толстом.

Редакция «Литературного наследства».

28 октября. Утром в 3 ч. Л. Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой разбудил меня; лицо страдальческое, взволнованное и решительное. Сказал мне: — Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать — самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет что нужно.

Сказав это, Л. Н. ушел к себе наверх.

Я, во-первых, уложил свои вещи, а потом пошел к Л. Н.; с ним встретился за дверьми моей комнаты. Опять он шел со свечой, уже одетый.

— Я вас ожидал, — сказал мне Л. Н.

Слышно было в голосе, что я ему был нужен и опоздал. Л. Н. пошел будить Александру Львовну, а я поспешил в кабинет укладывать его вещи. Белье и некоторые вещи он сам себе приготовил. Вскоре Л. Н. вернулся. Он и ночью покоя не имеет, не высыпается. Нервен. Пощупал ему пульс — 100. Может что приключиться. Пришла Александра Львовна. Л. Н. и ее попросил помочь ему укладывать вещи, особенно рукописи.

Л. Н. был уже одет, и было уже написано письмо Софье Андреевне.

Л. Н., поговорив с Александрой Львовной, рассказал ей, что его побудило сейчас уезжать и куда поедет; предполагал в Шамордино; если в другое место, то уведомит ее телеграммой на имя Черткова с подписью Т. Николаев. Л. Н. скоро вернулся наверх. Вещей, которые Л. Н. брал с собой, оказалось столько, что нужен был большой чемодан, а его Л. Н. не хотел брать, боясь разбудить Софью Андреевну. Между спальнями Л. Н. и Софьи Андреевны было три двери, которые Софья Андреевна на ночь отворяла, чтобы лучше слышать Л. Н.-ча из своей комнаты. Все эти двери Л. Н. закрыл, чемодан без шума достал.

Вскоре за ним пришла Александра Львовна, и ей Л. Н. дал спрятать рукописи. Л. Н. был встревожен, неспокоен. Искал еще некоторые нужные ему вещи: записные книжки, перо, книгу П. П. Николаева, которую он тогда читал, — «Понятие о боге», и др. Вскоре сошел вниз и, переговорив с Александрой Львовной, ушел, торопясь в кучерскую, которая была в некотором расстоянии от дома, будить кучера — закладывать лошадей. Еще не было 5 ч. утра. Ночь была темная, и Л. Н. заблудился, свернув с дорожки через яблоневый сад, потерял шап

ку. Долго ее искал с электрическим фонарем и не нашел. И так, без шапки, дошел до кучерской, разбудил Андриана Павловича¹.

Когда мы кончили укладывать вещи, оказалось их очень много: большой дорожный чемодан и еще большая связка — плед, пальто, корзинка. Александра Львовна, Варвара Михайловна² и я, мы понесли их на конюшню, чтобы там садиться и ехать, а не от дома из боязни разбудить Софью Андреевну.

Было сыро, грязно, мы едва несли тяжелые вещи. На поддороге встретили Л. Н. с фонариком. Он рассказал, как потерял шапку; у меня в кармане была другая его шапка. Дошли по грязи до каретного сарая, где кучер кончал запрягать, Л. Н. вернулся и помог ему. Л. Н. торопил с отъездом. Уложили вещи. Л. Н. накинул на ватную поддевку армяк, простился с Александрой Львовной и Варварой Михайловной, и мы поехали на станцию Щекино. Кучер из-за грязи предложил конюху с фонарем ехать впереди прямо на шоссе, но Л. Н. предпочел через деревню.

В некоторых избах уже светился огонь, топились печи. На верхнем конце деревни у Фили развязались поводья. Остановились. Я сошел с пролетки, отыскал конец повода, подал ему и тут посмотрел, накрыты ли у Л. Н. ноги. Л. Н. почти закричал на меня; тут вышли мужики из изб. Выехав из деревни на большак, Л. Н., до сих пор молчавший, грустный, взволнованным, прерывающимся голосом сказал, как бы жалуясь и извиняясь, что не выдержал, что уезжает тайком от Софьи Андреевны, и рассказал о толчке, побудившем его уехать: Софья Андреевна опять входила в его комнату; он не мог заснуть; решил уехать, боясь нанести ей оскорбление, что было бы ему невыносимо. Потом Л. Н. задал вопрос:

— Куда бы подальше уехать?

Я предложил в Бессарабию, к московскому рабочему Гусарову, который там живет с семьей на земле, там же Александри³. «Только туда долго ехать, — прибавил я, — не из-за расстояния, а из-за медленного хода поезда и сообщения». Л. Н. ничего не ответил. Л. Н. Гусарова и его семью хорошо знает и любит.

По пути в Щекино голова Л. Н. озябла, я надел ему вторую шапку поверх первой.

Л. Н. вспомнил, что в «Утренней звезде» есть его письмо к священнику с ответом священника. Удивлялся, как это напечатали, — смело. Было бы хорошо оттуда перепечатать в газеты⁴.

Решили, что на станции Щекино я узнаю поезда и есть ли сообщение в Козельск. Л. Н. сказал, что поедет в Горбачево во втором, а дальше в третьем классе, и предложил ехать на Тулу и оттуда вернуться.

Приехав в Щекино (оказалось до отъезда поезда в Тулу 20 минут, в Горбачево — полтора часа), Л. Н. вошел первым на станцию, я с вещами после, и он прямо спросил буфетчика, есть ли сообщение в Горбачево на Козельск. То же самое спросил и в канцелярии дежурного. Л. Н. позабыл не выдавать, куда едем; потом еще спрашивал, когда опять идет поезд на Тулу, и предлагал в него сесть. Л. Н., во-первых, хотел скрыть следы (но ведь в Туле его узнают, и на обратном пути через Засеку, Щекино многие узнают, что в поезде едет Толстой), а во-вторых, не хотелось долго ждать в Щекине на станции, боясь, что может настичь его Софья Андреевна. Я отсоветовал ехать в Тулу, т. к. не успеем там пересесть. Я купил билеты в Горбачево. Думал брать на другую станцию, но было неприятно лгать, да и казалось бесцельным, потому что предполагал, что удержать в тайне местопребывание Л. Н. не удастся. Я перекладывал вещи, писал Булгакову, Александре Львовне, вернул свое пальто, т. к. их оказалось много у Л. Н.⁵ Когда подали сигнал, что поезд подходит, Л. Н. был в 400 шагах от вокзала, гулял с мальчиком-учеником. Я побежал ему сказать и предупредить, чтобы он не спешил, что поезд будет стоять четыре минуты. Л. Н. сказал:

— Мы вместе с мальчиком поедем.

* Испомнено. (Прим. Д. П. Маковицкого. В дальнейшем не оговариваются.)

** Я еще не знал, что уезжаем из Ясной Поляны навсегда, я думал — только на несколько недель.

Л. Н. сел в отдельном купе в середине вагона второго класса. Вынув подушку, я устроил так, чтобы Л. Н. прилег.

Когда Л. Н. уселся в вагоне и поезд тронулся, он почувствовал себя, вероятно, уверенным, что Софья Андреевна не настигнет его, радостно сказал, как ему хорошо. Я ушел. Л. Н. остался сидеть. Когда я через полтора часа заглянул в купе, Л. Н. еще сидел; он немного поспал; спросил «Круг чтения» почитать. Его не оказалось и «На каждый день» не было.

Л. Н. был молчалив, говорил мало, о чем — не помню, и был очень утомлен. Тревожна и утомительна была вчерашняя поездка наша верхом с Л. Н. Вчера перед нашей верховой поездкой я стоял с двумя ожидавшими Л. Н.-ча бабами, которые пришли просить на погорелое место или на бедность; когда он вышел, подали ему удостоверение из волостной, но Л. Н., будучи чем-то расстроен, не поговорил с ними и не подал им ничего, чего почти никогда не делал, по крайней мере я не помню. Попали на просеку в молодом лесу, почти параллельно с Лихвинской дорогой, по эту сторону ее. Приехали к глубокому оврагу с очень крутыми краями. На замерзшей земле лежал тонкий слой снега, было скользко. Я посоветовал Л. Н. слезть с лошади; он послушался, что так редко бывало. Овраг был очень крутой, и я хотел провести каждую лошадь отдельно, но боясь, что, пока я буду проводить первую, Л. Н. возьмется за другую. (Л. Н. не любил, когда ему служили), я взял поводья обеих лошадей сразу, одни в правую, другие в левую руку, растянув руки, чтобы лошади были дальше от меня — если который поскользнется, то чтоб не сбила меня с ног. Так спустился и так перепрыгнул ручей. Тут Л. Н. тревожно вскрикнул, боясь, что какая-нибудь лошадь наскочит мне на ноги, потом со взмахом поднялся на другую сторону оврага. Тут долго ждал. Л. Н., засучив за пояс полы свитки, держась осторожно за стволы деревьев и ветки кустов, спускался. Сошел к ручейку и сидя спустился, переполз по льду, на четвереньках выполз на берег, потом, подойдя к крутому подъему, хватаясь за ветки, поднимался, отдыхая подолгу, очень задыхался. Я отвернулся, чтобы Л. Н. не торопился. Желал ему помочь, но боялся его беспокоить; вероятно, отказался бы. Когда он вышел и, тяжело дыша, подошел к лошади, я попросил Л. Н. отдышаться, сейчас не садиться, но Л. Н. тут же сел, перевалился сильно вперед (чего он никогда не делал, он удивительно стройно садился) и поехал. В этот день проехали около 16 верст, как и всегда 16—18 с тех пор, как вернулись 24 сентября из Кочетов. Раньше Л. Н. делал концы в 11—14 верст, а в последнее время больше. Мне казалось, что, с одной стороны, он наслаждался красивой осенью, с другой — желал быть дольше на свободе, вне дома. И Л. Н. уезжал из дома утомленным, невыспавшимся. Кроме того, он был последние четыре месяца в напряженном, нервном состоянии. Чаша терпеливого страдания переполнялась часто.

Я согрел кофею, и выпили вместе. После Л. Н. сказал:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Прошлые разы, когда Л. Н. ездил в Кочеты, он в вагоне дичковал или записывал. На этот раз — нет; сидел, задумавшись. Потом заговорил о том, о чем говорил в пролетке.

Доехали до Горбачева. Л. Н. еще в пролетке сказал, что от Горбачева поедет в третьем классе. Перенесли вещи на поезд Сухиничи—Козельск. Оказался поезд товарный, смешанный, с одним вагоном третьего класса, который был переполнен, и больше чем половина пассажиров курила. Некоторые, не находя места, с билетами третьего класса переходили в вагоны-теплушки.

— Как хорошо, свободно, — сказал Л. Н., очутившись в вагоне*.

* Жалею, что я тогда ушел, не поговорив с Л. Н. Я не знал, что он уезжает совсем, навсегда, я не знал о письме, которое он оставил Софье Андреевне. Л. Н. вечером сказал Александре Львовне, что утром уедет, но я об этом узнал после. Когда Л. Н. разбудил меня, я думал, что едем в Кочеты. Л. Н. мне так говорил дня три, шесть и 20 дней тому назад. Я и не взял с собой всех денег. Только когда Л. Н. при прощании с Александрой Львовной сказал ей, что поедет к Марии Николаевне, а если в другое место, то оттелеграфирует ей, и чтобы она приехала через два дня за ним, и когда в коляске Л. Н. стал

Вещи внесли в вагон, Л. Н. уселся в середине вагона. Я, не сказав ему ничего — боясь, что он не согласится, — пошел хлопотать, чтобы из-за переполненности прицепили еще один вагон третьего класса. Я попал к начальнику вокзала Московско-Курской ж. д., сказал ему, что вагон переполнен, надо прицепить другой, что среди пассажиров Л. Н. Толстой; тот меня направил к начальнику Смоленского вокзала. Найдя его, повторил ему свою просьбу, но он указал мне на дежурного. Я попросил помочь мне найти его, что начальник охотно сделал. Но дежурного долго не удавалось найти; оказалось, что он был внутри вагона, разглядывал Л. Н., которого публика узнала. Это опять был не тот, у которого есть права; он отыскал второго дежурного, тоже в вагоне разглядывавшего Л. Н. Я ему повторил свою просьбу. Он как-то неохотно и нерешительно (процедив сквозь губы) сказал железнодорожному рабочему, чтобы тот передал обер-кондуктору распоряжение прицепить другой вагон третьего класса. Через шесть минут паровоз провез вагон мимо нашего поезда. Обер-кондуктор, вошедший контролировать билеты, объявил публике, что будет прицеплен другой вагон и все размяться, а то многие стояли в вагоне и на площадках. Но раздался второй звонок и через полминуты третий, а вагона не прицепили. Я побежал к дежурному. Тот ответил, что лишнего вагона нет. Поезд тронулся. От кондуктора я узнал, что тот вагон, который было повезли для прицепки, оказался нужным для перевозки станционных школьников.

Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне когда-либо приходилось ездить по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить себе лицо об углы приподнятой спинки, которая как раз против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узки, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота. Я хотел подостлать Л. Н-чу плед под сиденье, Л. Н. не позволил. Он в эту поездку особенно неохотно принимал услуги, которыми раньше пользовался.

Л. Н. вскоре вышел на переднюю площадку (чтобы освежиться); я за ним и просил его перейти на заднюю. Л. Н. вернулся, потеплее оделся (в меховую пальто, в меховую шапку, зимние глубокие калоши) и пошел на заднюю площадку, но тут оказалось пять курильщиков, и Л. Н. опять вернулся на переднюю, где стояло только трое, баба с ребенком и мужик. Л. Н. приподнял воротник и сел на свою палку с раскладным сиденьем. Мороз мог быть в один-два градуса. Через минут десять и я пришел туда спросить, не войдет ли в вагон, а то встречный ветер от движения поезда. Л. Н. ответил, что ему — ничего, как в верховой езде. Л. Н. там просидел на палочке три четверти часа (роковых три четверти часа). Потом прилег на скамейку. Едва он прилег, как нахлынула толпа новых пассажиров и осталась стоять в продольном проходе, а против Л. Н-ча как раз женщины с детьми. Л. Н. спустил ноги, хотел им дать место и больше не лег. Я попросил двух парней встать и дать женщинам место, что они охотно сделали. Но Л. Н. уже не хотел больше лечь и оставшиеся четыре часа просидел и простоял, и из них четверть часа опять на передней площадке. Я осмотрел теплушки, думая, не пересест ли туда, но в них было грязно, сквозной ветер, окна и двери с обеих сторон настезь открыты.

Л. Н. разговорился с сидящим против него 50-летним мужиком из Дудинщины о его семье, хозяйстве, извозе и битье кирпича — делах, которыми он занимается. Л. Н. расспрашивал подробности этой работы. «Ein typischer Bauer»*, —

советоваться, куда нам ехать, тогда я понял, что Л. Н. едет не в Кочеты, и не на четыре недели, а на неопределенное время, навсегда из дому и что не хочет, чтобы Софья Андреевна знала, куда поехал, и за ним поехала. О письме, которое он ей оставил, я узнал после из газет. Я думал, что Л. Н. уезжает на месяц от Софьи Андреевны в такое место, куда она за ним не поедет, где не скоро отыщут его, — пока в Шамордино, а оттуда дальше. Знай я, что он совсем уезжает, я бы настаивал на поездке в Бессарабию или за границу.

Скрыться надолго нельзя было. Но мы хотели два-три дня выгадать, чтобы Софья Андреевна не настигла нас, пока не выедем за границу и там не осядем в глухом месте, в таком, куда Софья Андреевна не поедет.

* Типичный крестьянин (нем.).

сказал он мне про него. Мужик бойкий, смело говорил про водку, чья она, как у них производили экзекуцию за то, что лес рубили «до своей межи», и потом вышло так, что была признанной эта «их межа». Это рассказывал с сердцем на барина Б. Тут вмешался в разговор землемер и изложил историю возникновения экзекуции иначе и о Б. говорил, что он был добрый человек. Мужик стоял на своем и смело опровергал землемера. Но этот тоже не уступал.

— Мы больше вас, мужиков, работаем,— сказал землемер.

Л. Н.: Это нельзя сравнить.

Потом, когда землемер стал оправдывать экзекуцию и выделение из общины, Л. Н. вступил с ним в пререкание; говорил, что не надо крестьян принуждать и соблазнять выделяться из общины.

Мужик громко одобрял, поддакивал Л. Н-чу, землемер спорил с ним.

Потом землемер сказал:

— Я знал вашего брата, Сергея Николаевича.

Л. Н. вступил с ним в личный разговор. Оказалось, что землемер придерживался либеральных научных взглядов, был начитанным, умным, умеющим и любящим спорить из-за красного словца.

Землемер, когда с крестьянином вступил в спор, излагал дела крестьян с помещиком со своей точки зрения, по которой правда была за помещиком. Когда же спорил с Л. Н., хотел защищать свои взгляды и, чтобы отстоять их, готов был спорить бесконечно, и не для того, чтобы дознаться правды в разговоре. Не было заметно, чтобы он хотел услышать более правильный взгляд Л. Н. и внять ему. (Такое было мое впечатление; может быть, я ошибался.)

Он перевел разговор с «Единого налога» по Генри Джорджу и насилия на Дарвина, на образование. Л. Н. сначала отвечал ему, объясняя верную точку, с которой надо смотреть на эти вопросы, а потом, когда дудинец, одобряя речи Л. Н., перестал громко прерывать его (в то же самое время говорить, обращаясь к соседям) и когда в вагоне все затихли и прислушивались, Л. Н. стал говорить, излагать для всех, отвечая землемеру. Л. Н. был возбужден, привстал и так продолжал разговор, завладел вниманием всех в вагоне. Публика с обоих концов вагона подошла к среднему отделению, обступила и очень внимательно и тихо прислушивалась. Были крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты, два еврея, одна гимназистка, которая сначала прислушивалась и записывала разговор⁵, потом сама в него вступила в защиту науки, возражая Л. Н-чу. Л. Н. горячился. Как ни тихи были слушатели, все-таки надо было напрягать голос. Я несколько раз хотел его попросить перестать, возражения ему так и сыпались, но некогда было вставить мне слова. Говорили больше часу. Л. Н. попросил открыть дверь вагона и потом, одевшись, сам вышел на площадку. Землемер и гимназистка — за ним с новыми возражениями. Гимназистка как пример пользы науки показала Л. Н-чу на электрический фонарик, которым он себе осветил, ища рукавицу на полу вагона. Подъехали к Белеву, где землемер и гимназистка слезли.

Л. Н. тоже слез, пошел в буфет второго класса, где пообедал. Тут буфетчик и сидевшая за столом компания, очевидно, местных интеллигентов узнали его. Ресторатор и еще один человек очень внимательно-добродушно к нему отнеслись. Дверь из буфета в кассу третьего класса с железным краем страшно хлопала; Л. Н. следил за каждым, кто проходил в дверь, которая должна была хлопнуть, страдальчески напрягал мышцы лица, как будто готовясь принять удар после него, и покряхтывал.

Вернувшись в вагон, Л. Н. уселся на свое место против дудинца. Этот, узнав, что Л. Н. едет в Оптину Пустынь (Л. Н. расспрашивал про дорогу в Оптину Пустынь и в Шамордино и про расстояние), сказал Л. Н.:

— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

Л. Н. ответил ему доброй улыбкой.

Рабочий в конце вагона стал бойко играть на гармошке и подпевать. Пропел хорошо несколько песен. Л. Н. с удовольствием слушал и похваливал.

— Я нынче,— сказал крестьянин,— с моим приятелем говорил; я редко езжу, в дороге народ шатается без дела, сколько человек находится в пути по железной дороге, как проводят время и курят, и семечки, гармошка. Я думаю, что там, где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги. потому что здесь народ ездит без крайней необходимости. Это приучает к безделью. Когда человек идет пешком...*

Обратная сторона железной дороги.

Потом Л. Н. пожаловался на усталость — устал сидеть. Поезд очень медленно шел — 105 верст за 6 ч. 25 мин. (Эта медленная езда по российским железным дорогам помогала убивать Л. Н.)

В 4.50 доехали до Козельска. Л. Н. вышел первым. Когда я с носильщиком снес вещи в зал ожидания вокзала, Л. Н. пришел и сказал, что уже подрядил извозчиков в Оптину Пустынь, и повел нас; сам взяв одну корзинку, снес ее на бричку, нанятую под вещи.

Поехали с ямщиком Ф. И. Новиковым на паре в пролетке, за нами другой ямщик с вещами. Проехав город, они стали совещаться, ехать дорогой или лугами. Дорога была ужасная, грязная, неровная, и ямщики взяли с нее влево, через луга города Козельска; несколько раз приходилось проезжать канавы. Было не очень темно, месяц светил из-за облаков. Лошади шагали. На одном месте ямщик стегнул их, они рванули, и страшно трянуло, Л. Н. застонал. Это проехали через глубочайшую канаву на дорогу и тут же на мост. Потом въехали в ограду, за которой монастырские земли, дорога тоже тяжелая, да еще все время приходилось нагибаться, сторониться от ветвей старых лоз, очень низких вследствие того, что выгонки обрубают.

Л. Н. спрашивал еще в вагоне и теперь ямщика, какие старцы есть, и сказал мне, что пойдет к ним. Л. Н. спрашивал ямщика, в какой гостинице остановиться; тот посоветовал у о. Михаила, говоря, что там чисто.

Долго ждали, пока дозвались парома. Л. Н. обменялся несколькими словами с паромщиком-монахом и заметил мне, что он из крестьян.

Гостиник о. Михаил ** с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи.

Л. Н.: Как здесь хорошо!

И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. В телеграмме сообщал, что здоров, ночует в Оптиной и адрес: «Подборки Шамордино», и подписался Т. Н и к о л а е в ы м. Адресовал Черткову для Сашки. Сам вынес ее ямщику Федору, прося отправить, и подрядил его одного на завтра в Шамордино (нас свезти). Потом пил чай с медсм (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда поставить самопишущее перо на ночь. Потом стал писать дневник; спросил, какое сегодня число. Сказал, что утром пойдет погулять и к старцу зайдет. Говорил, что здесь (в Шамордине) жила Пелагея Ильинична и что ездил к ней несколько раз⁸.

Искал разувальник, не оказалось. Я попросил позволить снять ему сапоги.

— Я хочу сам себе служить, а вы вскакиваете.

И сам с трудом снял сапоги.

Еще сказал, что чем менее его обслуживали бы, тем проще жить (тем лучше), и добавил:

— Хочу до крайности ввести простоту.

Не желая нарушить привычку Л. Н. спать одному в комнате, я сказал, что пойду спать в другую комнату, напротив в коридоре.

В 10 ч. лег.

У Л. Н. вид был не особенно усталый. Теперь, вечером, когда писал, больше обыкновенного торопился. Но зато днем не дорожил временем, как обычно

* Пропуск в подлиннике. — *Ред.* (Здесь и далее редакция «Литературного наследства».)

** Разговоры с о. Михаилом и др., сообщенные уже о. Эрастом в «Колоколе»⁶ и Ксюниным в «Новом времени»⁷, пропускаю.

венно. Это мне бросилось в глаза. Весь день ни одной мысли не записывал. И в следующие два дня не дорожил временем (т. е. не использовал его для работы в той мере, как дома привык). Еще поразило меня, что не давал себе помогать (и дома неохотно принимал услуги, но сегодня и в следующие дни куда неохотнее и совсем нет). И бережливость в расходовании денег. Л. Н. всегда старался платить за все настоящую цену, что трудно определить; не любил переплачивать.

Ночь была беспокойная сначала от кошек, которые бегали по коридору, прыгали на мебели, расположенные как раз у стены, за которой спал Л. Н., раскачивали их, стуча. Потом выходила в коридор выть женщина, у которой сегодня помер брат, монах-лавочник. Она же рано утром вошла к Л. Н. просить устроить ее малюток и припала к его ногам, что Л. Н. всегда было тяжело.

29 октября. Л. Н. из комнаты вышел в 7 ч. утра. В коридоре встретил его А. П. Сергеенко⁹, приехавший рассказать о Софье Андреевне, как она отнеслась к уходу Л. Н.; о том, какие предположения высказывают о месте пребывания Л. Н. после того, как разузнали на железной дороге, куда брали билеты, что по распоряжению губернатора будет полиция (сыщики) следить за дальнейшим путем Л. Н.; что прибегнут к губернатору; что по его распоряжению Л. Н. разыскивают (полиция).

Потом Л. Н. стал диктовать Сергеенко часть статьи против смертной казни. Чуковский затеял ряд... * и просил и Л. Н-ча. Вот ответ: «Действительное средство». Заключительные слова этой последней статьи Л. Н. такие: «И потому, если мы точно хотим уничтожить заблуждение смертной казни и, главное, если имеем то знание, которое уничтожает это заблуждение, то давайте же будем, несмотря ни на какие угрозы, лишения и страдания, сообщать людям это знание, потому что это единственно действительное средство борьбы».

К А. П. Сергеенко Л. Н. был очень внимателен (расспрашивал его и рассказывал ему) **. При нем сказал, что к старцам не пойдет.

А. П. Сергеенко спросил Л. Н.:

— Монастырская обстановка вам не противна?

— Напротив, приятна, — ответил Л. Н.

В Оптиной Л. Н. был спокоен и был не прочь там остаться. В дальнейшем разговоре же при нем (Сергеенко)...***.

На вопрос, как спал, ответил, что плохо; оттого не спал, что нервы у него возбуждены.

Л. Н. оставил Сергеенко переписать статью и записать данные о вдове-присестельнице и вручить ей письмо Л. Н. к его родне, которую просил помочь ей, Л. Н. пошел гулять. Когда выходил из комнаты, сказал:

— Как хорошо, что не надо прятать, замыкать ничего.

Л. Н. ходил гулять к скиту. Подошел к его юго-западному углу. Прошел вдоль южной стены (мне так сказал рабочий, слышавший от товарищей) и пошел в лес.

Вернувшись, продолжал разговаривать с А. П. Сергеенко и пошел пить кофе. Потом написал письмо Александре Львовне и, кажется, Черткову и, может быть, еще что-нибудь писал. (Я в это время ездил в город Козельск.)

В 12-м часу Л. Н. опять ходил гулять к скиту. Вышел из гостиницы, взял влево, дошел до святых ворот, вернулся и пошел вправо, опять возвратился к святым воротам, потом пошел и завернул за башню к скиту.

О. Пахомий стоял у ворот своей гостиницы. Он услышал, что Л. Н. в Оптиной Пустыни, и вышел, чтобы его увидеть. О. Пахомий с метелкой подметал; увидев Л. Н., догадался, что это он. Он ему поклонился, Л. Н. ответил поклоном и подошел к нему, спросил его:

— Это что за здание?

— Гостиница.

* Пропуск в подлиннике. — *Ред.*

** Разговор с Л. Н. и вообще этот день подробно описан А. П. Сергеенко⁹.

*** Пропуск в подлиннике. — *Ред.*

— Как будто я здесь останавливался. Кто гостиник?

— Я, отец Пахомий грешный. А это вы, ваше сиятельство? *

— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, и боюсь его беспокоить; говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили? (Л. Н. догадался, что он из солдат и простой, неграмотный монах.)

Тот назвал какой-то гвардейский полк в Петербурге.

— А, знаю,— сказал Л. Н.— До свидания, брат. Извините, что так называю. Я теперь всех так называю. Все мы братья у одного царя.

В руках у него была палка с раскладным сиденьем. Он отправился к о. Иосифу **.

Л. Н. пошел к скиту. Подойдя к святым воротам, повернул вправо, в лес. Вернувшись, вошел ко мне и сказал, где гулял (около скита).

— К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы.

У Л. Н., видно, было сильное желание побеседовать со старцами ***. Вторую прогулку (Л. Н. утром по два раза никогда не гулял) я объясняю намерением посетить их. Л. Н. в это же утро сказал знакомому монаху о. Василию, что приехал отдохнуть в Оптину, а не удастся — так где-нибудь в другом месте пожить.

По-моему, Л. Н. желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о боге, о душе, об отшельничестве, посмотреть их жизнь и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. И если можно — подумать, где ему дальше жить. О каком-нибудь поиске выхода из своего положения отлученного от церкви, как предполагали церковники, не могло быть и речи.

В час пообедали; Л. Н. показались очень вкусны монастырские щи да хорошо проваренная гречневая каша с подсолнечным маслом; очень много ее съел. Когда Л. Н. уходил, он зашел к о. Михаилу в комнатку.

— Что я вам должен?

— По усердию.

— Три рубля довольно?

— Да. Мне дорого, что такой человек, как вы, посетили нас. Дайте мне вашу карточку.

— Да какой же человек — отверженный. Карточки у меня нет, я вам pošлю.

— Прошу вас, распишитесь.

И Л. Н. расписался в книге посетителей, пометив: «Благодарит за прием».

В 3-м ч. выехали в Шамордино. Л. Н. ушел вперед пешком (это у него обычай такой был — когда уезжал оттуда, где гостил, уходить вперед одному).

Отец Михаил мне говорил, что был весь нараспашку, «не застегивается: так он простудится» ****.

Мы с А. П. Сергеевко в экипажах догнали его на пароме. Туда сошло около 15 монахов, чтобы видеть Л. Н-ча, хотя он (должен сказать) в Оптиной особенно большого внимания не возбудил.

* Встреча Л. Н. с о. Пахомом и о. Василием описана Ксюниным в «Новом времени».

** Этот эпизод записан со слов отца Пахома, с которым Маковицкий беседовал в декабре 1910 года. Маковицкий писал: «Отец Пахом рассказывал это все так проникновенно, видно, что этот разговор с Л. Н. доставил ему большое удовольствие. Рассказал, что Л. Н. говорил с ним так ласкового и сердечно: произвел на него сильное впечатление. Расспрашивая о. Пахома об этом, игуменья одного девичьего монастыря сделала ему замечание, почему он сам не провел его к о. Иосифу, и он ответил, что хотел, но боялся быть навязчивым». — *Ред.*

*** Летом в Кочетах, услышав о старце Херувиме в Духовом монастыре, который пользуется у народа доброй славой, Л. Н. намеревался съездить к нему.

**** Из разговора с отцом Михаилом в декабре 1910 года. — *Ред.*

— Жалко Льва Николаевича, ах ты господи! Да! Бедный Лев Николаевич! Свежий старик, такой бодрый!

Л. Н. стоял у правых перил парома и говорил, обращаясь к милостивому седому старику монаху в очках. Спрашивал о его зрении и рассказал анекдот, как ему, студенту (университета), в Казани татарин предлагал: «Купи очки». «Мне не нужны». «Как не нужны! Теперь каждый порядочный барин очкам носит».

Переправа была короткой — одна минута.

Л. Н. уселся в экипаж Федора. Армяк на вате, сапоги, калоши. Свитку накинуть отказался. Сидел на ней.

Было несколько градусов тепла.

Через версты две, где дорога шла в гору, я подошел к Л. Н. спросить, как ему, не нужно ли что, не накинет ли свитки. Опять отказался. Л. Н. разговаривал с Федором, спрашивал его, чье это имение слева. Оказалось, Н. С. Кашкина, сверстника, старого друга Л. Н.; с ним он на ты. Кажется, единственный из живущих, с которым Л. Н. был на ты. Он живет в Калуге, был сослан по делу Петрашевского на Кавказ. Там подружился с Л. Н.

Через несколько верст к Л. Н. подошел Сергеенко. Ему сказал Л. Н.:

— Хочу быть свободным от Софьи Андреевны. Не пойду на уступки: ни на то, чтобы с Чертковым раз в неделю видаться, ни на то, чтобы отдать ей дневники. Захочу — буду в монастыре жить. Мне это целование, притворство противно.

Л. Н. много разговаривал с Федором и уговаривал его не курить, не пить.

Уже стемнело, когда приехали в Шамордино. Остановились у гостиницы. В сенях Л. Н. встретила заведующая гостиницей мать Наталья, и Л. Н. спросил ее, где живет Мария Николаевна, его сестра; она поэтому сразу узнала Л. Н. и назвала его по имени и отчеству. Л. Н., не входя в комнату, прямо пошел к Марии Николаевне с сопровождавшей его послушницей. Мария Николаевна живет в своем доме с сестрой игуменьи и двумя келейницами.

(Со слов С. Н-ны¹¹), когда Л. Н. пришел к Марии Николаевне *, поздоровался с ней и с племянницей (поплакав на ее плече), гостившей у нее, — Е. В. Оболенской, сел в большое красное кресло, а старушка Мария Николаевна напротив его, и стал говорить:

— Ты представить себе не можешь, Машенька, в каком она теперь состоянии. — И начал вспоминать, как было, что она за ним следила, не давала ему покоя ни днем ни ночью. Рассказал, как он в голенище сапога оставил книжку записную, а наутро хватился и ее уже не нашел. Затем как (crescendo) возростала подозрительность и злоба в ней. — И наконец, теперь подумай, какой ужас: в воду...¹³. — И зарыдал.

Спросил, можно ли жить ему в Шамордине или в Оптиной.

— Я с наслаждением нес бы самое трудное послушание, только не заставляли бы меня в церковь ходить.

Мы с А. П. Сергеенко пришли к Марии Николаевне через час (чтобы проститься с Л. Н.). Застали их в радужном, спокойном, веселом разговоре. Сергеенко, пробив с полчаса, простился. Л. Н. остался еще час, так до начала 9-го часа. Беседа была самая милая, обаятельная, из лучших, при каких я в продолжение шести лет присутствовал. Л. Н. и Мария Николаевна были счастливы свиданием, радовались, уже успокоились; оживленность прошла, шел тихий, задушевный разговор, переплетенный воспоминаниями, с юмором, которого у Марии Николаевны не меньше, чем у Л. Н-ча, и рассказчица она удивительная. Не виделась брат с сестрой с лета 1909 г., когда Мария Николаевна в последний раз была в Ясной Поляне. Она приезжала каждое лето, кроме этого, последнего. Нemoшь и слабость ее удержали дома, в монастыре.

Л. Н. попросил у нее «Круг чтения», «На каждый день». Мария Николаевна предложила ему еще «Религиозно-философскую библиотеку» Новоселова, похвалив ее. Л. Н. заглянул в некоторые выпуски и, как это он умел, быстро

* Письмо Елизаветы Валерьяновны к Н. Л. Абрикосовой¹².

сорентировался, чего стоят, и они сразу понравились ему, отобрал четыре книжечки из 21 и взял их с собой.

Мария Николаевна рассказала про старца Иосифа и советовала посетить его и показала портрет его. Л. Н-чу понравился, и сказал:

— Непременно пойду (к нему) *.

Сергеенко, готовясь уехать на Лихвин ночным поездом, спросил Л. Н. о здоровье и как он себя здесь чувствует. Л. Н. похвалил и то и другое.

— Так мне здесь хорошо! Сестра меня совсем поняла.

Сергеенко в 7 ч. вечера уехал.

Л. Н. было очень тяжело узнать, что Софья Андреевна бросалась в пруд. Цель поездки Сергеенко была известить Л. Н-ча, как в действительности это произошло, чтобы Л. Н. не узнал о нем из извращенных слухов.

Л. Н. решил не возвращаться. И только на следующий день написал Софье Андреевне письмо, в котором он дает перспективу свидания через некоторое время.

После отъезда Сергеенко Л. Н. остался у Марии Николаевны до 8 ч. Был в радостном, добром настроении, несколько раз выразил удовольствие, что он здесь, и намерение подольше здесь остаться. Вечером Л. Н. в начале 9-го простился с Марией Николаевной и Елизаветой Валерьяновной и пошел в гостиницу. Записывал и в начале 10-го часа лег спать.

Л. Н. утром зашел ко мне. Спал хорошо. Его номер показался ему слишком хорошим и постель мягкой. Пожелал перейти в другой, где попроще и постель тверже, и чтобы были наши номера рядом.

30 октября. В 7.45, погода сырая. Л. Н., надевши на себя свитку и спросив послушницу, обслуживающую в гостинице, как идти на деревню и далеко ли, пошел туда. Деревня Шамордино ближе чем в версте от монастыря. Л. Н. пошел туда искать сам другое помещение. Вернувшись, сказал, что нашел квартиру у бабы Алены. «Вы ремесленники будете?» — спросила она. Л. Н. сказал, что она должна прийти, не помню с каким еще ответом, и днем спрашивал, не приходила ли.

За «Кругом чтения» попил кофею в моем новом номере и пошел в свой новый (бывший вчера моим номер), куда я перетащил его вещи, пока он ходил на деревню. Теперь нас разделяла только тонкая стена, через которую было можно переключаться.

Л. Н. позвал меня. Сидел на диване, устроив из него себе кресло, и читал одну из книжек «Религиозно-философской библиотеки» Новоселова, «О цели и смысле жизни. Часть вторая. Христианское мировоззрение».* Понравилась ему. Еще заинтересовала его книжка (сказал: «Социализм там хорошо») «Социальное значение религиозной личности». Сборник. Влад. Соловьев. Герберт Спенсер. Достоевский. Герцен. Тихомиров¹⁴.

Продиктовал (мне) письмо Новоселову:

«М. А. Новоселову, Вышний Волочок, Тверской губ.

Лев Николаевич у сестры в Шамординском монастыре нашел вашу «Религиозно-философскую библиотеку». Она ему чрезвычайно нравится, и он очень желал бы знать, продолжается ли она и сколько ее №-ов. И присылает вам свой привет — если вы его помните (добавил Л. Н.)

Д. П. Маковицкий».

«Как интересно про социализм пишет Герцен»¹⁵, — говорил Л. Н. и еще говорил не помню что про статьи Соловьева, Спенсера, Тихомирова.

В 10 ч. через стену окликнул меня. Лежал на диване и так читал.

— Чувствую слабость и вместе с тем сонливость.

Пульс, как это бывает перед припадками, 88, сильный, полный, правильный. Лицо не очень красное, но и не бледное. Обмороки случаются с Л. Н. уже пол-

* По словам Марии Николаевны, Л. Н. не пошел к старцу Иосифу только потому, что думал, что он его как отлученного от церкви не примет.

тора года обыкновенно с шестинедельными интервалами, но бывало и через три, пять, восемь недель. Причинами их нам казались то малокровие мозга, то ослабление сердечной деятельности, то вследствие переутомления литературными занятиями, посетителями, длинными прогулками, то вследствие простуды, то вследствие отравы кишечника ядами при повторном колите, то вследствие атеросклероза. Я посоветовал снять одежду, перестать читать и постараться уснуть, что Л. Н. и хотел исполнить. Л. Н. раз чихнул. Пульс еще участился, был более 90. Смерили температуру — 36,3. Приписали это состояние волнению, усталости последних трех дней и простуде по дороге. Кроме того, я приписывал его слабость вздутию живота. Вчера с большим аппетитом два раза ел щи и кашу и даже огурцы. И по яблоку жесткому, местной а-тоновки, утром и вечером. Уже вчера вечером Л. Н. был усталый. Назвал меня Душаном Ивановичем, чего никогда не случалось.

Между тем приходила два раза Елизавета Валерьяновна, второй раз с письмом А. П. Сергеенко из Подборок. Сергеенко писал, что забыл сказать, что Софья Андреевна послала Л. Н. телеграмму: «Вернись поскорей» — и подписалась «Саша».

Л. Н. зашел ко мне рассказать о нем и спросил, нет ли его статьи о социализме¹⁶.

— Хотелось бы докончить статью, — сказал. — У Новоселова читал о социализме; они ходят около того, что я говорю; недоговаривают. Надо будет договорить, докончить статью.

Но статья в ту ночь, когда мы уезжали, находилась в ремингтонной комнате в столе, куда никто из нас не заходил, и не была взята с собой.

Потом слышна была через стену зевота, такая сильная, какая бывала у Л. Н. при недомогании. Вскоре я зашел к нему. Пульс упал до 80 с чем-то (Л. Н. считал). Было начало 3-го ч. Л. Н. готовился лечь спать перед обедом, который должен был быть в 3.30 у Марии Николаевны. Л. Н. перед обедом имел привычку поспать час с лишним.

Л. Н. спрашивал:

— Была ли баба? Так и не пришла сказать насчет квартиры?

В 3.15 Мария Николаевна прислала свою пролетку за Л. Н.

В гостинице было очень тихо. Других гостей не было.

Перед нашими окнами в 30 шагах был станок, на котором молодой кузнец подковывал лошадей.

Л. Н., смотря в окно:

— Как бьет!

Кузнец бил жестоко кулаком лошадь по ляжке. Я пошел ему сказать, чтобы не бил.

Л. Н. всегда всякое горе, несчастье видел и чувствовал в высокой мере, а в последние месяцы и именно в эти дни особенно сильно. Что я еще замечал у Л. Н.: стал более решителен, менее позволял себя обслуживать и стал более бережлив. Мечтал и говорил о предстоящем упрощении внешнего образа жизни. И не тяготился тем, что в эти дни мало работы.

За обедом у Марии Николаевны Л. Н. сначала был оживленный, возбужденный, потом стал спокоен, весел, шутлив. Мария Николаевна рассказала про воров, пробравшихся ночью к ней*, и про «врага». Кто-то ночью ходил по коридору, ощупывал стены, ища дверь. Дверь была заперта слабым крючком, немного напер бы — и она поддалась бы. Но он не отыскал ее. Утром в коридоре не оказалось следов.

— Говорят, что это был «враг», — закончила рассказ Мария Николаевна.

Л. Н. после, когда уходил, не мог выбраться из коридора, не мог найти двери и сказал: «Я тоже запутался, как враг»**.

* Она высунула им в форточку 10 р., и они ушли.

** Мария Николаевна была огорчена тем, что это были последние слова, сказанные им ей.

Пробыли у Марии Николаевны в беседе до 7-го ч. Л. Н. стало холодно, накинули ему на плечи, кажется, фуфайку. На это не обратили особенного внимания, т. к. Л. Н. дома очень часто зяб по вечерам, и если не сидел, закинувшись на спинку, в кресле, а играл, например, в шахматы, наклонившись вперед, то ему накидывали фуфайку.

Я в этот вечер был очень усталый, дремал. Разговоров не помню.

В 7-м ч. пошли пешком домой. В гостинице застали только что приехавшую В. М. Феокритову с вещами. Александра Львовна пошла к Марии Николаевне, Л. Н. пошел за ней. Так как уже было довольно темно, я боялся, что Л. Н. собьется с дороги, и в 100 шагах пошел следом за ним. И действительно, Л. Н. пропустил дом Марии Николаевны, направился дальше влево. Я догнал его и вернул и тогда уже вместе с ним вошел к Марии Николаевне.

Александра Львовна после пережитых ею вчерашних волнующих и бурных событий ночью тайком поехала за Л. Н.-чем, ехала окружным путем на Калугу, была еще возбуждена путешествием. Встревоженно рассказала подробно про поведение Софьи Андреевны, когда та узнала об уходе Л. Н., про созыв братьев и сестры, их решение касательно матери и их отношение к уходу отца. Об этом привезла от них и от Софьи Андреевны письма Л. Н.-чу. Александра Львовна передала Л. Н. письма Софьи Андреевны, Сергея Львовича, Татьяны Львовны, Ильи и Андрея Львовичей и письмо Черткова¹⁷. Андрей Львович писал с точки зрения матери, как ей тяжело.

Александра Львовна говорила, что они больше с этой точки зрения рассуждают, а как тяжело отцу, это им как с гуся вода. Один Сергей Львович писал, чтобы Л. Н. не возвращался и что он берет мать в Москву и там окружит ее медицинским надзором; поручил сказать, что вызванный психиатр Петров из Тулы не ручается за то, что Софья Андреевна не сделает покушения на самоубийство. Братья поручили это сообщить отцу, и Александра Львовна, тогда сама напуганная возможностью самоубийства матери и чтобы снять с себя ответственность, об этом сказала отцу.

Александра Львовна сама знала, что Софья Андреевна никогда серьезно не станет покушаться на самоубийство, что она слишком любит себя, эгоистична. Мы все это знали, но тогда никто не высказал этого.

Л. Н. написал Софье Андреевне письмо.

Мария Николаевна и Елизавета Валерьяновна очень не хотели, чтобы Софья Андреевна настигла Л. Н.-ча. «Она его доконает», — сказала Мария Николаевна. Л. Н. твердо решил не возвращаться, по крайней мере, довольно долго домой.

Александра Львовна рассказала, что Софья Андреевна хочет непременно поехать за Л. Н.-чем; что разведывают (через губернатора, через своего человека и через корреспондентов «Русского слова»), где находится Л. Н., и что предполагают, что в Шамордине, и можно ожидать приезда Софьи Андреевны и Андрея Львовича.

Л. Н. сказал, что приезду Андрея Львовича был бы рад, что он бы его убедил бы, что ему нельзя вернуться, нельзя быть вместе с Софьей Андреевной ради нее и ради себя.

Когда Александра Львовна высказала опасение, что Софья Андреевна уже в пути сюда, что утром прибудет, что надо собираться и утром в другое место уехать, Л. Н. сказал:

— Надо обдумать. В Шамордине хорошо.

Рассказал про квартиру в деревне, где поселится.

— Не хочу вперед загадывать.

Пришла Варвара Михайловна, говорено было много про состояние Софьи Андреевны и про тревогу в Ясной Поляне.

На ней и особенно на Александре Львовне было видно, какой панический страх овладел ими.

Александра Львовна и Варвара Михайловна настаивали на том, что надо бежать дальше, и поскорее. Она оставила своих ямщиков до утра, чтобы с ними поехать к 5-тичасовому поезду на Сухиничи—Брянск.

Л. Н. не хотел. Он сидел, накинув на себя фуфайку, холодно было ему, и был молчалив после прочтения писем.

Мария Николаевна и Елизавета Валерьяновна тоже не хотели, чтобы Л. Н. уезжал.

Когда Л. Н. вышел в другую комнату, Елизавета Валерьяновна вставила даже: «А может быть, ему и нельзя ехать. Он сегодня слабость чувствовал».

— Можно ли ему ехать?—спросила Елизавета Валерьяновна, обращаясь ко мне.

— Можно,— ответил я,— слабость прошла.

Все-таки Л. Н. решил пока не ехать, потому что устал и хочет спать, а утром решить.

В 8 ч. ушли от Марии Николаевны; Л. Н. не простился с ней, не намереваясь уезжать.

По дороге в гостиницу Л. Н. спрашивал, не приходила ли с ответом баба, у которой квартиру нанимал, и когда узнал, что нет, решил, что можно остаться в гостинице, платя по рублю в сутки.

Л. Н. вошел в свою комнату и стал писать. Через минут 20—30 не знаю, по какому поводу и на зов ли или от себя, вошла к нему Александра Львовна. Нашла его у стола и под открытой форточкой с непокрытой главой, пишущего. Просила позволить закрыть форточку, Л. Н. не согласился. Тогда просила его перейти писать в соседний мой номер, и пусть тут (в его комнате) форточка останется открытой. И на это не согласился.

Александра Львовна пощупала пульс; был частый; насчитала что-то 90, но мне тогда об этом не обмолвилась.

Затем вошел я к нему из-за этого же, но безуспешно.

Мы перешли в мою комнату, где между тем был поставлен самовар, и стали громко разговаривать — главное о том, куда направить путь. Все мы были очень взволнованные и усталые.

Намечали Крым. Отвергли, потому что туда только один путь, оттуда — некуда. Да и местность курортная, а Л. Н. ищет глушь. Говорили о Кавказе, о Бессарабии. Смотрели на карте Кавказ, потом Льгов.

Л. Н. позвал нас к себе. Разложили карту у него на столе. Тут Александра Львовна незаметно закрыла форточку. Л. Н. рассматривал Кавказ, а именно Грозный и его окрестности, вспоминая знакомые места, сказал:

— Я чую, что это опять увижу.

Говорил про своего друга Раевского. Не помню, в связи с Кавказом ли или в связи с Рязанской губернией. Еще вспоминал не помню что — про лошадь кабардинца, которую он купил.

Ни на чем определенно не остановились. Скорее всего на Льгове, от которого в 28 верстах живет Л. Ф. Анненкова, близкий по духу друг Л. Н. Хотя Льгов показался нам очень близко, Софья Андреевна могла бы приехать, и тогда она ни на шаг не отстанет от него.

Поезд на Льгов (на Сухиничи, Брянск — мы думали, что надо туда ехать, потому что на той карте, которой мы пользовались,— на карте официального указателя Брюля — Льгов ошибочно нанесен на линии Брянск — Артаково вместо Курск — Артаково) в 5.19 утра. На Горбачево же 7.40 утра.

Л. Н. ничего не решил. Отложили отъезд до завтра. Л. Н. сказал, что «утром решим». теперь он устал, хочет спать.

Л. Н. остался в своей комнате и еще писал.

Александра Львовна, Варвара Михайловна и я в соседней комнате до 11 шумно разговаривали за чаем. Л. Н. приблизительно в это время без чего-то лег. Я занимался до 1-го ч. и слышал его, как он ворочался в постели.

31 октября. В начале 4-го ч. Л. Н. вошел ко мне, разбудил; сказал, что поедем не зная куда и что поспал 4 ч. и видел, что больше не заснет, (и поэтому) решил уехать из Шамордина утренним поездом дальше. Л. Н. опять как и под утро перед отъездом из Ясной, сел написать письмо Софье Андреевне, а после написал и Марии Николаевне. Я стал укладывать вещи. Через 15 минут Л. Н. разбудил Александру Львовну и Варвару Михайловну. Они продолжали укладываться, я же пошел к Марии Николаевне. Разбудил ее дочь Елизавету Валерьяновну и сообщил ей, что Л. Н. решил уехать и просил для него более удобную пролетку Марии Николаевны. Но тут оказалось, что без разрешения на это игуменьи, монастырских лошадей брать нельзя, в деревню же посылать, т. е. за черту монастыря, тоже нельзя без разрешения игуменьи; ночью тоже никакой из послушниц идти нельзя, а игуменья больна, жалко будить ее, да и пока этого добьешься, время пройдет.

Пришлось сделать так: идти на скотный двор, разбудить оставленных двух ямщиков, а третьего ямщика нанять в деревне, послать за ним работника. А пролетку Марии Николаевны прислать за ней же, чтобы она поехала в гостиницу проститься с братом.

Ямщики ужасно медлили с подачей лошадей. Было почти шесть, когда Л. Н. и я сели в экипаж. Было туманно, сыро, температура могла быть на точке замерзания, безветренно, темно. Л. Н. был в поддевке, меховой шапке, башлык около шеи, свитку не хотел надеть. Я хотел ему накрыть ноги — почти крикнул на меня, не позволил. А ехал в одних сапогах, зимние калоши должна была Александра Львовна упаковать по его поручению — не хотел их надеть.

Мы с Л. Н. поехали. Александра Львовна с Варварой Михайловной остались ждать своего извозчика. Они выехали через час после нашего отъезда, ехали очень быстро. Мария Николаевна, приехавшая проститься с Л. Н., их застала еще. Она приняла живое участие в Л. Н., не жалела, что не повидалась, а сейчас же стала говорить о дальнейшем, что будет с Л. Н.

Л. Н. сидел, не опираясь (на спинку). Спинка была довольно низка, и была на ней связка, чтобы на нее опираться.

Был мрачен, молчалив, только изредка понукал извозчика ехать быстрее. Я еще раз попробовал накрыть ему ноги; не позволил, на полдороге сам себя накрыл свиткой.

Впереди ехал ямщик с вещами, у него лошадь оказалась шустрее, но т. к. он не особенно торопился, Л. Н. сказал нашему ямщику, чтобы он обогнал его. На спуске с горы в деревню N мы догнали обоз, в большом беспорядке медленно двигавшийся, который загородил всю дорогу. На замерзшей дороге лежал тонким слоем снег, по которому колеса тяжелых возов скользили не ворочаясь. Нам пришлось его объезжать по широкой канаве. Начинало светать. Мы ехали под страхом встретить Софью Андреевну, которая могла приехать в Козельск в 6 ч. Я предложил поднять верх нашей пролетки. Л. Н. не согласился. (Я сказал ямщикам, что, если будут встречные спрашивать, кого везут, чтобы не отвечали.)

Л. Н. спросил, как далеко к Анненковым от станции Льгов, и сказал, что по дороге можно остановиться отдохнуть.

Л. Н. спросил ямщика про жизнь ямщика, того, который привез их третьего дня, и про жизнь его самого. И спрашивал, поспеет ли к поезду, не видать ли Александры Львовны и Варвары Михайловны, которые остались в гостинице в ожидании своего ямщика. Подъехали к самому Козельску, а их все не было видно. Мы усумнились, что поспеет к поезду, но ямщик утверждал, что да.

Л. Н. намекнул ввиду невероятности поспеть к поезду, не остановиться ли в гостинице, и спросил ямщика, какая в Козельске гостиница.

Я заметил, что тогда под вечер в 4.50 можно будет дальше ехать.

Л. Н.: В том поезде (вагоне), в котором сюда приехали?

И в голосе слышно было, что мысль о том страшна ему. И никто из нас не поручил ямщику свернуть к гостинице. Догадайся я спросить Л. Н.-ча, как он себя чувствует, может быть, Л. Н. признался бы в своем недомогании. Л. Н. все время сидел прямо, не опираясь, не ища, как бы поудобнее сесть, не стонал, не

вздыхал, ничем не проявлял утомленности или того, что нехорошо себя чувствовал. Но я не обратил внимания, не подумал, что Л. Н., может быть, по слабости хочет остановиться, и мы не останавливаясь поехали на вокзал. Поезд подъезжал.

Ямщик погнался лошадей и остановился у самого подъезда.

Когда Л. Н. слез с пролетки и стал ногой на низшую ступень каменной лестницы, он слегка пошатнулся.

Я тогда это приписал торопливости и оцепенению ног (и спешке) и что поэтому он нетвердо ступил.

Поезд должен был стоять восемь минут. Мы сели в буфет подождать, подъедут ли Александра Львовна и Варвара Михайловна.

Не прошло трех минут, как и они прибыли. Поспешили сесть в вагон второго класса. Пустого купе не оказалось, Л. Н. сел к одному белевскому интеллигенту, приятному человеку. Он сразу узнал Л. Н. и вскоре ушел, чтобы ему не мешать.

Билетов у нас купленных не было. Стали совещаться, куда ехать. На Льгов через Горбачево сообщения не было, пришлось бы ждать восемь часов в Горбачеве. Здесь ждать ввиду близости Ясной Поляны и возможности, что кто-нибудь туда протелеграфирует, нельзя было.

Л. Н., влезая в вагон, обо что-то поранил себе палец. Пришлось перевязать.

Александра Львовна согрела кофею, Л. Н. выпил стакан с сухарями, после она сварила овсянку, Л. Н. много и с аппетитом ел, и два яйца всмятку. Потом разговаривал, читал и, кажется, продиктовал Александре Львовне письмо.

В Белеве слез компаньон и перестали входить любопытные глядеть на Л. Н. Стало просторнее, спокойнее. Мы вещи разложили и опять стали советовать, куда ехать. Пока не решили ничего и взяли билеты до Волова. За Горбачевом опять советовались и остановились на Новочеркасске. Там у племянницы Л. Н.-ча отдохнуть несколько дней и решить, куда окончательно направить путь — на Кавказ или, раздобыв для нас, сопровождающих Л. Н., паспорта («У вас у всех видны, а я буду вашей прислугой без вида», — сказал Л. Н.), поехать в Болгарию или в Грецию. Л. Н. намечал обе эти страны, предполагая, что там его не знают. Он не помнил или не знал, как он известен и в Болгарии. Ни на одном языке, не исключая русского, английского, чешского, нет столько переводов последних писаний Л. Н., как на болгарском. Но никто из нас тогда и не думал объяснять Л. Н.-чу, что ему скрыться надолго нигде нельзя. Мы тогда думали только о том, чтобы хоть несколько недель (а пока хоть несколько дней) не быть разысканными, догнанными.

Впрочем, Л. Н. не хотел вперед загадывать. Говорили о том, чтобы около Новочеркаска неподалеку в деревне поселиться.

В Горбачеве и раньше на станциях заметили сыщика. Прочли сыщичский номер «Русского слова» с фельетоном Дорошевича «Софья Андреевна»¹⁶. Сплошное вранье. Но оно на руку Софье Андреевне. В Горбачеве мы прочли сенсационную новость огромными буквами в «Русском слове»: «Уход Л. Н. из Ясной Поляны». Целая страница была ему посвящена. Порядочно телеграмм сыщичских, очень неприятных. Л. Н. уходил тайком из дому, ищет уединения, скрытия, а редакция «Русского слова» выслеживает его, сообщает телеграммы из Щекина, Горбачева, Козельска, где видели Л. Н. Множество пассажиров и кондукторов получали «Русское слово» и другие московские газеты и с таинственным любопытством заглядывали в купе Л. Н. из коридора вагона и с перрона.

Л. Н. было неприятно узнать об этой погоне за ним газетных шерлоков холмсов и настоящего сыщика, который по распоряжению тульского губернатора ехал с нами в поезде и обнаружился тем, что чуть ли не на каждой станции слезал и становился против нашего вагона, смотрел упорно в окно и несколько раз переодевался*.

* В этом же поезде ехал корреспондент «Русского слова» Орлов. Мне очень жаль, что он в Астапове, видя, что Л. Н. заболел, не назвался помочь нам (не предложил своих услуг).

Из Горбачева отправили письмо Л. Н. к Софье Андреевне и телеграмму такого содержания: «Уезжаем, не ищите. Пишу пополудни». Л. Н. лег (на диван) и больше почти что не вставал*. Лежа читал и беседовал.

В вагоне Л. Н. читал «Круг чтения» и книжку Новоселова «О религии и смысле жизни», и понравился ему конспект из его (Л. Н.) статьи. Сидел больше один в купе. Александра Львовна к нему входила раза два, и Варвара Михайловна, и я. Л. Н. до сих пор чувствовал себя довольно хорошо, а затем в 5-м ч. Л. Н. стал сонлив и жаловался на холод, познабливание, просил потеплее накрыть его. Пульс 88 (правильный и не очень полный и сильный), т° 38,1; холод в левой лопатке и больше ничего. Никакой боли в груди, кашля, удушья.

Мы накрывали его одеждой, укрывали ему особенно спину, которая зябла больше всего, как всегда у Л. Н. Озноб усиливался, Л. Н. дрожал и стонал. В 6 ч.— 38,5 и перебои 1 : 22, в 8 ч.— 39,5°.

Я пошел в отделение, где сидели кондуктора, все уже наши знакомые, за теплой водой. И спросил их, какие города будут по дороге, где можно в гостинице остановиться. Мы ехали рязанской равниной. Городки редко попадались, да не у самой линии железной дороги. Данков — в двух верстах. Раненбург тоже вроде того. Они советовали до Козлова доехать.

Л. Н. духом был бодр.

Жар у Л. Н. поднимался. Я опасался воспаления легких и счел необходимым на первой большой станции остановиться. В 6.35 приехали в Астапово. Я поспешил к начальнику станции, который был на перроне, сказал ему, что в поезде едет Л. Н. Толстой, он заболел, нужен ему покой, лечь в постель, и попросил принять его к себе, сразу же сказав, что у Л. Н., вероятно, воспаление легких и придется пробыть ему дольше недели; спросил, какая у него квартира. Начальник ответил не сразу и отступил назад на несколько шагов — он мне не поверил. Рядом стоявший кондуктор подтвердил ему мои слова, и тут он сразу охотно согласился. Я спросил еще, чисто ли у них (пол оказался мытым вчера). Я попросил его остановить поезд и поспешил в вагон. У двери в купе нашел встревоженную Варвару Михайловну.

Я ей сказал, что хочу предложить здесь остановиться и чтобы она поддерживала. Вошли в купе к Л. Н., где была и Александра Львовна. Я сказал Л. Н-чу, что ему, больному, нельзя рисковать продолжать путь, что надо здесь слезть и что можно остановиться в квартире начальника. Варвара Михайловна и Александра Львовна дружно попросили Л. Н-ча согласиться, и он, не сказав слова, быстро сам приподнялся; одели его, приподняли воротник и, слегка поддерживая, повели в дамский зал ожидания. Похолодало, и дул острый ветер. Л. Н. не хотел, чтобы его поддерживали, в буфет вошел один и оттуда в пустой дамский зал сжидания. Сел на край узкого дивана, втянул шею в воротник, наклонил голову вперед, засунул руки в рукава (как в муфту) и сейчас стал дремать. Голова отвисла набок. Я приставил к ней подушку, Л. Н. отклонил. Л. Н. кутался, втягивался от озноба в меховое пальто, иногда глубоко стонал. Лечь на диван не хотел. Просидел так минут 20, пока Варвара Михайловна распорядилась в квартире: приготовила кровать в гостиной у Озолиных. В это время уходили то я, то Александра Львовна на квартиру. И. И. Озолин еще был занят, поезда еще не отошли. В коридоре толпа господски одетых людей, я принял их за пассажиров, а они были железнодорожные служители. Знать мне это, я вызвал бы охотников мне помогать. Но так мы оставались одни с Л. Н., приходили мысли: надо вынести мебель из комнаты, выбить из нее пыль. Надо бы принести сюда кровать, Л. Н-чу одетым лечь на нее, накрыть его и понести. Надо печку топить, греть кирпичи к ногам. Но все эти мысли некому было сообщить, поручить исполнить, а они как являлись, так и исчезали. Догадайся предложить тогда свои услуги ехавший с нами корреспондент «Русского слова», он мог много помочь. Догадайся И. И. Озолин поручить свои занятия товарищам, он мог бы нам услужить.

* По пути некто Л., тульский помещик, хотел дать (или дал) телеграмму Софье Андреевне о том, где Л. Н.

Публика в коридоре вокзала и на перроне почтительно расступилась и снимала шапки. Торжественная тишина. Из нее вызвался помочь только один служащий железной дороги, он помог провести Л. Н. в дом. Он сзади поддерживал его под мышки. Отец его (фамилии не запомнил) — уроженец Ясной Поляны. Когда вели Л. Н. по лестнице вниз, подошел старик, сторож железной дороги, и поддерживал Л. Н. спереди. Л. Н. сильно падал вперед, вообще шел с большим трудом, чем из вагона на вокзал.

В гостиной у Озолиных сел в кресло и просидел так почти полчаса. Отказался лечь в постель — боялся холодной постели. Термометр был ему холоден. Все продолжал сидеть в кресле в пальто на меху и шапке.

Просил позвать хозяина. Поблагодарил его за приют и извинялся за причиняемые ему и его семье неудобства. Добродушный, простосердечный И. И. Озолин растрогался. Потом просил позвать хозяйку и ее благодарил и просил иметь терпение. Она высказала искреннее сожаление о том, что не может лучше услужить, более спокойнее устроить, дети кричат, будут беспокоить (они в это время громко играли в соседней столовой).

Л. Н.: Ах, эти ангельские голоса, ничего.

Л. Н. лег, предложили горячего чаю с вином. Л. Н. выпил очень мало (треть чашки), больше пил нарзан с красным вином и еще больше чистый нарзан. Озноб прекратился. Никакой боли в груди, ни давления, стеснения в груди, ни удущия. Только озноб, сонливость, слабость. Кашлянул три раза, как при ларингите. В 11 ч. температура упала с 39,7 до 39,3, пульс 91 с перебоями, неполный, скорее слабый. Л. Н. глубоко дышал.

В 11 ч. стал потеть и бредил, что приедет Софья Андреевна, догонит его. Около 12 ч. Cheyne-Stokes* дыхание. Л. Н. потерял сознание (обморок), стал шевелить губами. Мышцы около глаз, уст и др. лицевые стали клонически стягиваться, и слабое подергивание рук. Припадок продолжался 40 секунд. Во время припадка лицо было бледное. Глубокий сон. Через четверть часа еще один слабый припадок; подергивание мышц лица секунд пять.

Ночью очень сильно потел, болей никаких, только озноб, сонливость, слабость. Боли в ногах появились. Спал плохо. Со 2-го ч. ночи спал, но плохо, скорее дремал, температура постепенно падала. В 2 ч.— 37,5.

Озолин — латыш, его жена — саратовская немка. Я просил начальника станции взять отпуск и перебраться с семьей куда-нибудь. Нужен воздух, тишина, место для нас, ходящих за Л. Н.-чем. Но ему и особенно его жене это показалось до того неожиданным; покрутила головой: это невозможно.

1 ноября. Л. Н. проснулся в 9.30 утра, казался бодрым, только был бледен, но сам чувствовал большую слабость. Когда температура упала до 36,2, Л. Н. говорил, что ему лучше и что можно ехать дальше. Когда начала снова повышаться, Л. Н. стал говорить, что это, может быть, и смерть и что это хорошо и просто...

Температура вскоре поднялась до 37,6. Продиктовал Александре Львовне одну мысль о боге. Вскоре затем почувствовал озноб. В 10 ч.— 38,1, пульс 88.

Между 10 и 11 продиктовал длинное общее письмо Сергею Львовичу и Татьяне Львовне. Потом просил прочесть «Круг чтения». Еще потом в 12.25 продиктовал другую мысль о боге. В это время смерили t° (в 12.25). Он спросил какая. Ответили: 39,7, пульс 94, 8 перебоев.

— Вот как хорошо, — сказал Л. Н.

Стонал, но, кроме как на озноб, ни на что не жаловался. Сонливость.

Утром зашел в столовую местный владелец аптекарского магазина по поручению какой-то газеты спрашивать про состояние здоровья Л. Н. Я отказался отвечать. Александра Львовна отказала другому. Но они узнавали через Озолина, но расспросы Озолина нас так не беспокоили. При дальнейшем течении болезни

* Своеобразная форма дыхания, получившая название от имени описавших его врачей.— *Ред.*

многочисленные телеграфные и письменные запросы, корреспонденты*, друзья, родные и все из местной публики, интересующиеся ходом болезни Л. Н., очень отвлекали, отягощали докторов. Требовалось постоянное внимание к Л. Н.-чу, а тут отрывают. Все мы, окружавшие Л. Н., были напряженные, взвинченные, усталые.

Приходил корреспондент. Я его, а Александра Львовна другого просили не приходите, не беспокоить нас. Л. Н. не желает, чтобы газеты давали о нем сообщения, но известия все же они получали через Озолиных. Озолину доставили в этот день четыре телеграммы от «Русского слова», умоляли его (телеграфировать) сообщать и прислали ему 100 р., которых он не принял, узнав от нас, что Л. Н. не желает, чтобы о нем публиковали сообщения. Он, бедняга, не знал, как поступить. Эти телеграммы озадачивали, волновали и рассеивали. Вместо того чтобы сосредоточиться на прислуживании...**.

В 4 ч. пополудни t° — 39,8, пульс — 106, 15 перебоев, дыхание 30. Сонливост. Пил мало (нарзан); весь день ничего не ел.

В 6 ч. вечера пот. Л. Н. очень стонал, но болей, стеснений в груди никаких не ощущал. Не бредил, не метался. Пил нарзан. Дремал. В легких, в обоих нижних долях сзади, обильно сухие и влажные хрипы. Бронхит. Л. Н. два раза кашлянул грудным кашлем, сухо. Аускультация*** — звонкий звук. Сегодня приходил Стоковский¹⁹, был очень любезен, мил.

В 5 ч. получена успокоительная телеграмма от Черткова о Софье Андреевне. Л. Н. было приятно, что Софья Андреевна спокойнее. Пожелал, чтобы приехал Чертков. Просил свою статью «О социализме».

Александра Львовна спрашивала, можно ли будет завтра или послезавтра дальше ехать, и переговорила с Озолиным о заказе отдельного вагона. Я ответил: «Дай бог, чтобы можно было через 7—14 дней».

Вечером, когда Варвара Михайловна хотела посмотреть температуру, Л. Н. сказал:

— Нет, вы мне посветите. Я сам люблю смотреть...

Посмотрел на термометр и, увидя, что температура с 38 не падает, сказал:

— Ну, мат! Не обижайтесь...

В 10 ч. 38,2, пульс 96, и дыхание участилось. Согревающий компресс.

2 ноября. В ночь с 1 на 2 ноября к учащению дыхания прибавились еще боль в левом боку и кашель. Тут стало воспаление уже очень правдоподобным, но аускультацией и перкусией**** еще нельзя было его определить.

В 2 ч. ночи — 39,2, пульс 96 и такая же t° до утра. (Пульс с перебойми.)

Ночью Л. Н. держал руки, сложенные как на молитву. Очень мало говорил. Температуру мерить, пульс щупать охотно дал. Согласился на прослушивание охотно, так же на компресс. Дремал, но легко просыпался. Надо было проветривать комнату. Принесли ширмы, обставили ими кровать Л. Н. и открыли форточку в той же комнате, в которой лежал. Вечером опять нашел дым в комнате. Дело было не в щелях, которые печник замазал было, а в неумелой топке. Мы вентилятор не закрывали, а надо было его закрывать на время, пока не перегорели дрова; девушка недостаточно перемешивала уголь, перед тем как закрыть трубу; дымилось и из третьей комнаты, где девушка положила дрова так, что они торчали из дверей, и из этих торчащих концов пламя и дым валяли в комнату. Печник починил печь на второй или третий день, но еще день прошел, пока выучились закрывать вентилятор на печи в то время, пока топили. Топление, вентилятор. Ночью тараканы и мыши шумели. Есть и клопы—я снял с рубашки Л. Н.

Утром в 9 ч. дыхание 38, t° 39,2. Дыхание пустое, вся грудь подымалась. Голос у Л. Н. ослабел и получил звук грудной, слышно было, сколько усилий и болей стоило ему говорить.

* Корреспондентов наехало 271.

** Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

*** Выслушивание (*лат.*).

**** Выстукивание (*лат.*).

Допустили ошибку, что с самого начала не пригласили сиделку к Л. Н. и что мы сами не упорядочили свое дежурство, а иногда всё трое толпились, входили часто, мешали Л. Н. спать, и что не наняли прислуги.

Л. Н. был нужен отдых, а приехали В. Г. Чертков с А. П. Сергеенко.

Л. Н. был сосредоточен, озабочен, молчалив и слаб.

Когда первое свидание и беседа с Чертковым кончилась, Владимир Григорьевич вышел*. Л. Н. хотел уснуть и скоро стал равномерно дышать. Сон его был прерван падением мешка с горячей водой, который был положен на стул близ кровати. Были два маленьких стола в комнате, но они были завалены вещами, так что приходилось занимать стулья. Часто Л. Н. будила длинная процедура мытья полов, открывание двери без ручки, которая с трудом отворялась и со щелчком; так как все были невыспавшиеся, то лишний раз ходили и болтались, а нам приходилось выходить и входить постоянно: за водой для питья, за теплой водой. Был на всю семью и для нас всего-навсего один самовар; одно ведро на весь дом; не было посуды, не сразу в первые же дни обзавелись всем своим, а постепенно. Сначала не догадались, да и было неловко покупать новые, т. к. прислуга и хозяева любезно предлагали — у них охота была делиться, — но вещей никак не хватало для удовлетворения обеих сторон.

Дня три-четыре не было у нас посыльного, не распорядились насчет дежурства, чтобы, кроме дежурного, никто не входил.

Доходили тревожные слухи, что полиция высылает всех, кто...**.

Первый вечер и следующие два дня вся семья начальника (пять детей) и прислуга продолжали жить все вместе; нас четверо, на третий день еще Чертков с Сергеенко. Ночевало нас с ночи со 2 на 3 ноября 14 человек, да, кроме того, еще кто-нибудь постоянно бывал из сыновей Л. Н., или врачи, или из друзей.

Во временной столовой была устроена канцелярия. Туда получалась огромная корреспонденция. Какая там шла работа, видно из того, что на телеграммы и почтовые марки тратилось по 20 р. в день. Там была и трапезная и ночлежная. Туда весь день и ночь стучали в форточку, и подавали почту, и спрашивали известия. Сергеенко был секретарем, экономом, привратником. Постоянно приходили справляться о состоянии здоровья.

Л. Н., поговорив перед полуднем с Владимиром Григорьевичем, приехавшим в 9 ч., вздремнул.

В 12.30 дня в мокроте — кровь. Воспаление стало несомненным.

Когда Л. Н. был один, все время дремал, легко просыпался, в доброй памяти. Сегодня, как и вчера, немного диктовал: мысли о боге и письма.

Вечером в семь приехал Сергей Львович и привез другую, более просторную кровать.

Около Л. Н. дежурили, чередуясь, Александра Львовна, Варвара Михайловна и я, теперь и Владимир Григорьевич. Приходил Стоиковский. Приезд Черткова внес успокоение, он твердо убежден, что Л. Н.-чу хватит сил перенести эту болезнь. Александра Львовна не теряется.

Л. Н. серьезен и понимает опасность и, наверно, сознает, насколько ослаб, насколько болезнь серьезна.

Он нежен, смирен, старается угождать всем во всем, хоть и с напряжением сил, но не показывая этого, соблюдая душевное спокойствие, и был очень благодарен за всякое внимание, услугу.

Т° между 2 и 5 ч. пополудни — 39,5, после упала до 38,8.

Пожелал градусник и прочесть газеты. Владимир Григорьевич прочел статью Хирьякова²⁰ (о Л. Н. и еще другие), Л. Н. еще просил не о себе, «что попадет» политического.

* В. Г. Чертков описал свои впечатления, наблюдения и беседы с Л. Н. в «О последних днях Л. Н. Толстого» (СПб. 1911). Отсылаю читателя туда (что там написано, я не буду повторять).

** Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

Сзади ниже лопатки, влево звук глуше, грохот крупных и малых пузырей. Вправо под лопаткой звук тоже немного глухой, хрипы. В этом же (правом) боку стал чувствовать легкую боль. Второй фокус воспаления.

В 6.30 вечера t° 38,8, дыхание 38. Я проветривал в это время, виню себя. Потом в 7 ч. заснул. Слышно охал: «Боже мой, боже мой». Я в первый раз слышал от стонущего Л. Н. эти слова.

Александра Львовна: Не вызвать ли Никитина?

В 7 ч. вечера приехал Сергей Львович, несколько часов не входил к отцу, потом вошел, когда он дремал, не показываясь ему, чтобы новой встречей не утомлять его и, главное, чтобы думал (щадить), что не знает, где находится. Только где-то после полуночи, когда Л. Н-чу была нужна помощь, Сергей Львович приблизился, и Л. Н. узнал его, обрадовался его приезду и разговорился с ним.

— Как ты меня нашел?— спросил его Л. Н.

Сергей Львович поцеловал его, этим Л. Н. был очень тронут.

Получили два извещения: Озолин — что ночью приедет экстренный поезд, а я (от Куприянова) — что приедут Софья Андреевна с врачом-психиатром и фельдшерницей, с Андреем, Михаилом, Татьяной Львовной и В. Н. Философовым²¹.

Решили Л. Н-чу о приезде не говорить и Софью Андреевну не допускать к Л. Н-чу. Мы еще боялись ее, не решались загородить ей дорогу. Тут Озолин, полюбивший Л. Н., вызвался не впустить ее в квартиру.

В 7.45 Л. Н. проснулся, t° 38,5. Впадал в забытие.

В 9.40 t° 39,2, пульс 114. Томился, изжога. Пульс — каждый третий перебой. Принял четыре капли строфантовой настойки. Через 7 мин.— 110, перебоев менее. В 10 ч. ночи — 140. Позвал Алешу Сергеевну и поговорил с ним о... *.

Когда Л. Н. спросил меня, какой пульс, и я сказал, что 110, попросил часы и сам стал считать, насчитал 80 (перебои не дали ему правильно считать пульс).

В 10.20 предложили кофе. Л. Н. не хотел пить, боясь усиления изжоги. По той же причине сегодня не пил молока и ничего не ел.

Хотя ободряем друг друга, особенно Владимир Григорьевич, сегодня все мы, окружавшие Л. Н., скрываясь один от другого, исплакались.

В 12.10 ночи приехал экстренный поезд с одним вагоном (санитарным: половина второго, половина третьего класса). Я пошел переутомленный встречать и сообщить Софье Андреевне о положении Л. Н.

Софья Андреевна имела не свой деловой вид (и такой, какая она есть), а какой-то играющей роль нерешительной, несмелой. Была бледна. За ней следили, прерывали ее с нетерпением: «Мамá, не волнуйся».

Софье Андреевне я рассказал, что у Л. Н. воспаление, которое в этом возрасте обыкновенно смертельное, но Л. Н. в последние пять лет два раза легко перенес бронхопневмонию, сил еще много, не безнадежен. Софья Андреевна заговорила о свидании с Л. Н., на это я сказал, что этого не может быть, что Л. Н. третьего дня бредил тем, что она его догонит. Софья Андреевна упрекала меня, почему я тогда не разбудил ее, что она бы обласкала его и он не уехал бы и что это он навлек на нее такой позор, жену бросил, она ему ведь ничего не сделала: «Только вошла в кабинет посмотреть, у него ли дневник, который пишет, не отдал ли и его, и еще, услышав шум, заходила и спросила: «Левочка, аль ты нездоров?» «Изжога, миндаль принимаю, не мешай мне», — ответил злобным голосом, досадуя. Я долго стояла у двери. Сердце у меня билось. Потом, услышав, что потушил свечу и ложится спать, я ушла. Как это я крепко заснула, что не слышала, как он ушел».

Если Л. Н. выздоровеет, в чем Софья Андреевна не сомневается, и если поедет на юг... **.

* Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

** Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

Татьяна Львовна, Андрей, Михаил и Вл. Философов были усталые и встревоженные, озабоченные положением и отца и матери. Успокаивали мать, но нервно, с укорами Софья Андреевна выставляла причиной свое нездоровье... * а потом созналась: «Я пересолила».

3 ноября. Вчера днем Л. Н. страдал от сильного жара (39,6). Ночь на 3 ноября до полуночи спал очень плохо, почти все время бредил, кашлял, снова отхаркнул ржавую мокроту, стонал, страдал от изжоги. Перед полуночью жар постепенно упал до 37,7, после полуночи спал спокойно.

Температура утром в 6 ч.— 37,2, дыхание 36, пульс 90.

Температура утром в 9 ч.— 37,2, дыхание 39, пульс 104—120, перебои, слабый. В 10.20—^т 36,7.

Хотя Л. Н. значительно ослабел за время болезни, по два дня ничего не ел, мало пил, все-таки физических сил у него удивительно много. Третьего дня и вчера мало пил. Не чувствовал жажды. Сегодня соглашается пить для того, чтобы восстановить потерянную телом в жару жидкость. Душевно бодр и спокоен. Согласился пить шампанское и полоскать им рот, принимать ревеня, соду (от изжоги), компрессы.

Опять пил нарзан и обыкновенную воду.

Присил обмыть лицо и руки. Александре Львовне, когда ему это делала, сказал:

— Как вы, женщины, ловко это делаете.

Опять выпил нарзану и обыкновенной воды.

Спросил, какая у него болезнь.

— Катаральное воспаление частей нижних долей легких.

Л. Н. помолчал.

— Старайтесь, Лев Николаевич, поменьше говорить, больше отдыхать.

Сегодня приехали Илья Львович, И. И. Горбунов²², Гольденвейзер.

Л. Н. пожелал писать дневник и попросил поправить ему под головой. Я, поправляя, подложил ему подушку, привезенную ночью.

Л. Н.: Какая это подушка?

— Ваша, прислали из Ясной.

Л. Н. отстранил подушку.

— С кем?

— С Татьяной Львовной.

— Когда Таня приехала?

— Ночью.

Молчок.

— И Дмитрий Васильевич здесь.

— Дмитрий Васильевич когда приехал? *So viel Umstände!* **

От Владимира Григорьевича Л. Н. узнал, что приехали Горбунов и Гольденвейзер.

Пришел Д. В. Никитин, добрый друг Л. Н. В начале 1900-х гг. домашний врач у Толстых. Он теперь занимается преимущественно бактериологией. Л. Н. мило, дружелюбно принял его и поговорил с ним о медицине: говорил о бесполезности медицинского лечения, что важен один уход. Ни в чем нет столько занятия тем, чего не знают, как в медицине. Есть одно — гигиена разных больных, главное опыт, не заниматься, не разрешать... ***. Советовал Дмитрию Васильевичу не заниматься бактериологией, говоря, что это глупости; пусть занимается живыми людьми; советовал работать врачом не в земстве, а в клинике.

Потом спросил, на какой бок лечь от изжоги. Л. Н. инстинктивно ложился на правый бок, переменяя компресс.

Освидетельствовали Л. Н-ча Никитин и Ал. П. Семеновский²³.

* Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

** Сколько беспокойства! (*Нем.*)

*** Пропуск в подлиннике.— *Ред.*

Сердце слабо. Никитин приписывает это не столько органическому расстройству, сколько расстройству нервного аппарата сердца.

После Л. Н. отдыхал.

Ходила за ним Варвара Михайловна; ей сказал, что она идеальная сиделка.

Потом с Владимиром Григорьевичем говорил о дневнике и, кажется, диктовал. Владимир Григорьевич прочел отобранные письма из полученных на имя Л. Н. после его ухода. Между ними письмо Новикова. Л. Н. внимательно слушал и на словах отвечал²⁴. Спросил о В. Ф. Булгакове (секретаре) и о С. М. Булыгине, не звали ли их на ставку. Владимир Григорьевич слишком утомил Л. Н. ча разговорами и чтением писем, на которые Л. Н. диктовал ответ, и Л. Н. тяготился, что из-за него столько людей наехало, хотя он знает не про всех, кто здесь. Л. Н. так не хотел, чтобы из-за него от своего занятия отрывались люди, как не хотел, чтобы его на прогулках верхом сопровождал кто-нибудь. Только 81-летним стариком позволил.

Л. Н. (Александре Львовне): В приезде Никитина ты виновата. Я ему сказал, что полезна гигиена.

Александра Львовна: Я его выписала в помощь Душану Петровичу, который уставал и не хотел на себя брать ответственность.

В час дня попросил «Круг чтения». Я ему прочел вслух 3 ноября. Всегда спрашивал авторов.

После писал дневник лежа, своим (подаренным ему Чертковым) самопишущим пером. Толстая тетрадь in 4°, с черными коленкоровыми мягкими обложками. Под тетрадь положили дощечку с немецкими изречениями из Библии — эту дощечку сняли со стены и поставили на колени. Л. Н. лежал у стены. Л. Н. спросил числа дней, проведенных в Шамордине и здесь. И стал, торопясь, записывать, быстро водя пером. Записал дни 31 октября — 3 ноября*.

Потом просил простой воды. Стонет.

В 3 ч. перенесли Л. Н. в соседнюю комнату, и его комнату проветрили, отворив парадный вход. В это время поднялась на крыльцо Софья Андреевна. Сергеевко перед ней закрыл дверь. Она обиделась и после говорила, что она хотела только вызвать одного из докторов. Я виделся с Софьей Андреевной полудни, когда ходил поспать в вагон к Михаилу и Андрею Львовичам. Она все говорила о том, как ее огорчил Л. Н., что она его любит и мечтает, чтобы он опять пожил в Ясной в обычных, привычных ему условиях; что она готова переселиться в Тулу или Телятинки жить и только временами приезжать в Ясную. Если же Л. Н. уедет, то она за ним. Она готова 5000 р. дать сычнику за выслеживание.

В 4 ч. пополудни t° 36,7, пульс 96.

В 6 ч. сам просил пощупать ему пульс.

В 9 ч. вечера t° 37,8, пульс 104, очень слабый, со множеством перебоев. Никитин предложил принять настойки строфанта.

— Позвольте не принимать, — ответил Л. Н., но принял и запил полным стаканчиком нарзана с мадерой.

Сегодня Л. Н. почти ничего не ел.

Лечение: согревающий компресс, вино, камфара под кожу, клизма; пил глотками виши. Т° вечером 37,8; деятельность сердца к вечеру несколько улучшилась (Никитин).

Л. Н.: Не могу заснуть... Все сочиняю, пишу, складываю. Можно только писать или газеты читать. Прочитайте «Голос Москвы»**.

«Голоса Москвы» не оказалось. Я стал читать «Русские ведомости» от 2 ноября, а продолжила Варвара Михайловна. Что о нем писали, просил пропустить. Слушал внимательно. Статью о тройном самоубийстве просил вырезать и положить ему в дневник***.

Л. Н. готовил, писал в последнее время, кроме статьи о социализме, еще статью о безумии современной жизни, о самоубийствах.

* Последняя его запись.

** Последняя газета, которую Л. Н. просил читать.

*** Последняя статья, которую Л. Н. просил вырезать и отложить для него²⁵.

Видно, что сам Л. Н. надеялся преодолеть болезнь. Видно было и то, что желал выжить, но и за все время болезни ничем не показал обратного, т. е. нежелания, лучше сказать — страха смерти. Л. Н. еще до сегодняшнего дня все время думает, что выздоровеет и поедет дальше. Сегодня сказал Александре Львовне:

— Телеграфируй сыновьям (sic!), чтобы удержали мамá от приезда, потому что чувствую, что сердце моё так слабо, что свидание будет губительно, хотя здоровье лучше.

Сегодня вошла к Л. Н. Татьяна Львовна. Она почти конфузилась — настолько была озабочена его здоровьем и тем, чтобы не волновать, не повредить ему, и, наверное, ее угнетало то, что она будет говорить не всю правду насчёт Софьи Андреевны. Ответила, что Софья Андреевна в Ясной с Андреем и Михаилом.

Л. Н. был Татьяне Львовне так же рад, как и Сергею Львовичу. Л. Н. говорил Александре Львовне:

— Сережа-то каков! Как он меня нашел? Я очень ему рад, он мне приятен. Он мне руку поцеловал.

И Л. Н. всхлипнул.

Татьяна Львовна провела у него всего около шести-семи минут.

Сегодня приехал и Илья Львович. Так что съехались все дети, кроме Льва Львовича, который в Париже. Все они единодушны в том, чтобы убедить Софью Андреевну, что нельзя ей теперь к Л. Н. Она сама этого настойчиво не требует, пытается, как говорит, только заглянуть, ничего не сказать, не говорить с ним. Но все окружающие отговаривают ее от этого.

Илья, Андрей, Михаил самоотверженно отказываются войти к отцу, не желая тревожить его. Так и не говорили с ним. Когда дремал, входили в дверь посмотреть на отца. Л. Н. не знал, что они здесь.

Сиделки нет. Озолины сегодня покинули квартиру, предоставив всю нам.

Сегодня (и в следующий день) входили к Софье Андреевне в вагон пять корреспондентов. Она в возбужденном состоянии говорила им — и они строчили, — что Л. Н. ушел ради рекламы (оправдывала себя). Но они были настолько порядочны, что ее речей не передавали.

4 ноября. До 4 ч. ночи Л. Н. не спал. Изредка кашляет, ничего не отхаркивает. До 4 ч. дежурил Накитий. В 4 ч. утра г° 38,3. Бред. В 5.30 очень беспокоен. Раскрывался и накрывался, обирался. «Боже, избави меня», — говорил. Стонал. Выпил нарзану с мадерой.

Л. Н. стал (в бреду) решительно, отчетливо, громко диктовать (говорить): «84, 85, 134, 135, 73, 74, 75 ну...» — и обирался... Я подал питье. Л. Н., спокойно вода рукой, толкнул стакан, облился.

— Это что? — Немного затих.

Потом снова начал громко диктовать и сердиться:

— Отчего вы не делаете четвертое пятое? Поставьте четвертое пятое. Не понимаю, что вы делаете, поставьте четвертое пятое. Ах боже мой!

Опять вода левой рукой, отчетливо:

— Отчего вы не пишете? Не думайте, что я глуп.

При этом Л. Н. не находит себе места, лежит со скрюченными коленями, поворачивается с боку на бок, приподымаясь очень высоко, даже присел. Казаюсь, что движения эти делал очень легко.

Я позвал Сергеенко. Он догадался, что «четвертое пятое» — это о том, что с 4-го на 5-е должно в газетах появиться письмо о том, что никто не имеет права продавать его сочинения.

Сергеенко сказал Л. Н.-чу:

— Четвертое пятое поставлено. — И стал читать вслух не помню какие записанные слова Л. Н. Когда остановился, Л. Н. сказал: «Потом, потом». Сергеенко опять прочел снова: «Поступило 1-го, 5-го и т. д.» — и когда остановился,

Л. Н.: «Так оставьте» — и успокоился. Охотно пил нарзан. Поспал четверть часа спокойно.

В 6.30 утра опять начал одеяло снимать с груди и живота и опять натягивать его. Стонал, слабо бредил.

Температура с 36,7 к 4-му ч. утра поднялась до 38,3, а в 6.40 ° 38, пульс около 100, перебоев меньше вчерашнего. В 7 ч. стал рукой писать по одеялу и произносить отдельные слова. Кашляет, не откашливая ничего. Как вчера, и сегодня икота. Она мучила его чем дальше, тем больше. (От нее сначала помогала сахарная вода. Потом мешок с горячей водой на желудок. Но скоро оба эти средства перестали действовать, и икота, хотя, как Л. Н. сказал, что она не мучительна, вредна Л. Н-чу была тем, что не давала ему спать *.)

Позже, в 9 ч., ° 38,1, пульс 140.

С 7 до 9 был беспокоен, поворачивался, садился, места себе не находил. Пить не хотел. Разбудили Александру Львовну. Она ему подала пить — пил.

Беспокойство все сильнее. Л. Н. открывался, снимал с себя одеяло. Рукой водил по воздуху, как если бы хотел что-то достать. В 9.40 ° 38,1, дыхание 33, пульс 140, очень частый. Tet strophanti шесть капель.

В 10 ч. сняли компресс. Никитин выслушал: сердце, как вчера, расширено, воспаление в левом легком не пошло дальше. В правом боку ниже лопатки какие-то посторонние шумы. Язык сух и мал. Слабость сильнее. Общее состояние более тяжелое, чем вчера. Не следовало давать шампанского из-за возбуждения сердца.

Попросил, чтобы его не будили, что хочет «лежать» (не находил точных выражений). Заснул и спал с полчаса более или менее спокойно. Изредка стонал. Владимир Григорьевич стоял возле. В 10.30 Л. Н. вдруг сел, просил: «Пить!» Я подал воды с вином, оттолкнул. И «пить, пить» (опять не находя точного выражения) [...] После спокойно заснул. Верно, полегчало ему, т. к. после спал спокойно.

В 11.15 *injectio coffeini***.

Около 12-ти меняли компресс (Л. Н. охотно подчиняется).

Пульс держится около 100 (раз был, недолгое время, 140), перебоев меньше, чем вчера. Около полудня подали свежий компресс. После — *injectio camphorae****. Потом пил по полстаканчика нарзана с шампанским и миндальное молоко. В 1-м ч. попросил: «Не будите меня, хочу лежать».

В 3.45 просил чего-то. Владимир Григорьевич спросил: «Чаю?» «Да». Подали с миндальным молоком, выпил 80 гр., полчашки — на восемь раз, очень устал от питья. Но вскоре («свободно») приподнялся, очевидно сил у Л. Н. много.

Александра Львовна его умыла. Разговаривал с ней. Выйдя, сказала:

— Он как ребенок маленький совсем.

С 4-х ч. охает, в забытьи. Пульс 120, ° 38,3.

Дмитрий Васильевич впрыснул камфару три раза сегодня.

В 4.30 бредил числами: 424 и т. д.; потом повторял в бреду: «Глупости, глупости».

Александра Львовна подавала пить.

— Не хочу. Не мешайте мне, не пихайте в меня.

У Л. Н. были причины просить: «Не будите меня», «Не мешайте мне», т. к. действительно мы, ходившие за ним, будили его, мешали ему (чего не следовало делать, в такой болезни главное — покой). Наше дежурство не было упорядоченным, все мы были возбужденные, утомленные, то и дело отвлекали нас (особенно Никитина) корреспонденты, родные, друзья, любопытные. Получались в большом количестве газеты, переполненные известиями о Л. Н-че, каждый получал во много раз большую корреспонденцию, чем обыкновенно, много телеграмм.

* В последующие дни болезни икота становилась все продолжительнее, в 7-й день — 12 ч. в сутки.

** Впрыскивание кофеина (лат.).

*** Впрыскивание камфары (лат.).

Как только кто-нибудь ложился спать, его будили из-за «срочных с ответом» телеграмм.

Хотя квартира была семьей Озолиных оставлена, места стало больше, но нас, людей около Л. Н. и вещей, прибавилось. Две комнаты квартиры были не вычищены, и, кроме того, на ногах вносилось в квартиру много грязи, песку. Жили в квартире Озолина Александра Львовна, Варвара Михайловна, Озолин, Чертков, Сергеенко, девушка-прислуга. Я, Никитин и Семеновский ходили ночевать в другие квартиры. Днем приходили еще доктор Стоковский, Татьяна Львовна, сыновья Л. Н., Горбунов, Гольденвейзер, позже еще прибавились доктора (Щуровский, Усов). Иногда входил разносчик телеграмм. Во время совместной еды порой бывало шумно. Когда Л. Н-чу было плохо, все приунывали; когда, казалось, ему легче, оживали.

Не догадались обзавестись мягкой обувью, не смазали дверей (это стали делать только с пятого дня); топка, мытье пола, умывание лица, рук, тела, не догадались, когда Л. Н. дремал, сделать на дверях знак: не входить.

(Сегодня распоряжение о выселении лиц, не живущих в доме у начальника, не семейных Л. Н. и не корреспондентов, тоже тревожило нас, хотя напрасно. Это было сделано, чтобы предотвратить скопление народу, которого через несколько дней набралось бы из Москвы и других городов тысячи.)

Сегодня утром в 7 ч. Софья Андреевна справлялась о здоровье Л. Н. Ходила вокруг дома, беспокоила нас; я боялся, что станет громко кликать, чтобы услышал Л. Н., что она здесь. В 9 приходила на крыльцо, долго задерживала Никитина.

Семейный совет: решали, выписать ли еще московских врачей. Андрей Львович хотел. Его переголосовали, решили «пока не выписывать».

Как это несчастье сближает людей! Теперь сыновья Л. Н. все дружны, поступают заодно с другими.

В 6.30 t° 38,4, пульс 110.

В 7 ч. digitalis.

В 7.30 пообмывали, пообтирали и подложили гуттаперчевый круг. Четвертая *injectio camphorae*.

С 2 ч. Л. Н. не хотел ничего пить.

В 7.50 проглотил три чайные ложки сахарной воды от икоты, а немного спустя молока с коньяком. Очень устал.

К вечеру стал бредить и говорил: «Саша, все идет в гору... чем это кончится. Плохо дело... плохо твое дело». После молчания: «Прекрасно»; а потом он вдруг крикнул: «Маша».

Л. Н. сегодня, когда не бредил и не дремал, был погружен в себя; размышлял, мало говорил, старался спокойно лежать и спокойно переносить мучившую его изжогу и икоту. Не звал никого и сам не разговаривал.

Но когда говорил, думал о всех, был необыкновенно впечатлительный, легко слезился.

5 ноября. Ночью до 3 ч. утра был плох. Жар ночью был 37,7, к утру упал до 37,1, пульс 100 и весь день до 6 ч. вечера выше 37,0 не поднялся. Был очень возбужден, все бредил, метался в постели, то садился, то снова ложился, говорил невнятно. Сильная одышка (40—44), плохой, слабый пульс. Ночью два впрыскивания 20% камфары. При выслушивании сердца опять расстройство ритма. Воспаление дальше не распространилось. Угнетенное и подавленное состояние. Тем не менее сознание яснее, полнее, чем вчера было, восприимчивость к внешним впечатлениям не понижена. Икота утром через каждые 20 минут и продолжается пять минут, потом глубокий сон.

В 8-м ч. Л. Н. сел и так пил.

В продолжение некоторого времени еще несколько раз так садился, спустивши ноги с кровати; раз просидел дольше часа.

Голос свободнее и не устает говорить, хотя старается мало говорить. Глодает легче. Пьет мало, потому что у него икота, и предпочитает не пить.

Когда я ему предлагал: ответил: «Оставьте, друг мой!»

Почти на все предложения пищи отвечал отказом, съел все-таки всего три ложки смоленской каши и просил его как можно меньше тревожить; не позволил себя перекладывать на другую постель; весь день икота. На изжогу не жаловался. За день впрыснуто два шприца дигалена, 3 — камфары, 1 — кофеина. Т° вечером 37,4.

Мокроту откашливал легко, жидкая, крови самые малые следы. Л. Н. стал нетерпелив.

В 10-м ч. дня Л. Н. в полубреду настаивал, чтобы что-то «делать дальше». Мы стали ему читать «Круг чтения», сначала я, потом Варвара Михайловна, потом Татьяна Львовна, которую Л. Н. спрашивал, благодаря ее за что-то, и сказал: «Милая Таня».

Прочли три раза подряд 5 ноября «Круг чтения».

Когда перестали читать, Л. Н. сейчас же спросил:

— Ну, что дальше? Что написано здесь, — настойчиво, — что написано есть? Только ищи это... Нет, сейчас от вас не добудешь ничего.

Последнюю фразу говорит Л. Н. почти плачущим голосом и, повертывая голову, ложится.

— Что нынче было?

В 10 ч. дня пульс 96, т° 37,1, перебои 1—2.

В 10.15 injectio dygaleni 0,01.

Спокойно спит.

Приехал Г. М. Беркенгейм. Привез всякие лекарства, приспособления, кислород.

Вычистил, проветрил соседнюю комнату. Мы туда перенесли Л. Н., в это время Григорий Моисеевич опять вычистил, проветрил другую комнату.

Сегодня два раза будили Л. Н. — раз для того, чтобы напоить, раз, чтобы перенести на другую кровать.

Сегодня были все, несмотря на абсолютно плохой прогноз, поставленный Семеновским, в приподнятом, бодром состоянии духа. И не хочется верить, чтобы дорогой человек умер, к тому же недавно такой бодрый, крепкий и преодолевший столько тяжелых болезней. Воспаление не распространяется, и Л. Н. меньше говорит и меньше вчерашнего бредит, движения свободнее, дыхания... *.

Мы поддерживали, обнадеживали друг друга. Во временной столовой оживление.

Александра Львовна сказала: «Какая судьба отца! Хотел опроститься, а тут Прохоров предлагает вегетарианский стол Л. Н-чу. Поехал третьим классом — предлагают особый вагон. Со всех сторон депеши. Заплатили вчера на здешней станции за депеши 372 рубля. Кроме того в почтово-телеграфной конторе».

Владимир Григорьевич: Это всё на трудовые деньги народа.

Л. Н. против инъекции: «Нет!»

6 ноября. Первую половину ночи на 6 ноября спал довольно спокойно, вторую — тревожно, громко стонал от икоты и изжоги. Временами был в полузабытье. Пульс был слабый, частый, с большими переборами. За ночь впрыснуто два шприца камфары. Т° утром 37,2. Большая слабость, одышка, икота. Дыхание не затруднительнее, чем вчера. Пролежень на правом костреце. Его заметил еще вчера вечером Дмитрий Васильевич неободранным. А слева на левом колене (тоже) неободранный пролежень. Утром под кожу впрыснуты дигален и камфара.

Приехали доктора Щуровский и Усов. Они очень деликатно и коротко выступывали легкие Л. Н-ча. Л. Н. их не узнал и задыхался. После спросил:

— Кто это милые люди?

После консилиума все мы, ходящие за Л. Н., упали духом. Один Владимир Григорьевич так же спокойно ухаживал за Л. Н., как и прежде. Он невозмутимо спокоен и не теряет надежды.

* Пропуск в подлиннике.— Ред.

Около часу дня я спросил Л. Н.:

— Можем ли вас в ту комнату перенести, а тут проветрить?

Л. Н.: Пойдите... Лучше нет...

Как очень часто, особенно в болезни, Л. Н. не сразу соглашается на предложения. Потом, через несколько минут, еще раз спросили. Л. Н. не ответил, и мы (четыре доктора) понесли его.

Около 2-х ч. дня неожиданное возбуждение: сел на постель и громким голосом, внятно сказал присутствующим:

— Вот и конец!.. И ничего!

После ухода докторов остались у Л. Н. Татьяна Львовна и Александра Львовна. Л. Н. им ясно сказал:

— Я вас прошу помнить, что, кроме Льва Толстого, есть еще много людей, а вы всё (или все) смотрите на Льва²⁶.

И еще сказал:

— Лучше конец, чем так.

Среди дня начали пускать кислород. Л. Н. позвал: «Серезжа...» — и говорил что-то, чего — нельзя было понять. Так как тяжело дышал, пускали кислород вблизи его.

Л. Н. спросил:

— Что это?

— Кислород, чтобы легче было дышать.

Л. Н. неохотно дышал, много раз просил прекратить.

Пьет порядочно молока и воды. Выпил 100 гр. жидкой овсянки с одним желтком и 120 гр. молока.

Делали инъекции камфары, от икоты клали мешки с горячей водой на желудок.

Л. Н. просил: «Оставьте меня в покое».

Страшно мучила Л. Н. весь день икота. В 6 ч. вечера после продолжительной икоты, отрыгивания, которое не дало ему отдохнуть, Л. Н. в полузабытии говорил слова, фразы — иные непонятно, иные нет: «Совершенно бесполезно», «Глупости» (о медицинских приемах?).

Потом произнес:

— Я очень устал, не хочу теперь думать.

Сегодня ходили за Л. Н. больше Владимир Григорьевич и др., А. П. Семёновский и я. С Чертковым очень хорошо. Он в самые тяжелые минуты не теряет спокойствия; и не разговаривает и ничего не спрашивает Л. Н.

К вечеру самочувствие несколько лучше; сделано впрыскивание дигалена, затем камфары. Л. Н. попросил есть. Выпил в течение вечера три маленьких стаканчика молока и съел немного овсянки. Сознание было вполне ясное. Но к концу вечера усилилась икота и одышка.

Вечером от 10 до 12-ти, когда было ему труднее всего, когда места себе не находил, когда дыхание с 40 участилось до 50, несколько раз ложился на левый бок, наклоняясь (скрючась) сильно вперед, несколько раз откинулся сильно назад так, что мог выпасть.

Перед полуночью, употребив много сил, он быстро сел. Чертков, стоявший между правой стороной кровати и стеной, поддержал его сзади. Тяжко-тяжко дышал 50 раз в минуту. Л. Н. сидел так с четверть часа со спущенными ногами. Потом перегнулся вперед, опустился до 45°. Голова повисла, но не совсем сильно.

Тут никто его не держал. Л. Н. не желал. Глубоко стонал и дышал; так пробыл с полторы минуты. Потом приподнял голову и плечи, посидел прямо, голову несколько назад закинул и сказал (в голосе вздох удущия и страдания):

— Боюсь, что умираю.

Движением головы и корпуса показал, что хочет лечь. Лег и все очень трудно дышал. Откашлялся с глубока.

— Ах, гадко!

Л. Н. не находил себе места. Опять резко сел. Говорил с передышкой, то бормоча, то понятнее. Я понял эти слова:

— Сережа... истину... я люблю много, я люблю всени (всех? Л. Н. иные слова не выговаривал точно).

Дышал страшно тяжело.

Л. Н.: Ах, гадко!

У меня записано в 11 ч. ночи:

— Как трудно умирать! Надо жить по-божьи.

Как Л. Н. кричал, как метался, задыхался!

Уже раньше была речь между нами, врачами, что от икоты надо дать морфин (ввиду слабости пульса). Л. Н. сопротивлялся принятию питья. Хотел икоту так побороть. Обыкновенно начиналась без нам видного повода, но часто после питья. Л. Н. лежал с закрытыми глазами, дремал.

Когда в 11.35 я попросил Л. Н., чтобы пил теперь, пока икота, а то хотим впрыснуть ему от нее морфин, и тогда заснет, пить не будет, Л. Н. слабым голосом произнес:

«Парфина не хочу». (Сказал «парфина» вместо «морфина».)

Теперь (перед полночью), когда Л. Н. так томился: одышка, икота, отрыжка, — Усов посоветовал впрыснуть морфин; говорил, что он замечал: как икота подымается, пульс хуже. Если впрыснуть morphin, Л. Н. поспит, икота прекратится, пульс не будет от нее портиться, сердце отдохнет.

Впрыснули морфин.

Л. Н. еще тяжелее стал дышать и, немощен, в полубреду бормотал. Я разобрал:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал (или не нашел)... Оставьте меня в покое... Надо удирать, надо удирать куда-нибудь, — сказал, когда через четверть часа после морфина впрыскивали камфару.

7 ноября. Ночь. Л. Н. больше не говорил. Спал. Дыхание уменьшилось с 50 до 40, до 36, с четвертого раза опять учащалось. Пульс становился *filitornis** (в 2 ч.), а потом (кажется, в 3-м ч.) и совсем нельзя было (мне) его прощупать. Действие морфина стало ослабевать в 4 ч. После 4 ч. Л. Н. начал охать, стонать, переворачиваться, раз левое колено поднял. *Dispnoe expiratoria***.

Руки, ноги теплые.

В 2.40 начал стонать.

В 3.40 *injectio* 175 гр. NaCl 0,6% в бедро.

Кислород, обкладываем мешками с горячей водой.

В 4.40 Л. Н. заметно тяжелее дышит. Пульса никакого. Цианоз лица и губ. Все время клали в постель мешки с горячей водой. Родные и друзья стали входить, взглядом прощаться с Л. Н.

В половине 5-го Щуровский вызвал меня, чтобы попробовать дать попить. Я обратился к Л. Н. Он понял, приоткрыл глаза, левый больше, и сделал глоток с ложки. Через час та же проба. Л. Н. проглотил.

Беркенгейм предложил позвать Софью Андреевну.

В 5 другая инъекция 175 гр. NaCl в левое и правое бедро. Л. Н. реагировал на боль.

В 5.20 вошла Софья Андреевна, сидела в трех шагах от кровати, шепталась с Усовым, который сидел слева от нее.

Между нею и кроватью стояли Никитин и я. Если бы Л. Н. очнулся и она хотела бы подойти, мы загордили бы путь. Побыла минут восемь, поцеловала темя Л. Н., потом ее увели. Присутствовали Сергей Львович, все дети. Елизавета Валерьяновна, доктора. Потом пришли прощаться Буланже, Гольденвейзер, Сергеевко, В. Н. Философов, И. И. Озолин, его семья.

В 5.30 другая инъекция — 175 гр. NaCl в левое и правое бедро. Л. Н. реагировал на боль. Еще пускали *Oxidop*. Л. Н. дал знак, что не желает. Стал все труднее дышать и нижней челюстью работать. В 5.45 часто — 50 раз и чаще —

* Нитевидный (лат.).

** Предсмертная одышка (лат.).

поверхностно дышал. В 6.03 — остановка первая. Потом еще минуту дышал. В 6.04 остановка вторая. После минуты в 6.05 еще один вздох—последний. Смерть.

Стали расходиться. Сыновья ушли из дому. Владимир Григорьевич, Сергеев, Александра Львовна и Варвара Михайловна стали торопливо укладывать вещи, чтобы успеть к поезду.

Софья Андреевна начала разыскивать и укладывать вещи Л. Н. Мы с Никитиным раздели и с помощью фельдшерицы обмыли мертвое тело Л. Н. и переложили на другую кровать. Я подвязал Л. Н-чу бороду. Потом одели в холщовую рубашку, в нитяные чулки, суконные шаровары и в такую же темную блузу (ремень оставили).

¹ Елисеев А. П. служил кучером у Толстых.

² Феокритова В. М., переписчица в семье Толстых.

³ Александри Николай Николаевич, знакомый Толстого.

⁴ Речь идет о письме Толстого К. А. Клишевскому («Утренняя звезда», 13 октября 1910 года).

⁵ Разговор был записан Т. Таманской и под названием «На пути в Козельск» опубликован в газете «Голос Москвы», 18 ноября 1910 года.

⁶ «Колокол», 9 ноября 1910 года.

⁷ Ал. Ксюнин, «Опгина Пустынь» («Новое время», 21 ноября 1910 года).

⁸ Опшбка. В Оппиной Пустыни жила А. И. Остен-Сакен, сестра отца Толстого.

⁹ Сергеевко Алексей Петрович, секретарь В. Г. Черткова.

¹⁰ См. «Последние дни Л. Н. Толстого». Альбом Вл. Росинского. М. 1911, стр. 6.

¹¹ Вероятно, со слов С. Н. Толстой, жены сына Толстых Ильи, пересказавшей услышанное от Е. В. Оболенской.

¹² Письмо неизвестно.

¹³ С. А. Толстая, узнав об уходе Толстого, пыталась покончить с собой.

¹⁴ «Социальное значение религиозной личности». Вышний Волочок. 1904.

¹⁵ В сборник вошел отрывок из «Легенды» А. И. Герцена.

¹⁶ Рукопись статьи «О социализме» была найдена после смерти Толстого в одном из ящиков его письменного стола.

¹⁷ Эти письма включены С. Л. Толстым в его книгу «Очерки былого».

¹⁸ В этом номере (31 октября 1910 года) была целая полоса: «Отъезд Л. Н. Толстого из Ясной Поляны». Там же фельетон В. М. Дорошевича «Софья Андреевна Толстая», где он с большим сочувствием пишет о С. А. Толстой.

¹⁹ Стоковский Леон Иосифович, железнодорожный врач.

²⁰ Бюллетень А. М. Хирьякова о состоянии здоровья Толстого («Русское слово», 21 ноября 1910 года).

²¹ Философов Владимир Николаевич, брат жены И. Л. Толстого.

²² Горбунов Иван Иванович — писатель и издатель. Был в дружеских отношениях с Толстым.

²³ Семеновский Александр Петрович, врач.

²⁴ Ответ крестьянина М. П. Новикова на письмо Толстого от 24 октября с просьбой «найти... в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату». На конверте В. Г. Чертков под диктовку Толстого написал: «Поблагодарить. Уехал совсем в другую сторону».

²⁵ «Три смерти» («Русские ведомости», 2 ноября 1910 года).

²⁶ Обе дочери оставили записи этих слов Толстого. Т. Л. Сухотина в письме к мужу писала: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, а вы смотрите на одного Льва» (С. А. Толстая. Дневник, 1936, стр. 368). В дневнике А. Л. Толстой записано: «Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва» (А. Л. Толстая, «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого» — «Толстой. Памятники творчества и жизни». М. 1923, вып. 4, стр. 180).



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ДОРОГИ К ТОЛСТОМУ

Материалы из архива В. А. ЖДАНОВА

Владимир Александрович Жданов (1898—1971) — один из первых сотрудников Музея Л. Н. Толстого, проработавший в нем пятьдесят лет. Много лет он был заведующим рукописным отделом. Главные работы В. А. Жданова посвящены творческим историям произведений Толстого и основаны на изучении подлинных его рукописей.

В огромном архиве В. А. Жданова большое место занимают материалы, связанные с подготовкой переписки Л. Н. Толстого для полного собрания сочинений писателя. В. А. Жданов был редактором писем за годы 1899—1903, 1907, 1908, 1909 (июль — декабрь), занимающих тома 72—74, 77, 78, 80.

Настоящая публикация, подготовленная Э. Зайденштур, посвящена обзору этого редакторского архива.

1

Толстой считал, что деятельность человека должна разделяться на четыре «упряжки»: первая «упряжка» должна быть посвящена «тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми».

В понятие четвертой «упряжки» входило не только личное общение с людьми, но и переписка.

Толстой получил около 50 тысяч писем (столько сохранилось в его архиве). По имеющимся сведениям, сам Толстой написал 8312 писем 2845 корреспондентам (2514 корреспондентов из России, 331 — из других стран). Кроме того, 3538 писем было написано близкими Толстому лицами (родственниками, помощниками по работе, секретарями) по его поручению, почти всегда по его конспектам, которые он намечал на конвертах полученных писем тотчас же по прочтении их. Какая-то часть писем оставалась без ответа, но и они были прочитаны Толстым и на конвертах сохранились его пометы «б. о.», то есть «без ответа». На многих, кроме такой пометы, Толстой давал оценки письмам: «хорошее», «интересное», «милое письмо», «замечательное», «обратительное», «ругательное», «ругательное интересное», «глупое», «хвалябное, но хорошее». В последние годы Толстого, очевидно, утомляло обилие писем — бывали дни, когда получалось более 30 писем. Тогда Толстой помечал для секретаря: «Н. Н., прочтите, кажется, пустяки», «Н. Н., прочтите, кажется, сумасшедшее», «Душану, прочтите и расскажите» и т. п. (Приведенные пометы обращены к Н. Н. Гусеву и Д. П. Маковичкому.)

В собрании сочинений 31 том (59—89) полностью и один (90) частично занимают письма Толстого начиная с первого детского письма от 20 июля 1840 года до писем и телеграмм своим детям из Астапова от 3 ноября 1910 года. Опубликовано всего 7050 писем Толстого. Текст и местонахождение остальных 1262 писем, адресованных 254 русским и 54 иностранным корреспондентам, неизвестно, и списки их приложены к соответствующим томам по хронологии. К каждому тому приложены также списки писем, написанных по поручению Толстого. В некоторых томах раскрыто содержание писем адресатов и воспроизведены пометы Толстого и конспекты ответов на конвертах; в других содержание не раскрыто, но воспроизведены пометы

и конспекты; в третьих даны, к сожалению, только глухие списки писем, на которые отвечали по поручению.

В 80-е годы Толстому начали писать никому не известные люди со всех концов мира: рабочие, крестьяне, студенты, журналисты, корреспонденты газет, дети. Это уже были не только последователи идей Толстого, но люди, обращавшиеся к великому писателю за разрешением своих тревог и сомнений общественных и личных, люди, обращавшиеся к нему за моральной поддержкой и материальной помощью. Много писем получал Толстой от представителей духовенства, стремящихся вернуть его на путь православия. Еще больше писем было осудительных и ругательных.

Пожалуй, на этих неизвестных людей приходится большая часть корреспондентов Толстого трех последних десятилетий. Письма этих безвестных людей — драгоценный документ эпохи. Но именно эти письма оказались наиболее трудными для публикации — редакторам юбилейного издания необходимы были для комментария биографические сведения о каждом корреспонденте. А как получить сведения о никому не ведомых случайных адресатах? В письмах обычно сообщалось (да и то не всегда) социальное положение адресата (рабочий, крестьянин, студент, учитель, врач, гимназист и т. д.). И, разумеется, адрес для ответа. Вот и решено было по адресам того времени попытаться разыскивать корреспондентов Толстого или их родных. Напоминаю, что работа эта проводилась в конце 20-х и в 30-е годы.

В адресные столы, почтовые отделения, сельсоветы, школы, библиотеки тех городов, сел, деревень, откуда писали Толстому, были разосланы запросы такого содержания: «Редакция полного собрания сочинений А. Н. Толстого просит сообщить биографические сведения о ..., проживавшем в (таком-то) году в ... (давали адрес) и находившемся в переписке с А. Н. Толстым. Год его рождения и смерти, если умер. Адреса его родных или лиц, знавших его, у которых можно получить точные сведения, необходимые для пояснения писем Толстого к нему. Убедительная просьба отнестись внимательно к нашей просьбе».

Успех был неожиданный. Лишь в редких случаях кратко сообщалось, что такое-то лицо не значится в этом месте. Обычно же работники, к которым попадали запросы, старались сделать все, что было в их возможностях. Некоторые ответы не только удивляли, но в точном смысле этого понятия поражали живым участием и вниманием к предпринятому редакцией трудному, но, как все понимали, важному делу. Это не были формальные справки по долгу службы только, а ответы заинтересованных лиц.

Переписка, связанная с поисками корреспондентов этих лет, а затем с самими корреспондентами или их родственниками, содержит около 500 писем.

Почти на все запросы были получены ответы. Разумеется, не все они были положительны. Нередко сообщали, что никаких сведений собрать не удалось. Чаще уведомляли, что люди эти выехали или их нет в живых, и сообщали адреса родных, с которыми редактор вступал в переписку.

«О Листовском С. И. удалось узнать следующее: он умер приблизительно в 1919 г. в Новозыбкове. Там же, т. е. в г. Новозыбкове Клиновского округа (сообщают адрес), проживает его сестра С. И. Яновская. Кроме того, где-то на Дальнем Востоке живет его жена А. Г. Листовская-Авдюхова, но адреса ее узнать не удалось. Недалеко от Ущерпья в поселке Корьма проживает ее отец, писал ему несколько раз, не явился (сообщает его адрес). Больше ничего не удалось узнать. Обращайтесь к упомянутым здесь товарищам.— Ущерпье. Почта. 25.X.29 г.».

Ответ из Кировограда (бывш. Елизаветград): «На Ваш запрос сообщаем, что мы вызвали гр. Линецкого Э. Г. и получили следующие сведения». Далее сообщались биографические сведения, давалось подтверждение, что действительно Линецкий Э. Г. переписывался с Толстым, но письмо Толстого подарил своему племяннику, который живет в Харькове, дали его адрес; и в заключение: «Мы просили его написать Вам и его племяннику о высылке письма Вам. Это все, что мог узнать; как видите, отнесся со всей внимательностью к Вашей просьбе».

В ответ на запрос о крестьянине В. И. Рулеве, писавшем Толстому в 1909 году, Кубанское архивное бюро (Краснодар) сообщило, что сведений о Рулеве нет. «Прозв-

водится выяснение этого вопроса,— писали оттуда, а одновременно уведомили: — Просьба сообщить в адрес редакции полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, что в нашем распоряжении имеется дело канцелярии начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска на 228 листах «О принятии мер к нераспространению лжеучения графа Л. Толстого»...»

В октябре 1899 года к Толстому обратился за содействием из Семенова Нижегородской губернии В. В. Баринов, приговоренный к полутора годам арестантских рот. Толстого взволновало сообщенное ему дело, и он просил свою знакомую О. В. Фредерикс выяснить подробности дела. В комментарии надо было разъяснить, что за дело и чем закончилось. Обратились в Семенов. Получен был 24 декабря 1928 года следующий ответ: «Уважаемый товарищ! Прежде всего извиняюсь за то, что долго Вам не отвечал по интересующему Вас вопросу, так как пришлось долго копаться в архивах местного народного суда, вернее говоря, в остатках архива. Перерывши все, я ничего не добился — в делах нарсуда ничего не оказалось, потому что значительная часть архива в 1920 году была отправлена в нижегородский губсуд. Местные оставшиеся старожилы смутно представляют это дело и конкретного, что Вы спрашиваете, не знают. Один из работников, инспектор Рукомойников, напоминает, что в 1905 г. с ним был в тюрьме какой-то Баринов, но за что он был осужден, не помнит. Я Вам советую обратиться в Воскресенское непосредственно. Село это не нашего уезда, знакомых у меня лично там нет никого. Я думаю, что письмо лучше направить зав. воскресенской школой II ступени с просьбой — возможно, что там можно кой-чего получить». Сообщил точный адрес.

По совету этого любезнейшего лица (подпись была неразборчива) обратились по указанному им адресу, и В. И. Малинов в письме от 29 января 1929 года сообщил собранные им сведения о Баринове и его деле, что дало возможность дать краткий, но основанный на точных данных комментарий к письму Толстого (т. 72, стр. 229).

Подобного рода справок было получено множество. Все эти оставшиеся неизвестными скромные работники (имена их обычно скрывались в неразборчивых подписях), с такой искренней заинтересованностью откликнувшиеся на запросы редакции, по праву должны считаться участниками полного юбилейного собрания сочинений Толстого.

В ряде случаев удавалось выяснить судьбу подлинников писем Толстого, подчас печальную: «сгорели во время пожара», «взяты при обыске», «взяты полицией», «от страха сожгла», «исчезли во время войны» и т. п. В нескольких случаях удалось получить их на вечное хранение в Музей Толстого. Были случаи, когда адресаты отказывались прислать подлинники даже временно для выверки текста.

Известный революционер, народоолец Николай Александрович Морозов обменялся с Толстым несколькими письмами и оставил свои воспоминания о посещении Ясной Поляны 28 сентября 1908 года. Подлинники писем Толстого хранились у него. На просьбу предоставить их редакции хотя бы временно он ответил 24 января 1933 года: «Дорогой Владимир Александрович! Письма Льва Николаевича бережно хранятся у меня, и я не могу доверить их почте. Копии же дать могу». Далее он скопировал текст писем, заверив, что «эти копии верны вплоть до точек и запятых».

Врач И. И. Канкарович прислал Толстому в сентябре 1907 года свою книгу «Проституция и общественный разврат. К истории нравов нашего времени» (СПб, 1907). Толстой ответил 15 сентября и одобрил его книгу. «Подлинник письма находится у меня,— писал И. И. Канкарович 8 января 1933 года.— Держу его всегда при себе, так как письмо это однажды спасло меня от большой неприятности».

Р. Г. Гадон, тринадцатилетней девочкой писавшая Толстому в 1908 году, прислала нотариальную копию письма Толстого, «так как,— сообщила она 18 августа 1930 года,— подлинник от частого чтения очень потрепался, и он теперь лежит у нас под стеклом».

2

Писали Толстому молодые люди, а отвечали на запросы они уже будучи взрослыми и пожилыми, но воспоминание о письме Толстого или встрече с ним сохранилось в их памяти как нечто светлое и радостное.

2 декабря 1908 года Толстой ответил на письмо шестнадцатилетнего ученика шестого класса владикавказской гимназии Л. И. Заблоцкого (т. 78, стр. 271). Из письма Толстого ясно, что речь в письме юноши шла о каком-то требовании его матери и он спрашивал Толстого, исполнить ли ему его. Письмо Заблоцкого в архиве Толстого не сохранилось. Вот что сообщил он в письмах от 18 и 22 июня 1931 года: «В своем письме Льву Николаевичу я спрашивал его совета, как мне поступить в конфликте со своей матерью. Дело в том, что В. Г. Чертков предложил мне оставить мое учение и поселиться у него для секретарской работы. Я с радостью хотел это сделать. Мать же ни за что не соглашалась на это. Кроме того, я жаловался на убийственную обстановку казенной школы-тюрьмы и горячо благодарил Льва Николаевича за тот свет и радость, которые несут в мир его слова и мысли». Затем он писал о своей попытке встретиться с Толстым в августе 1908 года, «просидел несколько часов перед домом Льва Николаевича, разговаривал с Н. Н. Гусевым и Е. Г. Чертковым, а Льва Николаевича видеть не удалось вследствие тяжелого болезненного состояния». «Только в августе следующего, 1909 года я был принят Львом Николаевичем у себя в кабинете. Свидание длилось минут 40. Л. Н. подробно расспрашивал меня, давно ли я познакомился с его книжками и о моем семейном положении. Затем я изложил ему свои сомнения, касающиеся абстрактно-философских вопросов о сознании и материи (гносеологическая проблема тогда увлекала меня). Л. Н. деликатно отвел меня от этих вопросов, сказав, что не это важно в жизни, и прочел отрывок из «Круга чтения». Затем я встал прощаться. Л. Н. сказал: «Давайте поцелуемся». Это и вся обстановка свидания меня так растрогала, что я расплакался. Больше Л. Н. я не видел. В то время всем своим существом я жил мыслями и мировоззрением Льва Николаевича. На этой почве вступил в конфликт с матерью и ближайшим своим окружением. С радостью готов был идти на любую жертву для дела христианского анархизма. Затем через несколько лет красота научного мировоззрения отвлекла меня в сторону». Далее он сообщил, что в 1916 году окончил медицинский факультет Московского университета и в настоящее время (1931) был ординатором Физиотерапевтического института при станции Ховрино.

Пятнадцатилетний мальчик, сын врача Лев Остроумов в письме Толстому от 23 сентября 1907 года спрашивал Толстого, как ему решить половой вопрос: нужна ли борьба с «проклятым инстинктом» и как уберечься от падения? Толстой ответил длинным письмом, в котором изложил свои мысли, и писал: «Закрываю их самым сердечным советом старика к стремящемуся к добру и правде юноше: берегите свою чистоту всеми силами, боритесь с соблазнами и ни в каком случае не унывайте и не спускайте поводья» (т. 77, стр. 209—210).

Отвечая на вопросы редакции, Л. Е. Остроумов, приславший автобиографию, писал 10 февраля 1933 года о том, что «единственным человеком», к которому он мог обратиться за советом, находясь в трудном душевном состоянии, был Толстой. «Он не убедил меня своей проповедью,— писал Л. Е. Остроумов, заканчивая письмо.— Но и теперь, будучи очень далек, часто диаметрально противоположен Толстому, я с сердечной благодарностью вспоминаю его ласковое, задушевное первое письмо, не убедившее, но глубоко растрогавшее меня. Оно, несомненно, зашло во мне теплое чувство к людям — и к великому чуткому старику, приласкавшему мальчика в минуту крайней растерянности,— чувство, которое не угаснет до могилы».

В первых числах апреля 1908 года Толстой получил из Вязьмы от А. Г. Плавинской письмо, в котором она писала, что стремится дать образование своим сыновьям, но стала замечать, что гимназическая обстановка дурно влияет на них. Просила совета, как надо поступать, чтобы дети ее «сделались хорошими людьми».

Вопрос воспитания был всегда для Толстого одним из самых важных вопросов, и он тогда же, 7 апреля, продиктовал в фонограф ответ, который закончил словами: «Желаю вам всего лучшего и успеха в том великом деле, [к] которому, как мне кажется, вы серьезно относитесь: к вашему воздействию на детей ваших» (т. 78, стр. 117). Сохранился машинописный текст письма, но почему-то, вернее всего по какой-то случайности, письмо не было отправлено, а 26 апреля ответил Н. Н. Гусев.

Спустя двадцать два года, в июне 1930 года, из адресного стола Вязьмы был получен ответ, что А. Г. Плавинская там не значится, но «по частным сведениям» она в 1910 году «уехала в Калугу на постоянное жительство и служит где-то на железной дороге». Из Калуги получили точный адрес. Вот что ответила адресатка:

«22 года тому назад, т. е. в 1908 г., в одну из тяжелых минут сомнения, то ли я делаю что нужно для воспитания своих трех мальчиков, я написала первый и единственный раз Л. Н., прося его совета. В ответ на это письмо я получила от его секретаря Н. Н. Гусева открытку с извещением, что Л. Н. посылает мне книгу «О воспитании-просвещении». Относительно же моего вопроса о счастье советует прочесть одно место из его «Круга чтения».

Я не могла ожидать, что он ответит мне сам, но в душе страшно желала этого и надеялась, что он из моего письма поймет, как это мне нужно.

Сейчас я бесконечно счастлива узнать, что он мне ответил, хотя почему-то письмо не было отправлено. Если бы я его получила в то время, быть может, вся жизнь моих детей и моя сложилась бы не так и не случилось бы то, что сейчас, т. е. их преждевременная гибель и мое полное одиночество».

Далее она рассказывала, что старший сын умер от туберкулеза, средний убит в 1915 году на войне, младший за границей, вестей от него нет, вероятно, он погиб. Еще раньше сыновей умер ее муж. «Убедительная просьба,— писала она, заканчивая письмо,— прислать мне копию письма Л. Н. Я чувствую себя временами так плохо, что боюсь, что не доживу до того времени, когда это письмо будет напечатано, а мне так дорого было бы знать, что сказал мне он».

Копия, разумеется, была немедленно ей послана, и 29 октября она писала: «Сейчас я еще больше убеждаюсь, что если бы письмо Л. Н. я получила в то время, то все сложилось бы иначе. Да, он понял, что я искренно хотела быть полезна своим детям, но, к великому горю, это осталось одним желанием». Затем она подробно описывала «полосу несчастий» для ее семьи, начавшуюся в 1908 году тяжелой болезнью и смертью матери. «Как раз во время ее болезни была получена открытка Н. Н. Гусева (ответ на мое письмо),— писала она,— на которую я в то время не обратила почти внимания, т. к. была страшно убита своим горем, и мне казалось, что этот ответ только соблюдение вежливости и что Л. Н., наверное, и письма моего не читал. Только этим объясняется мое преступно легкомысленное отношение к его совету и происшедшее отсюда все последующее».

Н. А. Морозов в цитированном выше письме 1933 года дополнил одним фактом свои воспоминания о посещении Толстого в 1908 году: «Относительно Вашего вопроса, не могу ли я прибавить что-нибудь к тому, что было уже написано о моем знакомстве с Толстым, я могу прибавить лишь одну деталь, которую не хотел публиковать при жизни Толстого. Когда я проезжал к нему по Ясной Поляне (деревне) к дому Толстых на извозчике, вдруг по вершине моей шляпы скользнула брошенная сзади палка и ударила в спину извозчика. Я оглянулся. На улице там и сям было несколько крестьян, и никто из них, казалось, не обращал на нас внимания.

— Что это такое? — спросил я извозчика, чесавшего себе спину.

— Это за то, что вы едете к графу.

— Разве крестьяне его не любят?

— А кто их знает,— ответил он и замолчал.

Это, во всяком случае, было единственное приветствие, которое я получил сзади палкой в продолжение своей жизни».

В 1907 году в «Новом времени» (21 января) был напечатан очередной фельетон М. О. Меньшикова из цикла «Письма к ближним», посвященный картине М. В. Нестерова «Святая Русь», экспонировавшейся на выставке его картин в январе 1907 года в Петербурге. Прочитав фельетон, Толстой в письме от 23 января благодарил Меньшикова. «Я заплакал, читая его,— писал Толстой.— И теперь, вспоминая, не могу удержать выступающие слезы умиления и печали. Но умру все-таки с верой, что Россия эта жива и не умрет» (т. 77, стр. 17).

Чтобы узнать местонахождение картины, обратились к М. В. Нестерову. Художник помнил, разумеется, что картина его, «несмотря на прекрасные лица», не удовлетворила Толстого. «Христос не то что нехорош, но самая мысль изображать Христа, по-моему, ошибочна. Дорого в ваших картинах серьезность их замысла, но эта самая серьезность и составляет трудность осуществления» — так писал Толстой художнику 3 октября 1906 года (т. 76, стр. 208).

Теперь спустя двадцать шесть лет (5 сентября 1933 года), М. В. Нестеров ответил на запрос: «Многоуважаемый Владимир Александрович, я только что вернулся в Москву и нашел Ваше письмо, отвечаю на него тотчас на тот случай, если не застаю Вас дома.

Картина моя «Святая Русь» находится (и вывешена сейчас со всеми моими вещами) в Русском музее в Ленинграде. Было бы интересно знать, что говорилось о ней в переписке Льва Николаевича с Меньшиковым, когда-то написавшим о «Святой Руси» фельетон в «Новом времени». Будьте здоровы. Привет мой Николаю Николаевичу. Уважающий Вас Мих. Нестеров».

При личной встрече В. А. Жданов передал художнику копию письма Толстого к М. О. Меньшикову, и он выразил крайнее сожаление, что узнал его так поздно.

В одном вопросе помог разобраться В. А. Гиляровский. Осенью 1899 года Толстой получил от находящегося в тюремной больнице в Каинске Томской губернии М. Н. Лизгоро рукопись его воспоминаний с просьбой опубликовать их. В письме от 1 ноября Толстой сообщил Лизгоро, что передал рукопись «одному знакомому, прося составить из нее литературную статью» (т. 72, стр. 230). Рукопись была передана В. А. Гиляровскому; это было известно из статьи В. А. Гиляровского в «Московской газете» (1911).

В ответ на письмо В. А. Жданова Гиляровский ответил 23 ноября 1928 года:

«Многоуважаемый Владимир Александрович! Рукопись Лизгоро прислал мне Лев Николаевич с просьбой напечатать ее где-нибудь, чтобы выручить несколько рублей и переслать деньги по адресу, указанному в рукописи. Я прочел ее. Оказалось неинтересной для печати, но желая пойти навстречу желанию Льва Николаевича помочь сидящему в Томской тюрьме Лизгоро, я послал от себя 25 рублей в Томск на имя жены Лизгоро, как указано в адресе, о чем в тот же день, зайдя к Льву Николаевичу, и сказал ему. Он остался очень доволен и сказал, что «слишком щедро, довольно бы и красненькой». Потом я получил из Томска уведомление от Лизгоро о получении и тоже показал этот ответ Льву Николаевичу».

Письмо и рукопись Лизгоро с пометкой на ней Льва Николаевича, чем только она и ценна, у меня хранится, но сейчас их найти не могу.

В рукописи Лизгоро, помнится, рассказывает свои преступления, о которых я давно знаю из совершенно другого источника. Лизгоро большой мерзавец, известный в арестантском мире под кличкой Семиженец, которая указывает характер его преступлений.

Вы спрашиваете о моем знакомстве с Львом Николаевичем. Как раз я теперь работаю над книгой «Мои встречи», где будут помещены мои незабвенные встречи с Львом Николаевичем. С истинным уважением Влад. Гиляровский».

Очевидно, что сведения о порочности Лизгоро Гиляровский узнал позднее. Не знал об этом, разумеется, и Толстой, искренно желавший помочь ему выйти из «тяжелого и трогательного положения» (т. 72, стр. 230). Лизгоро продолжал писать Толстому, вновь обращался за помощью. На конверте его письма от 18 декабря 1899 года Толстой пометил: «Написать Гиляровскому». На письмо от 17 мая Толстой опять сочувственно ответил Лизгоро 29 мая 1901 года и обещал написать Гиляровскому. Но сведений о письмах Толстого Гиляровскому 1900 и 1901 годов нет.

Трагедия в семье врача А. А. Волкенштейна, первым браком женатого на известной революционерке Людмиле Александровне Волкенштейн, стала известна из пространной автобиографии его второй жены, О. С. Волкенштейн, присланной В. А. Жданову в январе 1929 года, через тридцать лет после ее единственного письма Толстому от 4 января 1899 года.

В 1884 году перед отправкой из Петропавловской крепости в Шлиссельбург Л. А. Волкенштейн прислала мужу письмо, которое «было вложено в патрон для папирос и имело вид папиросы... Письмо гласило приблизительно следующее: что она А. А. (Волкенштейна) не любила и не любит, ибо они люди разные, и что она должна ему сказать, что она любит другого, что он свободен поступить со своей жизнью, как ему будет лучше. Может жениться, если желает, но только она просит воспитать их сына Сергея. Сергеем было в то время 2 года 8 месяцев». Тогда же А. А. Волкенштейн женился на О. С. Засядько. Они жили в Полтаве.

В 1898 году, после того как его первая жена, отбыв тринадцатилетнее заключение в Шлиссельбургской крепости, получила право переселиться на Сахалин, о чем она известила бывшего мужа, он, оставив свою вторую жену с шестилетним сыном, уехал к первой. По дороге он 17 ноября заехал к Толстому, мировоззрением которого некоторое время был увлечен. О посещении Толстого он сообщил О. С. Волкенштейн. Она очень тяжело переживала отъезд мужа и 4 января 1899 года написала Толстому: «Сказал ли он Вам, что едет и оставляет нас навсегда или только на время, т. е. с целью устроить Людмилу Александровну? Если Вас не затруднит, будьте так добры и скажите мне вкратце решение и настроение, с которым он уехал от Вас». Она добавила, что «далека от мысли проявления какого-либо насилия над его волей и его желаниями».

Толстой ответил ей 12 января добрым письмом, высказав предположение, что А. А. Волкенштейн «поехал на Сахалин только с намерением устроить и облегчить сколько возможно участь Людмилы Александровны. Про вас и сына своего,— писал Толстой,— он говорил с любовью, и потому полагаю, что он поехал с намерением вернуться к вам».

Не помню как, но вернее всего от С. В. Короленко (она также была одним из редакторов юбилейного издания), стало известно о ее знакомстве с А. А. и О. С. Волкенштейнами в годы их жизни в Полтаве, узнали, что О. С. Волкенштейн жила теперь в Каире вместе с сыном, работавшим там врачом, и через С. В. Короленку poslала ей анкету. Вместе с письмом к В. А. Жданову она прислала автобиографию. В основных чертах она изложена в комментарии к письму Толстого к ней (см. т. 72, стр. 33—34). Но некоторые любопытные сведения в комментариях не вошли. Она писала о толстовцах, живших тогда в Полтаве и бывавших у них в доме, резко отрицательно отзывалась о И. М. Клопском и М. С. Дудченко и весьма дружелюбно о Б. Н. Леонтьеве. Писала также, что А. А. Волкенштейн «под влиянием Толстого захотел сесть на землю, и вот он в первый раз поехал к Л. Н. Толстому вместе с И. А. Буниным, тогда очень юным молодым человеком, ничем особенно не выдающимся, но тоже увлеченным учением Толстого и желающим сесть на землю. Он был тогда уже женат первым браком. Они поехали к Л. Н. оба и вернулись оттуда разочарованными, ибо Л. Н., узнав, что оба семейные, спросил их, как же жены их относятся к перемене жизни. Они сказали, что было правдой,—«несочувственно». Тогда Л. Н. им посоветовал не разрушать семью и не идти наперекор желаниям и не делать насилия. Это была первая встреча с Л. Н.¹

Вторая была перед отъездом А. А. в Америку и на Сахалин к Людмиле Александровне. Александр Александрович, верно, рассказал Толстому, что он оставляет меня с маленьким шестилетним сыном, и Л. Н., верно, по своей доброте и чуткости захотел меня утешить, написав несколько ласковых слов. Я ему ни раньше, ни позже не писала и на это письмо не ответила ничего. Я была очень тронута письмом и благодарна ему за него, но писать ему пустые затасканные слова благодарности не могла». Затем она писала о том участии, которое проявили к ней В. Г. Короленко, П. А. Буланже и другие. Кроме автобиографии, она прислала В. А. Жданову пять обширных писем А. А. Волкенштейна к ней и сыну начала 1900-х годов.

13 января 1900 года М. Горький познакомился с Толстым, посетив его в Москве в хамовническом доме, и через несколько дней написал Толстому, благодаря его за

¹ О толстовцах в Полтаве и об этой поездке к Толстому в декабре 1893 года рассказывает И. А. Бунин в статье «Освобождение Толстого».

добрый прием. «Рад я, что видел вас, и очень горжусь этим. Вообще я знал, что вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо вы отнесетесь ко мне». И затем закончил письмо просьбой: «Пожалуйста, дайте мне вашу карточку, если имеете обыкновение давать таковые. Очень прошу — дайте». 9 февраля Толстой ответил дружелюбным письмом и послал фотографию с надписью: «Алексею Максимовичу Пешкову. 9 февр. 1900. Лев Толстой».

Через двадцать восемь лет готовился к печати том 72 юбилейного издания, в который входило это письмо Толстого. М. Горький находился тогда в Сорренто. 28 декабря 1928 года В. А. Жданов написал Горькому, прося ответить на несколько вопросов, касающихся переписки его с Толстым. Немедленно, 8 января 1929 года М. Горький по пунктам ответил на все вопросы. Подлинник его письма находится в нашем архиве ².

Летом 1903 года поэтесса И. А. Гриневская прислала Толстому свою книгу «Баб» (драматическая поэма из истории Персии в пяти действиях и шести картинах) с надписью: «Учителю Льву Николаевичу Толстому от автора-ученицы. 18 июня 1903». (Книга хранится в Яснополянской библиотеке.) Толстой не откликнулся. Через два с лишним месяца Гриневская написала Толстому о том, что кавказские бабиды встретили сочувственно ее книгу, прислали ей из Баку хвалебное письмо, к которому добавили: «Мы бы хотели узнать и мнение великого русского писателя гр. Л. Н. Толстого, нельзя ли через посредство Ваших знакомых узнать мнение его о Вашем труде, а в особенности об этом учении». Сообщив Толстому просьбу бабидов, И. А. Гриневская писала: «Буду безмерно счастлива, если Вы произнесете свое слово по поводу их секты. Она Вам, конечно, хорошо известна и без моей слабой попытки изобразить учение, столь близкое к христианству, не к христианству, разводившему костры для еретиков и проливавшему моря крови, а к христианству первых времен, всепрощающему, незлобивому. Вкладываю всю мою душу в исполнение поручения, которое мне дали люди, исповедующие учение чистой жизни, чистой любви и поэтому уже заслуживающие получить удовлетворение». На конверте помета Толстого: «Без ответа».

Казалось бы, что письмо это могло заинтересовать Толстого. Известно, что бабизм давно интересовал Толстого, он считал, что «бабизм, как нравственное и гуманитарное учение, имеет большое будущее в восточном мире». Однако письмо Гриневской осталось без ответа. 8 октября Гриневская вновь писала Толстому: «Дорогой Лев Николаевич, Владимир Васильевич Стасов, сообщив мне, что Вы оказали внимание моей книге «Баб», хотел мне доставить величайшую радость, о которой только могут мечтать писатели нашего времени. Бесконечно ему благодарна за это благородное и доброе желание. Считаю день, когда я получила от него это известие, большим неожиданным для себя праздником». И опять повторила «мольбу бабидов, жаждущих» узнать мнение Толстого об их секте.

На это письмо Толстой отозвался 22 октября 1903 года. Он благодарил за присылку книги «Баб», которая произвела на него хорошее впечатление, и выразил свое отношение к бабистам и их учению (см. т. 74, стр. 207—208).

В 1930 году, когда готовился к печати том 74 юбилейного издания, И. А. Гриневская здравствовала, жила в Ленинграде и с полной готовностью откликнулась на просьбу дать сведения о себе, о своей книге и о переписке ее с Толстым. Главное же, И. А. Гриневская рассказала о создании поэмы «Баб» и о связанной с этой книгой истории ее переписки с Толстым.

11—14 сентября 1903 года в Ясной Поляне гостили В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург. Вернувшись в Петербург, В. В. Стасов писал Гриневской 21 сентября: «Я вам сделаю удовольствие. В один из дней нашего пребывания в Ясной Поляне, когда мы вечером расходились по своим комнатам, я попросил у Льва Великого, чтобы он дал мне на ночь и на утро какую-нибудь книгу. Он дал мне одну замечательную

² Опубликовано в «Яснополянском сборнике. Статьи и материалы. 1910—1960». Тула. 1960, стр. 112.

книгу Эльцбахера; потом вслед за мною тоже попросил себе книгу на ночь и на утро Эльясик Гинцбург. И Лев, оборотившись к столу позади, взял оттуда лежавшую вверх книгу и подал ее Элиасу со словами: «Вот возьмите и почитайте, хорошая, интересная вещь». Я посмотрел заглавие: «Баб». До свидания. Ваш Стасов». «Конечно, лучшего удовольствия он мне доставить не мог,— писала далее И. А. Гриневская.— В скором времени, после письма ко мне В. В. Стасова, я получила письмо и от Гинцбурга, очевидно прочитавшего мое произведение в Ясной Поляне. «С особенным увлечением я прочел эту великую вечную драму,— писал Гинцбург.— Написана она чрезвычайно просто, образно, красиво. Теперь я понимаю, почему эта драма так понравилась Л. Н. Кроме художественной красоты, он должен был в драме Вашей находить себя самого...»

Узнав об отношении Толстого к ее книге, И. А. Гриневская и послала Толстому цитированное выше письмо от 8 октября, на которое, как она писала в письме В. А. Жданову, «последовал ответ Льва Николаевича, который я получила в одно утро, еще лежа в постели; я долго не могла разобрать, что это за письмо и от кого, ибо ясная даже подпись «Л. Толстой» меня ввергла в сомнение, чтобы оно исходило от Л. Н. Толстого. В письме этом, как я через некоторое время поняла, Л. Н. выразил подтверждение своего одобрения моему сочинению и начертил ответ на мое давнишнее письмо по поводу его мнения об учении бабизма. Содержание этого письма я, конечно, передала заинтересованным в том лицам».

4 февраля 1904 года И. А. Гриневская еще раз писала Толстому, благодаря за «бесценное» письмо. «Берегу его как лучшую награду за мой труд».

В заключение письма В. А. Жданову Гриневская писала:

«С самим Л. Н. никогда, к сожалению, не встречалась... Я стеснялась нарушить созерцательный покой великого человека, не принося ему ничего собою, как это делали многие.

Мало того: на одном вечере в редакции журнала «Родина» по моей инициативе был исполнен двумя артистами диалог «Письмо из деревни» (пьеса в 1 действии). Оказалось, что на вечере присутствовала Т. А. Кузминская, которая, когда меня представила ей, сказала мне много лестного об этом пустячке и прибавила: «Это мог бы подписать и Лев Толстой».

В вечер постановки в театре Лит. худ. о-ва «Катюши Масловой» она же, догнав меня в коридоре театра в один из антрактов, сказала мне, что ее сестра хочет познакомиться со мною. «Увидав Вас пробирающейся в проходе залы, она спросила, кто Вы. Я ей ответила, что это та, которая переписывалась с Левушкой, автор «Баба». И с этими словами она меня ввела в ложу Софьи Андреевны, с которой я провела весь этот антракт. И все-таки... я не воспользовалась возможностью познакомиться с великим человеком (неоднократно бичую себя за излишнюю, уже неподражаемую щепетильность); была знакома и с Львом Львовичем, который даже слепил мой бюст».

Тогда же, сообщив, что подлинник письма Толстого хранится у нее, И. А. Гриневская писала: «В случае моей смерти завещаю письмо Музею».

В ноябре 1909 года Толстой подал прошение председателю Совета Московских детских приютов В. К. Свешникову о принятии в один из приютов детей Хохловых, отец которых, крестьянин деревни Новая Колпна (близ Ясной Поляны) А. Ф. Хохлов, умер в августе 1909 года (см. т. 80, стр. 269—270). При помощи сотрудницы Яснополянского музея узнали адрес дочери Хохлова Татьяны Алексеевны, которая в 1932 году жила в Москве.

На запрос она ответила пространным письмом, сообщив о том, какое участие принимал Толстой в судьбе этих детей.

«...после смерти отца нас осталось трое: два брата 11 лет и 6 лет, и я, 13 лет. Однажды, когда Л. Н. проезжал по нашей деревне, я обратилась к нему с просьбой определить моих братьев в какой-нибудь приют, так как после смерти родителей существовать нам было не на что. Лев Николаевич тут же зашел к нам в избу и подробно расспросил меня, где работал отец, от чего умер, сколько имеем земли и вообще какое у нас хозяйство, и обещал к нам заехать. Это было в октябре 1909 г.

Вскоре Лев Николаевич заехал к нам и сказал, что он начал хлопотать и определить всех нас троих. Л. Н. часто проезжал по нашей деревне и постоянно заходил к нам, подолгу с нами беседовал. Он помогал нам деньгами, а однажды заметил, что у нас холодно в избе и на исходе дрова. Он дал мне записку к своему лесничему о выдаче дров.

Однажды Л. Н. приехал к нам специально затем, чтобы сказать, что он смог определить только двоих — старшего брата и меня, а младшего брата за малолетним возрастом он определить не смог, но чтобы я не беспокоилась, обещал мне определить на следующий год, а до того времени Л. Н. сам лично поехал вместе со мной к моему дяде в другую деревню за две версты просить его, чтобы он взял к себе мальчика.

11 февраля 1910 г. я и мой брат были привезены в Москву Софьей Андреевной Толстой. Определить в приют моего младшего брата Льву Николаевичу не пришлось за его смертью. Это доброе дело закончила Мария Николаевна Толстая, которая дала возможность получить моему брату среднее образование».

Затем она рассказала, что ее одиннадцатилетний брат Иван был тогда, в феврале 1910 года, принят в Ольгинский детский приют в Москве, а затем был переведен в приют великого князя Сергея Александровича, окончил четырехклассную коммерческую школу и работает теперь (1932) старшим бухгалтером при дирекции Московской Белорусско-Балтийской железной дороги. Она же сама через посредство М. Н. Толстой была помещена в Серпуховское профессиональное училище, получила специальность портнихи, преподавала швейное мастерство, а в 1932 году, когда писала нам, «училась в техникуме на товароведа». Обо всем этом она сообщила нам в письме от 25 июля 1932 года, то есть через двадцать три года после хлопот Толстого.

В письме от 16 января 1903 года московский адвокат П. К. Мысовский просил Толстого: «Помогите мне решить бесплодно измучивший меня вопрос: что такое зло, в чем начало его, в чем сущность и чьей властью существует возможность зла? Я не нашел нигде ответа!» И дальше, развив подробно важность для него решения этого вопроса, он так закончил письмо: «Ответите ли? Я не имею права на ответ. Но, может быть, Вы почувствуете, что я достоин его!» На конверте помета Толстого «б. о.», а чьей-то рукой: «Ответ. Л. Н.». Толстой действительно ответил ему 21 января: «Ответ мой на ваш вопрос следующий: зла объективного нет. То, что мы называем злом, есть непонятное и недоступное нашему пониманию добро. Лев Толстой» (т. 74, стр. 19).

Спустя двадцать семь лет, отвечая на вопросы редакции, П. К. Мысовский сообщила историю этого письма, озаглавив ее «История драгоценной жемчужины». Начал он с описания своей жизни и случаев, заставивших его задуматься над вопросом о сущности зла. «Читая Толстого,— писал он далее,— я убедился, что он... ополчился против «зла»... А как понять, если он нигде прямо не говорит, что такое «зло»? И неожиданно «на заре XX века» он встретил Толстого в Москве «на Кузнецком мосту близ бывшего магазина Дациаро: он шел сверху, я снизу. Сразу узнав его по портретам, я поклонился ему, снял шляпу и намеревался пройти мимо. Но Лев Николаевич посмотрел на меня с такой простотой и с таким добродушием, причем остановился с очевидным намерением поздороваться (вероятно, он принял меня за одного из своих друзей), что я тоже остановился, и мы подали руки друг другу: другого выхода не оставалось.

— Скажите мне, дорогой Лев Николаевич,— сразу спросил я,— что такое «зло» по вашему пониманию?

— А зачем вам это знать?

— Чтобы ориентироваться в жизни.

— Зло — это то, мимо чего вам хочется пройти мимо,— с улыбкой сказал он.

— Вот я хотел пройти мимо вас и прошел бы, если бы вы не посмотрели так добродушно и просто.

— Значит, если бы я посмотрел не добродушно и не просто, то это было бы злом, мимо которого вы и прошли бы, и это было бы правильно

— Это я сам чувствую: зло я очень чувствую, но беда в том, что я совершенно не понимаю сущности зла.

— И понимать не надо! — почти педантично заключил он.

— А как же разумение: разве оно лишне?

— Разумение — область добра, а область зла — неразумение, непонимание. Как же вы хотите понимать непонимание?

— Выходит, что и вы, обличая зло, говорите о том, чего сами не понимаете!!

— Может быть, это так и есть; но я хочу только показать, каким я разумею добро.

— Если вы понимаете добро, то оно субъективно; и если не понимаете зла, то оно объективно. Вот и все!

— Нет, это вовсе не так. — И он значительно покачал головой.

— В чем же разница между добром и злом по существу?

Мне показалось, что последний вопрос не понравился Льву Николаевичу.

— Вам этого и не надо знать.

— Благодарю вас, — произнес я тоном оскорбленной гордости и откланялся поднятием шапки, считая, что вопрос исчерпан.

Пройдя лишь несколько шагов, я уже раскаялся в своей мальчишеской выходке, и долго затем меня коробило при воспоминании о ней, а сознание ее непоправимости терзало до физической боли.

Далее он пространно описывал и свои переживания, и раздумья по поводу суждений Толстого и наконец нашел выход:

«Я написал ему покаянно-просительное письмо, которого я не помню, но смысл которого сводился к следующему: не считайте меня недостойным и простите мою глупость, во свидетельство чего достаточно ответить на мой вопрос, жизненно для меня важный.

Получение от него ответа привело меня в восторг. Он меня понял и простил! Даже содержание ответа было для меня тогда не столь важным, как самый факт его получения. Важность содержания сказалась впоследствии — он утвердил меня на том пути, где я томился в одиночестве».

В заключение он писал: «Прилагаю подлинник письма ко мне Л. Н. Толстого от 21 января 1903 г. Эту драгоценную жемчужину я передаю Толстовскому музею: пусть будет она достоянием общественным».

В своем, как он называет его, «покаянно-просительном» письме П. К. Мысовский не напомнил Толстому об этой встрече, которая могла быть не позднее 8 мая 1901 года, и трудно решить, вспомнил ли о ней Толстой, отвечая на его письмо.

«Пришел старичок из Нижнего», — записал Толстой в «Дневнике» 29 декабря 1900 года (т. 54, стр. 77). А на следующий день в письме своему знакомому крестьянину Ф. А. Желтову, автору нескольких книжек, изданных в «Посреднике», Толстой писал: «А у меня теперь гостит ваш знакомый Христофор Иванович. Он просит, чтобы вы навестили его хозяйку и успокоили ее на его счет» (т. 72, стр. 571). Пришлось узнавать, кто такие Христофор Иванович и его хозяйка. Корреспондент Толстого Ф. А. Желтов здоровствовал, узнать его адрес было нетрудно. Отвечая В. А. Жданову 26 октября 1932 года, он сообщил нужные для примечаний сведения о Х. И. Шалашове и его жене и добавил, что Христофор Иванович Шалашов «принадлежал к православному вероисповеданию», но у него «развилось отрицательное отношение к православному вероисповеданию... он всецело перешел на свободно религиозное понятие в духе молоканского убеждения, но с свободно критическими взглядами... Его постоянная пытливость ума побуждала всегда к общению с людьми, ищущими тех же истин», и это привело его к Толстому, сочинения которого он стал читать, и «по простоте своей иногда характерно выражался против господствовавшей церковности, усвоив простой крестьянский, но выразительный слог мыслей... Вот в этом побуждении он и вознамерился посетить лично Льва Николаевича, и этому его намерению и пришло время осуществиться в декабре 1900 года».

Дальше Желтов подробно изложил запомнившийся ему рассказ Х. И. Шалашова о его встрече с Толстым в Москве:

«И вот собравшись, как я после узнал от него, посетить Льва Николаевича, он приходит ко мне, одетый в простой крестьянский халат и валяные сапоги, с дорожной сумкой через плечо, и говорит: «Ну вот, я собрался теперь сходить к Льву Николаевичу, отдохну у тебя, а завтра отправлюсь». «Как отправишься,— спрашиваю я,— по железной дороге?» «Нет, пешком». «Зачем же пешком,— говорю я,— тебя подвезут к станции, а там выправят билет до Москвы, и спокойно и скорее доедешь». «Нет, пешком я дойду скорее»,— отвечал он. «Как это скорее?» — удивляюсь я. «А вот как. Читал я где-то, может, это и Лев Николаевич писал, заспорили двое, вот как мы с тобой, кто скорее дойдет до места, и тот, который хотел идти пешком, доказал, что он дойдет скорее, а доказал вот как: условились, чтобы назначенный день отхода был для обоих один и чтобы у каждого запас хлеба был одинаков дня на три, на четыре, а денег у обоих не было ни копейки. Один, тот, что пешком должен идти, отправился в путь немедленно, в тот же день, а другой остался зарабатывать деньги на проезд и на хлеб. Пока он это делал, пешеход уже дошел до места. Вот и я так хочу».

Собрал в сумочку на дорогу хлеба и сухари и отправился и так добрался до Москвы, как потом мне рассказывал.

Интересно, как его встретил Лев Николаевич. Пришел он к нему около полудня, долго бродил по Москве, отыскивая дом Льва Николаевича.

«Подхожу,— говорит он мне,— я к воротам, остановился и думаю, примет ли, мол, он меня, решил, взшел на крыльцо, вхожу в прихожую, там человек стоит. Спрашиваю: «Здесь проживает Лев Николаевич?» А он отвечает: «Он в эти часы посетителей не принимает». А я ему и говорю: «Я не спрашиваю, принимает ли он теперь, а здесь ли живет?» Он отвечает, что здесь. Тогда я снимаю сумку, кладу ее в угол и говорю: «Я тогда подожду, когда можно Льву Николаевичу принять, а пока посижу тут, да, может быть, здесь и ночую». А он мне и говорит: «Здесь это нельзя». «Как это нельзя,— говорю я,— шел, шел сюда я, да и отдохнуть нельзя? Нет, Лев Николаевич это не позволит!» Только что я это проговорил и хотел скинуть с себя халат, как отворяется из соседней комнаты дверь и идет сам Лев Николаевич.

— Что тут такое? — спрашивает он.

Вижу, смотрит на меня пытливо, но лицо доброе, взгляд ласковый, ободрился я и говорю:

— Здравствуй, Лев Николаевич, я к тебе шел пешком 400 верст, кое-что твое читал и вздумал посетить тебя и побеседовать.

— Что же вы из моего читали? — спрашивает он.

— Лев Николаевич, всего не выскажешь,— отвечаю я,— а только помню, что читал про медведя, который искал мед в лесу и учуял улей на дереве и полез туда достать меду, а там толстый чурбан на веревке висел и мешал ему мед доставать, а он оттолкнул его и хотел достать меду, а чурбан раскачался да и сшиб медведя с дерева, вот это я хорошо помню, Лев Николаевич,— сказал я ему.

А он меня и спрашивает:

— А как вы это поняли, к чему это написано?

— А вот к чему, Лев Николаевич,— говорю я.— Улей — это ты на дереве жизни, медовая же сладость — это христианское учение, а медведь, ищущий сласти меда,— это вот я, пришедший к тебе, Лев Николаевич,— отвечаю я.

Лев Николаевич усмехнулся да и спрашивает:

— Ну а чурбан-то на веревке — это что?

— А это православная церковь со своим ложным учением, которая гонит от тебя,— сказал я.

Лев Николаевич опять усмехнулся да и спрашивает:

— Ну а еще что вы читали?

А я и отвечаю:

— Всего, Лев Николаевич, ведь не припомнишь, да и читать-то я больше не хочу, будет мне и прочитанного.

Лев Николаевич посмотрел на меня с добродушной улыбкой да и говорит:

— Ну, это напрасно, читать хорошие книги нужно; вот я много перечитал и все-таки продолжаю читать.

А я и говорю:

— Лев Николаевич, я тебя спрошу: в пятиведерную бочку можно налить семь ведер или нет?

— Нет, не можно,— отвечает он.

— Ну так что ты меня с собой-то равняешь? Ты мне вот что сделай, помоги мне исполнить, что мной прочитано,— сказал я, а он засмеялся, взял меня за руку да и говорит:

— Пойдемте, отдохните, вы, наверное, устали с дороги, а потом и побеседуем. Отвел меня наверх в комнату и сказал:

— Вот здесь и ночевать можете, а пока я пройдуся, вы же отдохните, а дочке скажу, чтобы она чайку вам собрала да позавтракать принесла.

А я говорю:

— Лев Николаевич, я не устал, с вами куда хошь могу пойти..

А он меня перебил и говорит:

— Ну, ну, это после, поотдохнит пока, а я пройдуся.— И вышел из комнаты.

Пробыл я у него несколько дней, много беседовали, были у него его знакомые и случайные посетители, при которых виделся с известным художником Николаем Николаевичем Ге, который прислал мне снимки с некоторых его картин».

Все, что выше изложено,— писал Ф. А. Желтов,— было лично передано мне Христофором Ивановичем, и я постарался передать все его выражения в возможной точности, как он мне говорил».

В августе 1908 года Толстой получил письмо от доктора Л. В. Шора из Мытищ Московской области, в котором тот выражал крайнее сожаление по поводу опубликованного в газетах заявления С. А. Толстой о том, что право издания сочинений Толстого, написанных до 1881 года, принадлежит только ей. В это число вошли «Азбука» и «Книжки для чтения». Это особенно огорчило доктора Л. В. Шора, и в письме от 7 августа он писал Толстому: «Так устройте так, чтобы еще при вашей жизни ваша «Азбука» была в каждой крестьянской избе на Руси,— это поистине памятник нерукотворный, достойный Вас в России». На конверте Толстой пометил: «Софье Андреевне. Очень важно». На следующий день Толстой ответил Л. В. Шору (см. т. 78, стр. 198).

О себе Л. В. Шор писал очень кратко: «Я рядовой земский врач, теперь служу в Московском уездном земстве при доме призрения». Розыски адресата привели нас в Севастополь. Ответ Л. В. Шора на запрос редактора не сохранился, но сохранилось другое письмо — от доктора С. А. Никонова из Севастополя от 30 мая 1931 года:

«Уважаемый Владимир Александрович, мой старый знакомый доктор Шор рассказал мне, что он получил от Вас предложение сообщить о себе краткие биографические сведения, т. к. он однажды написал письмо Л. Н. Толстому. Это навело на мысль сообщить Вам о моем свидании с Л. Н. Толстым в Севастополе в 1902 г. или, может быть, в 1901 г.— точную дату Вам легко будет восстановить.

Свидание это и наш разговор с Л. Н. не представляют сами по себе большого интереса, но в связи с событиями того времени (отлучение Л. Н. от церкви и т. д.), с обстановкой, при которой свидание произошло, все-таки заслуживают, мне кажется, описания...

Летом или уже к осени 1902 г. (в полной точности даты я не уверен: может быть, это было в 1901 г.) мы получили сообщение от одной из владелиц лучшей севастопольской гостиницы «Кист», Шлее, управлявшей в это время гостиницей, что на следующий день телеграммой заказаны номера для приезжающего с севера Л. Н. Толстого с дочерью и еще с кем-то (секретарем, кажется), или, может быть, она сообщила, что Л. Н. уже приехал. Известие это было сообщено старым знакомым m-lle Шлее, нашим друзьям сестрам Бальзам, крупным местным общественным деятелям, учителям по профессии, одна из них, Александра Спиридоновна (жива поныне), была основательницей и бессменным председателем местной

общественной библиотеки, сыгравшей большую роль в культурном обслуживании Севастополя. Балзам сообщили мне с женою, и вечером мы собрались у них в довольно большом числе.

Л. Н. только что перенес тяжелую болезнь (воспаление легких), и мы, как и вся читающая и мыслящая Россия, были в большой тревоге и опасались плохого исхода болезни. С другой стороны, только незадолго перед этим было опубликовано известное постановление об отлучении Л. Н. от церкви. И болезнь Л. Н. и удар синоподского копыта привели, конечно, к новому подъему тех чувств любви и уважения к великому писателю, которые испытывала вся интеллигентная Россия к нему, той гордости, которую мы все ощущали при мысли, что он — наш, сын той же страны. Понятно поэтому, что собравшихся охватило желание выразить Л. Н-чу наши чувства, показать ему, что и в Севастополе есть много знающих, любящих и высоко ценящих его людей.

Естественно, выразить все это можно было, только собравшись на площади перед гостиницей, когда он утром тронется в фэртоне в Гаспру, где он должен был проводить лето. Оповестив учителей, учеников школ, рабочих и пр., мы были уверены, что провожать Л. Н. выйдет не одна тысяча народа. Предполагалось усыпать его путь цветами, встретить приветственными кликами.

Но это получилась бы целая большая демонстрация, а так как Л. Н. только что оправился от болезни и был, наверное, еще слаб, мы решили, чтобы кто-нибудь из нас сходил в гостиницу и узнал у сопровождавших Л. Н. лиц, не взволнует ли слишком, не принесет ли вреда ему встреча. Выбор пал на меня, и под вечер я отправился в гостиницу. М-ше Шлее, узнав от меня, в чем дело, вышла со мною в вестибюль, чтобы подняться наверх и попросить дочь Л. Н-ча спуститься ко мне. Но как раз в этот момент дочь (кажется, это была Александра Львовна) спускалась с лестницы.

М-ше Шлее представила меня ей, и я изложил ей наше желание приветствовать Л. Н-ча.

Она попросила меня подождать и сказала, что спросит самого Л. Н-ча, как он отнесется к нашим намерениям. Минут через пять она вернулась и сказала мне, что Л. Н. просит меня к себе. Я не ожидал, что буду принят Л. Н-чем, и, признаться, несколько смутился и взволновался.

В большом номере я увидел Л. Н-ча лежащим на диване; он был прикрыт пледом до пояса. Уже горело электричество, и вся его фигура была хорошо освещена. Я представлял себе его почему-то высоким; здесь, на диване, он производил впечатление маленького хрупкого человека. Перед диваном стоял овальный стол, около которого сидел какой-то мужчина (секретарь), а затем сели Александра Львовна и я.

Я не могу, конечно, передать буквально весь разговор, который велся в течение минут пятнадцати моего пребывания у Л. Н-ча, но в общих чертах я его хорошо помню. Л. Н. сейчас же обратился ко мне со словами: «Ну вот, вы хотите чествовать меня. Передайте вашим друзьям, что я благодарю их, но прошу, чтобы они этого не устраивали». Тут он сослался на свою слабость после болезни, но мне помнится, что он высказался и в том смысле, что эта встреча его толпой почитателей будет носить характер демонстрации (так оно, в сущности, и было, полиция, наверно, пришла бы именно такой смысл нашему выступлению), что кто-нибудь может еще, пожалуй, и потерпеть от полиции и что он этого совсем не хочет.

Далее он спросил меня: «Вот вы доктор. Как же вы хотите меня чествовать, когда я столько писал против докторов и медицины?» (Повторяю, я передаю только смысл сказанного, не ручаясь за точность передачи подлинных слов или фраз, сказанных Л. Н-чем.) Я объяснил, что я чту его прежде всего как гениального художника и как моралиста и хотя не согласен в очень многом с его учением, это ни на йоту не уменьшает моего к нему уважения. Тем менее могут меня задеть те или другие его высказывания о врачах и т. п.

Далее он расспрашивал меня о деятельности и о составе наших культурнических кружков и обо мне лично. Когда я сказал, что был некогда в ссылке по делу

о пропаганде, он что-то заметил мне о беспечности или вреде революционной деятельности. Конечно, я не поддержал разговора в этом направлении.

Между прочим, я сказал в разговоре «отчасти» с ударением не на том слого, где следует. Л. Н. сейчас же остановил меня. «Почему вы говорите — отчасти? Нужно сказать — отча́сти». Я объяснил ему, что на юге вообще говорят плохим русским языком, а в Севастополе среди местных язык особенно плохой, например «во व्यожной по-над берегом» вместо «в южной бухте выше берега». А так как я вырос и учился в Севастополе и Симферополе, то и мой русский язык достаточно испорчен.

Не желая утомлять Л. Н-ча, я скоро встал и распрощался с ним, заверив его, что его желание будет исполнено. На прощанье он сказал мне какую-то любезность (что он рад был со мной встретиться, что-то в этом роде), на что я вполне искренно ответил, что во мне это свидание оставляет глубокое впечатление, и пожелал ему, как водится, скорого и полного выздоровления и долгих лет жизни.

Все-таки на следующее утро несколько десятков человек вышли к гостинице «Кист» и, когда коляска с Л. Н-чем тронулась, приветствовали его молчаливыми поклонами».

Можно точно датировать эти дни 8—9 сентября 1901 года. В дневнике А. Б. Гольденвейзера, который вместе с Толстым выезжал из Севастополя в Гаспру, записано, что 8 сентября «приходил какой-то доктор, делегат от местной интеллигенции».

В 1908 году Толстому два раза писал фармацевт из Серпухова А. А. Пафомов. При первом письме от 5 августа он прислал свой рассказ «Учитель Филиппыч». На конверте записан Н. Н. Гусевым стенографически ответ, очевидно под диктовку Толстого, но расшифровать стенограмму не удалось (см. т. 78, стр. 355; в большинстве случаев Н. Н. Гусев при подготовке юбилейного издания свои подобные стенографические записи расшифровывал). Во второй раз Пафомов писал 5 декабря по поводу опубликованного в газетах письма Толстого от 30 октября о просительных письмах (см. т. 78, стр. 244—245). И на это письмо ответил Н. Н. Гусев 10 декабря по конспекту, написанному Толстым на конверте (см. т. 78, стр. 377).

В ответ на вопросы редакции А. А. Пафомов прислал автобиографию, некоторые факты которой заслуживают внимания, а также рассказал о своей встрече с Толстым, по-видимому, вскоре после первого письма.

«Я родился в г. Воронеже в 1857 году 16 июля. Отец мой был адвокат и хорошо умел защищать земельные дела крестьян. Мы жили скромно, в маленьком домике на Девичьей улице. Как сейчас помню, отец выиграл в пользу крестьян слободы Пригородной... Отец ездил по этому делу в Петербург. Это было в 1869 году. Моя мать была купеческого звания и хорошо играла на фортепиано, а ее дед, Иван Никитич Шауров, был любитель театра и, имея хорошие средства, выписывал за свой счет артистов из Парижа. Другой мой дед, Антон Родионович Михайлов, известный в то время меценат, любил науку и искусство. В его доме бывали друзья Пушкина Станкевич и Серебрянский, а также Кольцов и Никитин. И. С. Никитину он дал 5000 рублей на открытие первой бесплатной библиотеки в Воронеже. Она и до сих пор носит название Никитинской библиотеки (см. биографию Никитина, соч. Де-Пуле).

Когда мне было 12 лет, меня отдали в аптеку к дяде, французу Ф. И. Бальбони, в Острожокск. (Больше Пафомов своих родителей не видел, они вскоре умерли. Он стал провизором, поселился в Серпухове, где живет сорок шесть лет, работал на химическом заводе и аптекарских складах.) В 1900 г. учредил товарищество, с которым устроил первый народный театр в городском саду (он и теперь существует — это Театр Советов). В этом театре тогда играли знаменитые артисты Горев, Рассказов, И. А. Рыжов, Г. Н. Федотова, Далматов с труппой, Черепнов, Борисова и др. Устроил первую детскую площадку для физических игр в городском саду. Был членом Серпуховского общества любителей драматического искусства, где играл на сцене, а также играла и моя жена; ставил спектакли для детей. В этом обществе был почетным членом А. П. Чехов, с которым я был знаком, благодаря этому Антон

Павлович привозил в Серпухов знаменитого артиста Художественного театра Станиславского, который играл в моем театре.

С А. Н. Толстым познакомился за два года до его смерти. Шел к нему из Тулы пешком. А. Н. принял меня радушно и благодарил меня за сочинение, которое я послал ему почтой («Учитель Филиппыч», история серпуховского учителя). Когда я пришел к нему, было около 12 час. дня. В это время он вернулся с прогулки. Познакомившись со мной, А. Н. обратился к группе учителей с учениками, пришедших к нему для выражения своего сочувствия по случаю его выздоровления. А. Н. сказал небольшое слово благодарности и о смысле жизни, а затем обратился к старушке, которая просила милостыню. Он достал из кошелька несколько серебряных монет и, улыбаясь, сказал мне:

— Вот сказано, что когда творит добро твоя правая рука, то нужно, чтобы того не знала левая, а вы смотрите на меня.

— Я так рад видеть вас, Лев Николаевич, все, что вы делаете и говорите.

— Ну, благодарю, благодарю вас, дорогой,— сказал он, пожимая мне обе руки, после чего быстро поднялся по лестнице к себе в рабочую комнату.

Спустя два года я ездил в Ясную Поляну хоронить его, и до сих пор в моих ушах звучит «вечная память», которую пели крестьяне и студенты, неся простой дубовый его гроб.

Воспоминания о Льве Николаевиче я описал в сочинении «Гимназист Николецька» (находится в местном музее).

В заключение он сообщил: «Распространял подпольные сочинения А. Н. Толстого, которые мне присылал из Англии тогда высланный из России В. Г. Чертков, среди рабочих, за что делали на меня доносы попы, и у меня бывали обыски жандармские и полицейские (см. «1905 год в Серпухове», изд. Серпуховского уездного комитета РКП(б). Сборник воспоминаний о рабочем движении в Серпуховском уезде).

В июле 1909 года Толстой получил из Новочеркасска от присяжного поверенного П. П. Казмирова рукописи двух его рассказов: «У виселицы. Из летописи одного города» и «Казнь». Оба рассказа подписаны псевдонимом Мих. Борецкий. В сопроводительном письме от 14 июля автор писал: «Глубокоуважаемый Лев Николаевич! Смертные казни, как они совершались у нас в Новочеркасске, были умышленным кощунственным надругательством над живыми и мертвыми людьми. Эти ужасы мне захотелось описать в доступной для меня художественной форме и тем вывести из покоя и бездействия людей равнодушных и не знающих. Насколько позволили мне силы, я постарался все, что узнал от очевидцев и участников, отразить в двух очерках: «У виселицы» и «Казнь». Первый очерк уже напечатан в июньской книжке «Русского богатства», но по цензурным условиям изменено даже само заглавие: вместо моего простого, прямого и ясного «У виселицы» редакцией дано заглавие «Под покровом ночи», чтобы меньше привлечь внимание защищающего казни правительства, кроме того, сделаны еще пропуски, между прочим, опущено одно место, самое главное и существенное, в начале второй главы по тем же цензурным соображениям, и опущена вся первая глава, по-моему, очень значительная, где я именно указываю, как ужас казни, сначала огромный, в буднях и мелочах жизни городского общества обмельчал и рассосался, как гной рассасывается в теле.

Поэтому я посылаю Вам и свою рукопись — без пропусков и сокращений, и книжку «Русского богатства» за июнь. Кроме того, я посылаю еще рукопись очерка «Казнь», еще нигде не напечатанного, в котором передан ужас, пережитый сыном, узнавшим, что его отец-священник присутствовал при казни...

Я посылаю свои работы Вам, величайшему борцу со смертной казнью, и несколько Ваших слов о моих работах я бы принял с благоговейным чувством нравственного удовлетворения, и это было бы для моей совести величайшей наградой за пережитые страдания при описании этих ужасов. Искренно преклоняющийся перед силою Вашего творческого духа Пав. Казмиров».

На конверте помета Толстого: «Отвечать, когда получится».

23 июля Толстой записал в «Дневнике»: «Читал прекрасный рассказ о казнях» (т. 57, стр. 100) — и в тот же день писал автору, что рассказ «У виселицы», особенно в том виде, в каком он в рукописи, то есть не ослабленный цензурными выпусками, ему «очень понравился», что он «производит то самое чувство ужаса, которое, очевидно, переживал автор и которое переживают многие и многие люди теперь в России». Особенно хорошей Толстой считал первую главу и сожалел, что в опубликованном рассказе она выпущена. «Второй же рассказ «Казнь» не понравился мне», — писал Толстой (т. 80, стр. 32).

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич! В тот день, когда я получил Ваше письмо, я не мог уснуть ночью от волнующего чувства огромной радости и благодарности за Ваш ответ, — писал П. П. Казмичов 6 августа. — Смертные казни замучили меня, и от нестерпимой боли я закричал, но мой крик, мой слабый голос не был бы услышан в шуме казни. Теперь же, когда к моему «крику» присоединился Ваш голос, к моему рассказу присоединились несколько Ваших сочувственных слов, — я верю, что ужас, пережитый мною, станет ужасом многих и многих человеческих душ, и это сроднит и сблизит многих, не знавших этого в чувстве ужаса перед казнью.

Следуя совету Вашего секретаря, я уже послал свою рукопись Альберту Шкарвану и прошу его перевести на немецкий и напечатать мой рассказ вместе с выдержкой из Вашего письма, касающейся этого рассказа. Точно так же, с целью наибольшего распространения так понравившейся Вам первой главы, опущенной «Русским богатством», я хочу сделать попытку напечатать ее отдельно в одной из русских газет, также с выдержкой из Вашего письма.

Ведь Вы мне пишете, что «желательно, чтобы рассказ получил наибольшее распространение без пропусков», а ничто не может так привлечь внимание даже равнодушных людей к моему рассказу, как несколько строк из Вашего письма с Вашей оценкой, да это и укрепит в глазах людей нравственное значение моей работы.

Вы благодарите меня за присылку рассказов и спрашиваете, нужно ли мне их вернуть. Для меня огромная, непередаваемая словами радость — от одной мысли, что мои рукописи у Вас. Они принадлежат Вам и, быть может, понадобятся Вам как фактический материал: ведь главное и существенное в них описано с правдой и с точностью исторического документа (слова Яковлева, обращенные к военному суду, самый «порядок» совершения казней).

Ведь и не понравившийся Вам рассказ «Казнь» я только единственно потому послал Вам, что в нем правдиво и точно переданы душевные переживания человека, ужаснувшегося от мысли, что он или его близкий (отец) должны присутствовать при казни. Что эти переживания переданы мною с полной правдой в каждой мысли, в каждом ощущении — это засвидетельствовал мне один военный врач, живущий в Новочеркасске, один из трех-четырех врачей, нашедшихся во всей России, который дважды получал приказание присутствовать при свершении казни и дважды отказывался исполнить это приказание, за что, конечно, прогнан со службы³.

Так вот он был поражен правдой в изображении переживаний Павлика (в «Казни»), которые переживал и он, доктор, и которые не позволили ему присутствовать при свершении казни. Только за эту правду в изо-

³ Уместно отметить здесь, что среди корреспондентов Толстого был тоже такой врач, Н. Г. Чепелкин, который 19 января 1899 года писал Толстому: «Нет у меня слов для выражения силы той любви и веры в Вас (и только через Вас в людей), которую Вы навсегда зажгли у меня». Поводом к письму Толстому послужило то, что, работая тогда сельским врачом в местечке Усвяты, он собрал деньги для голодающих и послал их Толстому (см. т. 72, стр. 51, 80). В процессе розысков Чепелкина было получено краткое сообщение о нем от работавшего с ним в Усвятах врача Шмяковича, который писал (в апреле 1929 года), что «Н. Г. Чепелкин оставил о себе среди населения самую светлую память как врач и как человек». А позднее, в письме от 29 мая 1929 года, вдова его О. Н. Чепелкина, прислав биографические сведения о муже, писала, что после 1899 года он перешел на должность ординатора витебской губернской земской больницы, «откуда должен был уйти за отказ присутствовать при совершении смертной казни в 1909 году».

бражении переживаний я и решился послать Вам этот незначительный в художественном отношении рассказ. С глубоким уважением Пав. Казмихов».

Не решаясь просить самого Толстого, Казмихов одновременно написал Н. Н. Гусеву о том, что для него «было бы огромной радостью, полной глубокого нравственного содержания», иметь портрет Толстого с его автографом.

Н. Н. Гусева в это время в Ясной Поляне не было, 4 августа он был арестован. Письмо это было, видимо, прочтено самим Толстым. На конверте письма Казмихова Толстому помета рукой кого-то из близких: «Послан портрет 10 авг.».

Не сразу удалось разыскать автора так высоко оцененного Толстым рассказа. Из адресного бюро Новочеркасска в январе 1932 года сообщили, что такой не значится. В писательских кругах его не знали. Спустя месяц обратились в Новочеркасскую центральную библиотеку, откуда любезно сообщили (справка не подписана), что, по собранным сведениям, П. П. Казмихов живет в Москве, и сообщили адрес одного гражданина в Москве, у которого можно получить точные сведения о Казмихове, а также сообщили, что его знает А. С. Серафимович. Теперь нетрудно было найти его, и в ответ на наше письмо П. П. Казмихов прислал 2 июня 1932 года пространную автобиографию, которая сама по себе представляет весьма большой интерес.

Он донской казак, родившийся в 1872 году. Подробно описал семейную обстановку, в которой вырос. В 1895 году закончил юридический факультет Московского университета и работал затем в Новочеркасске помощником «славившегося тогда на Дону» присяжного поверенного Н. В. Грекова. Рассказывая далее о своей деятельности в качестве защитника, он отметил, что с 1895 по 1920 год он «не одну тысячу людей спас и от тюрьмы, каторги, ссылки, повешения и расстрела». В 1902 году началась его литературная деятельность. Свой первый рассказ «Весной», подписанный псевдонимом Мих. Борецкий, он послал в «Журнал для всех» В. С. Миролубову, который оценил этот рассказ, но цензура запретила его печатать. Позднее «с трудом, не без уловок и урезок» удалось напечатать несколько рассказов в «Журнале для всех» и в «Ежемесячном журнале», издававшемся тем же В. С. Миролубовым, с которым у Казмихова «завязалась душевная переписка».

Казмихов подробно изложил историю своего рассказа, так понравившегося Толстому.

После 1905—1906 годов началось беспощадное, свирепое жандармско-царское подавление освободительного движения. «Ни патронов, ни крови не жалели. Карательные экспедиции, военные суды, виселицы, виселицы покрыли страну. Я студентом в 1892—1894 гг. в курсе лекций по уголовному праву пропускал раздел о смертной казни, считая это средневековым кошмаром, окончательно сданным в архив истории. А тут в родной глуши оказался лицом к лицу с этим диким, нечеловеческим ужасом; каждую ночь на заре за городом вешали по несколько человек и зарывали, как пададь... Я сам как защитник говорил с ними, этими живыми, видел их жуткие глаза, из которых смотрела на меня уже смерть, слышал их слова, которые уже не звучали жизнью... Другие защитники, мои товарищи, рассказывали страшные подробности о «своих» смертниках. Об этом рассказывали врачи и попы, присутствовавшие при повешении, извозчики, которые возили попов и врачей, об этом глухо шумел весь городишко, сначала потрясенный, напуганный, взбудораженный, потом привыкший, повешенье вошло в обиход жизни, стало бытовым явлением, стало порядком чиновничьего дня...

Я изо дня в день, из ночи в ночь наливался этим ужасом обыденности, но писать не мог: каждый день по часам рвал на куски мою психику. Я не мог сосредоточиться, а писал я всегда стремительно, одним порывом, единым наплывом, волнуясь, горя, дрожа... Наступила пасха — три свободных дня. Я заперся и за три дня и три ночи не отрываясь, питаюсь почти одним черным кофе, написал «Под покровом ночи». Я люблю мыслить, чувствовать, поступать просто, прямо, ударно, в лоб, хватая главное, и назвал «У виселицы». Ведь я хотел правдиво, точно, не уклоняясь ни на шаг от жизненной правды, сфотографировать те социально-психические круги ощущений, чувств, мыслей, которые стали расходиться по застойной глади глухого

городишка, когда чудовищным камнем упала в его тихую заводь смертная казнь с частоколом виселиц. В исторической правде каждого описания многих мелочей я видел главную ценность моего рассказа. Я хотел этим рассказом выжечь нестираемое клеймо на том проклятом строе жизни. Я хотел этот рассказ положить как неразбиваемую чугунную плиту на могилу безвестно зарытого, как падаль, героически погибшего борца за освобождение удушаемого общества. Я хотел сохранить потомству фамилию⁴, точно запечатлеть его слова на суде, ударившие ветром в лицо военным судьям, его последние слова попу и палачу, когда он сам надел себе на шею веревку... Мною точно — для истории — сфотографирован весь порядок шествия на голгофу, весь обряд совершения казни, даже местность, по которой везли смертников на повешение. Эта правда до мелочей так велика, что будущий атаман Всевеликого войска Донского, а ныне чуть ли не глава воинствующих белобандитов в Париже Африкан Богаевский, тогда проходивший в Петербурге какие-то штабные должности или высшее военное обучение, писал родным в Новочеркасск: «Очевидно, написал «Под покровом ночи» новочеркассец, я узнал по описанию местности... Кто это?»

Но когда я кончил рассказ, «отпылал творчеством» и перечитал написанное мною, оно показалось мне таким бледным по сравнению с пережитым и волновавшим меня. Ведь своим рассказом я хотел бросить бомбу страшной разрывной силы в успокоившуюся на «бытовом явлении» буржуазно-мещанскую обывательскую общественность. Только мои близкие убедили меня послать этот рассказ в печать, и я почти нехотя послал его в «Русское богатство».

Каково же было мое радостное удивление, когда я через 1—1½ недели получил от Мельшина (одного из редакторов «Русского богатства») мелким бисерным почерком исписанный листок, где он писал, что рассказ мой очень понравился Владимиру Галактионовичу Короленко и всей редакции, что Влад. Гал. хочет вне очереди поместить его в ближайшей книжке журнала, но просит моего разрешения изменить название рассказа, полагая назвать его «Под покровом ночи» или еще как-то (я забыл его, а письмо не сохранилось; мотив: «Р. б.» и так пользуется чрезмерным вниманием жандармской цензуры, а название «У виселицы» сразу же заставит их запретить книжку журнала или вырезать из нее мой рассказ), а также Владимир Галактионович просил меня разрешить ему опустить первую главу (мотив: он ее находит несколько «публицистичной» и потому ослабляющей художественное впечатление волнующего драматизма, которым полон рассказ) и, наконец, вычеркнуть по цензурным соображениям речь моего главного героя, «смертника», на суде, еще некоторые отдельные фразы и выражения.

Меня вдруг так неудержимо охватило желание «бросить бомбу», что я на длинейшее письмо Мельшина ответил телеграммой в одно слово: «Согласен». И рассказ мой появился в июньской книжке. Поразило это меня потому, что Серафимович, мой старый товарищ еще по работе в редакции «Донской речи», мне не раз жаловался, что «Р. б.», единственный тогда честный боевой журнал, загружен был рукописями и рассказы задерживались печатанием на полгода и более.

И моя «бомба» оказалась достаточной разрывной силы. Вот факты. Главный палач по приведению в исполнение смертных казней — прокурор окружного суда — по своему признал исключительную правду моего рассказа. С лукавой усмешечкой щуря один глаз, он говорил мне: «А вы ухитрились присутствовать при совершении смертной казни?» Я возражал: «Да как же я мог это сделать? Вы на пушечный выстрел никого не подпускаете». А он мне: «Но как же вы могли так верно все описать... до последней соломинки на земле у фонаря? Конечно, вы присутствовали!»

Секретарь окружного суда, который неоднократно присутствовал по обязанности при повешении и, возвращаясь утром домой, заваливался спать, а потом, проснувшись, как ни в чем не бывало принимался за свою будничную работу, прочитав мой рассказ, признавался мне, что дня два чувствовал себя душевно расстроенным, удивлялся, почему это сами смертные казни так на него не действовали, как описание

⁴ Далее в подлиннике пропуск.

их в моем рассказе, пытался найти, что я прибавил, преувеличил, сгустил, и в конце концов убеждался, что все мною описано до последней мелочи правдиво и точно, и все приставал ко мне с вопросом: почему же само повешение так не переворачивало его душу, как мой рассказ?..

В крупнейших провинциальных городах, напр. в Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринославе, Ростове н/Д., в публичных библиотеках на июньскую книжку «Р. б.» с моим рассказом были длинные очереди записей. Об этом я узнал впоследствии, когда почувствовавшее колебание почвы под ногами самодержавие разрешило наконец все-российские съезды, считавшиеся до того крамольной — присяжной адвокатуры, и вот съехавшиеся с разных концов России адвокаты мне рассказывали об этом.

Охваченный неудержимым желанием — взрывом бомбы скорее разбудить морально притупленное общественное сознание, я тогда по телеграфу ответил редакции «Р. б.» «согласен», но это согласие я считал вынужденным. Внутренне я ни на минуту не мог согласиться с короленковской оценкой моей первой главы. Я находил ее наиболее сильной не только по глубоко жизненной правде обобщенного содержания, но и по оригинальной форме сознательно грубоватой простоты самого неприкрашенного реализма. Я высоко ценил Короленку, но знал его слабость к некоторой условной акварельной красивости тургеневского стиля. Поэтому-то я решил избрать Л. Н. третейским судьей между мной и Короленко: кто из нас прав в оценке первой главы моего рассказа.

Как видно из письма Л. Н., он целиком стал на мою сторону против Короленко. Высокая оценка Л. Н. наполнила меня решимостью, и я через моего приятеля студента Печковского переслал первую главу с копией письма Л. Н. в милуюковскую «Речь». Печковский, большой поклонник моего таланта, лично понесший мой рассказ в редакцию, был глубоко возмущен, что заведующий литературным отделом Ганфман принял его чуть не в передней и небрежно сунул на стол рукопись неизвестного Борецкого, назначив явиться за ответом через неделю. Об этом с негодованием писал мне Печковский, а не позже как через неделю я уже в Новочеркасске читал в подвале «Речи» свою первую главу, а еще дня через три — восторженное письмо Печковского о том, как его Ганфман пригласил в кабинет и рассыпался о том, что рассказ так великолепен, что они решили напечатать его, рискуя даже заплатить 4000 руб. штрафа (!).

Но самая характерная оценка моего рассказа была позже.

Мне пришлось участвовать в сенсационном, исторически интересном судебном процессе ген.-майора Телешова. Этот придворный шаркун, любимец двух императоров — Александра III и Николая II — прославился тем, что в русско-японской войне, вместо того чтобы воевать с японцами, успешно воевал с царской казной — грабил вовсю казенные деньги, вымогая у полковых казначеев, грабил фуражные, заставляя казаков взамен этого грабить маньчжурское население. Безнаказанность гарантирована была любовью двух императоров. Бесконечные жалобы на него поступали, военные следователи честно производили тщательнейшие расследования, накопилось пять толстейших томов следственного производства, но — дело заминалось. Потом, очевидно, кому-то стало невтерпеж, и вот уже много лет спустя, чтобы реабилитировать любимца двух царей, вопреки всем законам судебного производства был по особому сочинен бутафорский судебный процесс, который должен был по первому разряду похоронить преступное прошлое доблестного генерала, завершившись его полным оправданием и даже его апофеозом — для дальнейшей блестящей карьеры. Эту судебную комедию решили разыграть при закрытых дверях в черносотенном казначьем городишке Новочеркасске. Не буду подробно говорить о живописной гнусности всех подробностей этой подлой судебной комедии, тянувшейся более недели. Скажу лишь, что я взялся защищать «стрелочника», несчастного полкового казначея Щетковского, на осуждении которого решили построить оправдание генерал-майора Телешова. Я взялся защищать Щетковского и так поставил дело, что, несмотря на исключительно подобранный состав военного суда из царских военных холуев, несмотря на присутствие генерала, специально представлявшего особу его императорского величества с блокнотом в руках, суд вынужден был после моей речи закатать

любимца двух императоров в арестные отделения на 1½ года (если не больше, не помню).

Моя речь, защитительная для Щетковского и обвинительная для Телепова, была так оглушительна, что потом, когда я разослал ее в столичные газеты, одна только милюковская «Речь» решилась напечатать. Председательствовал в этом процессе член верховного военного суда генерал-лейтенант Иллюстров — седой розовый старик генерал с детски чистой душой (такие курьезы знал старый режпм). Во время тянувшегося более недели процесса с утра до ночи мы с ним познакомились, я сразу почувствовал его, узнал, что он имеет слабость к печатному слову, работает над продолжением знаменитого словаря Даля. Поэтому, когда процесс закончился, я как-то улучил минуту и запросто сказал ему: «Я тоже немножко литератор. У меня есть рассказ, который очень понравился Льву Толстому. Вы вот утверждаете в верховном военном суде смертные приговоры, а хотите узнать, как они приводятся в исполнение?» Он сказал: «Хочу». К этому времени я вырезал из «Р. б.» свой рассказ, доклеил к нему подвал из «Речи», в самом начале вставил копию письма Л. Н., все это сброшюровал и подготовил к печати отдельной книжкой. Вот эту предполагаемую книжку я и дал генерал-лейтенанту Иллюстрову. И через два дня, как условились, захожу к нему в гостиницу, где он остановился на время процесса.

Доложили обо мне его высокопревосходительству. Он выходит, здоровается, дружески берет меня под локоть, отводит в самый дальний угол общей залы и, хотя она была в то время почти пуста, только два обывателя в противоположном конце пожирали что-то вкусное, генерал почти шепотом говорит мне, указывая на брошюровку: «Это что вы хотите сделать?» «Издать отдельной книжкой». Генерал наклоняется к моему уху: «Посадим вас в крепость на несколько лет.— И добавил громче: — Рассказ прекрасный».

Эта душевная, генеральским шепотом сделанная оценка моего рассказа в несколько лет крепости по историческому резонансу стояла нескольких изумительных строк письма Льва Николаевича.

И странным образом в историческом сближении с этими двумя оценками — генерал-лейтенанта, по должности «верховного вешателя», и мирового великого непротивленца Льва Толстого — переключается третья оценка — большевика, активного участника трех наших революций, из сибирских крестьян, рабочего, пролетарского писателя Феоктиста Березовского: его, Березовского, переплывшего кровь трех революций, дважды приговоренного к расстрелу, неоднократно смотревшего в глаза самой смерти, мой рассказ обвевал тем же чувством ужаса, о котором пишет Толстой. Березовский нашел мой рассказ и теперь не устаревшим, художественно сильным и социально нужным. Он удивлялся, как такой дерзкий выпад против царского самодержавия мог быть напечатан; по его указанию изд-во «Огонек» года два тому назад заключило со мною договор на издание «Под покровом ночи» отдельной книжечкой с письмом Толстого в виде вступления, но кризис бумажный задержал издание, а я не настаивал, потому что стандартный объем книжек серии «Огонька» требовал сокращения рассказа на несколько страниц, а я, помня слова Л. Толстого, колебался идти на это.

Генеральская оценка рассказа в несколько лет крепости и удивление т. Березовского, кажется мне, вполне объясняют, почему в легальной прессе о моем рассказе как будто критики не писали.

Между прочим, почему Л. Н.-чу понравился рассказ «У виселицы» («Под покровом ночи») и не понравилась «Казнь» («Свыше сил»). В обоих рассказах мною взята была одна и та же тема — индивидуально-психологический и социальный ужас смертной казни. Но в «Казни» эта тема разработана была в напряженно-импрессионистических до крика тонах, в стиле Леонида Андреева, и это Льву Николаевичу не понравилось, а Миролубову и многим другим очень понравилось, захватило их. В рассказе же «У виселицы» эта тема дана в спокойно-реалистических, эпических, жанрово-бытовых почти красках и линиях рисунка, и это на великого реалиста Толстого произвело сильнейшее впечатление (вспомните ядовитый отзыв Л. Н. о «страшных» произведениях импрессиониста-экспериментатора Л. Андреева: «Он пугает, а мне не страшно»).

Глубоко взволновал меня разговор Л. Н. о моем рассказе с одним моим служебным знакомым — И. В. Денисенко. Денисенко был председателем гражданского департамента новочеркасской судебной палаты и, как потом я узнал, женат был на родственнице Л. Н. Хотя это неудобно было ему как высокому судебному чиновнику, одна комната у него, говорили, чуть не до потолка увешана была разнообразными портретами Л. Н. Недаром Денисенко был не в доверии у прокуратуры и вообще как-то держался в сторонке. Летом 1909 г. во время отпуска он, оказывается, гостил у Л. Н. в Ясной Поляне; случайно это совпало с теми днями, когда Л. Н. получил от меня письмо, рукописи моих рассказов и июньскую книжку «Р. б.». Вот тогда по возвращении он передавал свой разговор обо мне с Л. Н. своим знакомым, а от них его рассказ дошел до меня.

Л. Н.: Скажите, кто это у вас в Новочеркаске Казмихов?

И. В.: Присяжный поверенный. Хороший присяжный поверенный.

Л. Н.: Нет, что это за человек?

И. В.: Да кто его знает (добродушно смеясь). Ходит всегда застегнутый на все пуговицы. Близко его никто не знает.

Л. Н. укоризненно посмотрел — дескать, до человеческой души-то вы не доходите — и добавил будто бы: Вот уже два дня читаю, и слезы у меня на глазах. Писали о смертной казни и до вашего Казмихова. Писали Виктор Гюго, Тургенев, Достоевский, писал я, Леонид Андреев, а так просто и так потрясающе никто еще не писал.

Мне очень хотелось бы хоть теперь проверить, точно ли, верно ли передан этот разговор с Л. Н.».

В течение пяти лет (1901—1905) продолжалась переписка Толстого с К. И. Ландером, впоследствии известным латышским революционером, с 1905 года ставшим большевиком. Сохранилось 14 писем Ландера и 6 ответов Толстого. 2 февраля 1901 года восемнадцатилетний юноша писал о себе, о том, что его, в то время преподавателя волостного училища, уволили за настроение, так как он был «ярм социалистом». Через неделю Ландер вновь писал Толстому о своих взглядах. «Маркс со своим «Капиталом», т. II, произвел на меня сильное впечатление», — писал он и просил Толстого помочь ему устроиться. Толстой ответил 21 февраля, выразив полную готовность помочь ему.

После первых же писем установились такие отношения с Толстым, что Ландер в последующие годы неоднократно обращался к Толстому и за материальной помощью, и за советами, и с просьбой прислать книги и сообщил о своих переводах некоторых статей Толстого и о распространении их.

В 1904 году Ландер был арестован «за участие в транспорте изданий Черткова», так он писал Толстому в письме от 1 мая 1904 года из либавской тюрьмы. Он сообщал, что в связи с трудным семейным положением его согласны «выпустить на волю до приговора, если кто-нибудь поручится за меня на сумму 2000 рублей». С этой просьбой он обратился к Толстому. Толстой 12 июля дал требуемое поручительство. 10 сентября Ландер был освобожден. «Местный жандармский офицер сначала не принял Вашего поручительства, — писал Ландер Толстому 15 сентября, — и обратился в департамент полиции за разъяснением, можно ли принимать от Вас подобного рода поручительство. Из департамента через полтора месяца последовал ответ в утвердительном смысле».

В последнем письме к Толстому от 13 апреля 1905 года Ландер сообщал о своем переезде в Москву и сообщал свой московский адрес. Это дало возможность связаться с ним. На все интересующие редакцию вопросы Ландер охотно откликался. В редакторском архиве В. А. Жданова сохранилось 4 письма Ландера. Два из них, от 27 октября и 3 ноября 1929 года, цитируются в статье М. Долинского и С. Черток «Большое сердце».

При комментировании каждого письма Ландера Толстому возникали новые вопросы, и он отвечал на них. В последнем же письме В. А. Жданову от 16 сентября 1930 года К. И. Ландер, получив копии своих писем Толстому, подробно написал о своей жизни в период его переписки с Толстым:

«Многоуважаемый товарищ!

...Я только что закончил большую работу — мои воспоминания начиная с раннего детства. Сюда вошел и так называемый толстовский период моей жизни, а может быть, мне удастся издать его особо, т. к. он интересен как документ, характеристика переворота, как я постепенно, шаг за шагом пришел от так называемого толстовства к марксизму и с.-д., и не только сам, но и с целой группой моих товарищей, из которых некоторые пребывают и сейчас в рядах партии⁵.

Теперь вспоминаю, что период, к которому относятся присланные Вами письма, был самым тяжелым в моей жизни (начало 1903 г.). Меня только что выпустили из тюрьмы (в феврале), где я провел более 6 месяцев (по этапу шел с юга в Либаву), и я получил за агитацию, распространение запрещенных изданий, солдатской памятки и пр. 5 лет негласного надзора. Вследствие этого работы получить не мог никакой, жить приходилось у родителей, что было особенно тяжело, т. к. зарабатывал себе на жизнь начиная уже с 13—14 лет, служил [1 нрзб], работал грузчиком в гавани (разгрузка кирпичей и т. п.), подручным плотника и т. п. Отец, бывший батрак, служил досмотрщиком в таможне, получал 30 рублей в месяц. Кроме меня, было еще двое детей. Хуже всего было то, что меня освободили на поруки отца, жил он в казенном доме, и мое пребывание там угрожало ему всякими неприятностями. Я собирался уйти из дому, бежать, не раз помышлял о самоубийстве. Вот к этому периоду и относятся данные письма.

Не помню точно, какого совета я просил у Л. Н. в первом письме (от 13.II.1903 г.), но у меня к этому времени возникло много всяких вопросов и сомнений относительно истинной цели и смысла жизни. Влияние Толстого и его запрещенных, нелегальных философских сочинений («Царство божие внутри вас», «Евангелие и в чем его сущность» и пр. и пр.) сказались на мне в двух направлениях: 1) на меня произвела прежде всего сильнейшее впечатление его критика существующих порядков и всего строя, уклада жизни, и я воспринял это со всем пылом первого увлечения, 2) его идею личного совершенствования я воспринял, м. б., не совсем по-толстовски, но понял ее так, что для того, чтобы «служить людям», т. е. делать общественную, революционную работу (в чем одном я тогда видел призвание человека), каждый человек должен сначала переработать себя, порвать внутренне и внешне со всеми старыми привычками, навыками и т. д. И я с упорством и прямолинейностью [нрзб] не задумываясь проделал это — изменил коренным образом свою жизнь: перестал есть мясо (я вегетарианствовал лет 5), окончательно порвал связь с религией, с церковью, поскольку это было связано с домашним бытом (соблюдение праздников etc), и действительно уничтожил паспорт и всякие документы, отказывался наотрез подписывать всякие протоколы при допросах, на вопросы о религии, вероисповедании и т. п. отвечал, что у меня нет никакого, что никаких властей не признаю и распоряжениям их подчиняться не буду и являюсь в полицию каждую субботу (так полагалось поднадзорным) лишь из-за того, чтобы полицейские не беспокоили из-за меня моих родных.

Не помню решительно, сколько денег прислал мне Л. Н., кажется, что-то около 25 рублей. С Хр. Ник. я переписывался, он приезжал ко мне в Либаву, и мы оба помогали духоборцам, проезжавшим отсюда в Канаду, — последняя партия переселенцев.

Во втором письме речь идет, по-видимому, об этом аресте. Я получил 1 месяц не за письмо к Беккеру, а за недозволенную отлучку из Либавы, что мне как поднадзорному было запрещено. А с этим письмом дело состоялось так: я написал и отправил подобных писем (в 1902 г.) несколько, и, между прочим, одно на имя уфимского губернатора Богдановича после учиненной им расправы над рабочими, одно — на имя министра внутр. дел и т. д. В этих письмах я прямо и откровенно, называя вещи своими именами (по перенятой у Толстого манере), резко осуждал их за совер-

⁵ В рукописном отделе Центрального музея революции (Москва) хранятся две работы — К. Ландер, «Освободительное движение в Прибалтийском крае» и К. Ландер («Михаил») «Памяти лучших дней» (5 мая 1929 г., Москва), но о толстовском периоде ничего нет.

шенные преступления и высказал свое мнение, что это и их не доведет до добра (Богданович, между прочим, был убит недели 2 спустя после отправки моего письма).

Не знаю, чем кончился бы этот мой [1 нрзб], если бы положение это затянулось, ибо мое терпение кончилось — я был готов уйти куда угодно, лишь бы положить этому конец. К этому еще надо добавить все утлубляющиеся и нараставшие внутренние противоречия, неудовлетворенность теми советами, какие ранее мне давались и в письмах Л. Н., и т. д.

К счастью, перелом наступил вскоре — кажется, уже в конце марта. Прежде всего я получил работу в типографии корректором. Это дало мне возможность поселиться отдельно от родных. Затем я сошелся с группой молодежи, мы поселились вместе, коммуной (на Березовой), сняли весь верх (мансарды) одного дома, и вскоре к нам приехал и поселился с нами один из активнейших, из старейших работников латышской с.-д.—Музыконт (Вл. Ал. Скарре), с которым я потом близко сошелся. Он ввел меня в партийную работу, стал снабжать марксистской (немецкой) литературой и нашими заграничными изданиями, и под его влиянием я стал шаг за шагом пересматривать и сдавать свои взгляды и позиции — это был самый интересный период моей жизни, период напряженной духовной работы, переоценки многих ценностей. Одновременно я уже с лета 1903 г. принимал участие в нелегальной партийной работе, выступал в кружках, работал в подпольной типографии (в домике рыбака на берегу и т. д.).

А старик, отец мой, жив и поныне. Его звать Ландер Иван Егорович, проживает в Латвии вместе с матерью, ему уже 70 лет. Кажется, это все основное, затронутое в Вашем письме. К сожалению, я не успел еще переписать на машинке ту часть моих воспоминаний, которая касается этого периода моей жизни, — я бы мог предоставить Вам это для ознакомления, и, м. б., Вы нашли бы там ответы на некоторые интересующие Вас вопросы. С тов. приветом уваж. Вас К. Ландер».

В первых числах июля 1908 года появилась в русской (с купюрами) и иностранной прессе статья Толстого «Не могу молчать». Вскоре Толстой стал получать от иностранных корреспондентов просьбы разрешить перевод статьи. Первой была просьба польского коммуниста, видного деятеля революционного рабочего движения Феликса Яковлевича Кона:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич! Я перевел на польский язык «Не могу молчать», но так как оригинал издан за границей, то без Вашего разрешения брошюра не может быть издана.

Извиняясь за беспочвенность, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой не отказать мне в таком разрешении.

В дни юности (в 1885 году) я провел 42 дня в одной камере с приговоренным к смерти (Петрусинским), около 6 лет провел на Каре с людьми, избегнувшими смерти, и поэтому, надеюсь, смог понять и передать те чувства, какие руководили Вами в тот момент, когда Вы заговорили. Искренно и глубоко уважающий вас Феликс Кон».

На конверте помета Толстого: «Написать разрешение и ответить» — и стенографическая запись Н. Н. Гусева и помета его: «Отв. 23 авг. Н. Г.».

Толстой немедленно ответил. Сообщив, что он «раз навсегда дал разрешение переводить и перепечатывать» все его «писания с 1881 года», Толстой добавил: «Рад случаю подтвердить это и вам. Готовый к услугам Лев Толстой» (т. 78, стр. 210).

В годы, когда готовился к публикации том писем Толстого 1908 года, Ф. Я. Кон был членом коллегии и заведующим сектором искусства и литературы Наркомпроса РСФСР. На запрос редакции он ответил 19 апреля 1931 года: «Автограф Льва Николаевича представить не могу. Письмо было оставлено мною во Львове и во время войны затерялось. Мой перевод статьи «Не могу молчать» напечатан во Львове. Точно даты установить не могу, но приблизительно месяца два спустя после получения ответа от Льва Николаевича. Меры к предоставлению Вам напечатанного экземпляра мною принимаются, и я надеюсь, что смогу Вам его доставить. Из других

произведений Толстого мною переведен очерк «За что?» и издан равным образом во Львове⁶.

Лично с Толстым я не был знаком. Свое отношение к Толстому могу определить следующим образом: Толстого я считаю великим писателем, художником, который, как эпигон утопического социализма, был силен в критике капиталистического строя. Считаю, что вопреки своей воле и желанию Лев Николаевич своим правдивым воплем по поводу происходящих в капиталистическом строе безобразий, воплем, раздававшимся на весь мир, воздействовал на массы, революционизируя их и толкая на ответ «насилием на насилие». С глубоким уважением Кон».

⁶ L. Tolstoj. Nie moge milczeć. Przełożył z rosyjskiego Feliks Kon. Lwow. 1909; L. Tolstoj. Za co? Opowiadanie z czasów powstania 1830 r. Przełożył z rosyjskiego Feliks Kon. Kraków. 1913.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ БОНДАРЕВ,
АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ



УРОКИ ТОЛСТОГО

Диалог

ДЕЛО ЖИЗНИ

— (О) бращаясь к Толстому, всегда думаешь: каким великим даром душевного и физического здоровья наделила его природа, если смог он так вдохновенно и глубоко любить жизнь и все, что она несет в себе человеку. И вот уже более века живет он в русской и мировой литературе как могучая вечноцветущая нива. Для человечества это был бурный век. В трудной борьбе оно одолело несколько революционных эпох, принципиально изменявших лицо всего мира... Эти социальные битвы с незатихающими и, казалось бы, целиком захватившими нас страстями должны были вытеснить мир графа Толстого с его «старыми устоями», но, оглядывая всю нашу прожитую и настоящую жизнь, понимаешь: а Толстой-то — великий художник и непревзойденный реалист имеет в ней неизменно свое, ничем не закрытое, не затемненное место и даже наоборот — с годами его влияние растет, усиливается, все более усложняя и укрепляя наше духовное мироощущение. И так происходит со многими... Наверное, и вам тоже знакомо это чувство, Юрий Васильевич?

— Чувство к Толстому — интерес, любовь, почитание — сопровождает, по-моему, русского человека всю жизнь. Но как к гению человечества к нему обращаемся не только мы, связанные с ним одной историей, нацией, землей и дымом родного отечества, — к нему обращается весь мир, каждый думающий человек, кто желает познать правду о роде человеческом...

— А если так, то и ваши чувства к Толстому имеют неизменно свой оттенок, который, возможно, играет и свою роль в понимании истины, добра, любви, всего того, о чем думает писатель, в поисках чего он страдает, бьется до изнеможения, прежде чем луч прозрения осветит неведомое доселе...

— Да ведь по-иному и быть не может... В Толстом как феномене отразилась вся человеческая жизнь, возможно, до последнего своего предела — этого я тоже не исключаю...

Мои чувства к Толстому? Поразительное здоровье исходит от его книг. Эта чудодейственная энергия толстовского письма и есть та магия слова, которая всегда поражает, удивляет и привлекает, когда бы вы к ней ни прикоснулись. Испытать это легко, надо лишь открыть любую толстовскую книгу, даже из его первых, ранних, к примеру «Казак». Послушайте, как звучит, как вырастает крепнущая волна толстовской мысли: «День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки... Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху... один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров... и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам... Всем надо жить, надо быть счастливым... Все равно, что бы я ни был: такой же зверь,

как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего... все-таки надо жить наилучшим образом... жить для других... В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна...»

Вот с каких жизнелюбивых строк, с какой угловато-мужской, размышляющей фразы начинался художник Лев Толстой, пронесший через все творчество закливание Оленина: думать и жить наилучшим образом. Не к этому ли мучительно, настойчиво идут Андрей Болконский и Пьер Безухов, Левин и Нехлюдов? Как доктор-диагност Толстой разъял их души и показал, сколь тернист поиск смысла жизни, но и сколь сладок бывает краткий миг нравственного открытия души...

— Юрий Васильевич, в тех же «Казаках», помните, как описано состояние Оленина, когда он приходит к мысли, что жить надо для других? Оленин «так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить»... И мы сами, как Оленин, стремимся в муках открыть эту старую и вечно новую истину — как жить для других, — но, к сожалению, это не всегда и далеко не со всеми случается. А Толстой по-юношески пылко желал подвинуть каждого человека на этом пути. Разве не так?

— Так, именно подвинуть! И он своими произведениями создал такие формы бытия, освобождаясь от которых человек как бы приближается к целесообразности жизни, но так и не постигает этой истины до конца. Вот парадокс, вот тайна. Сколько лет прошло, как Толстой открыл нам пропасть между смыслом жизни молодого Куракина и Болконского, Вронского и Левина. Но именно здесь по-прежнему ждут нас трудности, взлеты и падения вплоть до уничтожения человеческой личности. 70-е годы XX века, казалось бы, так далеки от эпохи Толстого, но и сегодня молодые люди, как Оленин, стремятся соединиться с природой, ища там наивысшую целесообразность, **или**, как Пьер Безухов, хотят сбросить с себя шелуху фальшивых условностей, чтобы понять свое подлинное «я», или, как Анна Каренина, когда не удается разорвать искусственно созданные формы отношений, готовы пожертвовать жизнью ради любви...

Вот оно, верно обозначенное Толстым, непрерывно повторяющееся во времени освобождение человека от создавшегося бремени жизни — общественных, семейных предрассудков, косности, обывательщины, высвобождение не стихийное, а направленное, по принципу: в здоровом теле должен в конце концов возобладать здоровый дух. Но только так человек самосовершенствуется и живет нравственной жизнью. А жить по совести и было смыслом жизни для Толстого. Не случайно совесть он считал перекрестком всех проблем.

ЭНЕРГИЯ ПАМЯТИ

— Однако, Юрий Васильевич, он также считал, что совесть — память общества. Он видел неразрывное единство, взаимосвязанность, даже тождество совести и памяти. Теперь же некоторые писатели, да и не только писатели, склонны относить память к материи изменяющейся, подвластной текущему моменту, склонны рассматривать ее как элемент художественного творчества и даже скорее как плод богатого воображения, нежели один из критериев истины. Но ведь никому в голову не придет отнести совесть к сфере воображения. Так же должно быть и с памятью. Или Толстой ошибался, настаивая на единстве совести и памяти?

— Совесть писателя — это инструмент совести человечества, совести борющейся, ищущей выход из тупика дел и поступков человека, дел и поступков человеческих. Быть наравне с совестью народа — призвание большой литературы, считал Толстой. И он явил такое пробуждение совести, такое самопожертвование ради ее чистоты, какого не знала до него ни одна из литератур мира.

Но что такое сама литература, Арсений Васильевич? Это и память истории и память народа. Это память и совесть как единое целое. Толстой никогда не поднялся бы до властителя народных дум и чаяний, не будь он выразителем совести народа. А жизнь его как образец убеждает нас, что писатель и память должны жить

в добром согласии. Искажение памяти влечет за собой не только искажение событий, истории, но и вульгарную переоценку ценностей, глубоко безнравственное обвинение людей, подчас ни в чем не повинных. Толстой дорожил высоким назначением литературы и был очень тщателен в отношениях с памятью. Работа над романом «Война и мир» — это кропотливейшее изучение всех источников (отечественных, французских, английских) о войне 1812 года. Это буквальное обследование всех окрестностей Бородинской битвы, обследование отмеренными шагами между редутами. А ведь он сам был фронтовиком, защитником Севастополя, и уж как свистит картечь, как крутится на глазах дымящееся ядро, он знал. Память его была памятью гения.

— Но, вероятно, он знал и немалую разницу между эмоциональной памятью и памятью факта, события, что у нас нередко смешивают, пытаются нехватку достоверности исторической восполнить эмоциями?

— Толстой просто этого никогда не смешивал. Когда он начинал такое полотно, как «Воскресение», то месяцами изучал судебные дела, бывал в тюрьмах, подолгу говорил с обвиняемыми. Он постигал сущность вещей, чтобы потом, насытившись жизнью, соединить сущность с ощущениями, чтобы поток сознания и поток эмоций нашли единство. Воображение великого художника, создающего новый реальный мир, опиралось на три столпа: на глубокий опыт, на знание сущности вещей, на идею, которой подчинен весь ход художественного исследования. Помните, в «Дневнике» Толстого есть запись тех дней, когда он только еще размышлял о будущем романе: «...я понял,— записал он,— что надо начинать с жизни крестьян... они — положитель[ое]...» Я бы добавил — они носители идеи «Воскресения».

— А как же быть с «буйством» эмоциональной памяти, о котором говорят как о новом роде исследования, способном дать новый жанр литературы?

— Это не более как оригинальничание, с моей точки зрения.

— Но можно ли оригинальничать, описывая, к примеру, трагическое — смерть?

— Вероятно, можно. Если, конечно, за этим следует поток мысли, чувств — боли, сожаления, вины, — можно ради обнажающей душу искренности, озарившей тайну трагедии, попытаться оправдать и не очень-то удачный прием. Но ведь, к сожалению, «расковавшаяся» стихия памяти лишь кокетничает с нами. Этим кокетством все и ограничивается, что само по себе уже безнравственно. Такая память всегда грешит. Писатель создает хаотический набор примет, но не постигает сущности вещей. А это уже, строго говоря, не литература, а подмена ее беллетристической, подмена истинного ложным, подмена незаметная, потому как писатель вроде бы крайне откровенен, пишет о сугубо интимных переживаниях, что, казалось бы, должно было умереть вместе с самим человеком.

— Но такие исповедальные признания, Юрий Васильевич, разве они не могут быть предметом литературы?

— Могут. Но то, чего человек стыдился столько лет и вдруг сказал, то уж должен сказать, наверное, не для красного словца. «Исповедь» Толстого, в которой речь идет порой о вещах весьма нелицеприятных, обращена к нравственным началам, к глубочайшим переживаниям человека, для которого в этот момент писание есть действие — бескомпромиссное обнажение души. Да, он, Толстой, все познал: совершенно неизмеримую славу, признание; но он хотел познать счастье еще в одном, на что до него никто не решался, — в полном отказе от всего, что приобрел в глазах людей в течение своей долгой жизни. Духовную жажду он испытывал всегда и всегда жаждал испытать себя самым крайним, самым неожиданным образом. И такое исповедальное беспощадное обнажение души может вершить лишь совесть, памятливая совесть.

Ведь талант и память неразрывны, как неразрывны причина и следствие. Причина — память, следствие — творчество. Память ищет выхода, и возникает желание писать. А критерий творчества — совесть. Не познавший гнева вряд ли со всей силой может выразить его, равно как не познавший вкуса спелого яблока не может с уверенностью сказать, что оно еще зеленое... Наивысшая концентрация эмоциональной памяти и есть талант. Талант — энергия памяти. Истоки ее в детстве, юности, отрочестве. Человек в сорок лет, подходя осенью к воде, может вдруг почув-

ствовать прилив воспоминаний детства и неожиданно проживет эмоционально насыщенное мгновение. И именно это мгновение человек вдруг может вновь вспомнить в семьдесят лет и вновь испытать толчок радости. Все возвращается на круги своя, и это тоже. Но когда мы говорим, что писатель и память должны жить в добром согласии, то заботимся о нравственной стороне этих отношений. Правильно я вас понял?

— Именно так...

— А память писателя — супероригинала, кокетта, как правило, ведет к утрате нравственного. А когда память утрачивает нравственные начала, то иссыкает колодец писателя. На дне его виден песок. Жизнь, лишенная прошлого, — пустая. Она должна томить, угнетать человека — ведь это жизнь без души...

ЧУВСТВО ЦЕЛОГО

— Совесть писателя, Юрий Васильевич, вы назвали инструментом совести человечества. Наверное, и память писателя — инструмент памяти человечества. Все-таки в памяти потомков почти все или очень многое о прошедшей жизни закрепляется из книг. Желая это подчеркнуть, Толстой и писал, что «совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом».

— Да, для Толстого писатель был человеком особого рода. И так оценивал он не только лучших российских писателей, но и зарубежных, кого читал и особо чтл, — Мопассана, Диккенса, Теккерея, Гёте, Гюго. Он видел человеческие проблемы, искал ответа у мудрецов, живших до него, а также в религиозных, нравственных системах, веками создававшихся могучими умами. Но Толстой желал создать свою систему взглядов на мир, соединив общечеловеческое и национальное.

— Можно сказать, что ему удалось такое соединение, но не только соединение, но и поразительно точное выделение в общечеловеческом национального. Помните, как Достоевский в «Дневнике писателя» оценивал только что вышедший и широко тогда обсуждавшийся роман Толстого?

— Речь шла об «Анне Карениной»?

— Да.

— Это очень любопытное замечание Достоевского.

— Вот что он писал: «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение... и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое родное, а именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость...» И потом вслед за Достоевским уж не только в России, а и во всем мире стали говорить, что Толстой выразил наш национальный дух. В чем этот дух, с вашей точки зрения, проявился более всего в его произведениях?

— Действительно, Толстого, вы правы, Арсений Васильевич, занимали вечные вопросы, решение которых мир искал тысячелетиями. Добро и зло — два полюса отношений, два полюса души самого человека. Никто из людей не минует поля, созданного этими полюсами. Что бы человек ни открывал — пар, электричество, самые совершенные и разумные машины, — как бы он ни благоустраивал свою жизнь, наступит день, когда он окажется один на один со своей душой, один на один перед выбором добра и зла. Цивилизация, по Толстому, — это увеличение добра, активно направленного против зла, это терпеливое улучшение взаимоотношений людей. Дороги назад нет, вернее, путь назад сегодня ведет к катастрофе не только национальной, но и мировой. И в этом смысле уже тогда Толстой понимал, что у человечества есть только одна дорога — увеличение добра. Ради этого люди любили, создали живописные шедевры, прекрасную музыку, книги... Ради этого жили, наконец!

— Но что же тут национального? Это общечеловеческий идеал, кстати, сегодня весьма и весьма жизненный, он присущ буквально всем народам, борющимся за увеличение добра, терпимости и терпеливости в отношениях.

— Согласен, общечеловеческий. Но национальное — это характер человека. Стало быть, оно должно проявиться в умении находить понимание с учетом традиций, особенностей народов. Идет ли речь о собственной нации или о разноязыких объединениях многих народов. Толстой ценил нацию, он знал, что русским несвойствен шовинизм, национализм или шовинистическое политиканство. Русская нация никогда не была узкообособленной, русские легко усваивали пришедшее им по душе из культур других народов и всегда легко делились своим. И еще русские охотно и легко отзывались на призыв притесняемых, были ли то украинцы, армяне, азербайджанцы, грузины, марийцы, чувашаи, адыги, узбеки или болгары... Русским всегда было дело до всего в мире, особенно до установления справедливости в отношениях между народами. Толстой видел в этом не только свойство великой нации, но и возлагал большие надежды на здоровые силы русского человека, на его не только не иссякающее, а, наоборот, с годами усиливающееся стремление к единству своего народа как силы, способной постоять за родную землю, за свои идеалы, зреющие в лучших русских умах, за общую справедливость.

— О стремлении русских к целому Толстой, кстати, пишет как о национальной, народной черте. Размышляя об образе жизни русского человека в «Войне и мире», он думает: Каратаев «...любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь... Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка».

— Вот-вот, как запах от цветка! Это очень хорошо. Именно эту легкость, безмятежность, кроткость, вдумчивость, терпеливость, сосредоточенно направленную против лишений, крепкую духовную силу и видит Пьер Безухов в Каратаеве как олицетворение всего русского, духа простоты и правды, столь присущей русскому человеку. В этом весь Толстой.

— Я бы добавил, Юрий Васильевич, в Каратаеве Толстой видит и воплощение жизненных устоев, которые в течение веков складывались в русском крестьянстве. Он много об этом думал. Не случайно во всех произведениях устои жизни, быта русских — одна из главных тем его глубоких размышлений. Кстати, Владимир Ильич Ленин, критически рассматривая творчество Толстого, отмечал, что «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы».

— Это и понятно, критическое осмысление, развитие, укрепление жизненных устоев своего народа — первейшая забота национальной литературы. Ведь как отвечает Толстой на вопрос, почему Наполеон погиб в русских полях? Не только потому, что во главе русской армии стоял мудрый Кутузов и добрая сотня отличных генералов, а русский солдат против французского покрепче в плечах был... Нет, было кое-что поважнее, то, что Толстой называет чувством целого, — жизнь Каратаева имела смысл только как частица целого. А целое — это отечество, это семья, это наша унылая равнина, теплее и дороже которой нет на белом свете. Тогда и Бонапарте во всей красе и мощи своего полководческого ума оказывается вдруг с недугом августовского насморка и ноябрьскими кошмарными снами, которые должны оправдать его поражение в глазах французов, Европы, но не в глазах народа, одолевшего его своей нестигаемой целостностью. В сорок первом, в дни второй мировой войны наш солдат не был сломен потому, что еще больше ощущал себя великой частицей великого целого, что нельзя разделить и расчленить.

— В Каратаеве Толстой видел и большого труженика. Почти с обожанием он пишет об умении Каратаева работать споро, о его неутомимости в делах повседневных. «Стоило ему... встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки... Он всегда был занят...» И способность эту он считал также нашей национальной чертой.

— Пожалуй, как никто другой из великих художников XIX века он истово отстаивал мысль, что труд объединяет людей, умение трудиться — главное достоинство нации. Более того, постоянно на протяжении всей своей жизни он

каждодневно утверждал: где кончается труд, там начинается разврат. По Толстому, человек должен жить просто: работать, любить землю, дело мирское, рожать и воспитывать детей, помогать соседу, не обольщаться роскошью, не впадать в алчность, жить скромно, сдержанно, правдиво перед миром и собой. Он неистово не любил обман, ложь, корыстолюбие, неверность, лицемерие... Он не терпел потребителей (вспомните, с каким отвращением описывает он князя в «Холстомере» и хозяина в «Хозяине и работнике») и с глубоким душевным теплом относился к труженнику. Ведь как ладно и точно сказано о Каратаеве: «Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека...» Вот они, устои, по Толстому: уважать, стремиться понять друг друга, уметь уступить другому. Словом, устои должны закреплять нравственную жизнь людей — это всецело занимало Толстого постоянно. И жизнь трудовую, нравственную он ставил выше и достойнее любой другой..

ГРАНИЦЫ ДУШИ

— Но именно в этих взглядах на труд, Юрий Васильевич, на трудовой эксплуатируемый люд и эксплуататоров, иными словами, на нравственные начала отношений в тогдашнем русском обществе, проявились и противоречия Толстого, как их точно и метко определил Ленин — «кричащие противоречия». Когда, «с одной стороны, самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины».

— И это все, я глубоко убежден, даже уход в «поповщину», связан с неустанным стремлением Толстого во всем «дойти до корня». С гениальной прозорливостью художник Толстой выразил нарастающую ломку взглядов народных масс и в то же время не понял, не признал значения революции, более того, отрицал ее первостепенную роль в изменении положения народа.

Однако как мыслителя Толстого эта быстрая, тяжелая, острая ломка старых устоев подталкивала искать выход, но, конечно, в соответствии со своими давно сложившимися взглядами на устройство социальных отношений. Он видит этот выход лишь в самосовершенствовании человека, его душевного мира, и в мысли этой доходит до непротivления злу... Толстой недооценил, что самосовершенствование человека, активная сильная нравственная переделка его возможны лишь при победе социалистической революции, когда создаются условия, определяющие весь строй и образ новой жизни человека.

— И вместе с тем Толстой остается для нас гениальным художником, давшим «не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы». Он принадлежит к числу тех лучших людей, которые во все века шли на голгофу, чтобы выразить силу человеческого духа, могучую мыслящую плоть, проникнуть за пределы постижимого разумом. Жизнь людского океана и жизнь духа — вот материя, к постижению которых Толстой стремился до последнего часа и только это считал смыслом бытия художника. Как вы думаете, Юрий Васильевич?

— Это сверхзадача. С подобным явлением сегодня мы встречаемся не так уж часто. Многие книги современных писателей, к сожалению, легковесны, мысль в них не забита мощным клином в суть вещей, а скользит по поверхности, в них нет густого настоя нравственного духа, поиска ответов на вопросы, поставленные жизнью. Чем это вызвано? Ведь таланты есть. Может быть, наши художники не пытаются дерзать, не уверены в своем призвании, склонны щадить себя и ставят перед собой более скромные задачи, оставив сложные и трудные великим? Но истинное творчество начинается тогда, когда есть одержимое желание познать мир неизвестный, непостижимый.

Современное положение вещей опрокидывает многое из того, во что верили люди XIX века. Машинный век существенно изменил отношения в обществе, каждый индивидуум теперь должен играть свою определенную экономическую роль. На первый план в этом случае выступает не семья, как это было в прошлом веке, но отдельный член ее. А тут еще сверхмодные западные теории о свободных, независимых отношениях между супругами, о вседозволенности взаимоотношения полов — и уже ни о каких устоях речи быть не может, каждый раскрепощен от условностей, морали, «ложного» стыда, желает жить по-своему, не ущемляя эгоистических прав другого. Ветер эпохи доносит эти теории до нас. И здесь, я думаю, мы должны придерживаться твердого правила: если ученик теряет уважение к учителю и норовит всячески подчеркнуть свое неуважение к нему, не жди, что из него вырастет человек нравственный. Я не исключаю право на собственное мнение ученика, но при всем этом должна оставаться уважительная дистанция, которая определена была еще в Древней Греции между учителем и учеником. Мы должны быть достойными учениками, уважающими традиции и нравы своего народа. Мы много пишем и часто говорим о нравственном воспитании, но крайне недостаточно практически заботимся о развитии устоев нравственной жизни народа, устоев, отлитых веками. Ибо народ умнее каждого из нас в отдельности, а грядущий день мудрее вчерашнего. Тут я вижу и особую роль литературы, которая в наш образованный век имеет не меньшее нравственное влияние, чем в XIX веке имел отец семейства, передававший детям нравственные и трудовые традиции семьи, проверяя их временем. Были годы в нашей истории, когда мы отрицали свое прошлое, думая только о будущем, но забывая о том, что настоящее не строится на пустом месте. Не слишком ли были мы расточительны?! Не разбрасывали ли мы золото пригоршнями?!

Никто не может сказать, что красота, тем более нравственная красота человека, имеет границы и что ее возможно заключить в четко определенную математическую формулу. Формула — это логически познанная материя, это не подверженная сомнениям разгаданная тайна. Задача литературы состоит не в том, чтобы в миллионный раз описывать яблоко, стол, дерево на обочине дороги, лицо, фигуру человека и все, что мы видим перед собой. Я глубоко убежден, что литература, искусство — это не восстановление, не повторение действительности, а создание второй действительности, второго реального мира, в котором, как говорил Толстой, красота есть добро, в котором чувства одного человека заражают, завораживают другого. Заражать добром — это и есть обязанность искусства. Не так ли, Арсений Васильевич?

— И не случайно, видно, искусство Толстой называл микроскопом, наведенным художником на тайны своей души...

— Конечно, не случайно. Произведение, по мысли Толстого, должно быть освещено личностью художника; его внутренней борьбой и неудовлетворенностью ограниченным восприятием и познанием мира, его сомнениями, порой трудными, затыжными. Толстой был именно таким художником, сложнейшей, многогранной, противоречивой, страдающей личностью с таинством душевного мира. «Сорок восемь лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!» — сказала после смерти Толстого Софья Андреевна. Ее можно понять. Толстой на протяжении всей своей жизни до последнего дня был человеком самых внезапных действий. Он был неоднозначным и неожиданным одинаково для жены, семьи, друзей, для общества, правительства и, как это ни парадоксально, для литературы, ради которой шел на бунтарство, достигая этим нового открытия. Вспомните: школа для крестьянских детей в Ясной Поляне — добро для людей. Женитьба на Софье Андреевне. Счастливая жизнь отца семейства. «Война и мир», потом «Анна Каренина». Восемнадцать лет упорного, казалось бы, счастья. Он уже знает, что бессмертен. Но придирчиво оглядывает свою жизнь и переоценивает ценности. Как молния, ослепившая и повергшая всех в смущение, является «Исповедь»: «Я почувствовал... что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить. Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным». С этого момента началась новая жизнь гения. И кто знает, появились ли бы без

«Исповеди» рассказы для народа, «Власть тьмы, наконец «Воскресение»!.. И так случилось с ним неоднократно до той самой ноябрьской ночи последнего бунтарства — бегства из дома, которым завершилось его земное дело, бегства ведь тоже не случайного. Конфликт в яснополянском доме, все большее расхождение Толстого с людьми, которые хотели жить, ничего не делая, не очень обременяя себя душевными скорбями беспокойного старика и лишь на словах принимая формулу его — жить и трудиться во благо народа. Эта последняя истина была настолько дорога ему, что он требовал признания ее от всех, и от родных тоже.

На этом мятежном пути он соединял бунтарство против отживших форм отношений с постижением в себе новых тайн, открываемых для людей. Это он открыл нам незащищенную целомудренность Наташи Ростовой, тихую боль медленного угасания отвергнутой маленькой княгини, гибельную погоню за блеском славы Андрея Болконского, муки любви и бессилия в сохранении чувства Анны Карениной, раздавленное самолюбие Каренина... И того, что он открыл нам, не перечтешь. Мы содрогаемся, переживаем, открывая толстовские миры в себе, и нравственно растем, как, должно быть, постигая эти чувства и мысли в себе, душой, разумом рос сам Толстой.

— Вы говорите «постигая» в себе, но Толстой хотел, чтобы цель художника выходила за пределы постижимого умом человеческим, то есть за пределы собственного «я»...

— Как я понимаю, цель — понятие нравственное. Это желание перешагнуть за пределы достигнутого... Как хороша мысль Толстого, что эстетическое наслаждение, доставляемое природой, доступно всем, хотя различно восприятие его, но действует одинаково на каждого. Так же должно действовать и искусство, увеличивая радость всех... Увеличение за пределами постижимого — это тайна. Она — цель художника...

УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

— Юрий Васильевич, как художник, мыслитель, человек Толстой желал открыть три величайшие тайны, которые он не однажды и по-разному, пристально и сосредоточенно обдумывал: это рождение человека, любовь и, наконец, смерть... Если рождение и любовь были для него всегда делом жизни, увеличением радости, то перед постижением смерти он робел. «Смерть есть уничтожение всех различных общих пределов... и этого общего с существом земли предела — слияние с землей...» Как перешагнуть последний предел, который сам по себе самая большая тайна, как перешагнуть и что ждет там, за последним поворотом жизни?

— Мне кажется, что Толстого занимало не само физическое исчезновение, разрушение, а та пограничная ситуация, при которой совершался переход в новое состояние. В этот трагический момент перехода он хотел знать меру духовного в человеке. Думаю, поэтому в его дневниках так часто повторяется это слово «переход», когда он неотступно размышляет о смерти. Духовное начало — вот что всегда ново и значительно. И если духовная, нравственная энергия человека не исчезает со смертью, то во что переходит она?

— Вы хотите сказать, что и в исчезновении живого существа, в отмирании плоти Толстого занимала нравственная сторона?

— Несомненно. Маленькая княгиня, умирая, с упреком смотрит на Болконского: «Что я тебе сделала, что ты так мучаешь меня?» Анна Каренина погибает с мыслью отомстить Вронскому. Или смерть Холстомера и его хозяина. Нравственное и безнравственное прожитой жизни — вот что создает вольтову дугу диалога Толстого с человеком о смерти, о физическом исчезновении. Андрей Болконский на Аустерлицком поле — молодой бонапартист, жаждущий славы, безумно идущий в атаку. Тщеславие — вот его знамя, которое он поднимает на поле сражения. А тяжело раненный под Бородином, медленно угасающий в деревенской избе князь Болконский испытывает не страх перед смертью, а сознание отчужденности от всего земного и странно радостной легкости бытия...

— Это превосходные страницы в романе. Но там описан и страх, Юрий Васильевич, страх, отчуждение от жизни и облегчение. Хотите, я прочту это место, оно принципиальное для понимания Толстого.

— Да-да, пожалуйста.

— «Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров... Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит в с е. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит о н о...» Не правда ли, эта беспощадность Толстого заставляет содрогнуться. Какая бездна разверзлась перед нами...

— Но прочтите дальше, к чему приходит Болконский вместе с Толстым.

— «Что-то не человеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия... Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. О н о вошло, и оно есть с м е р т ь... князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставяла его... Наташа... видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки. С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни... Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно медленном, пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто...» Другими словами — умиротворение, уход в небытие и краски зари как вечные отблески жизни. Смерть почти без страданий, простая и благородная.

— Да, так, несомненно, Арсений Васильевич. Но это не касалось собственной жизни и смерти Толстого. «Надо победить смерть — не смерть, а страх смерти...» Эту запись в «дневнике» сделал он, столько раз переживший смерть своих героев и страдания до полной ясности. Помните, Наташа Ростова и княжна Марья плакали после смерти князя Андрея от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними. И вдруг как будто все вспясть в душе Толстого, и пятнадцать последних лет жизни на исходе каждого дня в надежде на день завтрашний он каждодневно записывает эти невероятно трудные для всякого человека «е.б.ж.» — если буду жив... Страхился: а что же будет потом, что будет там?!

— Может, он не знал до конца самого себя и страхился своего полного исчезновения, и не только физического?

— Нет, Толстой знал, что он феномен, человек редкий в роду человеческом, обладавший высшей мудростью — образным мышлением. Но он так же сознавал и другое — что все глупости, пороки, все зло, что совершается, идут оттого, что человек в жизни не открыл еще самого себя до конца. И в этом смысле, именно только в этом Толстой не знал и не мог знать о себе все. Как художник, как личность он был титан. Но сколько надо было иметь самоотверженности, чтобы жить с ним рядом, служить до героизма (чего стоило Софье Андреевне разобрать лишь почерк его!), до самоистязания служить литературной работе его и не знать, что он за человек, так его и не постигнуть до конца, потому что и в слабостях он оставался Толстым, великим среди живущих. Он был строгим, взыскательным генералом в литературе, очень требовательным к своим коллегам-писателям. Помните, как он говорил Чехову: пьесы у вас слабые, по-моему, а вот рассказы! я вслух их читаю, есть прелестные. И этот же беспощадный Толстой низвергал со своей высоты Шекспира, бранил музыку Бетховена за утонченность, а Гоголю за некоторые статьи ставил просто-таки не выше единицы. И в этом он был тоже Толстым, жестким в поисках истины, беспокорным, неожиданно резким и не терпящим возражений. «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что же?...» ..надо сейчас ответить: если не ответишь, нельзя жить...» Вот как думал Толстой. Истина превыше всего. Ради нее

готов на все: отказаться от дружбы, уйти из дома, отдать землю крестьянам, гонорары народу. Да, истина дороже... И это тоже был Толстой. Великий и непостижимый. Это и есть диалектика его жизни.

— Не зря же Достоевский писал, что «такие люди, как автор «Анны Карениной»,— суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их...» Для учителя всегда истина дороже. А Толстой был признанным учителем. «Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого»,— говорил Бунин. При всей резкости, категоричности Толстого писатели не скрывали своих чувств к нему. Достаточно вспомнить теплоту, юношеский восторг, с которыми относились к нему и Тургенев, и Некрасов, и Чехов, и Горький... Теперь же чувства писателей-современников к большому таланту несколько сдержанны, а то и просто преувеличенно безразличны. Чем это объяснить, Юрий Васильевич?

— Современники Толстого — люди искусства, писатели, актеры — видели в нем не только великий дар художника, а солнце, которое согревало всех своей благолепной энергией, рождая в каждом совесть, любовь, добро. А когда мы подчас о нашем современнике, большом таланте, оказавшем на нас огромное влияние, говорим неуважительно, по-мещански бранчливо, то, кроме утраты добропорядочности, я вижу в этом и утрату самоуважения. Скромности, трезвой самооценки недостает порой нам, вот уж чего не любил Толстой. Признание гения при жизни — это всегда явление нравственное. Нам следует учиться у Достоевского уважению к учителям, учиться добру, любви, восхищению великим талантом, который нас всех делает более талантливыми, более человечными и более мудрыми...



А. ПАЖИТНОВ



ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

...только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает — оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет.

Л. Толстой.

Когда заходит речь об этике Толстого, мы неизменно представляем себе его в последние десятилетия жизни, почтенным старцем, патриархом и проповедником, автором богословских трактатов. Точно так же когда заходит речь о философии «Войны и мира», нам сразу приходят на память обширные теоретические экскурсы последнего тома и соответствующие рассуждения в эпилоге. Между тем Толстой в качестве художника, развертывающего перед нами содержательные картины жизни, мыслитель несравненно более глубокий, оригинальный и пронизательный, чем когда выступает в роли чистого теоретика.

Исследователи, искавшие истоки противоречий Толстого в психологических коллизиях между художником и мыслителем, не учитывали особенностей его художественного дарования. Толстой меньше всего интуитивист, он литератор идейный в прямом и точном смысле слова. Его отношение к жизни нетипично для профессионального беллетриста: как источник сюжетов, впечатлений, которые могут быть оформлены в рассказ или повесть, она интересует его в последнюю очередь. Толстой допрашивает жизнь, ищет ответа на мучающие его вопросы.

Толстой как личность в не меньшей степени моралист, чем художник. Если и верно, что лишь в последние три десятилетия он посвятил себя моральной проповеди, эпизодически обращаясь к художественной работе, то не нужно забывать, что к самой этой работе он в молодые годы пришел от морали, видя в ней одно из средств морального самосовершенствования.

Толстой пронизывает свои художественные создания этическим пафосом, который прорастает в системе образов, вливается в идейные замыслы, авторскую тенденцию, в трактовку истории, событий, лиц, направляет судьбы героев. Однако не всегда ему удается удерживать отношения этики и искусства под своим контролем. Он был из ряда художников великих — тех, кто не боялся стихий жизни, умел доверять им и, выпуская в свой художественный мир, следить за их столкновениями, не смущаясь душой, не поддаваясь страху.

Долохов и Анатолий Курагин, Каренин и Стива Облонский — равноправные участники великого хоровода жизни, точно так же как и закосневший в сословном величии старый деспот князь Болконский и недалекий рубака Николай Ростов. Внимание и интерес к ним ничуть не урезаны в сравнении с Пьером Безуховым и Наташей Ростовой, Каратаевым и Левиным. Позиции Толстого тут целиком подчинены нормам истинного искусства — как художник, он не принимает противоположность добра и зла как абсолютную, а спускается с высот моральных максим к человеческой натуре, где эти понятия причудливо переплетены, взаимопревращаемы.

Лев Толстой — это целый мир: его произведения, его учение, проповедь, его публицистика, безграничный круг общения и, наконец, вся его жизнь — все вместе выглядит огромным духовным событием, выплеснувшимся далеко за границы своего времени и включенным в поток истории. Этика в широком смысле слова — душа этого мира, трепет жизни, излучение, которое из него исходит, тот духовный запрос, на который так или иначе откликается каждое поколение. Странно было бы ограничивать ее рамками собственно толстовства — учения, развитого в закатную пору, на излете творческих сил. Само это учение должно быть понято в контексте целой жизни Толстого как одна из ее страниц.

Свои нравственные принципы Толстой вырабатывал в постоянном противоборстве с собой, с художественными запросами, с наступавшим на Россию буржуазным прогрессом. Даже в этике позднего Толстого под заповедями воздержания, непротивления, неделания волнуется море страстей: то она звучит обличительной проповедью в адрес состоятельных классов, закосневших в потребительстве и паразитизме, то взрывается сокрушительной критикой самодержавных институтов и церкви, «срыванием всех и всяческих масок», а то выдвигается альтернативой революционному пути политической борьбы...

Конфликты морали с искусством и жизнью у Толстого, как мы знаем сегодня, не просто своеобразная черта творчества. В них отразились социальные противоречия огромного периода отечественной истории. Это определяет их масштаб, делает содержательными и поучительными.

Обычно, характеризуя толстовский писательский дар, говорят о родстве его со стихиями природы, о пантеизме художнического мироощущения. Но столь же родственным этим стихиям был и сам Толстой — человек колоссальных страстей; многие из них, неподвластные временным циклам, владели им на протяжении всей жизни до самого конца.

Их власть над собой он почувствовал уже в молодые годы. По выходе из Казанского университета, где он пробыл без ощутимой пользы для себя неполных три года, не завершив курса, Толстой вел несколько лет жизнь светскую, рассеянную. Праздность и тщеславие, кутежи с цыганами и карточной игрой — все, что впоследствии на страницах «Исповеди» вызвало праведный гнев Толстого-моралиста, на самом деле было в его жизни. Впрочем, что ж удивительного: юноша девятнадцати — двадцати лет, с ранних пор оставшийся сиротой, не обнаруживший призвания к наукам и выброшенный в жизнь состоятельным помещиком с имением в 330 душ мужеского пола, с 1470 десятинами земли и без определенных занятий, он еще не имел сил сопротивляться потоку, который нес его по традиционному для людей его круга руслу жизни. Но уже в эти ранние годы Толстой вступает в единоборство с собой. Он пытается руководить своей жизнью, составляет жесткий распорядок дня, ставит себе задания, предписывает нормы поведения, стиль общения, отношения к людям, вырабатывает правила и контролирует их исполнение. На страницах «Дневника» развертывается борьба за собственное совершенствование. Толстой горько сетует на себя, на дурные страсти и привычки, которым подвержен, на собственную суетность, на честолюбие, тщеславие. Он безупречный надсмотрщик, от него не ускользает ни одно движение ума или души, хорошее и дурное, ни один поступок, ни одно побуждение или высказывание. Всему дается строгая моральная оценка. Уже здесь, в самонаблюдении и самоанализе, формируется умение Толстого доходить в раскрытии психологических мотивировок поступков до последних причин — беспощадная вьедливость, сметающая на пути к правде любые условности.

Но если с самонаблюдением все обстоит в порядке, то с педагогикой значительно хуже. Толстой все подмечает и мало что в состоянии исправить. Правила, которые он выводит для себя из только что пережитого, в лучшем случае обеспечивают ему покойный сон. Наутро они при столкновении с жизнью рассыпаются, как карточные домики. Поведение и наблюдение за этим поведением образуют два самостоятельных ряда занятий, которые если и пересекаются, то в сфере не действия, а диалога с самим собой. Молодой Толстой постоянно нарушает кодекс светского поведения, выдерживая который можно быть «как все», горько сетует на свою неспособность к карьере жизненной и светской. «Обстругать» себя в духе этого кодекса ему никак не удается. Но это од-

направление. Другое — правила морального плана. Они выдвигаются независимо от условий свега и часто вопреки им, идут уже непосредственно от личности Толстого. Со временем это направление усиливается и одолевает первое. Вот одна из характерных записей в «Дневнике» от марта 1851 года: «Приехал я в Москву с тремя целями. 1) Играть. 2) Жениться. 3) Получить место. Первое скверно и низко, и я, слава богу, осмотрев положение своих дел и отрешившись от предрассудков, решился поправить и привести в порядок дела продажей части имения. Второе, благодаря умным советам брата Николеньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь, или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать. Последнее невозможно до двух лет службы в губернии... Много слабостей имел я в это время. Главное, мало обращал внимания на правила нравственные, увлекаясь правилами, нужными для успеха. Потом, имел слишком тесный взгляд на вещи: например, давал себе много правил, которые все можно было привести к одному — не иметь тщеславия. Забывал, что условием, необходимым для успеха, есть уверенность в себе, презрение к мелочам, которое не может иначе произойти, как от моральной возвышенности»¹.

Со временем работа над собой, развертываемая в «Дневнике», начинает тянуться в литературный ряд. Перед отъездом на Кавказ Толстой предпринимает попытку написать рассказ «История вчерашнего дня». В этом произведении, оставшемся незаконченным, литературоведы обнаруживают характерные симптомы чисто художественной работы, которая причудливо вплетается в дневниковые заметки. Толстой в обычной для себя манере рассуждает о цели жизни, о том, что в его представлении она состоит во всестороннем образовании и развитии своих способностей. Он говорит, что средствами достижения этой цели ему служат «Дневник» и франклиновский журнал: в «Дневнике» он исповедуется каждый день во всех дурных помыслах и поступках, а в журнале по графам расписаны разные слабости — лень, обжорство, ложь, сладострастие, нерешительность, тщеславие и т. д. Этот рассказ пока еще ничем не выделяется среди других записей. Но затем Толстой вводит сюда размышления над самовоспитанием, начинает обсуждать с собой его смысл, роль, которую оно может сыграть в его духовном развитии. Интимно-дневниковая интонация нарушается, и строки этих размышлений начинают уже звучать цитатой из дневника литературного: «Я стал раздвигаться и думать: где же тут всестороннее образование и развитие способностей, добродетели, а разве этим путем дойдешь ты до добродетели?.. Разве достаточно какому-нибудь художнику знать те вещи, которых не нужно делать, чтобы быть художником? Разве можно отрицательно, удерживаясь только от вредного, достигнуть чего-нибудь полезного? Земледель[цу] недостаточно выполоть поле, надо вспахать и посеять его. Сделай себе правила добродетели и следуй им... Всякий раз, когда я пишу дневник откровенно, я не испытываю никакой досады на себя за слабости; мне кажется, что ежели я в них признался, то их уже нет...»².

В этом причудливом симбиозе дневника и литературного произведения нащупываются особенности будущей работы Толстого: подчеркнутый интерес к собственной душевной жизни, преимущественно к ее моральным аспектам; бесстрашие в анализе собственной души и готовность вынести его на публичную аудиторию; и, наконец, известная дистанция по отношению к себе, когда собственные слабости и страсти уже не столько объект воздействия и исправления, сколько рассматриваются со стороны, как развернутый во времени процесс душевной жизни, долгой содержания и драм. Не случайно для Толстого написать о своих слабостях и страстях, выразить их, дать им моральную оценку уже значит избавиться от них («...ежели я в них признался, то их уже нет»). Это отношение, дистанция, идущая от самораздвоения, типичны для писателя, литератора в том смысле, что для него любое проявление жизни всегда не закончено, не завершено, тяготеет к тому, чтобы воплотиться в слове. Взгляд на жизнь «свысока», с точки зрения этой окончательной формы, — его проклятие и привилегия одновременно. Этот взгляд путает добро и зло, не склоняется перед моралью и истиной, судит жизнь

¹ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в двадцати томах. М. «Художественная литература». 1965, т. 19, стр. 56.

² Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (Юбилейное). М.—Л. Государственное издательство. 1928, т. 1, стр. 289—291.

с позиций своего ряда — эстетического, критерием красоты. В будущем, когда Толстой заклеит искусство как праздное и ничемное занятие, имморальность художественной позиции будет весьма существенным аргументом в его суждениях. Но это случится не скоро. А пока его внутренняя работа над собой, моральное самосовершенствование дает естественный рост в литературу и выводит на стезю писательских занятий.

Характерно, что, после того как развернулся процесс творческой эволюции Толстого, его первооснова — «Дневник» — не отмирает, а течет параллельно литературным трудам постоянно сопутствующим контрапунктом. Диалог с собой, бдительный самоконтроль, развернутая летопись собственной жизни уже не кончатся до самой смерти — лишь с перерывом в тринадцать лет, когда писались «Война и мир» и «Анна Каренина». Благодаря этому духовная жизнь Толстого предстает сегодня как еще одно великолепное творение мастера, не уступающее масштабам и силой воздействия его литературным полотнам. Он никогда не отдавался безвольно потоку, всегда ему противостоял, с юношеских лет и до глубокой старости формируя себя, свои занятия, интересы, среду, общение согласно тому, что признавал за добро и истину.

Сегодня во многом это может казаться анахронизмом. Кажется, что для такого преувеличенного интереса к себе, постоянного занятия собственной душой, чувствами, отношениями, позициями, мировоззрением нужен слишком большой досуг, которым ныне мало кто обладает, что здесь много и от запросов профессионального литературного труда, который требует постоянного тренажа в словесном запечатлении чувств, побуждений, анализа скрытых мотивов тех или иных поступков, движений души. Может быть, в таких соображениях и есть некоторый резон. И тем не менее опыт духовного труда Толстого ни в малой степени не утрачивает поучительности. Динамизм, лихорадочные ритмы XIX века не освобождают человека от нравственной ответственности за собственную жизнь, от необходимости формировать себя, свою духовность, культуру собственных чувств, разума, в каком бы обществе он ни жил — в буржуазном или социалистическом. Индивидуальность, своеобразие и неповторимость человеческих реакций на мир не даются природой и не обеспечиваются автоматически даже самым гуманным социальным строем. Чтобы оставаться человеком, не быть захлестнутым волнами апатии, цинизма, безразличия и жестокости к другим и себе, нужны постоянные душевные усилия — и не в те или иные стрессовые моменты, в «пограничной ситуации» выбора, а каждый день, в будни. Эти усилия нужны каждому и везде: и в западном мире и в мире социализма, который меньше всего освобождает человека от требовательности к себе и чувства ответственности. Сегодня потребность в таких усилиях обострилась в десятки раз по сравнению с временем Толстого: стало слишком много суррогатов духовной жизни, усваиваемых легко, без душевных затрат, неизмеримо возросли силы, способные духовность и индивидуальность выпотрошить, пустить по ветру. Без постоянного развиваемого умения противостоять этим суррогатам и этим силам, не уступать обстоятельствам дело человека в современном мире будет страдать.

Толстой этим умением обладал в высшей мере, этот навык и эту способность он неустанно в себе развивал. Постоянная работа над собой внешне выражалась самобытностью характера, независимостью в суждениях и поступках. Эти качества ярко проявились на самой заре литературной славы Толстого, когда двадцатисемилетним молодым человеком сразу же после завершения Крымской войны он приехал в Петербург.

Карьера его началась в высшей степени успешно, почти блистательно. «Детство», первая часть трилогии, получило всеобщее признание. Его репортажи из осажденного Севастополя, полные суровой правды и сочувствия к солдатам, защитникам крепости, у всех на памяти. Как на участника и героя кампании на него изливаются патристические чувства. Он постоянный автор «Современника», передового столичного журнала, вокруг которого группируются лучшие литературные силы.

Толстой быстро и легко входит в избранный круг беллетристов, критиков и общественных деятелей. В предреформенные годы в столичных литературных кругах разные позиции, взгляды на будущее России, на те или иные решения коренных вопросов социальной жизни — крах Крымской кампании чрезвычайно их обострил — уже проводят разграничительные линии между группировками, накаляют атмосферу дискуссий. Все хотят видеть в Толстом своего приверженца. Некрасов, пригласивший в «Современник»

Чернышевского и Добролюбова, рассчитывает на Толстого как на достойного продолжателя гоголевской критической традиции. С не меньшим основанием стремится привлечь на свою сторону графа Толстого группа либералов: Дружинин, Анненков, Боткин. Сочувственно встречают Толстого и московские славянофилы: Аксаковы, Погодин, Ап. Григорьев — в благоволенном отношении Толстого к укладу патриархального помещичьего дома, проступившем в «Детстве», они уловили близкое им начало и протянули молодому писателю руку сотрудничества.

Однако Толстой неожиданно оказался крепким орешком, меньше всего пригодным для участия в групповых столкновениях. У него, несмотря на сравнительную молодость, был свой, вполне определенный взгляд на вещи, твердое понимание того, что хорошо, а что дурно, он знал отчетливо, что ему нравится, а что не по душе.

Он не доверял принципам и убеждениям, если они не имели опоры в нравственном составе личности, для него важны моральные нормы, правила, максимы, выстраданные жизнью и опытом. Характерной особенностью Толстого в общении — ее отмечали многие близкие люди — была обостренная чуткость на интонации, жесты, поведение собеседника. Е. Гаршин рассказывает о привычке Толстого «необыкновенно пронизательным взглядом своих глаз насковозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Иван Сергеевич Тургенев говорил мне, — добавляет Е. Гаршин, — что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который, в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания, способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой»³.

Неуступчиво, не равняясь ни на какие группировки и направления, прокладывает Толстой свой путь в литературе. Удача осветила ему лишь первые шаги. На волне успеха, завоеванного «Детством» и первыми севастопольскими очерками, проходят рассказы «Метель», «Два гусара». Читающая публика радушно встречает «Отрочество» и последний севастопольский очерк. Однако уже к концу 1856 года эта волна начинает спадать. Общественный интерес заметно сдвигается в область публицистики, политики. Вопросы экономические, социальные властно завладевают вниманием публики. Все, что не питает этот интерес, остается без внимания.

В одном из разговоров с И. А. Буниным Чехов говорил о том, что только спос о б н ы е люди созревают рано и быстро, потому что способность равнозначна умению приспособиться, а «талант мучится, ища проявления себя». Путь Толстого к самопроявлению был нелегким, мучительным, приспособляться к меняющимся условиям — а в его время они менялись бурно — он совершенно не умел. Он напряженно искал в эти годы пути к органическому слиянию своих моральных представлений, этического пафоса с реальным жизненным материалом. В трилогии эта проблема разрешилась сама собой — выбором автобиографического жанра. Повесть воссоздавала мир, подлинный во всех деталях, и изучала мягкий свет естественного течения жизни. Моральные аспекты органично и непринужденно вырастали в процессе духовного формирования героя, осознания им мира, конфликтов жизни. В севастопольских очерках помогала приподнятость событий войны над повседневностью — героизм был буднями, и достаточно было описывать эти будни просто и достоверно, к чему у Толстого был великий дар, чтобы моральный смысл поведения и поступков людей на войне зазвучал в полный голос. С течением времени, однако, все стало сложнее.

Толстой вовсе не глух к большим проблемам социальной жизни. В известном смысле он реагирует на них острее тех, кто непосредственно включен в журнальную полемику. Для него крестьянский вопрос не только принцип мировоззрения, но и жгучая личная проблема. Уже весной 1856 года он отправляется к себе в Ясную Поляну, чтобы практически решить его на месте. Однако крестьяне отказываются принять вольную на предложенных им условиях. И вовсе не потому, что условия невыгодны. Они просто не доверяют графу, не верят, что он их не обманывает. Многочисленные сходы и «совещания» не дают никаких результатов. Толстой сталкивается воочию с бездной недоверия и внутренней отчужденностью, которые разделяют два главных сословия русского общества. Ситуация представляется ему практически неразрешимой.

³ А. Островский. Молодой Толстой в записках современников. Л. 1929, стр. 251.

мой, и это существенным образом сказывается в литературной работе. Задуманный еще в бытность на Кавказе «Роман русского помещика» не движется с мертвой точки⁴. Пафос самосовершенствования, любви к ближним, добра, которым одержим герой, не находит выхода в жизнь, остается филантропической затеей. Крестьяне не понимают барина, и мосты через пропасть непонимания навести не удается.

На свой лад претворенным образом, эта же проблема продолжает волновать Толстого и в «Казаках». И здесь мир Оленина, его моральные искания, его неудовлетворенность средой и условиями светского времяпрепровождения не в состоянии найти разрешения в стихии народной жизни. Мир казачьей станицы остается для него чужим, он может восторгаться простотой и цельностью этой жизни — так же как он отдается восхищению красотой девственной природы, — но войти в нее, слиться с нею ему не дано.

Многие литературоведы склонны рассматривать ранние произведения Толстого, включая «Казаков», как своеобразную подготовительную лабораторию для «Войны и мира», где главные мотивы эпопеи проходят первую разработку, набрасываются как эскизы к будущему полотну. Такой взгляд не лишен оснований, они действительно подобны рекам, впадающим в океан, тяготеющим к нему, хотя и сохраняющим самостоятельное значение.

В «Войне и мире» духовные искания героев, их размышления над судьбами мира и истории, над смыслом собственного бытия органически увязаны с естественными началами народной жизни, вырастают в целостную картину эпоса. Толстой совместил здесь воедино точку зрения романиста, прослеживающего судьбы героев, и точку зрения летописца большой эпохи в жизни России.

Отечественная война 1812 года для Толстого героическая эпоха в жизни народа, наподобие Троянской войны в жизни греков. Она потребовала колоссальных сил физических, душевных, обострила чувства национального достоинства и чести, заставила жить на пределе человеческих возможностей и сделала очевидными эти пределы. Речь шла о жестоком единоборстве с врагом, о стойкости и мужестве, силе духа и воли — о коренных свойствах, заложенных в национальном характере. Время, события исторгли их на поверхность, и это открыло возможность людям осознать свою судьбу в связи с общей судьбой, сопоставить себя с естественными началами народной жизни.

Эти начала — камертон, по которому строится хор голосов толстовской эпопеи, высший нравственный кодекс, по которому творится суд, воздается каждому по заслугам. Все человеческие отношения — к дому и отечеству, к старшим и детям, земле и имуществу, жизни и смерти — в народе складываются стихийным ходом развития и потому просты и мудры. Гармония с природой, простота, свойственная народному типу от рождения, как дар естественной жизни, людям, оторванным от этой жизни, дается ценой немалых усилий. Они проходят путь нравственных исканий, прежде чем постигают цену и мудрость этой гармонии и обретают ее как собственное душевное достояние. Это и есть, собственно, путь героев Толстого. Иногда эта духовная близость народу предстает в романе готовым результатом жизненного опыта, как у Кутузова. Но чаще ее обретают как плод духовных скитаний и мытарств, как итог наблюдений и размышлений над жизнью и событиями истории. Пьеру она дается относительно легче благодаря душевной мягкости, доброте, эмоциональной открытости. А князь Андрей оплачивает ее чуть ли не ценой жизни: его рационализм, аристократическая сухость, стремление к индивидуалистической героике ставят ему известные преграды. Но как бы то ни было, когда героям эпопеи Толстого то или иное участие в событиях общенациональной жизни приносит решение и личных нравственных проблем, в этом нет никакой писательской нарочитости или облегченного способа развязать композиционные узлы романа. В большие исторические эпохи происходит именно так.

Человеку необходимо ощущение причастности своей жизни к некому целому, внутри которого существует закон, целесообразность, связывающие эмпирический хаос разрозненных судеб воедино. Как только эта причастность нарушается, в сознании «рас-

⁴ В конце 1856 года фрагмент этого произведения был опубликован как рассказ «Утро помещика».

падает связь времен» и человек теряет нравственные ориентиры деятельности, поведения.

Так происходит с Пьером в занятой французами Москве, после расстрела «поджигателей», который происходит на его глазах; нечто подобное переживает и князь Андрей после Аустерлица и смерти жены.

Единство индивидуальной судьбы с судьбой народной — центральный пункт этического завещания Толстого, оставленного в его творчестве. Вне этого единства, считает он, нет подлинных границ между добром и злом, нет ответа на большие вопросы человеческой вины, совести и сама по себе жизнь человека теряет смысл. Этот принципиальный этический завет Толстого отечественная литература пронесла сквозь последующую историю.

При всех страданиях и жертвах, драматических перепадах, трудно складывающихся судьбах героев эпопея «Война и мир» полнится жизнеутверждающим пафосом, доверием к земным радостям и надеждам, прославляет эти радости, открывает им дорогу в жизнь. «Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже», — говорит Пьер Наташе, смущенной проснувшимся в ней чувством и готовностью откликнуться на него, хотя не прошло и полугода после смерти князя Андрея. Поиски смысла жизни, нравственного совершенствования, которые занимают Пьера, еще не застилают ему мира, не подавляют естественных запросов его натуры. Он находит удовлетворение этим запросам в семейной жизни и общественной деятельности. «Кто счастлив, тот и прав» — этим жизнелюбивым принципом Толстой не боится здесь разрешать навязчивые вопросы совести.

В «Войне и мире» события отбрасывали героический отблеск на личные судьбы, поднимали в значении даже заурядных персонажей вроде Николая Ростова. Все, что происходит в «Анне Карениной», настолько погружено в быт и семейные дразги, что лишь под руками великого мастера могло засверкать достоинствами общечеловеческого интереса.

Художественной объективностью, высокими подмостками, с которых осмысливаются чувства и страсти, семейные отношения, Толстой стремится испустить пристрастность идейную, моральную. Хотя евангельское изречение, вынесенное в эпиграф, недвусмысленно передоверяет суд над героиней и делами человеческими богу, автор не ждет безучастным наблюдателем, чем кончится происходящее на страницах романа. Он знает конец и ведет к нему холодно, жестоко, невзирая на лица, не допуская ни жалости, ни сочувствия. «Счастлив лишь тот, кто прав» — эта новая моральная максима спустя десять лет сменила жизнелюбивый принцип великой эпопеи. Чтобы утвердить ее, Толстой вводит в роман линию Левина.

Левин прав по сравнению с Анной, он строит жизнь не на эгоистической страсти, а на сознании долга, обязанностей, уз. Любовь открывает ему путь к семье, к родственным связям, к миру общечеловеческих интересов, тогда как страсть, замкнутая на себя, неминуемо влечет Анну к гибели. Однако правота Левина не делает его счастливым.

Толстой в романе не изменяет себе, он строит его на течениях стихийных сил и натуральных чувств — любви, ревности, материнства, страха смерти. Поэзия естественной жизни входит картинами сельской страды, покоса на Калиновом лугу и упоением физического труда, охоты, семейной идиллии. Это вечные и неизменные начала, над которыми не властно время, которые всегда движут жизнью и правда которых, если она, подлинная, действительно поднимает дух человека над сиюминутной суетой и тревожностями дня.

Впрочем, эти светлые картины лишь оттеняют общий тревожный колорит романа, атмосферу смятения, неустойчивости. Проблемы, над которыми Толстой мучился на исходе 50-х годов, когда работал над «Романом русского помещика», обступили его с новой силой. Еще в пору работы над «Войной и миром», когда с крестьянской реформой жизнь в России «перевернулась», было неясно, как все уложится и могла оставаться иллюзией, что перемены не пойдут дальше поверхности. На исходе 70-х годов, когда завершалась «Анна Каренина», иллюзий не осталось.

Герой романа Толстой ищет способы привести в гармонию интересы крестьян и помещиков так, чтобы крестьяне работали на артельных началах с помещиком и бы-

ли заинтересованы в процветании помещичьего хозяйства. Однако Толстой — жестокий реалист в жизненных вопросах и, описывая мечтания Левина, не слишком в них верит. Промышленность, кредит, биржа, железные дороги — все против этих проектов. С такими врагами спорить трудно. И главное, против его проектов сами крестьяне. Левин с горечью наблюдает оскудение помещичьих хозяйств, когда их скупают за бесценок. Он чувствует, что жизнь идет наперекор его стремлениям и не сулит добра ни ему, ни его детям. Внутренняя тревога, мысли о тщетности усилий человека перед лицом исторического рока, о бессмыслице жизни неотступно преследуют его.

На страницах романа Толстой находит выход из положения в том, что приводит героя к вере, к убеждению, подслушанному в народе, что жить надо не только для личной пользы, но и для души. Это как бы проект религиозного выхода из противоречий жизни, который впервые набрасывается. Пока он выглядит зыбким, временным, снимающим лишь острый приступ нравственных мук.

К исходу 70-х годов Толстой чувствует, что жизнь беспощадно отменяет весь уклад, с которым он сросся. Любая оппозиция наступающим буржуазным порядкам от лица дворянского сословия, уходящего в прошлое, размываемого новыми торгашескими отношениями, бессмысленна и жалка. Движение навстречу мужицкой Руси, симптомом которого стали духовные искания Левина, оказывалось для него единственно возможным исходом.

«Я вырос, состарился и оглянулся на свою жизнь...» — этими словами открывался один из первых вариантов «Исповеди», которой Толстой на рубеже 80-х годов извещал публику о коренных переменах в своем мировоззрении и жизненных позициях. Он рассказывает старинную восточную притчу о путнике, застигнутом в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскочил в колодезь, но на дне его увидел дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. Несчастный ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца куста и держится на нем. Он видит, что две мыши, черная и белая, равномерно обходя стволину куста, подтачивают ее. Путник знает, что неминуемо погибнет, но, пока он висит, он находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. «Так и я держусь за ветки жизни,— пишет Толстой,— зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь — день и ночь — подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне... И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда... Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины — любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством,— уже не сладки мне»⁵.

Простота и эпичность этих строк скрывают безбрежное отчаяние. Толстой ведет речь в положении приговоренного, поставленного перед неизбежностью лицом к лицу. В самой пристальности, с какой он вглядывается в работу дня и ночи — неутомимых мастериц, ткущих ему саван, есть нечто чрезвычайное. Ведь уготованный жребий никак не выделяет его среди людей, он уготован всем. Почему же вдруг предстоящий и никем не сосчитанный ряд лет и десятилетий отброшен им как заведомо бесплодный?

Первый напрашивающийся ответ на этот вопрос, его дает и сам Толстой,— страх смерти. Чувство естественное, свойственное всему живому, так же как ему свойственна и любовь к жизни. И если Толстой был сверх меры одарен этой любовью, умел ценить жизнь, ее радости, столь же остро он должен был ощущать и неизбежность их утраты. Эта неизбежность к пятидесяти годам постучалась к нему не внешним впечатлением — горьким, но мимолетным,— а проникла холодом в кровь, посеребрила виски, раскочаляла зубы, проложила глубокие морщины. Отлетел «всемогущий бог молодости», присутствию в себе которого он умел радоваться как мало кто другой, ушло ощущение полноты жизненных сил.

Ну и что же? На смену молодости приходит, как известно, свет мудрости. Что такое страх смерти? Ничто — мог бы он сказать себе вследа, например, за Монтенем, кото-

⁵ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в двадцати томах, т. 16, стр. 108—109.

рого высоко ценил. Известно бесчисленное множество людей, которых смерть избавила от тяжких мук и страданий, и неизвестно никого, кто бы с ее помощью обзавелся ими. Что же горевать раньше времени? Однако свет мудрости Толстого уже не греет. Он обращается к Соломону, Будде, Сократу, Шопенгауэру и всюду получает подтверждение неутешительным выводам, к которым пришел собственным разумом: жизнь есть бессмыслица, обман и мудрого ожидает тот же удел, что и глупого.

«Исповедью» Толстой прокладывает дорогу к вере. Есть путь к вере — тот, который проложила сама история, им шли миллионы отчаявшихся и обездоленных, искры веры высекались безмерностью страданий и разожгли пламя, в отсветах которого пробивались ростки духовной культуры. Однако этот путь для людей простых, неприсвященных, придушенных заботой о хлебе насущном. Для тех, кто познал искупительный свет знания, творчества, он закрыт. Им приходится прокладывать дороги обходные, замысловатые. Намерения Толстого самые нешуточные. Он действительно ищет ни более ни менее как реальное средство победить страх небытия. Если разум в этом деле не помощник, он готов обуздать его претензии. Если миллионам помогает вера, он готов проломить стены, но добраться до ее родников. Его не страшат никакие мытарства, трудности. Если нужно, он не останавливается перед тем, чтобы решительно изменить образ жизни: «... стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками... В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью... Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его»⁶.

Отпадение от культуры, от развитых и утонченных форм духовного труда, сознательное понижение уровня собственного бытия при всей своей кажущейся противоестественности — явление, сопровождающее цивилизацию почти со времен ее зарождения. Историки находят следы разочарования в успехах цивилизации еще в античной философии, в пастушеских романах и эллинской поэзии поздней поры. Настроения эти прочтываются у Монтеня, Руссо. Достаточно свойственны они и русской культуре на протяжении XIX века. Толстой лишь выразил их, может быть, с наибольшей остротой. В России они приобретали еще особый, моральный аспект, связанный с ее экономической отсталостью, со слабым разделением труда.

Погруженность в патриархальные малоподвижные формы жизни и быта отзывалась катастрофической ситуацией не только для миллионных масс народа, но и для духовной культуры — она ощущала себя в роковой изоляции. Те, кто отдавал этому занятию силы и досуг, неизбежно ощущали себя в большей или меньшей степени чужаками в стране, даже если и мучились над национальными проблемами. Острая нехватка простора, инициативы, образования — всего, что Западу принес Ренессанс, — выражалась не только полицейщиной, засилием цензуры. Печатать, публиковать можно было многое. Беда была в том, что некому это было читать. В России не было среды, куда могла бы проникнуть подлинная литература, выходящая за рамки адаптированных изданий, та, которая адресуется творческому восприятию читателя. Во времена Толстого эта среда только-только начала зарождаться.

Блок справедливо называл культуру «лишь мыслимой линией, лишь звучащей — не осязаемой»: «Она — есть ритм, — писал он. — Кому угодно иметь уши и глаза, тот может услышать и увидеть»⁷. В России было слишком мало людей, которые могли услышать и увидеть. Безгласность и безмолвие огромных социальных пространств

⁶ Там же, стр. 137.

⁷ Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л. Государственное издательство художественной литературы. 1962, т. 6, стр. 395.

страны, где всякое живое слово — по природе своей призыв, рассчитанный на отклик, эхо, — терялось, проваливалось в пропасть без дна и края, способны были свести с ума любого человека. Не они ли доводили до безумия Гоголя, толкали к шальной пуде Лермонтова, измучили миллионом терзаний Достоевского? И не они ли в конечном счете заставили Толстого на перевале жизненного пути перед лицом острых социальных противоречий отречься от художественного слова и искать спасения от одиночества и бессмысленности жизни в вере и проповеди, хотя он, казалось, больше других своей связью с землей и мужицкой Русью был защищен от этой невзгоды?

В России существовала и культура, которую творил сам народ, угнетенный, забитый, полуграмотный: песни, былины, сказки, богатейшее прикладное искусство, народное зодчество, полные высочайшей поэзии и красоты. Глубокими незримыми нитями она была связана с культурой профессиональной и находила выражение подчас в ее созданиях. Пушкин претворял мотивы песенного творчества западных славян, Даль тщательно собирал сокровища народного языка, городская народная речь щедро напитала драматургию Островского. Но при всем том это были эпизоды, не заполнявшие пропасти, которую вырыла история. Чтобы обе культуры встретились и оплодотворили друг друга, как и для того, чтобы сделать произведения Пушкина, Гоголя, Толстого принадлежностью миллионов, нужны были социальные перемены огромного масштаба. И Россия к этим переменам шла.

Как ни трудно дался Толстому отказ от искусства, он ни в какое сравнение не шел с муками обращения в религиозную веру, которые ему пришлось пережить. Отказ от писательства имел под собой некоторую реальную основу: ощущение высканности, опустошенности. Толстой завершил, по существу, целый этап в развитии русского романа, и после «Анны Карениной» было неясно, что делать дальше. Но превратить себя в правовеверного христианина Толстому не удалось. Его отношение к религии осталось до конца глубоко личным, своеобразным. Он вольно примерял все виды веры, не исключая магометанства, буддизма, взвешивая их перед судом разума, прикидывая, что больше подходит ему для личных задач. Гордо и дерзновенно он искал в религии не только прибежище и спасение от противоречий и невзгод, но и средство морального обуздания человеческой природы, исправления пороков, поскольку именно здесь ему виделся источник социальных зол. Бог, христианская этика, метафизика для него не предмет культа и безусловного преклонения. Он испытывает их как собственную судьбу, активно, пристрастно, глубоко лично. В основе своей это отношение специфически художественное. Поскольку ни одна из существующих религий его не удовлетворяла, он пристудил к созданию собственного учения, очищенного от непоследовательности канонического православия. И создал его, и проповедовал наперекор всему.

Толстой точно формулирует свое кредо. «...только кажется, — пишет он, — что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело только для него важно, и одно только дело оно делает: оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества»⁸.

То, что Толстой всегда считал главным делом своей жизни, теперь объявляется главным и единственным делом всего человечества.

Нравственный закон праведной жизни он находит в учении Христа, а точнее — в пяти заповедях Нагорной проповеди. Главная из этих заповедей — непротивление злу. Она, с точки зрения Толстого, обеспечивает при исполнении ее людьми божеский мир на земле. Остальные заповеди: не прелюбодействуй, не клянись, не суди ближнего, возлюби врага своего — отвращают от соблазнов, способных нарушить гармонию и мир. Этот этический кодекс становится для Толстого центром богословских изысканий, с его позиций переосмысливается христианство, православие.

Толстого абсолютно не устраивает все связанное с верой в чудеса, будь то догма о непорочном зачатии или легенда о воскресении Христа. Посты, поклонение мощам,

⁸ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в двадцати томах, т. 16, стр. 209.

иконам, церковные службы, таинства крещения, причастия выглядят для него вопиющей бессмыслицей. Спасение от греха через приобщение к личности Христа, его подвигу и искупительной жертве кажется ему совершенно не обязательным. Он убежден, что каждый в состоянии спастись сам, на свой страх и риск построить самостоятельно свою жизнь по праведным нормам. Его интересует не Христос, а учение Христа, тот закон, который он принес в мир.

В основе толстовства — проповедь прощения жизни, отказ от достижений науки, культуры, техники, искусства, возвращение к примитивному сельскохозяйственному труду и, соответственно, элементарному уровню потребностей. Учение, рассчитанное на проповедь, остается незавершенным до той поры, пока не опирается на положительный пример. Меняя свою жизнь, Толстой призывает всех следовать своему примеру. Он оставляет литературные занятия. Происходит коренная ломка мировоззрения, жизненных позиций, поведения, привычек вплоть до способа передвижения, круга общения и даже пищи. Все совершается открыто, публично, с объяснением причин и мотивов, при обостренном внимании мировой прессы.

Теперь собственная жизнь Толстого принимает на себя роль, которую прежде выполняла его литература. Любой его поступок, любое проявление жизни вплоть до мелочей не проходят незамеченными. Бросает он курить табак и пить вино, запрещает себе мясную пищу и всякую убоину, ездит в пролетке или ходит пешком, отказывается от верховых прогулок в Ясной Поляне как от барской роскоши — каждый его шаг так или иначе соотносится с провозглашенным учением. Уровень общественного интереса к Толстому необычайно вырос. Его жизнь стала разворачиваться перед глазами публики в виде увлекательной мистерии, как житие раскаявшегося грешника. Он раздвоился. Как автор он выстраивал эту мистирию по всем законам жанра, и это была игра всерьез, собственной жизнью, а не легковесное лицедейство. А как ее герой он сбросил обличье Литератора, превратился в Проповедника, Учителя жизни и в этом качестве приобрел беспрецедентную популярность.

Обращение Толстого к новой вере, его проповедь вызвали бурю откликов, восторгов и глумлений как в России, так и по всему миру. Чехов не без горечи обронил в записной книжке: «Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!» Тьма поклонников и поклонниц, жадно ловивших изречения Толстого, мгновенно становившихся горячими приверженцами нового учения и столь же быстро охладевших к нему ради нового модного поветрия; люди, вышибленные из привычной колеи жизни и не находящие применения себе, ищущие, чем бы себя занять; присяжные моралисты и поучатели всех сортов, волонтеры своеобразной Армии Спасения, пресно тадычившие на всех углах о любви к ближнему; ловцы знаменитостей, восхищенные популярностью учения и его экзотическими аксессуарами — блузой и графским титулом, непротивлением злу и собственноручной пахотой; вся эта густая пена переполняла приливную волну, вызванную потрясшим образованный мир событием. В ней тонули группы истинных приверженцев, у которых толстовство затронуло интимные струны душевной жизни.

Тех, которые решились всерьез следовать учению яснополянского мудреца и проповедника, было сравнительно немного. Были люди, отказывавшиеся под влиянием толстовской проповеди от присяги и военной службы. Они действительно исполняли христианскую заповедь «не убий», мужественно переносили тюрьму и каторгу, но письма их налагали груз ответственности, нести который было безмерно тяжело.

Были неоднократные судебные преследования и процессы над теми, кто издавал и распространял соответствующие сочинения Толстого, поскольку цензура их запрещала. Все его попытки отвести эти преследования и взять на себя вину успеха не имели: Толстого не трогали. А пропагандистов преследовали. Не менее печальным был удел и тех, кто, отказываясь от собственности и условий обеспеченной жизни, обращался к сельскохозяйственному труду, организовывал общины, своеобразные толстовские фаланстеры. Они пытались на практике осуществить проповедь о простых радостях и счастье, открытых доброй воле каждого. В некоторых общинах он побывал и от огорчения чуть не заболел. Полная неприспособленность к такой жизни, труду, который люди себе навязали, оборачивалась нищетой, лишениями, болезнями, упадком духа, унынием.

В учении была роковая трещина, разрыв с жизнью.

Толстой звал вернуться к природе, на землю и словно не замечал миллионов, терявших землю, разорвавшихся и вынужденных податься в городане за дьявольскими соблазнами, а на заработки. Он находил высокое удовольствие в том, чтобы обеспечивать себя всем необходимым, пахал землю, косил, плотничал, шил сапоги, убеждал всех разделить с ним эту радость — и забывал о целой армии безработных, лишенных возможности приложить руки к своему ремеслу. Его гневные филиппики против излишеств в удовольствиях, призыв к разумной простоте в пище и питье не слишком попадали в тон при периодических недородах и голоде, охватывавших целые губернии. Жизнь шла другими дорогами. При страстном сочувствии мужику, при искреннем желании поврать с привычками и жизненным обиходом своего класса, слиться с массой простых людей, «добывающих жизнь», Толстой в своей проповеди то и дело расходился с реальными интересами этих людей. Мужик от культурной тонкости и изощренности страдал в последнюю очередь и, конечно, меньше всего нуждался в опрощении. Скорее наоборот. Мужичья Русь менялась. Уже появлялась нужда и во враче, и в агрономе, и в полевой книге. Здесь программа Толстого была совсем не впрок.

«...надо делать только то, что велит сердце,— писал Достоевский в «Дневнике писателя»: — велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: дескать, я не барин, я хочу работать, как мужик. Тачка опять-таки мундир. Не задача имения обязательна и не одевание зжгуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все, что возможно вам, что искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее». Толстому труднее всех было соответствовать собственной проповеди. Помимо государства, официальной церкви, казенных учреждений, суда, аппарата насилия, против которых проповедь была заострена, у нее был несравненно более могучий враг, с которым трудно было что-нибудь поделать, — человеческая натура, страсти, интересы, странности, капризы, непоследовательности. Все богатство непосредственных проявлений жизни активно сопротивлялось моральному диктату, даже когда рассудок готов был внять призыву.

Проповедь Толстого не шла в стороне от идейных исканий, наполнявших его жизнь в молодые и зрелые годы. Она лежала в русле тем и моральных смыслов, на которых строилась его художественная работа. Идеи добра, любви, опрощения, бегство от культуры, блаженство слияния с природой, народная жизнь как эталон нормального бытия, равно как и неприятие всего, что этим началам не созвучно, легко прочитываются на магистральных путях толстовского творчества. Однако, растворенные в художественной ткани, вырастая из человеческих судеб, корректируясь ими, эти мотивы у Толстого напоены верой в то, что в конечных уравнениях истории полнота жизни, издавна именуемая счастьем, совпадает с добром и истиной, как бы они ни расходились в пути. Сами эти расхождения — источник великой поэзии, в них бьется пульс человеческой природы, непосредственной, не скованной рассудком, не убитой предвзятостью.

Толстой, проповедующий вегетарианство и обличающий православие за нарушение заповеди «не убий», не расходится со своими мыслями поры «Войны и мира», когда он устами князя Андрея (в разговоре с Пьером накануне Бородина) обличает войну и массовое убийство. Однако в те годы он мог писать и звонкие, пронизанные холодным ликованием сцены охоты, с заразительным восторгом рассказывать о «счастливейших минутах в жизни», испытанных Николаем Ростовым в момент, когда он увидел копошившихся с затравленным волком собак, одна из которых вцепилась зверю в горло. Или вдруг заставить любимую героиню, светскую барышню Наташу визжать не переводя духа, радостно и восторженно, так, что в ушах звенело, в то время, когда охотники возбужденно, задыхаясь от восторга, обсуждали перипетии травли зверя и один из них потянул зайцем, чтобы стекала кровь. В этих картинах не было ни капли осуждения — был восторг и упоение жизнью, ее стихией. Теперь этому не оставлено места.

Толстой гневно обличает паразитизм обеспеченных сословий, рисует саркастические картины светских балов, на которых «с выставленными голыми грудями, оголенны-

ми до плеч руками, с накладными задами и обтянутыми ляжками, при самом ярком свете, женщины и девушки, первая добродетель которых всегда была стыдливость, являются среди чужих мужчин, в тоже неприлично обтянутых одеждах, и с ними под звуки одурманивающей музыки обнимаются и кружатся». Он подсчитывает сотни рублей, пошедших на бальные туалеты,— почти целое состояние для мужика,— напоминает о старике кучере, который в двадцативосьмиградусный мороз всю ночь ожидает на козлах, пока господа веселятся... Все это справедливо, возразить нечего. И все это, между прочим, в той или иной форме звучало и раньше: Толстому хватало сарказма в описании салона Анны Павловны Шерер или времяпрепровождения круга Бетси Тверской. Однако в ту пору это не закрывало дорогу поэтическим страницам, описывающим первый бал в жизни Наташи Ростовой, пьянящее ощущение полета в танце, восторг бездумного наслаждения молодостью, блеском и красотой жизни. Теперь это отвергнуто, и навсегда.

Надо сказать, что критическая, нигилистическая сторона толстовства значительно преобладала над программой праведной жизни. Сокрушительное в своей последовательности неприятие действительности взбудоражило общественное мнение. Это были тяжелые 80-е годы, душная пора безвременья, когда народническая волна освободительного движения схлынула, а новая, социал-демократическая, лишь нарождалась. Во всех слоях населения в это время зрело смутное чувство недовольства, и провозглашенное Толстым «так жить нельзя!» нашло многоголосый отклик, выдвинуло его на авансцену как общественную совесть. Его критический глас тревожно предупреждал мир о грозящих бедствиях. Что же касается призывов к другой жизни, то они тянули вспять. Следовать им на практике было невозможно.

Толстовство в немалой степени привлекало общественное внимание тем, как это ни покажется парадоксальным, что основатель учения сам в него никогда не укладывался. Говорят, благие советы обычно дает тот, кто уже не в состоянии подавать дурные примеры. Поэтому таким советам обычно не доверяют. Толстой вопреки собственной проповеди до конца дней не разучился подавать «дурные примеры» — и как общественный деятель, публицист, и как писатель, продолжающий свою исконную работу. Голос его всегда звучал мощно, открыто, и в своих общественно значимых акциях он меньше всего считался с заповедями непротивления.

Жестокости, насилию, несправедливости он противился всеми доступными ему средствами — и делом и словом. Когда в 1891 году губернии центральной России поразила голод, Толстой ездит по деревням, организует общественные столовые, собирает денежные средства. Его практическое участие спасло от голодной смерти десятки тысяч крестьянских семей. Не менее звучным было и его печатное выступление против порядков, обрекающих миллионы на голодные бедствия. «Московские ведомости», переводя выдержки из статьи «О голоде», изданной в Англии, характеризовали ее как «пропаганду самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которой бледнеет даже наша подпольная пропаганда». После этой статьи страсти столь накалились, что в дворцовых кругах даже раздавались голоса, требовавшие высылки Толстого или заточения его в тюрьму Суздальского монастыря.

Столь же активно Толстой вмешивается в церковную политику, защищает сектантов от гонений со стороны официального православия, помогает переселению в Канаду духоборов и отдает на это предприятие гонорар, полученный за роман «Воскресение». Страницы романа, где Толстой беспощадно осмелял выхолощенную театральность церковной службы, послужили непосредственным поводом для отлучения его от церкви.

Толстой постоянно и в 80-е, и в 90-е, и даже в 900-е годы возвращается к литературной работе. Художник в нем сидел глубоко, и подавить его никакими моральными запретами не удавалось: он не мог перестать быть писателем, так же как не мог перестать быть самим собой. Благодаря тому, что его моральная проповедь была столь лично окрашенной, тесно связанной с его духовным и жизненным опытом, искусство, даже сознательно подтягиваемое к задачам этой проповеди, далеко выходило за ее пределы.

Толстого всегда жгуче интересовала загадка смерти, и с годами все больше.

Смерть князя Андрея, смерть Николая Левина — эти события постоянно вырастают в самостоятельный сюжет. Еще раз Толстой вернулся к этой теме в начале 80-х годов, написав «Смерть Ивана Ильича». С колдовской силой проникновения он рассказывает о душевных мучениях человека, постигшего бессмыслицу прожитой жизни. Неотвратимая угроза близкого конца просветляет зрение Ивану Ильичу, и, когда отступает боль, он не находит себе места от раскаяния за растроченные годы, занятые карьерой, бытом, житейской суетой. И нет ничего вокруг, что свидетельствовало бы о следе, оставленном им, что смягчило бы беспросветное отчаяние. Для сослуживцев, домашних он — чужой.

Толстой убежден, что лишь жизнь, отданная на алтарь любви к ближним, способна спасти человека от ужаса смерти. Ради утверждения этой мысли написана повесть, ради нее Толстой зажигает огонь сухого отчаяния под Иваном Ильичом Головиным. И он расплавляет самое толстокожее равнодушие. Никакая проповедь не в состоянии заставить людей столь лично заинтересованно задуматься над смыслом жизни, ее духовным наполнением. Искусство не лечит болезни, но оно может кричать о них на весь мир, очищать чувства состраданием и страхом. Толстой-художник не знает сострадания. Но страх смерти ему ведом, и вся сила художественного проникновения используется им, чтобы разложить его на всех. Не испытать его, читая повесть, невозможно.

Искусство сообщало не меньшую силу проповеди Толстого и тогда, когда обличало капиталистическую заразу и денежные соблазны. Во «Власти тьмы» апология старозаветных устоев народной жизни, характерная для позднего Толстого, разворачивается драматическим столкновением интересов, имущественных и любовных, разбушевавшихся вокруг деревенского сердцееда Никиты, слабого и безвольного. На манер религиозной мистерии пьеса строится как путь грешника к покаянию: традиции праведной жизни одерживают в душе героя нравственную победу над греховными страстями, толкающими его к преступлениям. Упование Толстого на эти традиции было скорее упреком, чем наивностью, — он лучше других ощущал их зыбкость и обреченность. Но возвращающая человеческую природу сила стяжательства выписана Толстым всей мощью реалистического пера — отнюдь не в духе непротивления злу, — так что пьеса вырастает до общечеловеческого звучания и смысла.

Лебединой песней позднего Толстого-художника стал «Хаджи-Мурат». словно бы не было двадцати лет смирения и покаяния, «Исповеди», религиозных трактатов и проповедей непротивления, словно вырос во весь исполинский рост Толстой цветущей поры. Его могучее слово ни одним нервом не трепещет здесь в тисках предвзятой прописи, не смиряет в угоду ей силы жизни, не иллюстрирует заданный результат. Оно вновь набирает высоту, мощь, жизнеутверждающую силу, которой отмечены лучшие страницы «Казаков», «Войны и мира». Толстой не боится вольностей искусства и меньше всего озабочен, что они уведут его в сторону от учения и проповеди. Как живой отклик на увлеченность незаурядной личностью, героиней трагического конфликта, в его почерк возвращается дыхание величавого эпоса, свободы. Пафос, поэтический строй «Хаджи-Мурата» звучат резким диссонансом всему, чему учил Толстой-моралист. Емкий и точный образ дикого репейника, отстаивающего до конца свою жизнь среди вспаханного поля, найден им для характеристики судьбы героя. В известном смысле он символизирует и судьбу самого Толстого последних десятилетий, до последнего предела сопротивляющегося аскетической узде, наложенной на себя, на свою жизнь и искусство.

Характеризуя творчество Толстого как «зеркало русской революции», В. И. Ленин точно обозначает рамки эпохи, отразившейся в его произведениях и его учении: от реформы 1861 года до 1905 года. Революция 1905 года, по мысли Ленина, принесла с собой исторический конец толстовству, конец эпохе, породившей это учение, если смотреть на него не просто как на индивидуальный каприз или оригинальничанье, а как на «идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»⁹.

Как только эта эпоха отошла в прошлое, вместе с ней потеряла историческую актуальность и проповедь Толстого — та, которая вышла за границы искусства, стала

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 103.

учением. Пережила свое время лишь этика, которая пронизала художественные творения Толстого. И тому были веские основания.

В мире искусства этика Толстого была созидательна, она подвигла его сотворить грандиозный поэтический мир, невиданный доселе, противопоставить его бездушному молоху как нечто органическое, цельное, прекрасное в своей прелести и безыскусственности. Рожденный эпической силой гениального мастера, его воображением, этот мир выдержал столкновение с историей и остался на века картинами жизни, изумительным в своей событийной и художественной неповторимости.

Что бы ни говорил Толстой в поздние годы о своих художественных занятиях, как ни унижал их морально, смысл своего писательского труда он понимал прекрасно и не заблуждался относительно его общественного звучания. Понимал настолько хорошо, что не стеснялся в выражениях, когда хотел сорвать на нем досаду: знал, что ни от каких выражений этого смысла и звучания не убудет. Ощущение сорока веков, что смотрят на него «с высоты этих пирамид», по его собственным словам, всегда соприобщало его в пути. И эти выпренные строки из наполеоновского приказа (вспомнутые, разумеется, не публично, в перетиске) в его устах звучали не менее оправданно, чем в оригинальном варианте.

В статье «Творческие стимулы Л. Толстого» Б. Эйхенбаум замечает, что соображения, подвигавшие Толстого на беспримерный литературный труд, были вполне наполеоновского масштаба. «Совсем не этика, — пишет он, — руководила Толстым в его жизни и поведении; за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла героика. Этика была, так сказать, вульгарной формой героического — своего рода извращением героики, которая не нашла себе полного исхода, полного осуществления. «Непротивление злу насилием» — это теория, которую в старости мог бы придумать и Наполеон: теория состарившегося в боях и победах вождя, которому кажется, что вместе с ним состарился и подобрел весь мир»¹⁰.

Художественная работа Толстого была пронизана этой героикой, «энергией исторического заблуждения», пафосом противостояния миру. А за его религиозной этикой героики не было. Была усталость, желание обуздать напор стихийных сил жизни — желание заведомо утопическое: он не мог справиться с ними в лоне собственной семьи — что же было говорить о человечестве! Исторический поток уносил жизнь мимо и вдаль, и никаких человеческих ценностей учение Толстого противопоставить ему не могло¹¹.

Толстовство меньше всего, наверное, способно было стать практической программой. Оно было лишь умонастроением великого человека и художника в переломную пору жизни, мечтой, способной греть душу до тех пор, пока ее не начинают осуществлять. Поэтому так болезненно переживал Толстой неудачные опыты своих приверженцев и сам не слишком стремился быть последовательным толстовцем. Его умонастроение получило широкий резонанс, потому что за утопией праведной, счастливой жизни стояла мужицкая Россия, вручившая Толстому свой голос. И к этому голосу нельзя было не прислушаться.

Какая бы пропасть ни разделяла графа Толстого и последнего безлошадного мужика (сословная, имущественная, культурная), в представлениях о мире, что есть добро и зло, правда и справедливость, как относиться к старшим, женщине, как воспитывать детей и какой порядок устанавливать в семье, в суждениях о том, какая жизнь достойная и как надлежит человеку умирать, в знаниях о природе и ощущениях ее, в тысяче практических навыков и умений, которые не почерпнешь из книг, — во всем этом между ними было глубокое родство. Толстой чувствовал нравственную зависимость своего сословия от народных корней и знал, что обязан мужику практически всем.

¹⁰ В. Эйхенбаум. О прозе. Сборник статей. Л. «Художественная литература». 1969, стр. 85.

¹¹ «Самый уход Толстого из Ясной Поляны был уходом не только от семьи, — пишет В. Эйхенбаум в более поздней работе, характеризуя «исторический трагизм» поздней поры Толстого, — но и от всего того, что он делал здесь своими руками в течение шестидесяти с лишком лет, — уходом от самого себя и от истории, которая поступила с ним почти так, как Шекспир с королем Лиром. Недаром он ненавидел этот образ так, как можно ненавидеть только двойника» (там же, «О противоречиях Льва Толстого», стр. 60).

«...русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать: нашего учителя... — писал он Григоровичу, поздравляя его с пятидесятилетием литературной деятельности и вспоминая воздействие «Антон-горемыки», — можно и должно писать во весь рост не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»¹².

Сознательное обращение Толстого в мужицкую веру на рубеже 80-х годов парадоксальным образом связалось с проклятием, которому он предал свои литературные занятия. Но это была дань проповеди. Его могучее душевное здоровье, нерастраченные творческие силы стойко сопротивлялись аскетизму. Его литературный дар набирал ураганную обличительную силу, разоблачая ложь и фальшь эксплуататорского мира, а то вдруг возвращая ему молодость, заставляя восторгаться красотой и силой жизни, не уступающей никаким преградам. Благодаря этому «мужицкий голос» Толстого до последних его дней звучал неповторимо, мощно, вбирая полноту народного гнева, отчаяния, нравственной силы и мудрости.

Этот голос в полную силу звучит и сегодня, мы слышим и безошибочно распознаем его в хоре современной литературы так же отчетливо, как когда-то прижизненные читатели. Этическое завещание Толстого передано потомкам не в тех или иных абстрактных идеях или моральных прописях, пусть и самого высокого полета, а в его творчестве, его искусстве. Оно не учит и не наставляет в плоско быденном смысле слова. Его подлинная жизнь в духовном взаимообмене современных людей, в который оно включается, поднимая нравственный потенциал человеческого общения.

Толстой протестовал против «бессмыслицы отыскивания мыслей в художественном произведении», утверждая, что «каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится». В письме Н. Страхову в ответ на его истолкование «Анны Карениной» он замечает: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, кот[орый] я написал, сначала»¹³. Мудрость этих слов не потускнела до нынешних дней.

Богатство, неотразимость толстовской этики в том, что она живет сегодня не теми или иными постулатами и нормами, а человеческими судьбами, выстраданными на страницах его книг. Заветная мысль о единстве жизни человеческой с жизнью народной раскрывается не сухими комментариями, а судьбой князя Андрея с ее падениями и взлетами, с его страстью к славе, с разочарованием в индивидуалистической героике, со всем богатством его переживаний, мыслей и чувств. Отроческими и юношескими годами Николеньки Иртеньева входит в сознание современников идея самовоспитания, самосовершенствования, жгучая и актуальная сегодня как никогда ранее. Искусством Толстого эти судьбы включены неотъемлемым элементом в наш духовный мир.

О том, что такое подлинная любовь к ближним, мы запоминаем сердцем, читая страницы «Войны и мира», где Наташа спасает раненых воинов при оставлении Москвы, сбрасывая с подвод семейное имущество, или где она преданной девой-невестой ухаживает за умирающим князем Андреем. Ее готовность мгновенно забыть собственное горе и броситься на поддержку матери, сраженной известием о гибели младшего сына Пети, лучше всех проповедей рассказывает о женской самоотверженности. Известно, что Толстой не сочувствовал идее женской эмансипации, как она выражалась в общественном сознании его времени. В призвании женщины — хранительницы семейного очага, матери ему виделось поэзии несравненно больше. С этим можно не соглашаться, так же как не соглашались и спорили его современники. Но, читая страницы о приходе Анны Карениной к сыну в день его рождения, об их встрече после долгой разлуки, о чувствах, переполняющих Анну, спорить не о чем и просто невозможно. Такой чуткий ценитель, далекий от толстовских идей, как Тургенев, писал об ознобе восторга, который пробежал у него по спине при чтении этой главы. Читательницы же, даже «прогрессивно» настроенные, захлебывались от слез. Точно так же, читая эти страницы и переживая событие представленным на театре, плачут и современные женщины, хотя для них уже никаких проблем эмансипации и приобщения наравне с мужчинами к общест-

¹² Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (Юбилейное). Т. 66, стр. 409.

¹³ Там же, т. 62, стр. 269, 268.

венно полезной деятельности не существует. И все это не просто магия искусства, искусства. Здесь этика Толстого в ее подлинном бытии. Потрясает не чистое мастерство Толстого, а воссозданное и переданное им чувство материнской любви в богатстве ее человеческого содержания: и жалость к оставленному сыну, и острая боль разлуки, и тревога за его грядущую судьбу без материнской ласки и заботы, и тысячи других оттенков чувства, которые не выразишь словами. Толстой-художник утверждает высшие нравственные ценности человеческой души, характера, личности, которые неподвластны веяниям времени, и именно эту эстафету передает его творчество.

«...ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь,— писал Толстой в пору работы над «Войной и миром»,— я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы»¹⁴. Сроки жизни искусства Толстого продлились бесконечно. Но тем самым в бесконечность продлилась и жизнь этики, пронизавшей его искусство.

Современности близок этический пафос Толстого-художника, который вслед Пушкину пробуждал и пробуждает чувства добрые. Он знал, что добро не перерастает в зло и любовь не обращается в ненависть, лишь когда они действительны, когда человек «каждый день за них идет на бой». Он работал по этому правилу, не давая себе отдыха, не зная передышки, уверенный — «весь мир погибнет, если я остановлюсь». И этот этический завет его творчества для каждого человека сегодня жизненно необходимый, а может быть, и главный.

¹⁴ Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М. Издательство АН СССР. 1957, стр. 649.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. К. ГЕЙ



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР Л. Н. ТОЛСТОГО

Высокая эпика

Созданное Толстым — огромный, бесконечно богатый мир, многоцветный, многозвучный, многолюдный. Вжиться в него и легко и трудно. Легко потому, что этот мир как бы распахнут навстречу каждому. Вы видите все происходящее в неповторимых и несомненных проявлениях, вы знакомитесь с людьми и многое можете додумать и дорассказать о них как о своих добрых знакомых; одних вы принимаете, других нет, но они существуют. И когда встречаются эти люди в фильме, отснятом по произведению великого романиста, или в работах художника, приходится слышать решительные высказывания: «Именно таким себе представляю» — или коротко и безапелляционно: «Нет, непохоже». Жизнь толстовских героев входит в непосредственный опыт каждого почти так же, как факты и события из повседневного окружения. Они есть, они существуют. Вместе с тем в большом и свободном мире Толстого не так-то легко ориентироваться. И совсем невозможно исчерпать пережитое. Каждая новая попытка осмыслить увиденное и испытанное манит дальше и дальше, обнаруживает уводящие вглубь планы, открывает беспредельности, постижение которых порождает все более трудные вопросы.

О Толстом пишут много, говорят, спорят, одни принимают его опыт, другие от него отталкиваются, и в этом живом процессе опыт писателя не отодвигается со временем, не остается в отошедшем времени (как это прозвучало в иных высказываниях современных зарубежных писателей, в частности авторов «нового романа»), но, напротив, ста-

новится крупнее. Сделанное писателем можно охватить взглядом, как снежные вершины на расстоянии. И так бывает только с подлинными ценностями. Они лучше видны в своей истинности, завершенности, значимости, удаляясь во времени.

Если попытаться охватить это общее, самое крупное единым взглядом и обозначить главное, то вряд ли найдется однозначный ответ. Чем богаче предмет для размышлений, тем труднее исчерпывающая формула. И все-таки для отправной точки нашего разговора воспользуемся словами М. Б. Храпченко о «высоком эпическом искусстве Толстого»¹.

Высокая эпичность — определение емкое, особенно если иметь в виду не внешнее соединение романного, жизненно-современного и героического начал, не искусственное терминологическое образование вроде роман-эпопея. Дело, разумеется, и не в том, чтобы вознести эпический род литературы за счет других способов художественного постижения бытия. Речь пойдет об ином — о мощном, могучем, целостном постижении живой жизни по законам жизни, о сотворении мира, как творит сама природа.

Живая жизнь возникает как бы в ее непосредственном движении, даже самодвижении. Пусть категорично, но в конечном счете верно говорят: «Толстой не подражает жизни, он сама жизнь» — или кратко и энергично: «Толстой — демиург». В свое время раздумывая над этой изуми-

¹ М. Б. Храпченко. Художественное творчество, действительность, человек. М. «Советский писатель». 1976, стр. 113.

тельной объективностью толстовских творений, Ромен Роллан указывал на их «соприкосновение с силами земли». Толстой и сам любил говорить о «земной стихийной энергии», которую выдумать нельзя и без которой, так же как без «энергии заблуждения», без «толчка веры в себя», невозможно творческий труд, созидательное вдохновение.

Высокая эпика Толстого несет в себе познание суверенности бытия, предпочитает прежде всего то, что дано жизнью, с чем нельзя не считаться, нельзя отмахнуться, пройти мимо.

Исходя из того, что народ ждет земли, Толстой возмущался косностью царя, «не желающего знать жизни», реальных потребностей ее. «Почему он знает,— говорил писатель Г. А. Русанову,— что ему самому не придется потом другое сказать?.. наконец форма правления может измениться».

Толстой на протяжении всей своей жизни раздумывал об объективных, заложенных в самой жизни предпосылках и закономерностях, исходя из которых только и можно быть художником, реалистом. Правда и только правда — исходное требование, высказанное декларативно, с молодым задором уже в «Севастопольских рассказах» и неукоснительно выдержанное писателем до «Хаджи-Мурата», одного из последних, неопубликованных при жизни автора творений.

Толстой исходил из всеохватности («захватить все»), универсализма, из знания «всех подробностей жизни», движения мысли и чувств в их ускользающей бесконечности. Для него было необходимо выбрать единственную возможность в судьбах героев из миллиона вероятных — самую верную, самую истинную, сообразуясь с логикой жизни и характеров.

Итак, объективность повествования, со творчество, конгениальное созидательным силам жизни, природы — росту знаков на ниве.

И вместе с тем объективность повествователя, но не беспристрастность, не всепринятие, а такое полное присутствие, такое выражение своей позиции, которые не разрушают целостности большого художественного мира, куда органически входят, как бы представляют собой от жизни, выражают несомненную «бытийность» и мыслей и чувств человека этого мира, пусть неслаженного, противоречивого, подчас даже хаотического.

Эпическая объективность, пластика повествовательной манеры, «жизнедостоинность» толстовского мира находят признание в собственных словах автора «Войны и мира»: «Это как «Илиада»!» В этом восклицании сказалось не самолюбование, а желание определить родственные связи своего широкого, панорамного метода с традицией.

И, естественно, Толстой более чем кто-нибудь другой из писателей заслужил титул «Гомера русской «Илиады» (А. Ф. Кони). Подобного рода сравнение «Войны и мира» с «Илиадой», а Толстого с греческим бардом делалось неоднократно (В. В. Стасов, И. Репин, В. В. Вересаев, Р. Роллан, Т. Манн и многие-многие другие).

Пожалуй, трудно назвать другого русского писателя, вызывающего у пишущих о нем невольные аналогии с тем, что было сделано или Данте, или Шекспиром, или Бальзаком, или Стендалем. Созидательная энергия Толстого, по мнению автора «Жана-Кристофа», под стать лишь бетховенской или вагнеровской. Наблюдая Толстого на склоне лет, Р. М. Рильке ввел в круг сопоставлений Микеланджело и Родена. Мексиканский профессор Х. Торрес Боде называет Толстого в ряду «великих повествователей человечества», таких, как Гомер, Сервантес, Гальдос, Диккенс.

Диапазон имен продиктован ощущением «чудовищной огромности» Льва Толстого (М. Горький). Даже сдержанный Чехов переходит на несвойственный ему тон, не удерживается от восклицаний: «Толстой-то, Толстой! Это... не человек, а человечице, Юпитер»².

Такие параллели, естественно, не претендуют на утверждение тождества между прозой эпохи пороха и свинца и гекзаметрами об Ахиллесе. В них метафорическое уподобление, поэтическая мысль о творческом подвиге, об освоении беспредельности народной жизни.

Толстому доступна «тайна жизни» (В. Вересаев), он проникся поистине космическими импульсами жизни, движением масс, чутко слышал поступь истории, ощущал движущие силы свершающихся событий.

Безграничная мощь художника, масштабное мышление, умение проникнуть в дух изображаемой эпохи и обнаружить меха-

² А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М. «Наука». Письма. 1976, т. 4, стр. 322.

низмы, приводящие в движение огромные человеческие махины,— разумеется, характерные приметы монументального повествования, подобного «Войне и миру». Они распространяются и на «конспективную эпопею» (П. Палиевский) — «Хаджи-Мурата», и на традиционный, как это представляется многим исследователям, «семейный» роман — «Анну Каренину».

Однако симптоматично, что после этого «семейного», как и самому Толстому думалось, романа, обращаясь к новым замыслам, писатель говорит о нем прежде всего как о «широком, свободном романе».

Писательские характеристики своеобразия жанра, в котором творил Толстой, заставляют вспомнить пушкинский подход к романному и реалистическому мышлению — «даль свободного романа». Это все определения разных сторон одного и того же: художественной объективности, эпического захвата («захватить все»), обретения повествовательного пространства для передачи большой жизни, в которой находит себе место и необходимость развития и «вольности большой судьбы» (Н. Я. Берковский). В результате открытых Толстым принципов «большого захвата» и «строгого повествования истины» и происходит овладение динамическим целым жизни. Проникновение идет не только (как у ряда эпигонов Толстого, стремившихся или «вширь», или «вглубь»: или к развертыванию исторических картин, или к психологической дифференциации бесконечно малых импульсов и переживаний) и даже не столько по линии накопления событий, фактов, наблюдений, но прежде всего по линии нахождения сил сцепления, сущностных сил бытия, объединяющих все богатство и многообразие жизни в единое, хотя и не всегда согласное целое.

«Сопряжение» — слово, рожденное как бы в озарении, оно возникает в сознании Пьера Безухова как постижение долго не дававшейся истины. Мучительные поиски смысла и цели жизни, своего места в ней получают оформление в лапидарном выражении **сопрягать надо**. Не рядом, а вместе, не соединить, но сопрячь. Открытие Пьера Безухова приводит его к выводу о необходимости в опыте одного человека прозреть значение целого. Собственно говоря, речь идет, если взять в расчет не только опыт персонажа, а, конечно же, и опыт самого автора, об освоении и осмыслении богатства и многообразия жизни, ее реаль-

ных, бесконечных форм выявления. Словесная формула, найденная Пьером, получает иносказательно-образную мотивировку. В полусне-полуяви ему видится «живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие». Видение Безухова — аналог собственного толстовского художественного мира; он тоже «не имеет размеров» и находится в постоянном хаотическом боре и динамическом равновесии составляющих его элементов, «плотно сжатых между собой». Это своеобразный образ-модель, в котором запечатлены, сопряжены вместе и художественное видение большого мира, и сам этот большой мир в его текущем бытии.

Утверждая принцип сопряжения отдельного и общего, выявления одного через другое, Толстой вместе с тем фиксировал в этом принципе и выражал через него самую существенную для него смысловую доминанту: «Сопрягай, живи с людьми» — то есть идею подлинного единения людей в мире как выражение истинного отношения человека и человечества, человека и мира. «Жизнь — тем более жизнь,— писал Толстой,— чем теснее ее связь с жизнью других, с общей жизнью».

Общество насилия и ненависти должно быть заменено миром «великих духовных связей, объединяющих людей в народ»³, а народы объединены в человечество, живущее по закону «братской жизни».

Принцип сопряжения, таким образом, объединяет в единое идейно-эстетическое кредо «строгое повествование истины» и утверждение средствами искусства истинно человеческого и истинно нравственного мира людей. Другими словами, в художественном мире Толстого пафос правды жизни и пафос идеала сходятся, как две параллельные линии в мире Лобачевского, они встречаются в точке постижения полноты и цельности человеческого бытия.

Дело всей жизни

Хотя великий писатель просил не называть «Войну и мир» романом и допускал, что форма романа «отжила», именно ему принадлежит заслуга проникновения в са-

³ «Лев Толстой и музыка». М. «Советский композитор». 1977, стр. 37.

мую глубь художественного потенциала этого жанра. Он прекрасно ощущал скрытые, емкие, уникальные по своей природе возможности романа для постижения современности, которые пребывали нереализованными. Толстой как никто другой чувствовал в подвижном соотношении устойчивого канонического жанрового начала и индивидуально-изменчивого в нем неисчерпаемую содержательность языка искусства, богатейшие его задатки. Следует, пожалуй, допустить существование жанрового метаязыка в творчестве Толстого. И трудно назвать другого русского классика, у которого именно индивидуально жанровое своеобразие претерпело бы столь разительное видоизменение и трансформацию от романа к роману. Все три больших романа писателя — это не просто последовательные ступени его творчества с особым предметом, эпохальным содержанием и художественной доминантой, но и взаимно согласованные глаголы, смысл и значение которых, взятых в отдельности, «страшно понижается».

Вглядываясь в собственную манеру, писатель отмечал, что для него наиболее существенным, главным является «не оконченная работа, а процесс работы на самом деле». Данное суждение привлекается обычно для характеристики аналитического психологизма Толстого (Л. Гинзбург, С. Бочаров). Однако сказанное допускает и более широкое истолкование.

В приведенных словах схвачены и механизмы диалектики души, и логика собственного творческого процесса: движение от одного толстовского творения к другому. Поэтому вполне возможно гораздо более полное, взаимосвязанное рассмотрение каждого романа и как законченного в себе творения (по тематике, проблематике, по подходам к решению выдвинутых здесь задач), и вместе с тем как необходимого этапа в развитии целостной писательской концепции мира и человека. Другими словами, творения Толстого выступают при этом и как вполне «окончательная работа», и в качестве одного из моментов «процесса работы».

Писатель мог и не думать о какой-либо внутренней преемственности между романами. Напротив, после окончания очередного большого романа воцарялась весьма продолжительная пауза, зачастую связанная с отходом Толстого от литературы. И все-таки определенное внутреннее соотношение между «Войной и миром», «Анной Карени-

ной» и «Воскресением» возникает в результате логики развития взглядов писателя, напряженных его исканий, внутренней преемственности творческого созидания, в результате могучей работы мысли на протяжении всей второй половины прошлого и начала нашего столетия.

Три романа Толстого — «колоссальные памятники», господствующие над другими романами своего времени (Р. Роллан). Если эти три произведения поставить в ряд и рассматривать все три текста как один большой текст, существующий в контексте времени и всего творчества писателя, то возникнет сложное, во многом, быть может, противоречивое, но несомненно взаимосвязанное, наделенное особой логикой трехчастное высказывание. В нем все части необходимо «сопряжены» между собой. Каждая из них при таком рассмотрении внутри толстовского творчества, взятого как целое, оказывается необходимым звеном для понимания этого целого, с одной стороны, а с другой — получает от этого целого дополнительные импульсы, выявляет богатый смысловой потенциал.

...Недавно было замечено, что в ранних произведениях Толстого, в том числе в «Люцерне» (1857), пусть в скрытом виде, но уже содержалось многое, что сказалось в зрелом и позднем творчестве писателя. И даже раннее произведение в общем контексте толстовского творчества оказывается несомненной предпосылкой последующего творческого развития, выступает отдаленным предвестием позднейшего, спустя десятилетия разразившегося кризиса⁴.

Подобным же образом задолго до начала работы над «Войной и миром» возникает отчетливая формулировка другой «постоянной» темы, например, в письме А. Фету 1860 года: «Искусство есть ложь». Мысль, проходящая через жизнь и творчество писателя. Она присутствует и в «остраненном», «естественном» восприятии Наташей Ростовской сценической условности, театральной рутины, постом пронижет собой «Крейцерову сонату», статью «Что такое искусство?»; от отрицания фальши в искусстве она разовьется в отрицание существующего искусства как ложной и ненужной деятельности, приведет писателя к отречению от собственных произведений, от всего сделан-

⁴ См. «Вопросы литературы», 1978, № 1, стр. 135.

ного им в художественном роде («Исповедь»).

И тут же наряду с этим и вопреки этому, как некоторое «инобытие» той же идеи — ненасытное творчество, «пароксизмы» писания, годы жизни, отданные созданию «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения», народных рассказов, кропотливому труду последних лет «тайком от себя» над «Хаджи-Муратом». Что это как не трудный, упорный поиск ответа на один и тот же мучивший писателя вопрос — какое искусство нужно народу и что такое искусство подлинное и что такое ложное? И в этом же русле — напряженные и сложные коллизии в отношении Толстого к Шекспиру, Пушкину, Бетховену, к музыке в целом.

Другая «сквозная» идея — неприятие насилия, волюнтаризма и такого их концентрированного проявления, как война, идея, зазвучавшая уже в самых ранних вещах писателя, в его кавказских и военных повестях и рассказах. Затем она ищет своего соотнесения с состоянием мирной жизни, требует выявления смысла жизни и жизненных ценностей. Привычные художественные оппозиции «война — мир», «смерть — жизнь» разрабатываются с присущей Толстому силой и настойчивостью в «Севастопольских рассказах», с тем чтобы перейти в развернутую концепцию «Войны и мира», где поставленные ранее проблемы потребуют рассмотрения глобальных исторических, социальных, общественных и философских коллизий в их сопряжении и художественном освоении. В подготовительных заметках писателя, в подборе услышанных им народных изречений «мир жнет, а рать кормится», «война кровь любит» — задатки будущей художественной концепции, в которой получают развернутое противопоставление образы Наполеона и Кутузова. Создавая характер Наполеона, писатель вышел весьма далеко за рамки реального прототипа, отлично предвидя возможные упреки в «снижении гения», к стати сказать, раздающиеся до наших дней. Для него важно как можно более полно выразить смысл волюнтаризма и насилия, с одной стороны, и «жизнедостоинства», жизнеутверждающего начала — с другой.

Не менее устойчивым образованием толстовского мира оказался также и тезис: положение, в которое мы поставлены, ужасно (17/29 октября 1860 года) — речь идет не о частной ситуации, не о стечении обстоятельств и событий, а о существе ве-

щей, о понимании глубочайших социальных антагонизмов, когда на барских столах на чистой скатерти — подрумяненный мягкий хлеб, розовая редиска и желтое масло, а на крестьянских полях — лебеда.

Положение, в которое мы поставлены, ужасно — характеристика русской жизни второй половины века, возникнув задолго до «Анны Карениной» и «Воскресения», сохранит и для них свое непреходящее значение, эти произведения написаны под знаком провозглашенного за двадцать и тридцать лет до их написания.

Подобные положения, «сквозные» идеи — своего рода прочные опоры мира Толстого. Они возникают постоянно в романах и повестях и столь же постоянно видоизменяются, трансформируются, ведут к неожиданным сдвигам в становлении художественной мысли. Разумеется, каждый новый этап в развитии взглядов писателя и крутые переломы в его мировоззрении приводили к трансформации «постоянных» идей и образов Толстого, но не к отказу от них.

Система «преемственности» и «разрывов» прослеживается не менее зримо, чем в тематике и проблематике, и в самой художественной логике, поэтике, структуре произведений, подталкивая нас даже против воли к аналогии между этими явлениями и наследственностью и мутациями в биологии.

Не присутствует ли в свернутом виде, наподобие генетического кода, «программа» будущих художественных пластов больших толстовских романов во вставных и проходных эпизодах автобиографической трилогии, посвященных жизненным неурядицам Натальи Савишны и Карла Ивановича? В исповеди крепостной не зазвучала ли под пером писателя тема народного сознания и народного бытия, идея слияния «гения и народа», не появилась ли коллизия истинного и ложного существования, подобно тому как в походженнях солдата — участника наполеоновских войн, честного горемыки не слышатся ли первые еще, разумеется, отдаленные и все-таки ощутимые сотрясения почвы от стремительного хода мировой истории? И наконец, разве не на основе ранних произведений Толстого были сделаны те далеко ведущие суждения, те прозорливые прогнозы Чернышевского о диалектике души и чистоте нравственного чувства, что впоследствии стали своего рода исходными аксио-

мами для понимания и изучения зрелого творчества Толстого?

Такое глубинное единство, наличие соединительных линий между ранними и поздними произведениями, вполне ощутимое нами, носит, однако, совершенно особый, нетрадиционный характер, не имеет, пожалуй, места у других художников.

В отличие от группирования романов в циклы, в своеобразные «романы романов», как это делали, например, Бальзак или Золя, или в отличие от собирания их в еще более компактные жанровые образования вроде трилогии или тетралогии романы Толстого соотносятся между собой иначе. Еще меньше общего имеют они с романами, образующими ассоциации-хроники, основанные на началах событийной преемственности внутри определенной эпохи⁵. В глаза бросается скорее разница, чем сходство толстовских романов. По мере погружения в события, характеры, в мировосприятие, поэтику и стилистику данного произведения начинает казаться, что невозможно выйти за пределы внутреннего тяготения, сильного эстетического поля каждого отдельно взятого творения.

Повторим — они самодостаточны в конкретно-историческом плане, в тональности, атмосфере, типологии характеров, особенностях конфликта, погружены в свой жизненный материал, свою проблематику сюжетно и композиционно завершены и подчеркнута отделены друг от друга. Эпилог «Войны и мира», трагический финал «Анны Карениной» или использование притчевой поэтики, своеобразная композиция сентенций в концовке «Воскресения» — все это формы завершения произведения, такого его замыкания, которое не только не способствует, но даже препятствует сцеплению их друг с другом.

О том же, по существу, свидетельствует и творческая история написания этих романов. Каждое произведение поглощало все духовные и физические силы автора, требовало титанического труда. Самозабвенная работа над большими романами сменялась, повторяю, многолетними паузами, творческий подъем — самокритикой, строгим судом сделанному, доходившим до

решения не писать романов, переключением на активную общественную, философскую, религиозную деятельность.

Но несмотря на подобные разобщения и «разрывы», а скорее, может быть, даже благодаря им творческая энергия накапливалась, концентрировалась в перерывах. Избыточная сила, заложенная уже предыдущим произведением, требовала своей реализации; предпосылки и выводы, сделанные в период писания, предполагали новые решения, новый бросок вперед, новое созидание, подчиненные внутренней логике творческого акта, и прерывистого внутри себя и целостного.

Другими словами, законченное произведение таило в себе взрыв замедленного действия, вызывало своеобразную цепную реакцию, результатом которой и был новый творческий этап и новое произведение. И каждый следующий роман был новым словом, словом с большой буквы, входящим по внутренней необходимости в целостное высказывание, слагаемое на протяжении писательской жизни в неповторимый, бесконечно значимый, сопряженный в художественную общность триптих — «итог всего пережитого русским обществом за весь XIX век» (М. Горький). Это была не трилогия, а именно триптих, охватывающий жизнь России на протяжении трех этапов ее освободительного движения и подчинивший себе всю жизнь писателя.

«Непрерывность и постоянное возобновление жизни»

Слова в названии раздела принадлежат Ромену Роллану и сказаны о «Войне и мире». Устойчивость и подвижность жизни, постоянство и изменчивость человека. Это принцип диалектики, фиксирования динамики жизни, чувств, мыслей, побуждений и поступков.

Повествование Толстого в сравнении с «быстрыми» повестями Пушкина (с присущей им насыщенностью действием, «глагольность» кратких и энергичных фраз) может сначала показаться замедленным, даже громоздким. Но таково лишь первоначальное впечатление. За внешней монументальностью, распространенностью и разветвленностью толстовских периодов — динамика жизни, стихия движения, сложные переходы и переливы мыслей, чувств, текучесть характеров. Даже развернутые пейзажные картины полны изменения, превращений. Голый, безжизненный дуб по до

⁵ Принцип, которому, в частности, следовал А. Тrollop, романы которого Толстой читал и отдавал им должное, но опыту которого в этом отношении оставался чужд вопреки утверждениям некоторых зарубежных исследователей.

роге в Отрадное и он же весь в зелени на обратном пути князя Андрея, или картина аустерлицкого неба над раненым Болконским, или живучий татарник на обочине дороги в «Хаджи-Мурате», или звездное небо над головами всадников, как река, небо, которое «течет» вверх в противоположном направлении едущим,— все это, если воспользоваться удачно найденным определением, пейзаж-процесс⁶. Более того, этот динамичный пейзаж — особая сторона динамического развертывания художественной мысли, и потому происходит не замедление общего повествования, а всемерное нагнетание универсальной его подвижности. И не только пейзаж, но любое описание, портрет, рассуждение — наиболее статичные образования вообще — у Толстого подчинены общему закону течения жизни. Ни эпическое панорамирование, ни психологическая аналитика, ни постоянная детализация и тут же генерализация общего смысла, ни обширные философско-исторические отступления не препятствуют динамическому воплощению жизни как целостного процесса. Наоборот, они скорее способствуют насыщению повествования движением, возвращают нас к общей концепции произведения. Обстоятельный исследователь языка, стиля и поэтики В. В. Виноградов сказал о стиле «Войны и мира»: «...волнистая, бурлящая масса»⁷. Во всем, о чем пишет Толстой,— в природе, истории, жизни, людях, их мыслях и чувствах — насыщенность движением. Художественный динамизм — общее основание поэтики Толстого, его аналитизма, его эпической всеобъемности. В нем живительное начало толстовских творений, их глубокого внутреннего единства при внешней противоречивости, разнородности.

Опыт творца «Войны и мира» оставил неизгладимый отпечаток на последующем литературном развитии; непосредственно или опосредованно он сказывается и на современном литературном процессе. Человек в системе широких жизненных связей, личность и история, чувство ответственности, нравственный и человеческий долг перед собой и перед другими людьми — все это проходит через толстовское повествование,

направленное на постижение жизни, ее движущих сил, на выражение ее, так сказать, «процессуальности».

Утрата сопряженности исторического, социального, психологического, индивидуально неповторимого содержания жизни, расщепление вследствие этого художественного образа — таковы те нелегкие проблемы, с которыми пришлось столкнуться многим художникам XX века. Углубление в единичное, личностное, бесконечно малое, в поток сознания и подсознания, сохраняя свою предметную связь с опытом толстовского аналитизма и диалектики души, но лишенное широты и целостности, динамических связей и взаимосвязей, приводило и приводит к сокращению универсального контекста жизни, ее многомерности и в конечном счете — самодвижения.

Уже в ранней повести «Два гусара» видна попытка запечатлеть дистанцию между веком минувшим и веком нынешним, между «теми временами, когда...» и «нашим временем, когда...». Обращаясь к «урокам» Толстого, А. Фадеев прибегнул к выразительной структуре развернутой фразы, открывающей это произведение Толстого. В «Последнем из удэге» аналогичная фраза служит обозначению временной эквивалентности жизни Масаэды и всемирно-исторических событий на планете начиная с середины прошлого века и до революционных преобразований на Дальнем Востоке. В «Двух гусарах», однако, временные пласты, расположенные рядом, не взаимодействуют между собой.

Первый большой роман Толстого, тяготея тематически к историческим событиям 1805—1807 и 1812—1813 годов, по существу, художественно осваивает взаимодействие исторических пластов. Его временной потенциал включает в себя и предысторию (время Екатерины и Французской революции) и исторические последствия изображаемого, выходящие за хронологические пределы Отечественной войны. Писателю необходимо передать и осмыслить, как вершится история, как идет реальное историческое время, как идет время человеческой жизни — в их целостном, взаимосвязанном бытии. Романное время, пожалуй, впервые в истории мировой литературы художественно убедительно передает ход исторического времени, воссоздает его образ, его протекание, стремится его осмыслить. Структура «Войны и мира» открыта временному потоку.

⁶ Т. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М. «Советский писатель». 1957, стр. 182.

⁷ В. Виноградов, «О языке Толстого (50—60-е годы)» («Литературное наследство», М. Издательство Академии наук СССР. 1939, т. 35—36, стр. 171).

Четырнадцать вариантов, четырнадцать всевозможных приступов к повествованию, предпринятых писателем в течение года работы, были мучительными поисками структуры романа-потока, по существу лишенного константных точек отсчета, построенного на отказе от статичной композиции, от завязки и развязки.

Собственно говоря, первый эпизод «Войны и мира», вечер в салоне Шерер, является активным введением — «с первых тактов» — обширного жизненного материала, идей эпохи и сразу же почти всех основных действующих лиц, находящихся в живом отношении к этим фактам и идеям. Структура начала подчеркнута не эпопейна. Собственно, нетрадиционная завязка возникает незаметно, она так же жизненно произвольна и неожиданна, как и каламбур-реплика, которым обозначено, по сути дела, начало произведения: «...Бонапарт сжег свои корабли; и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши».

Перед нами разомкнутое пространство повествования, беспредельный контекст европейской и русской жизни, историческая панорама — эффект «распахнутого окна». «Война и мир» погружает нас в неостановимое течение жизни. Четкой фиксации исходных и конечных моментов движения нет. Вытекающая отсюда структурная особенность повествования у Толстого проследживается в любом его фрагменте. Сопрягая концы и начала, роман-поток представляет как бы бесконечную смену прологов-эпизодов.

Каждый существенный момент произведения содержит в себе закругленно, сведенно вместе «начала» последующего и «концы» предшествующего повествования, в нем сконцентрированы, усилены, напряжены, подобно тетиве лука, сквозные линии произведения. Они получают многократные импульсы в разных точках романа, открытого от начала, без завязки, до столь же нетрадиционной развязки, не завершающей движение повествования, но дающей новый толчок дальнейшему движению вперед. «Сущность того, что я хотел сказать, — писал Толстой, — заключалась в том, что сочинение это не есть роман и не есть повесть и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее [уничтожается] интерес». По мнению П. В. Анненкова, у Толстого романное начало затерялось внутри обильного инородного ему исторического и философско-публицистического материала: «Завязки ничем за-

менить нельзя, ни даже картинами политического и социального содержания»⁸. Для традиционно мыслящего критика без завязки и развязки не может существовать ни фабулы, ни интриги в романе; с отказом от них упраздняется и сам роман, в котором и без того бросаются в глаза «опасные места», где связь романа и истории держится на волоске⁹. Подобные суждения — плод взглядов, покоящихся на литературном опыте конца XVIII—первой половине XIX века. Критерием оценки служат каноны так называемого закрытого романа («Манон Леско» Прево, «Страдания юного Вертера» Гёте, романы Джейн Остин и Шарлотты Бронте) с условной, но обязательной завязкой и развязкой, непремненными формами замыкания повествования.

Отсутствие завязки, а также и развязки, конструктивно и событийно замыкающих повествование, не столько композиционный прием, но прежде всего результат смысловой направленности романа-потока.

М. Бахтин склонялся к выводу, что в романе вообще в отличие от эпопеи «по-новому ставится проблема начала, конца и полноты»¹⁰.

Объем «Войны и мира» не сравним с объемом отдельных, сравнительно небольших романов Бальзака, но перед Толстым, естественно, так же властно возникает дилемма завершения незавершаемого. Бальзак, как отмечалось, пошел по пути циклизации отдельных романов, по пути своеобразного завершения отдельных произведений в сравнительно свободных, строго не ограниченных хронологическими и тематическими рамками циклах. Толстому пришлось в передаче потока жизни, ее полноты и целостности концептуально видоизменить структуру, смысл завязки, а соответственно и развязки «Войны и мира». Раздумывая о судьбах людей и событиях 1805, 1807, 1812, 1825 и, наконец, 1856 года (наброски о возвращении декабристов из Сибири), он констатировал: «Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать романтическую завязку и развязку, я убе-

⁸ П. В. Анненков, «Война и мир». Роман гр. Л. Н. Толстого. Исторические и эстетические вопросы» (Собрание статей и заметок, т. 2— «Воспоминания и критические очерки»). СПб. 1879, стр. 372).

⁹ См. там же.

¹⁰ М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М. «Художественная литература». 1975, стр. 474.

дился, что это не в моих средствах, и решился в описании этих лиц отдаться своим привычкам и силам»...

Отдаваясь «своим привычкам и силам», Толстой постоянно испытывал непригодность замыкания повествования с помощью развязки, как бы исчерпывающей действие, ему чужда условность подобного расчленения жизни.

Эпилог «Войны и мира», продиктованный необходимостью закончить повествование, не прерывает незавершаемый и неостановимый ход жизни. Имея дело с историческим потоком как предметом изображения, раздумывая о движении народной жизни во времени, автор «Войны и мира» совмещает завершение одного и начало другого жизненного этапа.

Развязка «Войны и мира» выступает как скрытая завязка, родственная ей в своем художественном качестве. Последняя встреча героев романа вся повернута к тому, чему неминуемо суждено произойти. И мы начинаем не только прозревать преемственность событий 1812 и 1825 годов, но и внутренний смысл исторического движения, его логику. Роман не просто констатирует: история и жизнь народа продолжают, — но ставит нас перед задачей постижения целого этапа русской жизни в исторической перспективе.

Эпилог романа-потока — новый бросок во времени, без этого броска нельзя понять «преобразования» жанра романа у Толстого. Художественная концепция, основанная на упразднении завязки и развязки повествования и на сопряжении «начал» и «концов» в каждом элементе, — емкая форма и осмысления движения бытия, его постоянного обновления.

Ход жизни, ее логика, с одной стороны, и ход мысли, логика идей — с другой, образуют своеобразное русло толстовского повествования.

В своих полных жизни, всеохватных творениях Толстой принципиально не мог быть и не был писателем одной мысли. Достаточно напомнить его замечание о романе Дж. Элиот «Адам Бид»: «Сильно трагично... и полно одной мысли. Этого нет во мне». Действительно, концентрации вокруг одной мысли в произведениях Толстого не было¹¹. В поисках емкой структуры много-

планового повествования Толстой идет от различных вариантов и вариаций многосоставных композиций (три очерка в севастьяновском цикле, «три смерти», два пласта — романтический и этнографический — в «Казаках», непосредственно изображенная жизненная ситуация и публицистическое обращение к читателю, к слушателю в «Люцерне»; позже — два романа в «Анне Карениной»).

Обретение органического многопланового соединения темы войны и темы мира, «внешнего» и «внутреннего» человека, личной жизни и общей жизни народа и позволило писателю наконец обрести неповторимое и плодотворное жанровое образование, далекое от существовавших канонов.

Насильственный строй не вечен

«Анна Каренина» в гораздо большей мере соответствует традиционным формам «семейного» романа, нежели «Война и мир». Но даже в последнем Н. Страхов видел «хронику семейную» или даже «быль семейную», подобно Достоевскому, который также считал это произведение Толстого последним словом в области русского семейного романа.

Новый роман, написанный в 70-е годы, движется личными коллизиями, весь напряжен драматизмом человеческих отношений. «Роман этот, — писал Толстой, — именно роман, первый в моей жизни, — в нем действует необходимость «закругления», «замыкания» открытого повествования. В этом признании не следует видеть отступление от ранее найденного, в нем нет и противопоставления «семейственности»¹² и современности эпическим картинам истории и масштабным событиям, затрагивающим бытие человечества. «Семейственность» как жанрообразующая тенденция романа может находиться в оппозиции к историческому содержанию, к специфике эпического произведения. Но Толстой отказался бы от принципа сопряжения и всеохватности, пойдя он этим путем.

Обращаясь к традиционным семейным коллизиям, писатель сохраняет и трансфор-

мирует жизнь в разных аспектах, многомерно, как многообразную человеческую действительность, тогда как у английской писательницы вещи показаны такими, «какими она их видит с порога» (Р. Роллан), то есть как бы на плоскости, в одном измерении.

¹² Термин М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. Полное собрание сочинений, М., 1936, т. X, стр. 55, 56).

¹¹ Более того, как отмечалось, изображаемые события у Толстого даны через «призму» персонажа — он «заставляет нас превращаться в своих героев», то есть показы-

мирует собственный опыт из «Войны и мира», добытый им при освоении исторического и социального содержания жизни в самой тесной органической связи с раскрытием коллизий личной жизни. Значение «семейственности», изображение сложившегося уклада русской дворянской семьи получили гипертрофированную трактовку в выступлениях Вл. Соловьева, увидевшего в писателе чуть ли не певца косности русского быта, художника, канонизировавшего неподвижность уклада русской жизни. Подобные суждения встречаются и у современных зарубежных исследователей (Е. Гринвуд, Стайнер). При этом игнорируется универсальная диалектичность художественного мира Толстого: соотношение между устойчивым и изменяющимся в жизни, между семейственным и историческим, между поиском истины и достигнутыми результатами...

Как известно, еще Белинский считал, что в классическом эпосе событие «подавляет человека». Но в «Войне и мире» в поток «роевой» жизни народа свободно и полно вводится частная и внутренняя жизнь человека. В противном случае, как будет говорить писатель позже, авторы «занимаются всякого рода социальными проблемами, психологическими исследованиями, точным копированием природы, этическими головоломками и псевдонаучными задачами, но в большинстве случаев не умеют писать о значительных вещах так, чтобы затронуть сердца читателей».

В «Войне и мире» Толстой блестяще и всесторонне разработал переходы от общей жизни к личной и от субъективной, личной, внутренней стороны отношения «человек — мир» к объективным сложным и противоречивым отношениям характера и обстоятельств, жизни человеческой и жизни народной.

Принцип сопряжения сохраняет свою универсальность и в произведении, основанном на «мысли семейной», которая способствует осмыслению жизни в целом, и от романа «личной судьбы» ведет упорно и неукоснительно к пониманию жизни общей и в конечном счете судеб страны в новой исторической эпохе, чем та, которая была положена в основу «Войны и мира».

С первых фраз роман движется к трагическому финалу, нацелен на него; в этом смысле развязкой определяется вся логика и структура произведения, в ней заложен окончательный смысл пролога (гибель стрелочника) и необходимость эпиграфа («Мне

отмщение, и Аз вздам»). Повествование неуклонно направлено к страшной черте. Подобная организация романа — особый способ осмысления и выражения течения жизни. В отличие от «Войны и мира» теперь акцентируется не столько ее подвижность, «процессуальность», сколько направленность этого движения к развязке.

Возникает совершенно особый вид романа — роман конца, роман-эпilog. В нем связаны в узел личные судьбы и общая жизнь, определено движение «к развязке» всей действительности с ее неустроенностью, противоестественностью происходящего. Отсюда особая тональность изображаемого, общая атмосфера — обманчиво солнечная в начале и трагедийно-мрачная в конце. Структура действия не романная, а скорее трагедийная, без очистительного катарсиса. Отсюда упорные обертоны, задаваемые повторением и нагнетанием ключевых слов «страшно», «ужасно», отсюда и подчеркнутая остротность, «безжалостность», как пишут некоторые зарубежные исследователи, авторского взгляда, с пристальной бесстрастностью следящего за приближением неумолимой гибели. Но катарсиса не наступает и после смерти Анны, роман не кончается ее гибелью. Ощущение неминуемого приближения к катастрофе усиливается. Нарастание симптомов конца, катастрофы продолжается и после трагической гибели героини.

Развязка личной трагедии ведет за собой «продолжение трагедии», входя в контекст общественных и исторических событий, в круг философских исканий цели жизни, она получает общий смысл.

Чуждый внешним аллегориям, писатель-реалист последовательно избегает прямого сближения трагедийности судьбы Анны и русской жизни, но в этом отношении показательно наличие внутренних связей личной и общей проблематики всего произведения. Творческая история романа свидетельствует, что сам писатель нелегко и не сразу нашел способы и средства такого внутреннего объединения разных планов.

«Роман Анны» с самого начала пошел быстро — обозначились сюжетные компоненты, психологические коллизии, подчеркнута резко наметились характеры, причем первоначально Анна представляла гораздо более неприглядной. Каренин же, наоборот, был освещен доброжелательно и сочувственно. Однако процесс писания очень быстро «застопорился», по определению Толстого. На-

ступила мучительная и опасная для дальнейшего творческая пауза. Роман пошел лишь после того, когда коллизии семейные как бы сомкнулись, сошлись с острейшими коллизиями времени, труднейшими вопросами русской жизни, когда «роман Анны» вдруг дополнился в писательском замысле «романом Левина», героя, биографически и интеллектуально близкого автору. Подобно Пьеру Безухову, Левин «решает те же жизненные задачи, которые он (автор.— Н. Г.) сам решал», и притом «решает их в той же психологической форме» (Л. Гинзбург). Соединение двух во многом самостоятельных, по сути дела едва пересекающихся романских линий — «романа Анны» и «романа Левина» — превратило притчу о неверной жене, как это поначалу намечалось, в широкое романное повествование.

Искомое сопряжение обретено, но общая жизнь входит в роман не на героическом своем взлете, не в блеске исторических свершений, как то было в «Воине и мире», а на трудном историческом сломе, резком тектоническом сдвиге социальных и общественных пластов, когда старое «перевернулось», а новое еще только «укладывается». А впереди все явственнее обозначается катастрофический рубеж.

«Все смешалось в доме Облонских». Обобщающий смысл фразы, задающей тон повествованию, раскрывается не вдруг. Так же как до поры не выявлен внутренний смысл гибели стрелочника в день первой встречи Анны с Вронским. В день самоубийства это воспоминание-видение подтолкнуло ее к роковому решению. «Все смешалось в Царской семье» — фраза из черновых набросков к роману о петровских временах, которая позволяет почувствовать невыявленный смысл первой фразы «Анны Карениной». Все смешалось в доме Облонских, все перевернулось в стране, укладывается и не может уложиться. Все смешалось — все перевернулось. И как следующий шаг уже законченная формула: «„У нас теперь все это перевернулось и только укладывается“, — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов», — писал В. И. Ленин¹³.

И принцип генерализации, выражения одного через другое, принцип сопряжения этих разных линий в одну реализуется в

финале. И смерть Анны, и обращение Левина к религии, и отъезд Вронского на турецкую войну — узлы финала, в которых сходятся линии личных трагедий, раздумий о смысле жизни и поисков выхода из положения, касающегося восьмидесятимиллионного народа России, о котором спорят Левин и Кознышев. Последняя мысль Анны: «...все неправда, все ложь, все обман, все зло» — последняя черта, проведенная под прожитой жизнью, обобщающий вывод и о себе и о жизни. Слова — от Анны. И продолженные и данные в обобщенном виде от автора: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». «Все зло», и жизнь — книга «исполненная.. горя и зла». Мысль Анны и вывод Толстого. Он выносит обвинительный вердикт строю жизни, ставит вопрос о праве на существование этого строя.

В. Вересаев увидел в эпитафии «Мне отмщение, и Аз воздам» реализацию прежде всего этического императива, обращенного писателем к своим персонажам, к жизни. В неумолимом волевым импульсе приведенных слов присутствует тема возмездия. Возмездия за то, что все лучшее, что было в самой Анне и в людях, ее окружавших, оборачивается ложной, превратной, ненастоящей своей стороной. И возмездия за то, что причиной этому не ошибки и заблуждения отдельных людей, не их несовершенство, но весь общественный уклад, ложный в своих основах. Это признание вины скорее не в психологическом и этическом плане, но в плане общественном, социальном, историческом. «В се ложь» — это приговор себе, своей прожитой жизни и приговор обществу.

В словах Анны можно провидеть предпосылки последующих категорических толстовских умозаключений о себе: «...я человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть». Это сказано после написания «Анны Карениной» и коренного переворота во взглядах писателя, но в нравственных словах — частица опыта, частица жизни и Анны Карениной.

В преддверии работы над этим романом писатель под впечатлением поездки в Самару (1873), где он стал свидетелем, как «глупый губернатор... нашел, что голод в народе есть неприличное явление для губер-

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100.

натора», набрасывает сказку о стране дюлей (людей) — памфлет на человеческое общество, ложные, бессмысленные социальные институты (брак, семью, собственность, судопроизводство), критика которых займет такое большое место у позднего Толстого. Замысел остался замыслом, но в нем выражение идей, по-другому, в других формах представших в «Анне Карениной», а затем еще определеннее, еще беспощаднее — как неприятие сущего уклада в «Воскресении».

Накопленные наблюдения и мысли приводят Толстого к художественной концепции романа, роман, в свою очередь, ведет к новым выводам: жизнь не может продолжаться в старых формах, дело подходит к развязке. Это движение к развязке заложено, как было сказано, в жанровой природе романа конца, в его образной логике, в его поэтике. В период усиленной работы над романом, уже близким к завершению, Толстой писал Н. Страхову: «...мысль о войне (на которую отправится Вронский после гибели Анны.— Н. Г.) застигает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности...»

Писатель, много раздумывавший над опытом войн 1812 и 1854 годов, словно ощущает зловещее, отдаленное еще, правда, подрагивание почвы под ногами. Исторический катаклизм произойдет позже. Но писатель прав по существу, считая: «Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота». Он был также прав, связывая вместе «неудачу в турецкой войне и положение дел в России»¹⁴.

Приведенное высказывание относится к августу 1877 года, а еще через полмесяца: «Пока война, ничего не могу писать, так же, как если пожар в городе, то нельзя ни за что взяться»¹⁵.

И постепенно происходит нагнетание смысла, развитие образа, и в последующих суждениях о современности возникнет утверждение: «...все горит».

Поэтическое содержание образа у Толстого не может быть раскрыто или только как метафорическое, символическое выражение общей мысли (горящая и гаснущая свеча в финале «Анны Карениной»), или только как некоторая конкретная зарисовка явлений жизни, созвучных моменту и характеру психологического переживания ге-

роя (небо Аустерлица над раненым Болконским). Неоднократно образ свечи, возникающий в словах о последних мгновениях жизни Анны, вызывал осуждение за якобы психологическую немотивированность, отвлеченный аллегоризм, тогда как образ неба над Болконским некоторым критикам прошлого века представлялся недостаточно связанным с каноническими представлениями христианского догмата.

Поэтика Толстого все время заставляет нас помнить о конкретном содержании и общем смысле изображаемого. И в этом смысле горящая и гаснущая свеча в финале «Анны Карениной» — выражение переживания Анны, обозначенного опосредованно не в терминах психологического анализа, а в виде поэтического образа состояния человека. Однако в этом образе присутствует как бы скрытое, невыявленное разрешение темы, обозначенной эпиграфом. «Не встанет свеча, а встанет душа» — находим в записях Толстым народных поговорок. И тяжба о душе Анны, ее виновности и невиновности в мире зла не может быть решена морализаторски однозначно. Есть здесь и еще один, третий, самый, может быть, глубинный пласт — образ гаснущей свечи, ключевой образ романа к о н ц а.

Столь же многопланово и во многом свободно разработано в романе и поэтическая тема пожара, поэтического обобщения — «все горит», то есть гибнет, обречено гибели. Вспомним хотя бы уже в начальных сценах романа: лицо Анны «блестело ярким блеском». Она остается после объяснения с Карениным одна, и свет ее лица как бы освещает темную комнату, а затем автор вводит уподобление этого блеска «страшному блеску пожара среди темной ночи».

Итак, тема войны, образ пожара, трагическая гибель героини для Толстого — выражение симптомов общей неустроенности, «изжитости» существующего строя. Эта обреченность, сфокусированная в трагической развязке, закрепляется и усиливается в эпилоге, в котором события развиваются после смерти Анны. Заключительная часть содержит жесткую констатацию кризисности, безысходности русской действительности в последнюю четверть века: «Мы находимся на краю большого переворота» — уже провозгласил финал романа до того, как эта мысль была сформулирована Толстым прямо.

Изображение гибели Анны шокировало многих критиков. Кажется, у автора не

¹⁴ «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». Изд. М. и С. Сабашниковых. 1928, ч. 1, стр. 39.

¹⁵ Там же.

дрогнул ни один мускул на лице, когда его глаза пристально следили за последними мгновениями героини. Можно, конечно, говорить о суровой правдивости Толстого, но дело, видимо, не только в этом. Писателю еще более неотвратимо и еще более беспощадно виделся другой конец. И к нему-то и шла, тянулась вся система повествования.

Роман-эпilog нацелен на конец, как бы наведен в одну точку, действие ускоренно устремлено навстречу ей. Можно сказать, что был создан, таким образом, тип романа более напряженного, внутренне даже более динамичного, чем открытая форма романа-потока. Происходит накопление взрывных энергий, ее концентрация внутри замкнутого пространства.

В засасывающей, все убыстряющейся круговерти жизни происходит не освоение, но утрата подлинно человеческих ценностей. Вронский говорит: «...как человек, я — развалина». И, по существу, напряженные искания Левина, его упорное движение против течения, напрасные усилия найти себя, истинное в себе подобны напрасным усилиям Анны.

Общий смысл финала, его направленность сразу же чутко уловил А. Фет. Он резко осудил тех, кто видел в заключительной части романа лишь «полемику против войны». Последнее само по себе имело чрезвычайно существенное значение для творчества писателя — от кавказских повестей до «Хаджи-Мурата». Но Фета возмущает то, что недалекие люди «сочтут, что все ведено только для этой полемики»¹⁶.

И Фет определяет: со смертью Анны кончилась ее жизнь, но не роман. И у нас есть основания теперь говорить, что эпилог романа не «дежурное» его завершение, не информативная часть, но веское слово о движении жизни на «самый край», к пределу, историческому рубежу. И потому «Русский вестник» М. Н. Каткова, в котором печатался роман, не поместил заключительную часть, утраченный «символом веры» Толстого, неприемлемым для охранительного лагеря.

Отказ от публикации был мотивирован нарушением канонов жанра, его традиционной поэтики: «В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено — «окончание следует», но со смертью ге-

ройни собственно роман кончился». Выступая против авторской воли, Катков знал, чего хотел. Ему необходимо опровергнуть автора, не допустить фетовское прочтение романа.

И надо отдать должное недалекому, по известной характеристике Толстого, человеку: он проявил в данном случае завидную прозорливость — во что бы то ни стало со смертью героини закончить роман. В обоснование своего самоуправства «Русский вестник» помещает редакционный пассаж под заглавием «Что случилось по смерти Анны Карениной». Логика предельно проста: в восьмой части романа не случилось ровным ничего, что могло бы заставить читателей тратить на нее время, — текла широко река, но в море не впадала, а потерялась в песках». Безответственное суждение наталкивается на главное для романа конца обстоятельство: развитие действия в нем не выводит на простор, а ставит всех и вся «на край», как говорил Толстой. Старый мир, обреченный Анну Каренину на смерть, идет навстречу своему концу. Такова логика романа. Существующий строй «отжил свое время» и подлежит разрушению, говорит роман. Или, варьируя эту тему, писатель значительно позже скажет о себе: так продолжаться не может, «какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней... я уверен».

«Русский вестник» отсекает в романе главное — то, что придает ему предостерегающую, пророческую направленность: идет девятый вал истории.

Отраженным светом этих заключительных страниц освещены судьбы героев романа, и трагедия Анны, и искания Левина. А без этого выхода в общее от личного или подведения через личное к общим судьбам и обратно смысл и суть романа «страшно понижается».

Толстой многого не знал (и не мог еще знать), но благодаря «гениальному его освещению» роман открыт сокрушительному девятому валу истории. Он поднимается и поднимается все выше, и писатель отчетливо ощущает новый «большой переворот» впереди (1905 год).

Поэтика романа конца, романа-эпилога — открытие Толстого. Возникнув во внутреннем писательском развитии, давая неповторимо художественное осмысление логики жизни своей эпохи, оно становится этапным моментом творчества последующих романистов, тех, кто после Толстого

¹⁶ «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М. Государственное издательство художественной литературы. 1962, стр. 343.

оказался перед решением новых жизненных, историко-социальных и художественных задач, но типологически близких тем, которые решал Толстой.

Мысль народа, правда народа

«Воскресение» — третий, последний большой роман Толстого. Он написан после перелома в толстовском мировоззрении, взрывная энергия в нем доведена до предела: «Существующий строй жизни подлежит разрушению»; Карфаген должен быть разрушен. «Carthago delenda est» — название одного из выступлений писателя, ставшее лейтмотивом деятельности позднего Толстого.

Под знаком «мир горит» уже писалась «Анна Каренина». Но после перелома, пережитого Толстым, после «Смерти Ивана Ильича» тема горящего мира получает предельную напряженность, она смыкается с проблематикой ухода от старого, ложного существования и «спасения» для жизни подлинной, истинной. Новый роман вбирает в себя с предельной глубиной глобальную проблематику мировой литературы, и прежде всего литературы русской. И в «Воскресении» можно прочесть, как по геологическим пластам читают историю Земли, раздумывая человечества о подлинном и ложном бытии, о смысле жизни и в отвлеченно моральном плане, и в религиозно-этическом, но также и в обостренно социально-историческом и даже политическом плане, так осложнившими печатание этого произведения в России.

Если «Анна Каренина» указывает на рубеж, подводит к пограничной ситуации мира обреченного, то новый роман, можно сказать, исходит из этой ситуации. Толстой, подобно Вергилию, проводит Нехлюдова по кругам ада русской жизни. Но ставя крест на существующем общественном укладе жизни, писатель оказывается перед необходимостью новой жизни, нового в жизни народа. «Народ недоволен, — говорил Толстой в 1883 году Г. А. Русанову, — он ждет, разочаровывается, бродит в нем что-то». Еще в 1877 году Толстой говорил: «...в «Анне Карениной» я люблю мысль с е м е й н у ю, в «Войне и мире» любил мысль н а р о д н у ю; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле с и л ы з а в л а д е в а ю щ е й»¹⁷. Перед писателем вырисо-

вываается даль ненаписанного романа о переселенцах в отдаленные концы России, на восток и юго-восток, на реку Белую, в районы Ташкента, в Сибирь. Видится характер русского робинзона, который на новых землях начнет новую жизнь, движимый с и л о й з а в л а д е в а ю щ е й — трудом и любовью. Роман этот не был написан, но раздумья писателя, поиски устойчивого основания для произведения, где «главная мысль будет народ и сила народа», «сила русского мужика»¹⁸, — это несомненное возвращение как бы по спирали к сделанному в «Войне и мире» и вместе с тем предпосылка будущего «Воскресения».

...«Время конца века сего близится, и наступает новый... все хочется поторопить это наступление». Здесь под началом века не имеется в виду календарная дата — речь идет о новом времени, отличном от «века сего»... И хотя в приведенных словах присутствует и оттенок религиозных воззрений писателя, к ним нельзя свести сказанное — речь не идет о новой жизни как о чем-то потустороннем, неземном, ибо дальше говорится о необходимости делать все дело, которым и движется все в мире. Нехлюдов сталкивается с Россией мертвых душ и душ, ищущих воскресения. «Да, — думает он об увиденном в гуще народной жизни, в тюрьмах и на этапах, в характерах заключенных, во взглядах народников, марксистов, в самой Катюше Масловой, в ее отношениях с другими людьми, — совсем новый, другой, новый мир». С разрывыванием в романе этого нового мира входит и тема обновления человека, поисков выхода, спасения, воскресения, тема, по своему охвату, материалу и проблематике связанная не только с религиозным преобразованием человека, но и со всей совокупностью социальных и исторических вопросов и тенденций революционного и неревolutionного обновления жизни. Писателю все определеннее представляется, что уходящий уклад замниться должен «свободным и любовным единением людей». И «Московские ведомости» видели в писателе не только отрицателя и критика, но и опасного пропагандиста «самого крайнего социализма» (2 января 1892 года).

Современники Толстого вспоминают, как он говорил о каменной стене, которая давит русскую жизнь и которую предстоит разру-

¹⁷ «Дневники Софьи Андреевны Толстой», стр. 37.

¹⁸ Там же, стр. 39, 38.

пить; он не хотел пассивно принимать жизнь, какой она сформировалась на протяжении столетий.

По свидетельству А. Б. Гольденвейзера, в 1905 году, не принимая революционного насилия, писатель, однако, считал, что «современное движение в России... может быть, даст своими идеями толчок на сотни лет». Или по-другому, но еще более показательно: «А все-таки это роды...»

Еще в 1883 году Толстой пришел к выводу, что «молодое поколение — все эти милые Перовские — гибнет, не зная света, что ему следует помочь, вывести его на настоящий путь». Роман «Воскресение» и был открыт свету, истине новой жизни, «родам», к которым идет Россия.

Правда народной жизни и неотразимость нового — таков строй и логика романа, в котором Чехов по-писательски метко уловил главное: «Конец у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом». В данном случае имелось в виду притчевое завершение всего повествования, но за этим скрывалось и другое. Конец не было в романной поэтике и структуре, всей своей внутренней направленностью отличной и даже противоположной поэтике романа конца.

Складывается новая жанрово-композиционная разновидность романа, появляется последняя часть грандиозного художественного триптиха Толстого — роман начала.

И на смену таким ключевым образам «Анны Карениной», как гаснущая свеча и горящий мир, приходят такие сквозные, задающие мажорную тональность на мрачном фоне жизни, уходящей в небытие, как развернутые картины весны, возрождения природы, жизненной силы, бурного продолжения всего живого, вскрытия реки, грохота и треска ее ледяного панциря и неостановимого ледохода.

На первый план вынесен контраст городской, цивилизованной и естественной, природной жизни, борение весенней природы и города, ростков травы и каменных плит, домов, построек, забивающих землю. Этот диссонанс наглядно был передан Л. О. Пастернаком в иллюстрациях к роману, сделанных по просьбе Толстого, — диссонанс тянущихся к небу, полных весеннего пробуждения в зеленой дымке почек, стволов и безжизненного леса фабричных труб с султаном черного дыма над ними.

В русле этой тональности, заданной с первых страниц произведения, начинается дви-

жение толстовской мысли и исканий его героев, нацеленных на овладение истиной, на открытие новой жизни, свободной от социальной лжи. И как бы подхватывая контрастную тональность начала, в роман входит противопоставление зимней неподвижности, скованности, серости бытия и весеннего раскрепощения, весеннего пробуждения природы и — шире — всего мира. И отсюда берет свое начало поэтическая логика жизнеутверждения, вырабатывается жанровая структура, не замыкающая, а размыкающая ход жизни. И отсюда, несмотря на весь страшный опыт жизни Катюши Масловой, ее смелый жест: «Жить хочется». Ее тяга к новым людям, которые служат или «силе завладевающей», по Толстому, или самым новым идеям, смелой революционной вере в преобразование жизни, да и сама Катюша Маслова, ее характер выходят в сложный и трудный путь обновления. Результат этого движения Толстому неизвестен, но он рисует теперь героев, не просто ищущих спасения или истины, но взыскующих новой жизни.

Критическая направленность «Воскресения» приводит к размыканию романа-эпилога в роман-пролог.

Роман-поток был своеобразной художественной предпосылкой эпопеейного освоения народной жизни; роман конца стал продолжением глубинного постижения современности в ее исторических пределах, и, наконец, роман начала, выступая своеобразным синтезом художественной триады, возвращал осмыслению жизни ее открытость и в сторону прошлого и в сторону будущего. Завершение действия теперь как бы выносится за пределы непосредственного содержания, но во многом определяет направленность романа.

Быть счастливым

Толстой, прожив длинную и нелегкую жизнь, считал, что человек обязан быть счастливым. И надо было быть Толстым, чтобы постулат о человеческом счастье возвести в ранг верховного принципа, общего истолкования жизни человеческой, ее смысла, ее цели. «Этическая воля» писателя и его «моральная сила» позволили сделать это тогда, когда в философии начали появляться системы, отвергавшие саму идею человеческого счастья (Шопенгауэр, Ницше), а в практике декадентских литературных течений поднялась волна де-

гуманизации, началось развенчание человека, его разума, его природы. Эта волна, достигнув наших дней, заставляет современных противников реализма опровергать право человека и человечества на разумную и счастливую жизнь на земле.

И в этих условиях пророческий голос Толстого звучит с особой силой, особенно современно: «...а я говорю: обязан быть счастлив, и тогда будет жизнь хороша». Слова Толстого афористично отточены. В них отстоялось главное, искомое на протяжении многолетней жизни. И писатель обосновывает кратко и выразительно свое кредо: «Обязанность всякого человека быть счастливым. Будь счастлив, и тогда жизнь твоя будет хороша. Обыкновенно говорят наоборот: если жизнь хороша, то счастлив...»¹⁹. Этот толстовский императив прежде всего направлен против пассивного и бездумного отношения к своей судьбе, судьбам человечества.

Быть счастливым, быть человеком — сквозная идея исканий русской литературы и, конечно, Толстого.

«Счастье есть добродетель. Юность чувствует это бессознательно», — сказано в предисловии к «Роману русского помещика». Та же идея проходит, по существу, и через автобиографическую трилогию, определяет поиск смысла жизни Николенькой Иртеневым, Нехлюдовым, Левиным. В «Казаках» Оленин думает: «Кто счастлив, тот и прав». Это первые наброски развернутой концепции, в которой правда жизни и счастье человека для эстетики, для философии искусства не разное, а одно: помыслить мир в личностных категориях, познать жизнь народа и вызревающую в ней историческую необходимость и выразить в литературе — наиболее полно народном самосознании.

То, что подчас обозначалось у исследователей творчества писателя как пантеизм, в действительности в свете единства этической и эстетической программ было оптимизмом писателя, утверждавшего жизнедостойное отношение к действительности. «Цель художника... — писал Толстой П. Д. Боборыкину, — в том, чтобы заставить любить жизнь (разрядка моя. — Н. Г.)...» Опять категоричность, то же должествование, что в предшествующем слу-

чае. Знать, понимать, любить жизнь «в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях», быть счастливым — выстраивается в один ряд. Толстой учил не легкомысленно жизнерадостному, но жизнедостойному пониманию вещей и людей. Определение Н. К. Михайловского «светлый, ровный, жизнерадостный мир» с трудом подходит к «Войне и миру» и, конечно же, не передает подлинную атмосферу «Анны Карениной» и «Воскресения», «Смерти Ивана Ильича». «Власть тьмы» — очень выразительное и по-толстовски многозначительное название. И потому, конечно, точнее говорить не столько о жизнерадостном, хотя и это есть у писателя, сколько о жизнедостойном подходе к жизни, доверчивом и требовательном одновременно. В писателе постоянно жила и действовала энергия созидания, творчества, конгенитальная творческим, созидательным силам мира, природы, истории.

«Глаза Толстого, сверкающие «сквозь» брови... мудрые, как сама природа»²⁰, — писала Сабашникова-Волошина. Не эта ли соприродность мира и природы великого писателя заразительно взволновала И. Е. Репина в один из приездов живописца в Ясную Поляну, художнически чутко уловившего самое главное в Толстом незадолго до его смерти: «В этот приезд мой я сопутствовал два раза Льву Николаевичу в его прогулках верхом. На первой прогулке он направил по фруктовому саду вверх, повернул направо, выехал через окоп сада на дорогу и круто повернул к лесу, без всякой дороги. Между ветвями высоких деревьев, по густой траве, он стал спускаться в темный овраг, заросший высокой травой. Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязала в сырой почве под травой оврага; надо было отстранять ветки от глаз и отваливаться назад при крутом спуске вниз. И мне вдруг стало так весело от всех этих неудобств, что я почувствовал себя очень молодым и храбрым».

Эти веселость, молодость и храбрость навеяны старым писателем, его присутствием, его обликом. Он был, как пишет далее И. Репин, «как рафаэлевский бог в видении Иезекииля, с раздвоенной бородой, с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса...»²¹.

¹⁹ Х. Н. Абрикосов, «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» (в юбилейном сборнике «Лев Николаевич Толстой»). М.—Л. Государственное издательство. 1928, стр. 267.

²⁰ «Вопросы литературы», 1977, № 9, стр. 184.

²¹ И. Е. Репин. Далекое близкое. М. «Искусство». 1953, стр. 389.

Возникшая здесь ассоциация с картиной Рафаэля психологически мотивирована художественной практикой, опытом мемуариста. В этой внешней ассоциации большой внутренний смысл.

Сам Толстой говорил, что писание для него — это «соперничество с Богом». И аналогия, приведенная выше, не высокопарное или случайное сравнение, но особым способом выстроенная образная мысль о творце художественного мироздания, художественной вселенной.

М. Горький писал о создателе удивительного художественного мира: «...душа великая, душа, объявша собою всю Русь, все русское,— о ком, кроме Толстого Льва, можно это сказать?» И как бы в унисон со сказанным одним художником о другом свидетельство очевидца и современника Толстого: он «для каждого русского был неотъемлемой частицей жизни. Мы знакомились с его романами прежде, чем узнавали жизнь» (М. В. Сабашникова-Волошина).

Многие толстовские открытия часто получали в литературе нового времени само-

стоятельное развитие и обособленное существование. Но даже будучи взятыми отдельно от целого, они свидетельствуют о значении замечательных толстовских традиций, без которых последующий опыт мировой литературы просто невозможен в том виде, в каком мы знаем его теперь. Существенно при этом и совершенно отчетливое предостережение, которое в них заложено, против однонаправленности художественного луча, против утраты полноты и цельности в освоении действительности, жизни человека, истории народа. И потому особенно велико значение призыва к художественному сопряжению и практическое его осуществление в мире Толстого, эпическом, жизнедостойном в самом своем основании. Бесконечно большое и малое, разные стороны бытия сведены в этом мире воедино так искусно, что часто невозможно обнаружить «замка», в котором сходятся «своды» разных сторон повествования. Романы Толстого при всех их внутренних противоречиях — это не только воссоздание целой жизни, но и жизни как **целого**.



Э. ЗАЙДЕНШУР



НАКАНУНЕ

О творческой судьбе рукописного наследия Л. Н. Толстого

Сто семьдесят тысяч листов, исписанных рукой Л. Н. Толстого: черновики законченных и незаконченных его произведений, копии с собственноручными исправлениями, правленые, а часто полностью переработанные корректуры являются ценностью, историческое и духовное значение которой неисчерпаемо. В совокупности своей эти 170 тысяч листов представляют собой уникальный документ, в котором зафиксирован процесс творчества гениального художника от первого, едва заметного, порой странного для самого художника пробуждения замысла до шлифовки уже созданного творения, сделавшего первый шаг к широкой публике. История человеческой культуры почти не оставила нам такого рода свидетельств, тем более мы должны дорожить этой реальностью, ибо нам дана редкостная возможность увидеть и понять, как мысль, дух великого художника стремится выразить, обрести себя в слове и через слово распространиться в человечестве. Перед нами живая и подлинная фиксация д в и ж е н и я художественной мысли.

Если палеонтолог дорожит костью ископаемого вымершего организма, если археолог дорожит черепком, потому что он помогает ему восстановить материальную культуру исчезнувшей цивилизации, то насколько же важно живое зачеркнутое слово, живая зачеркнутая фраза великого художника, ибо, даже зачеркнутые, отмененные, они продолжают жить, позволяя нам восстановить конкретность движения нашей общей духовной истории и представить, следовательно, дальнейшее направление нашего духовного развития.

Нет сомнения в том, что расшифровка

рукописного наследия Толстого, его участие в жизни современного читателя способно обогатить нашу культуру и углубить ее мировое значение.

1

Еще при жизни Толстого жена его, понимая значение авторских рукописей, передала их с согласия Толстого на хранение в Румянцевский музей (ныне Библиотека имени В. И. Ленина). Большое собрание рукописей находилось у В. Г. Черткова, близкого друга Толстого. В 1913 году Чертков передал эти рукописи на хранение в библиотеку Академии наук в Петербурге.

Многие годы рукописи Толстого, будучи частной собственностью отдельных лиц, хранились в закрытых ящиках и коробах, оставаясь почти неисследованными, неизученными.

В августе 1939 года было издано постановление Совнаркома СССР «О Государственном музее Л. Н. Толстого», которое предписывало сосредоточить в Музее Л. Н. Толстого все связанное с его жизнью и творчеством. Это постановление сыграло решающую роль в деле хранения, а также дальнейшего собирания рукописей Толстого. Музей Л. Н. Толстого стал единым хранилищем толстовского наследия, где с глубоким чувством ответственности и со всей профессиональной тщательностью хранится каждый листок его автографов. Первостепенную задачу — хранение рукописей — можно считать в основе решенной.

Задача, вторая по месту, но не по значению, — изучение рукописей, публикация

их, введение в научный оборот и в культурный обиход современного общества.

Из многочисленных аспектов изучения рукописного наследия Толстого один аспект, сугубо и насущно практический, представляется особо актуальным. Это вопрос об издании научно выверенного академического собрания сочинений Л. Н. Толстого.

В последний год жизни Толстого С. А. Толстая, готовившая двенадцатое издание собрания сочинений писателя, впервые обратилась к рукописям с целью использования их в новом издании.

Создалось в толстоведении убеждение, будто начиная с 80-х годов Толстой перестал интересоваться своими художественными произведениями прежних лет и был безразличен к их судьбе. Однако это не совсем так. Вот хотя бы один эпизод. При подготовке к изданию упомянутого собрания сочинений Сергей Львович спросил отца, может ли он вспомнить «Набег» (а «Набег» был написан почти полвека назад), и прочел пропущенные в журнальном тексте места. Оказалось, «Толстой помнил, что они пропущены Некрасовым не по литературным соображениям, а по цензурным. Например, длинное письмо, рассуждение о том, на чьей стороне справедливость, на стороне оборванца ли чеченца, защищающего свою семью, саблю, скарб, или русского офицера, метящего в адъютанты, или саксонца-офицера. Л. Н. помнит, что ему было обидно, что это рассуждение пропущено. Он сказал, что это удивительно, что эти самые мысли, что теперь, он уже тогда высказал.

— Надо вставить, что пропущено,— сказал Л. Н.

На вопрос Софьи Андреевны и Сергея Львовича: «А в печатном тексте есть прибавки против рукописи, очевидно твои?» — и Сергей Львович прочел некоторые.

— Разумеется, мои,— сказал Л. Н.

— Печатать по рукописи с этими прибавками? — спросил Сергей Львович.

Л. Н. согласился».

Так записал Д. П. Маковицкий разговор, происходивший 18 апреля 1910 года¹.

В первом томе того же собрания сочинений опубликована впервые одна из черновых редакций «Детства»; во втором томе в

рассказ «Набег» внесены отрывки из черновой рукописи и в примечании отмечено, что произведение это «для настоящего издания исправлено и значительно дополнено».

Не имея никакого опыта в текстологической работе, С. А. Толстая создала «сводный» текст рассказа, но важно отметить, что это было хотя и неумелое, но первое обращение к рукописи как к документу для изучения заверщенного текста.

Позднее, уже после смерти Толстого, обратился к черновым рукописям П. И. Бирюков, близкий друг и первый биограф Толстого. У него также появлялась мысль включать из них какие-то отрывки в окончательный текст, но он почувствовал, что это нарушит «общую художественную конструкцию», и ограничился тем, что опубликовал отдельно отрывки из корректур «Войны и мира» и «Анны Карениной» с примечанием: «При большем досуге можно было бы извлечь из этой бесформенной кучи еще более драгоценного материала».

После 1910 года все издания произведений Толстого механически перепечатывались с прижизненных изданий.

С 1917 года стали все чаще и чаще публиковаться отрывки из черновых редакций как тексты, представляющие самостоятельный художественный интерес. Но не возникло вопроса ни о том, что черновые рукописи являются документами для критической выверки заверщенного текста, ни о том, что черновые рукописи важны не только с точки зрения их художественных достоинств, а что эта «бесформенная куча» является драгоценным материалом для изучения творчества Толстого и творческой истории каждого произведения в частности. Эти вопросы тогда и не ставились.

В декабре 1918 года в докладной записке об издании русской художественной литературы М. Горький обратил особое внимание на задачи академических изданий сочинений классиков. Эти издания «должны выпускаться в свет только после серьезной академической работы над текстом автора по рукописям и должны лечь в основу изучения русской литературы», — писал Горький. В начале 20-х годов в связи с приближающимся столетием со дня рождения Толстого началась по инициативе В. И. Ленина подготовка первого полного собрания сочинений Толстого (юбилейного). И тогда редакторским комитетом этого издания была

¹ Д. П. Маковицкий. Яснополянская записка. (ГМТ)

выдвинута на передний план толстоведения проблема текстологии в самом глубоком смысле этого понятия. Во-первых, во всей остроте встал вопрос о значении черновых рукописей для подготовки текста к изданию путем критической выверки его по всем рукописным и печатным источникам и освобождения текста от наслывшихся на него невольных ошибок переписчиков и наборщиков, а также и вольных исправлений, внесенных редакторами в авторский текст, и во-вторых, для изучения истории текста, то есть процесса создания произведения от замысла до воплощения.

Редактором комитетом так именно и был поставлен первый вопрос: «...юбилейное издание впервые дает полный, критически выверенный текст», в основу которого «кладутся подлинники рукописи автора и наиболее авторитетные прижизненные издания произведений, печатавшихся или самим Толстым, или по его поручению».

К тому времени никто не знал точно, что же представляет собой рукописное наследие Толстого — его грандиозный объем, его предельно сложный характер.

Редакторами издания были известные литературоведы и лица, близкие к Толстому, которые, как писал А. В. Луначарский, «являются в данном случае и большими знатоками всего, что касается жизни, деятельности и сочинений Л. Н. Толстого, и лицами, способными внести во все это дело максимум любви и заботливости». Привлечены были к редакторской работе и молодые сотрудники Музея Толстого.

Не без робости приступили все к этому трудному делу. Понимали, разумеется, что, кроме общих для всех академических изданий правил, должны быть учтены характерные особенности писателя и особенности создания каждого произведения и истории его печатания. Это углубленное изучение рукописей Толстого началось впервые. Чем сложнее рукописный фонд произведения, тем труднее их разобрать в должной системе, воссоздать историю писания и критически выверить текст. Юбилейное издание — это бесценный вклад в толстоведение, и люди, сделавшие этот вклад, совершили поистине подвиг.

Не все, однако, удалось тогда выполнить на должном научном уровне. В подробном обзоре «О полном собрании сочинений Толстого», опубликованном в «Литературном наследстве» (М. 1961, т. 69, кн. 2), указаны все огромные достоинства этого до

сего времени непревзойденного издания и его недочеты.

На конференции, состоявшейся в 1935 году и посвященной вышедшим и готовящимся к печати томам юбилейного издания, сами редакторы справедливо говорили: «Было бы трудно и невероятно, если бы такой писатель колоссальной продукции, как Толстой, никогда прежде по-настоящему научно не издававшийся, был издан раз и навсегда в совершенно безукоризненной, так называемой канонической форме». Юбилейное издание было названо «репетицией», «черновым вариантом», за которым должен последовать «беловой вариант», то есть академическое издание.

Однако все последующие собрания сочинений и издания отдельных произведений перепечатывали тексты, опубликованные в этом «черновом», как его назвали редакторы, варианте, признав их каноническими, несмотря на то, что в печати не раз появлялись статьи о неблагоприятии с текстами («Новый мир», 1953, № 3; упомянутый том 69 «Литературного наследства» (М. 1961); «Новый мир», 1959, № 6 — специально о тексте «Войны и мира»; «В мире книг», 1975, № 7 — специально о тексте «Воскресения»).

Самым серьезным недочетом юбилейного издания является то, что многие произведения (в нашей статье речь идет только о художественных произведениях) остались невыверенными по всем рукописным и печатным источникам, хотя это требовалось по инструкции; в их числе и три вершины: «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение». Все множество ошибок, проникших в прижизненные издания и оставшихся не замеченными автором, механически переходило из издания в издание.

В названных статьях приведено много примеров невольных ошибок переписчиков, сделанных при многократных переписываниях трудных для прочтения автографов. Насколько трудны бывали рукописи, можно представить себе хотя бы по двум случаям. Опытный, хорошо читавший толстовские автографы переписчик А. П. Иванов, копируя первый набросок драмы «Живой труп», не смог в одном месте разобрать текст и, оставив в своей копии свободной часть страницы, сделал надпись: «Ужаснулся и пропустил. Стр. 51 внизу все перепутано, а что-то надо». Весной 1906 года дочь

Толстого, в последние годы постоянно переписывавшая автографы отца, подошла однажды к нему с рукописью, которую переписывала, и спросила об одном месте, которое не могла разобрать. Л. Н. тоже не мог и посоветовал «вырезать его и вклеить в ее копию» — так записал Д. П. Маковицкий (запись 25 марта 1906 года).

Работая над копиями и корректурами, Толстой много раз сам обнаруживал ошибки, но обычно в тех случаях, когда ошибка переписчика оказывалась именно в том отрывке, который подвергался авторской переработке. Однако рукописи убеждают, что Толстой в таких случаях не обращался к предыдущей рукописи, с тем чтобы восстановить свой прежний текст, а зачеркивал всю фразу или весь отрывок и давал новый текст. Два примера. В сцене ссоры Пьера с Элен Толстой писал: «Порода отца сказала в нем. Пьер почувствовал увлечение и наслаждение бешенства». Переписчик не разобрал слово «наслаждение» и оставил пустое место. Толстой вписал иное определение — «увлечение и прелесть бешенства».

В эпилоге было о Николеньке Болконском: «...мальчик только что начинавший догадываться о том, что есть на свете небесное чувство любви к женщине, составил себе представление о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу». При копировании автографа пропущен был текст, находившийся между двумя одинаковыми словами «о том — о том», и появился обедненный текст: «...мальчик, только что начинавший догадываться о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу». Толстой восстановил свою мысль: «...мальчик, только что начинающий догадываться о любви, составил себе понятие о том...» — но была утрачена тонкость психологического анализа чистого пятнадцатилетнего мальчика.

Разумеется, в печатном тексте сохраняется последнее написание Толстого, но все ошибки, повлиявшие на изменение текста, должны быть учтены исследователями при работе над творческой историей произведения.

Множества же ошибок Толстой сам не заметил. Почему это происходило, понятно из его неоднократных признаний: «Мне все так знакомо, что я сам не замечаю»; «Я так знаю наизусть, что не могу видеть»;

«...не обратил на это внимания, так как содержание было слишком свежо мне».

Редакторы юбилейного издания далеко не всегда замечали даже такие ошибки, которые искажали текст. Например: в трагический момент Аустерлицкого сражения «смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад», и «не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от нее», то есть от бегущей назад толпы. Но Толстой написал: «Болконский только старался не отставать от Кутузова».

После знакомства с Платоном Каратаевым Пьер «чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе» — таков подлинный текст. В корректуре первого же издания выпал первый слог, и во всех изданиях печаталось, что Пьер «чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь... двигался в его душе».

А сколько досадных пропусков нарушили мысль Толстого. Обычно это пропуски текста, находящегося между двумя одинаковыми словами. В главе, посвященной размышлениям Кутузова накануне получения известия о бегстве Наполеона из Москвы, было: «Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся гибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь...» (подчеркнутый текст пропущен).

Пьер, придя после окончания войны и встретившись с Наташей, «рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их» — таков текст Толстого, но по вине повторившегося слова «никогда» весь подчеркнутый текст, отразивший душевное состояние Пьера в эти минуты, выпал.

Еще один пример досадного пропуска. Сцена в Мытищах у постели князя Андрея. «Ах, бессовестные, право, — говорил доктор... — Только на минуту недосмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит».

Всего различных ошибок в «Воине и мире» обнаружено около двух тысяч. И так печаталось без малого сто лет.

Типичные ошибки, какие произошли в «Войне и мире», обнаружались и в «Анне Карениной».

Во второй главе первой части, знакомя читателя с Облонским, Толстой писал: «Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог теперь раскаиваться в том, в чем он раскаивался когда-то, лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену...» Весь текст, расположенный между словами «в том — в том», выпал.

В девятнадцати случаях в «Анне Карениной» были пропущены большие или меньшие отрывки, а пропущенных отдельных слов — 163.

Вот еще несколько примеров того, как неверно прочитанные переписчиком слова внесли в текст Толстого бессмыслицу. Во время разговора с Долли о Вронском Анна покраснела «до вьющихся черных косиц на шее» вместо «черных колец волос на шее».

В сцене у Сережи Каренина накануне дня его рождения Капитоныч, «подмигивая, показывал головой...» — написал Толстой. В копии — и так печаталось во всех изданиях — появилась бессмыслица: «...подмигивая головой».

В беседе с братом Николай Левин рассказывает об устраиваемой на социалистических началах слесарной артели. «И вот мы устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш и, главное, орудия производства, все будет общее». Это именно хотел сказать и сказал Толстой. Но по вине переписчика эта ясная мысль была искажена: «...и главные орудия производства, все будет общее».

Бывали случаи, когда редакторы юбилейного издания, правда, очень редко, но все же вносили свои конъектуры. Например, совершенно недопустимая: в речи Кутузова при прощании с войсками последние слова его звучали так: «На службе себя жалеть нечего, а их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?» В одной из последних корректур Толстой изменил текст: «Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?» Во всех прижизненных и последующих изда-

ниях вплоть до юбилейного так и печаталось, а в юбилейном издании появилось: «Пока они были сильны, мы их не жалели...» Мысль Толстого искажена.

О важности освобождения текстов Толстого «от ошибок, вольно или невольно (редакторами, цензурой, издателями, корректорами) нагроможденных... за истекшие десятилетия (не за целый ли век!)», писал в 1963 году автору этой статьи К. Федин.

Прочитав выступление А. Т. Твардовского на XXI съезде партии, где он говорил о значении «Войны и мира» для «национального патристического самосознания русских людей», я позволила себе написать А. Т. Твардовскому о том, что после кропотливой работы над рукописями «Войны и мира» текст Толстого освобожден от множества серьезных ошибок и этот научно выверенный текст уже около десяти лет ждет своего опубликования. А. Т. Твардовский незамедлительно откликнулся на мое письмо и предложил написать в «Новый мир» пространную статью о результатах этой работы. Статья была опубликована, и издательство «Художественная литература» приступило к печатанию освобожденного от 1855 ошибок текста «Войны и мира». Этот текст вошел в двадцатитомник Толстого (тт. 4—7), изданный в 1960—1965 годах.

Наконец, уже совсем недавно, всего лишь год назад, первый секретарь правления Союза писателей СССР Г. М. Марков писал «об изданиях произведений Л. Н. Толстого, освобожденных от ошибок», как о вопросе «очень серьезном».

Со времени выхода первого тома юбилейного издания прошло полвека, а последнего — двадцать лет. Текстология за эти десятилетия шагнула далеко вперед. Успехи ее позволяют дать глубокий текстологический анализ всех произведений Толстого, и работа эта не требует отлагательств. Ведь какого бы жанра ни было издание (академическое, массовое, в серии «Народная библиотека» или «Школьная библиотека»), каким бы научным или популяризаторско-просветительским аппаратом ни было оно оснащено, текст должен быть един и точен. И такой научно выверенный текст должно предложить читателю академическое собрание сочинений.

При наличии общих правил текстологии, которые надо соблюдать, каждый писатель и даже каждое произведение требуют своего подхода: знания методов авторской ра-

боги, истории писания и печатания данного произведения. Работа над текстом чрезвычайно кропотлива и предполагает высокую и тонкую квалификацию. Объем и сложность предстоящей работы по изданию текстов Толстого требуют времени и труда систематического и чрезвычайно сосредоточенного. Необходима также подготовка молодых кадров текстологов-толстоведов, обладающих глубоко специализированной и строго научной профессиональной подготовкой.

Итак, на сегодня выверен и издан текст «Войны и мира». Не правда, небольшая часть ошибок осталась неисправленной. Приведу несколько примеров.

Так, о Пете Ростове в 1812 году сказано: «Петя был теперь красивый, румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми красными губами, похожий на N» — так в автографе. Надо отметить, что в автографе Толстой очень часто имена персонажей давал сокращенно, и чаще всего только первой буквой, а переписчик раскрывал имя полностью. Имя Николая Ростова почти во всех автографах названо Nicolas, а сокращенно всегда N. Так было и в автографе этой главы. В копии же появилось: «...похожий на Наташу». Не говоря уж о том, что если вспомнить портрет Наташи в этом возрасте, то станет ясно, что никакого сходства нет, но к тому же ни в одной рукописи на протяжении всего романа имя Наташи не обозначалось буквой N, но всегда либо Нат., либо Н. Конечно, Толстой имел в виду: «...похожий на Nicolas».

В сцене встречи в Кремле Александра I, приехавшего в июле 1812 года из армии в Москву, есть такой эпизод: «...толпа заколебалась назад, спереди полицейские оттапывали надвинувшихся слишком близко к шествию, государь проходил из дворца в Успенский собор». Непривычное слово оттапывали переписчик прочел как оттапливали. Так сохраняется в тексте.

Князь Андрей, наблюдая за жизнью главной квартиры в Дриссе, видел резкое деление на различные направления и партии. Он распределил их на восемь групп. Последняя, восьмая, самая большая группа «состояла из людей, ни желающих ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря... но желающих только одного и самого существенного: наиболь-

ших для себя выгод и удовольствий». Вместо выражения ни желающих, ни желающих, подчеркивающего полное безразличие этой партии к происходящим событиям (особенно это уясняется в контексте с определением направлений других семи партий), в копии появилось: не желающих.

Эти ошибки ждут своего исправления.

В 1970 году в издательстве «Наука» (серия «Литературные памятники») впервые осуществилось издание точного авторского текста «Анны Карениной» без наслоения ошибок и дополнительной редакторской правки Н. Н. Страхова. «Анна Каренина» ожидала своей публикации без малого двадцать лет. В вышедшем в 1972—1976 годах двенадцатитомном собрании сочинений Толстого («Художественная литература») «Анна Каренина» напечатана по тексту «Литературных памятников».

Восемь лет ждет своей очереди подготовленный к печати текст «Воскресения», освобожденный от 500 ошибок; готов и текстологический комментарий к нему. А сколько сотен тысяч экземпляров «Воскресения» с грубыми ошибками появилось за это время! Только в последние месяцы 1977 года в издательстве «Художественная литература» выпел роман тиражом в 1200 тысяч, а в «Современнике» — 350 тысяч.

История печатания «Воскресения» проходила в чрезвычайно трудных условиях. Известно, что роман печатался одновременно в журнале «Нива» (подцензурное издание) и в издательстве «Свободное слово» в Англии — бесцензурное. Это внесло серьезные трудности в и без того сложный творческий процесс авторской работы. Толстому присылали пять экземпляров гранок с очень широкими полями. Он не только правил корректуры, но большей частью перерабатывал текст. Нередко отмечал: «Для Нивы» — или: «Не для Нивы».

Помощники переносили правку на дубликаты гранок, бывали случаи, что в «Ниву» посылали гранки с исправлениями («Не для Нивы»), и наоборот. О том, как это вредило тексту, говорить нечего. В 1899 году вышло два не совпадающих по тексту издания «Воскресения».

В дальнейшем, при подготовке «Воскресения» для издаваемых С. А. Толстой собраниями сочинений Толстого, сверяли оба текста и то восстанавливали места, измененные редакцией «Нивы», то вносили исправления Толстого, которые сделаны бы-

ли писателем на **гранках, посланных ошибочно** вместо «Свободного слова» в «Ниву». Словом, существовало шесть так или иначе отличающихся друг от друга текстов романа. Разные издательства, издавая «Воскресение», брали то одно издание, то другое.

При подготовке «Воскресения» для юбилейного издания (т. 32) редактор, изучив рукописные и печатные источники и ни одно из них не признав авторитетным, решил «сконструировать» текст по корректурам. Конечно, принятый метод не внес каких-либо серьезных нарушений в текст и не изменил композицию произведения. Однако, кроме типических ошибок переписчиков, появившихся в «Воскресении», как и в большинстве произведений Толстого, в томе 32 возникли новые досадные ошибки. Вот один пример. Отрывок беседы Нехлюдова с адвокатом (ч. 2, гл. XI). «Нехлюдов рассказал вкратце сущность дела: люди в деревне собирались читать Евангелие, пришло начальство и разогнало их. Следующее воскресенье опять собрались, тогда позвали урядника, составили акт, и их предали суду. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил обвинительный акт, судебная палата утвердила обвинение, и их предали суду. Товарищ прокурора обвинял, на столе были вещественные доказательства — Евангелие, и их приговорили в ссылку». Примечание на странице 237 сконструировано по разновременным корректурам, а вся беседа Нехлюдова с адвокатом — по наборной рукописи, последней корректуре и тексту бесцензурного издания. Подлинный же текст Толстого, созданный после пятикратной авторской правки в корректурах, совсем краткий и без нагромождений: Нехлюдов «рассказал вкратце сущность дела, которая состояла в том, что в деревне один грамотный крестьянин стал читать Евангелие и толковать его своим друзьям. Духовенство сочло это преступлением. На него донесли. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил обвинительный акт, и судебная палата утвердила обвинение». Этот текст и вошел в бесцензурное издание «Свободного слова».

Несколько примеров типических ошибок переписчиков «Воскресения», сохранившихся во всех изданиях, в том числе и в томе 32 юбилейного издания.

По ошибке присяжных заседателей, не указавших, что Маслова виновна, «но без

намерения лишить жизни», она приговорена к каторге. Когда, услышав решение суда, Маслова закричала: «Не виновата я, не виновата» и «громко зарыдала», Нехлюдов «проговорил сам с собой: «Нет, это невозможно так оставить! Я второй раз погубил ее». Такое важное для понимания душевного состояния Нехлюдова признание пропущено при копировании автографа.

Во время беседы Нехлюдова с Mariette «они говорили о несправедливости власти...». Так было первоначально. Правя корректуру, Толстой усилил: «...они говорили о несправедливостях жестокого правительства...» Это исправление не перенесли на экземпляры гранок, отправленных в издательства. В «Ниве» печатался дозволительный цензурой вариант «... о несправедливости сильных», а в издании «Свободного слова» сохранился первоначальный вариант, он же повторен в юбилейном издании.

А вот пример, как нарушила текст одна запятая.

Вернувшись после суда в свою камеру, Маслова, выпив вина, оживилась и бойко рассказывала про суд. «В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она», тогда как по авторскому тексту Маслова «с очевидным удовольствием рассказывала» о том, что на нее смотрели. Из-за невнимательности наборщика запятая перенесена — и смысл изменился: печатается, что в суде «смотрели на нее с очевидным удовольствием».

Кроме «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения», выверены также повесть «Смерть Ивана Ильича», в которой обнаружено 169 ошибок, и несколько народных рассказов.

Всякий раз при выявлении вольных и невольных изменений текстов Толстого в результате постороннего вмешательства вспоминается, как Толстой — учитель яснополянской школы бережно относился к сочинениям своих учеников. Он одобрительно рассказывал, что Федька «не позволял, например, переставлять слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволять сказать: у меня раны на ногах». И, готовя к печати в «Книжках Ясная Поляна» сочинения учеников, Толстой считался с требованиями юных авторов — крестьянских мальчиков и печатал их сочинения «с небольшими исправлени-

ями орфографических ошибок», да и то «иногда».

А спустя много лет Толстой писал: «В настоящем художественном произведении — стихотворении, драме, картине, песне, симфонии — нельзя вынуть один стих, одну сцену, одну фигуру, один такт из своего места и поставить в другое, не нарушив значение всего произведения, точно так же, как нельзя не нарушить жизни органического существа, если вынуть один орган из своего места и вставить в другое». Какую огромную ответственность накладывает это заявление Толстого на каждого, кто готовит к печати его произведения.

2

В освоении рукописного наследия Толстого юбилейному изданию принадлежит еще одна заслуга. Поскольку комментирование опиралось на широкий фундамент авторских рукописей и корректур, поскольку целые тома отводились под публикацию черновиков, возникла возможность и необходимость восстановить творческую историю толстовских произведений. В ходе работы определилось еще одно направление толстовской текстологии, и редакторы юбилейного издания оказались, по существу, первооткрывателями темы «Как работал Толстой».

Изучая черновые рукописи, исследователь не может не почувствовать того волнения, которое испытал сам Толстой, следя за тем, как писал сочинение его ученик, крестьянский мальчик. «...мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть... Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника».

«...как бы ни были талантливы... интерпретации текста, взятого как некая статичная данность, все они не лишены субъективизма и импрессионистичности,— пишет академик Д. С. Лихачев.— Самые блестящие страницы в работах искусствоведов и литературоведов, характеризующие стиль произведения, остаются пустыми фразами, иногда даже мало понятными, пока они не освещены и не освящены глубоким историзмом. Я не случайно сказал «иногда даже мало понятными», так как историческое изучение, изучение произведения как процесса, а произведение — это процесс, а не статическая замкнутость... не

только доказывает, но и объясняет явление, делает его и ясным, и простым».

И далее Д. С. Лихачев говорит о том, какое «огромное значение имеет в литературоведении текстология, но текстология, понятая не как подготовка текста к изданию, а как наука, изучающая историю текста. В самом деле, если перед нами только один текст произведения, нет ни черновиков, ни записей о замысле, то через этот текст, как через одну точку на плоскости, можно провести бесконечное число прямых. Чтобы этого не случилось и чтобы обосновать правильность именно одной, избранной нами интерпретации текста, мы должны искать «точку опоры» где-то вне текста — в биографических ли фактах, в фактах историко-литературных или общеисторических. Если же перед нами несколько рукописей, указывающих на поиски автором нужного ему решения, то замысел автора можно в какой-то мере объективно вскрыть. Через две точки можно провести только одну прямую».

Давно уже высказанная Н. К. Пиксановым, родоначальником жанра творческая история, мысль о том, что чтобы понять, как сделано произведение, надо знать, как оно делалось (разрядка моя.— Э. З.), лежит в основе изучения творческой истории произведения. Черновые рукописи дают представление не только о всех поисках писателя, об удачах, тревогах и сомнениях, даже внешний вид автографа передает, в каком психологическом состоянии автора проходила работа.

Творческая история произведений Толстого, эта важнейшая проблема истолкования, так же как критическая выверка текста, не привлекала должного интереса у широкого круга толстоведов. Только потому, что не обращались к тщательному анализу рукописей в хронологической последовательности их создания, многие десятилетия бытовала ложная версия о замысле «Войны и мира» как семейной хроники двух дворянских родов. Не колебало эту легенду даже то, что Толстой сам четко сформулировал свой замысел в одном из ранних набросков; его цитировали и в то же время подгоняли вместе с другими хаотически опубликованными разрозненными отрывками к сложившейся концепции.

К изданию в «Литературном наследстве» готовится первая редакция «Войны и мира», которая, будучи опубликованной не в

избранных разрозненных отрывках, как это было в юбилейном издании, а полностью, неопровержимо докажет, что с самого начала была задумана «история из 12-го года» с «величественным, глубоким и всесторонним содержанием» (так сам Толстой в первый же год работы определил свой замысел), что исторические события и исторические деятели введены в произведение с самого начала, что произведение, еще не имевшее заглавия, ни в малой степени не было «хроникой дворянской жизни», не «отзывалось диккенсовским настроением», а это было произведение, которое Толстой, закончив его в 1869 году, озаглавил «Война и мир».

Лишь зная полный первоначальный текст, можно ясно понять, в каком направлении шла дальнейшая работа писателя; путь от замысла к воплощению был длинный и сложный, но это был не скачок от дворянской хроники к народной эпопее, а это были те семь лет (1863—1869), в продолжение которых Толстой, по его признанию, работал «с мучительным и радостным упорством и волнением... шаг за шагом открывая то, что он считал истиной».

Разрушили рукописи и легенду о начале «Анны Карениной». Еще при жизни Толстого появилось и надолго сохранилось в толстоведении мнение, будто Толстой, прочитав незаконченный отрывок Пушкина, начинающийся словами: «Гости съезжались на дачу...» — тотчас начал «Анну Каренину» словами: «Все смешалось в доме Облонских». А позднее уже вставил известную первую фразу. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Действительно, Толстой начал писать под непосредственным впечатлением только что прочитанного отрывка. И первые фразы первых трех вариантов начала были близки к началу наброска Пушкина. Толстой хотел было начать словом «гости», но тотчас же зачеркнул букву «т» и начал: «Молодая хозяйка только что запыхавшись взбежала по лестнице». Начало второго наброска: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине...» И только в восьмой редакции появилась в качестве эпиграфа к первой части романа фраза о счастливых и несчастливых семьях, а началом романа — фраза: «Все спуталось и смешалось в доме Облонских».

Только увидав в подлинных рукописях десять вариантов начала «Казаков», пятна-

дцать вариантов начала «Войны и мира», десять — «Анны Карениной», одиннадцать — «Воскресения» да еще тридцать три варианта незавершенного романа из эпохи Петра и более тридцати вариантов начала «Хаджи-Мурата», можно себе ясно представить, что значат слова Толстого: «Всегда страшно начинать, когда дорожишь мыслью, как бы ее не испортить, не захватить дурным началом» — и понять тревогу и волнение, которые испытывал Толстой всякий раз, приступая к новому произведению.

Подобные сопоставления можно продолжать. Приведу в заключение еще только одно: «Я... теперь весь поглощен исправлением Воскресенья. Я сам не ожидал, как много можно сказать в нем о грехе и бессмысленности суда, казней». Устанавливается примерно шесть полных редакций романа. Рукописи рассказывают о том, как из редакции в редакцию разрасталась обличительная тема и все резче и острее ставились волновавшие Толстого вопросы. Наборная рукопись являет собой четвертую редакцию, а в процессе правки корректур созданы пятая и шестая. Правка была настолько разительна, что между наборной рукописью и окончательным текстом отличия огромные.

Так высказывания Толстого о своем писательском труде и самая правка рукописей в процессе создания произведений вы светляют, оживляют друг друга.

За последние десятилетия написаны монографии о творческой истории многих произведений Толстого. Сделано много и осталось много. Работа эта имеет интерес далеко не только историко-литературный. Она нужна и современным советским писателям.

В письме к В. А. Жданову, автору монографии о творческой истории «Анны Карениной», «Воскресения» и других произведений Толстого, К. А. Федин писал о том, «как волнует каждый раз это вхождение в толстовское «тайное тайных». После чтения хороших писателей самому до смерти хочется писать, а после того, как заглянешь в рабочую мастерскую Толстого — чуть не буквально зудит рука и не остановить стука и шума крови. Я очень признателен Вам за этот беспорядок в старых моих жилах»².

² Из письма к В. А. Жданову от 21 марта 1962 года (не опубликовано).

После выхода в свет выверенного текста «Войны и мира» К. А. Федин писал об интересе, который вызывает сопоставление текста исправлений с тем, что раньше печаталось. «В целом «тайна» толстовского писания — это наука о том, как должен романист добиваться уверенности, что написал наилучшее из возможного. Наука эта не только изумляет или вызывает зависть, но и побуждает писателя к самовоспитанию». Писал К. А. Федин также о важности истории писания произведений «не только со стороны внешних, календарных,

житейски обусловленных фактов, но и психологически — как неуставное брение духа и титанического таланта за воплощение великих мыслей в великую форму»³.

Однако, прежде чем приступить к осуществлению этих далеких и высших задач, необходимо заложить фундамент — издать научно выверенный текст сочинений Л. Н. Толстого.

³ Из писем К. А. Фебина автору от 28 июня 1963 года и 8 июля 1966 года (не опубликованы).



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



С. Розанова. Наследие, открытое эпохам. — Т. Мотылева. Спорное и бесспорное о Толстом.

НАСЛЕДИЕ, ОТКРЫТОЕ ЭПОХАМ

- К. Ломунов. Лев Толстой в современном мире. М. «Современник». 1975. 493 стр.
Павел Громов. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л. «Художественная литература». 1977. 484 стр.
В. Камянов. Позитивный мир эпоса. М. «Советский писатель». 1978. 295 стр.
Э. Г. Бабаев. Лев Толстой и русская журналистика 60-х гг. XIX в. «Война и мир» в отзывах журнальной критики. Издательство МГУ. 1977. 143 стр.

Книги четырех авторов. Книги вроде бы совсем разные, и тем не менее их несомненно объединяет некоторая общая устремленность. Это подтверждается даже тем фактом, что три из них о «Войне и мире».

Роман «Война и мир» с его огромным всемирно-историческим смыслом, универсальностью охвата всех граней человеческого бытия, с его жанровым своеобразием, сложной структурой во все времена манил исследователей своей тайной. Творение великого мастера благодаря работам Б. Эйхенбаума, А. Скафтымова, М. Храпченко, А. Чичерина, С. Бочарова и некоторых других исследователей недавних лет оказалось наиболее «освоенным», подготовленным для нового уровня постижения и осмысления, к системному анализу. И П. Громов и В. Камянов, которые поставили перед собой цель прочесть эпопею Толстого «по законам поэзии», опирались на открытия своих предшественников и в чем-то продолжили их искания, их идеи.

Известно, что на венецианском конгрессе 1960 года в связи с пятидесятилетием со дня смерти Л. Толстого и последовавших за ним других международных симпозиумах вокруг Толстого разгорелись острые дискуссии. Некоторыми ниспровергателями автор «Войны и мира» был объявлен мифом, музейным экспонатом, чьи «шедев-

ры... не имеют более отношения к современной литературе»¹, так как он принадлежит прошлому и утратил свое значение для создаваемой сегодня духовной культуры. Серьезное, идущее вглубь осмысление нашими учеными этой великой книги является как бы ответом таким «нигилистам»².

С другой стороны, накал полемических страстей вокруг классического наследия прошлого вообще и вокруг творчества Толстого в частности сделал особенно актуальной проблему литературной судьбы художника, восприятия его творчества разными

¹ Выступление Альберто Моравиа (см. «Литературное наследство». М. «Наука». 1965, т. 75, кн. 1, стр. 216).

² Серьезный вклад в борьбу с подобным «нигилизмом» в толстоведении — только что вышедшая книга Т. Мотылевой «Война и мир» за рубежом. Переводы. Критика. Влияние» (М. «Советский писатель». 1978). Уже первое с ней ознакомление говорит, что перед нами большой труд, прослеживающий историю освоения толстовского наследия в мировой литературе, сложного текста «Войны и мира» несколькими поколениями иностранных переводчиков. Понимание его разнородной читательской аудиторией, в том числе и литературной, не могло не зависеть от того, каким был иноязычный вариант. Вдумчивая и тщательная работа Мотылевой имеет регистрирующее значение. Многие привычные, часто цитируемые высказывания зарубежных писателей, критиков, соотнесенные с

эпохами, проблему рассмотрения творческого наследия в контексте времени и, минувшего и сегодняшнего.

Ровно сто лет назад, в октябре 1878 года, Толстой в ответ на выраженное Вильямом Рольстоном желание выступить со специальной статьей о «Войне и мире» и его авторе писал: «Я очень сожалею, что не могу дать на ваше письмо положительного ответа. Дело в том, что я очень сомневаюсь, чтобы я был таким значительным писателем, события жизни которого могли бы представлять интерес не только для русской, но и для европейской публики. Я вполне убежден многочисленными примерами писателей, которых современники ставили сначала очень высоко, но которые затем были совершенно забыты еще при жизни, что современники не могут правильно судить о достоинствах литературных произведений. Поэтому, несмотря на мое желание, я не могу разделять временную иллюзию нескольких друзей, утверждающих с уверенностью, что мои произведения должны будут занять некоторое место в русской литературе. Я совершенно искренно не знаю, будет ли кто-нибудь читать мои произведения через сто лет, или же они будут забыты через сто дней».

Оставляя в стороне «предмет» письма, обратим внимание на саму проблему, некогда волновавшую художника. В чем бессмертие таланта, его непреходящая значимость для разных эпох? Что делает писателя по-настоящему великим?

По сути дела, все книги о Толстом в конечном счете об этом.

О мировом влиянии и мировом значении пишет в своей монографии «Лев Толстой в современном мире» К. Ломунов, выясняя тем изданием, которым они пользовались, получают другой смысл, другое звучание (когда, к примеру, мы читаем у Флобера, что «последний том неудачен», то, прежде чем делать какое-либо заключение, следует помнить, что читал он роман в первом, очень слабом переводе И. И. Паскевича). Обильно процитированные и прокомментированные, недавно опубликованные за рубежом статьи, эссе, страницы дневников, письма писателей, предисловия и специальные труды позволяют автору утверждать, что «в течение последних десятилетий мировая слава «Войны и мира» становится все в более полном смысле мировой, выходит далеко за пределы тех стран, где Толстой давно и хорошо известен». Т. Мотылева как бы одновременно ответила и ниспровергателям Толстого и самому писателю на его сомнения, высказанные в известном письме к Рольстону (о котором чуть выше).

Этой актуальность гуманистических и демократических идеалов Толстого для духовной культуры Запада и Востока, степень участия этих идеалов в процессах, происходящих сегодня в мире, в противоборстве разных общественных сил. Художник и время, минувшее и настоящее — внутренний сюжет книги Э. Бабаева. Огромная эта тема так или иначе встает и в работах других авторов. Ничего нет удивительного, что все они порой даже независимо от своей воли словно бы ведут между собою диалог, обнаруживая то единомыслие, а то несовпадение взглядов.

С этой точки зрения примечательна двухтомная монография П. Громова о стиле Толстого (первый том вышел в 1971 году). Это серьезное историко-литературное исследование, рассматривающее стиль писателя в процессе становления, в движении — от «Детства» к «Войне и миру».

На страницах книги К. Ломунова высказана мысль о том, что «мы еще недостаточно широко используем все то положительное, что содержат в себе посвященные Толстому многие книги и статьи, написанные его современниками». К П. Громову этот упрек никак не отнесешь: своим исследованием он во многом подводит итог тому, чего достигли предшествующие поколения критиков и ученых. Он называет десятки и десятки имен, обильно цитирует, с одними авторами спорит, на положения других опирается. «История вопроса» занимает в книге немалое место и, не скроем, в какой-то степени «утяжеляет» изложение, а столь мощный хор разных по тембру голосов иногда заглушает голос самого автора, увеличивает расстояние между его мыслью и тем поэтическим текстом, который стал предметом обсуждения.

Толстоведению, вообще говоря, присуща тенденция рассматривать писателя преимущественно изнутри как явление исключительное, без разветвленных корней в своей литературной эпохе. П. Громов всячески стремится этот недостаток преодолеть. Он исследует творчество Толстого в широком контексте русской и мировой литературы. Выявляет процесс формирования его поэтики во взаимодействии с разными эстетическими направлениями и идейно-философскими построениями. Вычерчивает линии, идущие к художественному миру Толстого от натуральной школы, от прозы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, от поэзии Фета, Тютчева, Кольцова, от «умствен-

ных исканий» эпохи Просвещения, идей Руссо и Гердера, Канта и Гегеля, от великих прозаиков Франции Стендаля и Бальзака. Несмотря на некоторые «излишества» (например, настойчивое, но не всегда убедительное сближение эпопеи из времен Отечественной войны с романами В. Гюго «Собор Парижской богородицы» и «Отверженные»), в целом становление Толстого как писателя представлено исследователем в широкой литературной перспективе и ретроспективе, в контактах с великими мастерами слова и великими умами.

Но будем помнить, что работа — о стиле Толстого.

Постижение своеобразия стиля и особенностей поэтического мышления Толстого — задача высочайшей сложности. Сам писатель по поводу «Анны Карениной» признавался, что у него «своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок», и что «связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи». Стало быть, исследователю необходимо выявить эти внутренние связи так, чтобы сохранилась цельность постройки, чтобы она не распалась на отдельные конструкции, а это очень и очень не просто. Правда, П. Громову не пришлось идти по целине, ему весьма помогает то обстоятельство, что на эту тему ранее размышляли и Б. Эйхенбаум, и А. Скафтымов, и С. Бочаров. Разумеется, величественная и сложная эпопея Толстого оставляет огромный простор для продолжения поиска.

Исходная точка зрения автора книги связана с общей концепцией человека у Толстого, и она извлекается им из всей структуры произведения, из многосмысловой гаммы соотношения разнохарактерных и разногласных действующих лиц, из соотношения между собой отдельных сцен (рассматриваемых им как микроэлемент стиля), цементирующих своды.

Безусловно, такой «человеческий» аспект анализа поэтики великой книги совершенно правомерен. Потому и результативен. Пространство эпопеи предстало разомкнутым, увиденным изнутри и в то же время сведенным, сцепленным обнаруженной в нем поэтической мыслью гения русской литературы. В этом смысле очень эффективны утверждающие главную идею автора монографии обстоятельные аналитические этюды о семейных кланах Безуховых и Курагиных, Болконских и Ростовых.

П. Громов не поддался известному соб-

лазну разъятия словесной ткани на отдельные тематические секторы. Наоборот, свой анализ он подчинил отысканию замка, с тем чтобы мир толстовского эпоса предстал в целостности, в сопряженном единстве всех его пластов, истории и частной жизни, эпохальных событий и романских коллизий.

Самой значащей и определяющей стиль Толстого категорией является для исследователя «диалектика души». Но, как ни парадоксально, именно в ее понимании обнаруживаются рудименты столь резко осуждаемого исследователем формального метода. Подчас «диалектика души» трактуется им как прием, как одно из изобразительных средств. Автор словно бы не согласен с тем уже ныне принятым мнением, когда она истолковывается как категория содержательная, отражающая своеобразие миропонимания писателя, его философию истории и жизни, его концепцию человека, его эстетику. П. Громов практически сузил поле действия этой «диалектики», а отсюда иные его рассуждения о психологическом мастерстве оказываются и абстрактными и далекими от контекста толстовской мысли.

В умозаключениях П. Громова есть видимые противоречия. Он может утверждать, например, что Толстой в «Войне и мире» только персонажей, которых он ценит по-человечески высоко, наделяет «диалектикой души», и вместе с тем обнаруживает ее (правда, в особой, «обороняющейся» форме) у жулика Телянина... Очевидно, не случайно П. Громов, определяя место «диалектики» в художественной системе писателя, часто прибегает к термину *наделял* — словно речь идет о чем-то привнесённом извне и необязательном.

Таким образом, эта важная категория стиля Толстого оказалась включенной в систему анализа далеко не во всем ее значении, и это остро ощущается на фоне общего высокого уровня анализа толстовской эпопеи как поэтического произведения.

Тип, строй художественного мышления писателя, создавшего «поэтический мир эпоса», привлек внимание другого исследователя — В. Камянова. Его книга о «Войне и мире» нетрадиционна и по своему подходу к произведению, и по своим итогам, и по манере изложения. Автор, профессиональный критик, чаще всего выступает со статьями, посвященными проблемам советской литературы, в какой-то мере он и о «Войне и мире» пишет так, как будто ро-

ман недавно опубликован в одном из наших журналов, рассматривает его имманентно, изнутри, без огляда назад. Критик не слишком часто вспоминает своих предшественников и коллег, а из писателей прошлого привлекает для сопоставления с Толстым едва ли не одного Достоевского. Он почти не покидает почвы романа, исследуя его по-своему и самостоятельно.

Пиетет перед великой книгой не препятствует весьма свободному обхождению с ее персонажами: автор может позволить себе в серьезном разговоре обронить замечание, что «молодой Ростов... кричит громче всех и заодно с папенькой готов заплакать, на сей раз от полноты чувств и умиления», и о нем же сказать, что «этот герой на каком-то перегоне запросит ухабов». Он может назвать Пьера «нашим героем», у Долохова обнаружить «бойцовские качества», а «Тулун» Болконского определить как «сюрприз удлинненных помочей, которые не сразу натянулись»...

Книгу свою В. Камянов писал для того, чтобы попытаться открыть в романе те его аспекты, те особенности, которые остались еще не увиденными. Он предупреждает читателя, что не претендует «на монографическую полноту анализа» и что им «не рассматриваются вопросы, достаточно широко освещенные в научной и научно-популярной литературе». Книга получилась полемичной, проникнутой духом протеста против приобретенного «излишнюю жесткость канона» толкования «Войны и мира», против «принятого в целом ряде работ условного расчленения целостного мира эпопеи на удобные для анализа участки или сферы». Камянова, как и Громова, вдохновляет одна и та же цель: ему важно «уяснить единство» толстовского эпоса, прочесть его «как поэтическое целое» и через пересечения авторской мысли, композиционные переходы, фабульные сцепления, через взаимодействия персонажей «ухватить... закон «сопряжения всего». Эта задача тем более трудна, что системный анализ в принципе не признает готовых формул, затвердевших стереотипов и шаблонов, кочующих из одного литературоведческого сочинения в другое.

В. Камянов не считает себя вправе извлекать из картины, созданной пластическими средствами, некий однозначный смысловой корень, даже если к этому корню ведут прямые высказывания художника. Это отнюдь не означает, что смысловой

корень вообще не интересует автора,— он его постигает, но в самом тексте, в сплаве всех его компонентов, в том числе и в речевой системе, в интонационном строе и ритме фразы, в слове. «Какие бездны значений толстовского слова еще не освоены нами»,— не без резона сокрушается В. Камянов. И действительно, начато им освоение романного слова в его смысловых связях, на что, в общем, недостаточно обращалось внимания, полностью оправдывает себя.

Книга В. Камянова, как уже говорилось, неординарна и нетрадиционна, вполне возможно, что она вызовет и разноречивые суждения. В рамках настоящего обзора я веду речь лишь о некоторых ее конструктивных идеях. Ее фундамент составляет исследование «мысли народной», которую автор трактует как основание всей эпопеи. Ее залегание открыто Камяновым не только в Бородине, но и в Шенграбене, в смиренном бунте богучаровских мужиков, в реакции толпы на смоленский пожар, в истории драматической гибели Верещагина, то есть во всем «совокупном бытии масс». Это динамическое начало «внутренней жизни эпоса» выявляется им также и в архитектонике произведения, в цепи скрытых фабульных связей, в облике и действиях Кутузова, Тихона Щербатого, сценах охоты, образе Каратаева и, конечно, в диалектике внутреннего развития героев «романа духа» Андрея Болконского и Пьера Безухова.

Но в интересной этой работе обнаружился и такой аспект, который принять трудно. В. Камянов явно отвергает всякое сближение Толстого с экзистенциализмом, истолкование его как апологаeta смерти и пессимизма, которое проводится некоторыми зарубежными славистами. Разумеется, такая позиция не вызывает возражений. Но он как бы в противовес склонен к излишне «языческому» прочтению романа, гипертрафирует в писателе его «языческий гений», его сочувствие стихийно-естественному земному бытию и отрицание безжизненного аскетизма Платона Каратаева.

Другой момент: В. Камянов излишне, без достаточных доказательств обнаруживает в коллизиях интеллектуальных, ищущих героев эпопеи с народом взаимную отчужденность и непонимание. Болконский не обрел «концептуального резюме», а «умственные постройки» Безухова шатки, пусть так. Но В. Камянов при этом как бы не замечает, что сама суть поэтического мышления Толстого отвергала умственные итоги персона-

жей-идеологов; у Толстого нравственное преображение героев всегда завершается обретением нового мировосприятия, а не мировоззрения. Именно это произошло и с Болконским и с Безуховым вследствие пересечения их судеб с «простотой», с крестьянским миром, озарившим их светом естественной человечности, нравственностью норм своего бытия. Разве эти «правдоискатели» не живут по законам эпоса, «поэтической идеей» которого, считает В. Камянов, является «людское согласие», единение? Почему же коллизии, столкновения ищущих героев «романа духа» с «людским множеством» не во всем последовательно сцеплены с этой поэтической идеей? Вряд ли бы Толстой назвал свою книгу «Илиадой», если бы в эпоху потрясения, сдвигов, «грозы» 1812 года его герои не испытали счастья включения в «общую жизнь», единения, освобождения от земной тщеты и эгоистического тщеславия.

Как и книга В. Камянова, с большим интересом читается книга Э. Бабаева, названная сухо-академически и предназначенная служить учебным пособием для студентов-филологов.

Во «Введении» автор так объяснил особенность своей трактовки отнюдь не новой темы «Толстой и современная ему критика»: «Взятая вне журнального контекста и вне контекста эпохи, критика представлялась собранием разрозненных, большей частью превратных суждений. Она получает свое настоящее значение, «великий смысл», как говорил Толстой, лишь в связи с общим направлением того или иного журнала».

Э. Бабаев создал цикл занимательных очерков, каждый из которых содержит рассказ о том, как был встречен роман Толстого тем или иным журналом, тем или иным критиком (скажем, П. В. Анненковым, Н. В. Шелгуновым или Н. Н. Страховым). Рассказывается об этом живо, с реальным пониманием и времени, и общественной жизни, и идейной направленности различных органов русской печати. Анализируя выступления «Отечественных записок», «Русского вестника», «Дела», «Зари», Э. Бабаев представил нам и «журнальный контекст», и «контекст эпохи», и весь многоцветный спектр разноречивых суждений, из которых явствует, что на близком временном расстоянии многое видится пристранно и не всегда в его подлинном значении. Кто знает, быть может, потому-то и вырвались у Толстого горькие слова в

письме к Рольстону: «...современники не могут правильно судить о достоинствах литературных произведений».

Примечательный контраст обнаруживается у книг Э. Бабаева и К. Ломунова: если первая обращена к исследованиям минувших времен, то вторая ярко характеризуется стремлением раздвинуть уже определенвшиеся границы толстоведения, предложить новую, с современных позиций интерпретацию сочинений великого художника. Это тем более важно, что «перечитал» К. Ломунов главным образом «забытую» часть наследия — публицистическую. Известно, что внимание к ней еще недостаточно, ее мало изучают, нередко видят в ней лишь слабости, корят писателя за ошибки, иллюзии, непонимание, игнорируя то, что живо и созвучно времени.

«Невниманием советских толстоведов к теоретическим произведениям великого писателя широко воспользовались наши идеологические противники на Западе», воспользовались для того, чтобы представить их в ложном свете, констатирует К. Ломунов. За рубежом предпринимаются попытки предать забвению Толстого-художника, подчеркнуть демократическую направленность всего творчества писателя и выдвинуть на первый план искания бога, «христианский анархизм», религиозно-нравственное учение. К. Ломунов стремится в своей работе доказать несостоятельность концепций такого рода, концепций, которые ложно и односторонне представляют мировоззрение Толстого.

Противопоставляя подобного рода взглядам свое истолкование наследия Толстого, К. Ломунов проделал основательную работу. Он как бы заново, без предвзятости «прочел» трактаты, статьи, воззвания, обращения, дневниковые записи, письма, обследовал архивы Толстого, использовал свидетельства мемуаристов, чтобы широко и многосторонне осветить общественные взгляды Толстого, его отношение к самым актуальным проблемам эпохи — к крестьянскому вопросу, к «рабству рабочих», собственности, церкви, то есть к социальному и государственному строю России. Автору удалось показать Толстого как значительного общественного мыслителя, который видел связь бедственного положения народа со всем общественным строем царской России, распознал его внутренний механизм, не щадя себя, громогласно выступал против него, обнажал его подлинную сущность. Великим мыслителем был он и в области

социологии, философии, истории, эстетики, права.

Пафос книги — в утверждении сильных сторон мировоззрения писателя. В ней крупным планом выделены и четко обозначены «конкретные вопросы демократии и социализма», поставленные в многочисленных публицистических выступлениях Толстого, которые и теперь остаются со звучными нашему времени.

Полно и основательно разработана автором монографии военная тема в разнообразном наследии писателя. К. Ломунов подробно рассматривает военную биографию Толстого, его взгляды на войну в молодости и на склоне жизни, ее изображение в ранних повестях и в романе из эпохи 1812 года. Но, пожалуй, наибольший интерес представляет глава, где автором исследуются обширные связи Толстого с международными антивоенными организациями. Эта сторона жизни и деятельности писателя одна из самых малоизученных. Толстой проявлял деятельный интерес к движению сторонников мира, их конгрессам, конференциям, с присущей ему решимостью выступал против войн, напрасного кровопролития. И тем не менее он оказался среди тех, кто рано прозорливо осознал иллюзорность, неэффективность пацифизма. Исследователь сумел показать, что писатель жил тревогами и заботами своего века.

Выше говорилось о том, что К. Ломунов в мировоззрении Толстого высвечивает сильные стороны, оставляя в тени так называемые слабые стороны, но при этом наблюдается одна настораживающая тенденция. «...не пора ли нам — толстоведам — подчеркнуть, что великий писатель считал народную революцию неизбежной и необходимой и что кроме нее он к концу жизни не видел иных средств для разрешения общественных противоречий, созданных капитализмом», — предлагает автор. И затем с укором замечает: «Редко — очень редко! — приводятся критиками те высказывания Толстого, в которых он оценивает революцию как неизбежный, необходимый и един-

ственный путь, который приведет человечество в царство истинной свободы». Правда, при этом делается немаловажная оговорка: «Спору нет, Толстой дал более чем достаточно поводов для того, чтобы видеть в нем «отрицателя» революционного пути преобразования мира». Если последовать этому предложению и, игнорируя поводы, ориентироваться только на высказывания, мы рискуем представить миросозерцание писателя в неверном свете. Действительно, Толстой предвидел революцию, понимал ее неизбежность. Но необходимой считал только «революцию сознания», «революцию духа». Разве не об этом его «Письмо революционеру», помеченное январем 1909 года? И до конца своих дней он выступал с проповедью непротivления злу насильем, выступал тем настойчивее, чем отчетливее слышал гул приближающихся революционных битв.

Толстой огромен. Огромна и литература о нем. Книги, о которых шла речь, — первые всходы нового урожая. Но уже очевидно, что мы свидетели освоения подлинно современного метода исследования художественного мира великого писателя. Исследования, ведущегося пусть и с издержками, пусть не всегда последовательно, но с несомненными успехами.

Вот и в рассматриваемых книгах проблема мирового значения писателя и как гениального автора «Войны и мира», и как социального мыслителя, гуманиста, бесстрашного поборника передовых стремлений народов всех континентов получила и более глубокое и более всестороннее освещение. При этом о величии, неповторимости, особенностях поэтической системы великого писателя, о ее связи с национальной историей России сказано немало истинного, глубокого, значительного, свежего. Это приблизило нас к более конкретному и ясному пониманию того, по ленинскому определению, «шага вперед в художественном развитии всего человечества», который был совершен Львом Толстым.

С. РОЗАНОВА.



СПОРНОЕ И БЕССПОРНОЕ О ТОЛСТОМ

По страницам иностранной критики

1

Международная критическая литература о Толстом очень велика и вряд ли поддается полному учету. В разных стра-

нах то и дело появляются работы о нем — популярные очерки, эссе, а иногда и специальные монографии.

Необходимо сразу же оговориться: неко-

торые из наиболее вдумчивых суждений, высказанных за границей о Толстом, принадлежат не профессиональным литературоведам, а видным мастерам прозы; писательские высказывания, сделанные как бы мимоходом, в статьях, интервью, дневниках, иной раз вносят неожиданные поправки в разборы и оценки литературоведов. У нас еще будут поводы убедиться в этом.

В томе «Литературного наследства» «Толстой и зарубежный мир» (М. 1965) собраны важнейшие из писательских суждений о Толстом, разумеется далеко не все. А работы иностранных критиков, историков литературы несколько раз обозревались у нас в реферативной или полемической форме¹, но за всем не уследишь, литература о Толстом все время разрастается. Единственное, что возможно в рамках этой статьи, это постараться выявить некоторые основные тенденции иностранной критики творчества Толстого, обращаясь к работам, вышедшим главным образом за последние десять лет.

К тому времени, когда зарубежная читающая публика живо заинтересовалась Толстым (а было это в середине 80-х годов, через несколько лет после выхода первого французского перевода «Войны и мира»)² на иностранных языках не раз уже появлялись отдельные книги Гоголя, Тургенева; передовой западной интеллигенции было известно имя Герцена; французские писатели флоберовского круга с живым интересом прислушивались к рассказам Тургенева о далекой России и ее писателях. Но широкие слои западноевропейской интеллигенции знали русскую литературу как целое крайне мало и мало над ней задумывались. В 80-е годы положение резко изменилось. Произошел как бы качественный скачок — русская литература стала привлекать к себе внимание не только как сумма отдельных книг, но и как национальное целое. Романы Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова выходили все новыми изданиями в переводах (чаще все-

го слабых) на иностранные языки, а критика заговорила о «русском вторжении» в литературу Запада.

Этот стремительный сдвиг в международной судьбе русской литературы объяснялся сложным сплетением объективных исторических и историко-культурных причин. Не следует недооценивать ни многолетней деятельности Тургенева как пропагандиста отечественной литературы на Западе, ни стремительно подымавшейся мировой славы Достоевского. Однако роль Толстого тут совершенно особая. Именно он дал западным критикам первый непосредственный повод осмыслить русскую литературу как значительное, необычайно своеобразное явление в духовной культуре человечества. «Война и мир» стала для зарубежных читателей, по словам одного из первых французских рецензентов, «захватывающим открытием русской жизни». Американский литератор и отставной офицер Джон У. Дефорест, автор романа «Мисс Равенел уходит к северянам», прочитав «Войну и мир» и «Анну Каренину», написал Толстому большое благодарственное письмо, в котором спрашивал: «Почему все русские романисты пишут так искренно и правдиво?.. Случаен ли реализм в России? Или он проистекает из каких-то особенностей национального характера?» Другой американец, критик и переводчик Томас С. Перри, в статье «Русские романы» (1887) особо высоко оценил «Войну и мир» — «эпически широкое изображение целой страны, охваченной подъемом»; русские романы, писал критик, требуют вдумчивого чтения и раскрывают перед мыслящими людьми мощный «поток действительности». Слава Толстого достигла и Латинской Америки, и в 1887 году чилийский критик Вандерер опубликовал первую в своей стране статью о «Войне и мире», где горячо советовал читающей публике заинтересоваться русской литературой. «Знакомство с идеями русских произведений откроет перед читателями новые литературные горизонты».

От тезиса «русских писателей надо читать» недалеко было и до более радикального вывода: у русских писателей надо учиться. И к такому выводу пришли почти в одно и то же время, в середине 80-х годов, три литературных деятеля, горячие почитатели Толстого, пользовавшиеся каждый у себя в стране немалым авторитетом: французский критик Мелькиор де Вогюз, английский критик

¹ См., в частности, статьи, напечатанные в сборнике «Русская литература и ее зарубежные критики». М. «Художественная литература». 1974.

² По данным американского слависта Уильяма Б. Эджертона, в период с 1862 по 1884 год произведения Толстого вышли в переводах на иностранные языки всего четырнадцатью отдельными книжными изданиями, а за пятилетие с 1885 по 1889 год число этих изданий возросло до ста одного.

Мэтью Арнольд и американский романист и критик Уильям Дин Хоуэллс.

Знакомство зарубежных читателей с Толстым, оценка Толстого в зарубежной критике прошли через ряд исторических стадий. Начало мировой славы Толстого совпало по времени с переломом в его мировоззрении, с появлением первых его религиозно-философских и публицистических статей и трактатов. Имя русского писателя-моралиста, противника социальной несправедливости и захватнических войн, встало в центр международных идеологических споров, приобретавших порой необычайно острый и запутанный характер. В последние два десятилетия жизни Толстого его имя почти что не сходило со страниц газет. Каждое новое его произведение и выступление в печати, каждое событие его жизни вызывало оживленные толки. Толстого читали, в него вчитывались, им восхищались, ему пытались подражать, а подчас его и порицали: наряду с восторженными почитателями у него появились и яростные противники, в том числе некоторые крупные деятели международной литературной реакции; либеральные журналисты и ораторы пытались утопить толстовскую критику капитализма в потоках общих фраз о «пророке милосердия»; социалисты разных стран охотно перепечатывали в своей прессе наиболее острые высказывания из статей и трактатов Толстого, а наряду с этим критиковали его слева, порой с позиций вульгарных и нечетких. Уход Толстого из Ясной Поляны и его смерть вызвали новый взрыв всемирного, всеобщего внимания к нему. А потом страсти постепенно улеглись. Толстой стал классиком, частью культурного наследия.

Политические, идеологические факторы не перестали оказывать влияние на оценку Толстого в критике и после его кончины. В годы первой мировой войны и после нее автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира» был опорой, духовной и творческой, для писателей-антимилитаристов. Начиная с момента Октябрьской революции Толстой неизбежно так или иначе ассоциировался и для читателей и для критиков с революционной Россией. В годы второй мировой войны симпатии народов мира к Советскому Союзу, восхищение героической борьбой советского народа с гитлеровским фашизмом окрасили собою и отношение к Толстому: «Война и мир» стала в странах антифашистской коалиции одной

из наиболее широко читаемых книг. После окончания второй мировой войны распространение и изучение творчества Толстого за рубежом приняло совершенно новый размах. Не только в странах, вступивших на путь социализма, но и в ряде стран буржуазного Запада основные художественные произведения Толстого вышли за последние тридцать лет в новых переводах, более полных и доброкачественных, чем прежние. И изучение наследия Толстого, которое в первые десятилетия после его смерти развевывалось главным образом в рамках биографических и критико-биографических очерков, постепенно начало принимать более углубленный характер.

В разных странах выходят не только монографии о Толстом, но и сборники, объединяющие труды (или фрагменты трудов) разных авторов. В 1971—1972 годах появились сразу две антологии работ международной критики о Толстом — одна в Польше (составитель Павел Херц), другая в Англии (составитель Генри Джиффорда).

Обе эти книги интересны каждая своему; в обеих представлены характерные аспекты и тенденции изучения Толстого за рубежом. Но стоит сразу же высказать возражение издателям польской антологии. В аннотации, сопровождающей книгу, говорится, в частности: «Можно было бы предположить, что Толстой, вызывавший разногласия при жизни, и сейчас порождает горячие споры среди критиков. Однако это не так. Философия и историософия Толстого являются анахронизмом, а в высоком мастерстве этого писателя никто никогда не сомневался». Все это сказано более чем неточно. В философском наследии Толстого наряду с отжившей религиозной доктриной есть верные и мудрые идеи — ведь и в философии Толстого, не только в художественном творчестве, сказывался страстный протест против общественной несправедливости, милитаризма, угнетения человека человеком. Что до высокого мастерства Толстого, то иные современники в нем сомневались, а в критике наших дней суть и сила этого мастерства толкуется, как мы увидим, очень различно.

Спорить есть о чем; мы убеждаемся в этом, обращаясь к книгам западных критиков, которые получили за последние десятилетия широкую международную известность, переиздавались, переводились на другие языки, и представлены большими фрагментами в обеих антологиях — и в поль-

ской и в английской. Книга американца Джорджа Стейнера «Голстой или Достоевский», в основе которой лежит механическое противопоставление обоих русских классиков; труд английского ученого Исая Берлина под парадоксальным названием «Еж и лиса», где сделана попытка поставить толстовскую философию истории в зависимости от идей французского реакционного мыслителя Жозефа де Местра; обстоятельная монография другого англичанина, слависта Джона Бейли, «Толстой и роман», где высказываются любопытные суждения о мастерстве Толстого, но игнорируется социальная проблематика его произведений,— каждая из этих книг по-своему уязвима по общей своей концепции, даже если отвлечься от проявлений политической тенденциозности авторов. Но все это работы далеко уже не новые и о них у нас не раз писали.

В свое время в советской печати появились критические отклики на диссертацию французского ученого Никола Вейсбейна «Религиозная эволюция Толстого» (1960) — наиболее обширный из тех западных трудов, где Толстой представлен прежде всего как христианский мыслитель и вероучитель. Более новая небольшая книжка Вейсбейна, озаглавленная просто «Толстой», посвящена той же теме. Притом религиозные взгляды Толстого рассматриваются в полном отрыве не только от его художественного творчества, но и от его социальных исканий, от его многолетнего острого конфликта с царскими «жандармами во Христе». И сам Толстой полностью отъединен от русской жизни, от русского общества его времени. Толстой, пишет Н. Вейсбейн в заключение своей работы, «пришел к своей идеологии не путем расширения познаний, не путем освоения элементов внешней действительности и не путем осознания истины, а исключительно путем постоянного самоуглубления и все более полного приобщения к собственной истине».

Самой собой разумеется, что философские взгляды Толстого — тема насыщено важная для исследователей (серьезный вклад в изучение этой темы сделал В. Ф. Асмус в своей работе «Мировоззрение Толстого»). Однако взгляд на Толстого как на замкнутое, полностью изолированное от действительности «индивидуальное нечто» лишает Н. Вейсбейна возможности подойти к проблемам мировоззрения Толстого с подлинно научной объективностью.

Вообще же говоря, в иностранной критике последних десятилетий замечен постепенный сдвиг внимания от Толстого-проповедника к Толстому-художнику. Об этом вполне обоснованно говорит составитель английской антологии Г. Джиффорда, книга которого, помимо собранных в ней литературоведческих текстов, содержит краткий очерк истории вопроса. Та характеристика современного состояния изучения Толстого, которую дает Джиффорда, не может быть принята безоговорочно; к советской критике он явно несправедлив и настолько мало в ней сведущ, что и возражать ему не стоит. Однако любопытно его признание, касающееся критики иностранной: «За последние десять—пятнадцать лет произошли резкие перемены. Дело не только в том, что стремительно поднялось число статей и книг: сегодня многие критики, пишущие о Толстом, в состоянии читать его в оригинале и получают, таким образом, доступ к материалам, ранее неизвестным на Западе». Таково положение вещей, по свидетельству Джиффорда, именно в наше время, а прежде многие из иностранных авторов книг и статей о Толстом (если оставить в стороне выходцев из белой эмиграции) знали его только по переводам, судили о нем на основании переводов! Нам трудно представить себе серьезного литературоведа, который писал бы о Бальзаке, не зная французского языка, или о Гёте, не зная немецкого. А с иностранными литературоведами, писавшими о Толстом, до сравнительно недавнего времени дело обстоит (а в отдельных случаях и сегодня обстоит) именно так.

Толстой необычайно труден для перевода уже в силу того, что язык его на редкость богат оттенками и в оригинальной, часто непривычной форме передает напряженную динамику его мысли. Есть доля истины в замечании французской писательницы русского происхождения Зоз Ольденбург: «Стиль Толстого, подобно лирической поэзии, по сути дела непереводим».

Разумеется, нельзя приписывать переводам решающую роль в международной судьбе великого писателя. Восприятие художественного произведения всегда в немалой степени зависит от личности воспринимающего, от его мировоззрения, от степени его чуткости к искусству. И старый Флобер, и молодой Томас Манн, и молодой Антонио Грамши сумели распознать художническую мощь Толстого сквозь более

чем несовершенные переводные тексты, в то время как иные ученые-слависты и по сей день недостаточно живо чувствуют эту мощь, читая Толстого в подлиннике. И все же когда мы говорим о судьбе художественных произведений в иноязычной среде, никак нельзя сбрасывать со счета такой фактор, как перевод. Современным иностранным читателям доступны книги Толстого, переведенные без тех грубых искажений и произвольных купюр, какими изобиловали ранние зарубежные издания. Но даже и в лучших современных переводах особенности художественного стиля Толстого до некоторой степени сглаживаются, неповторимо своеобразное становится расхожим, нейтральным. И особенно трудно поддаются переводу элементы народной речи, столь важные у Толстого и в авторском повествовании и в диалогах. Ну в самом деле, как передать на другом языке, например, реплику старого солдата (в одном из финальных эпизодов «Войны и мира») по адресу французских пленных: «Туже люди... И польнь на своем кореню растет»? А ведь здесь с покоряющей силой и простотой выражено отношение русских людей к поверженному неприятелю.

...Над проблемой народности творчества Толстого задумались еще много десятилетий назад крупные зарубежные художники. Август Стриндберг выразительно озаглавил свою статью-некролог «Демократизм Толстого». Ромен Роллан в биографическом очерке «Жизнь Толстого» (1911) высказал проницательные догадки о том, что угнетенное, изголодавшееся, бунтующее русское крестьянство наложило свой отпечаток на художественную мысль автора «Воскресения». Томас Манн в книге публицистики, в «Размышлениях аполитичного», написанной в годы первой мировой войны, убедительно говорил о том «радикальном и мужицком начале», которое лежит в основе «первозданной нравственной силы» Толстого. Однако такого рода суждения не были подхвачены, не были продолжены в работах западных литературоведов. Удивительно, но факт: авторы некоторых новых работ, где идет речь о «Войне и мире», обходят или почти обходят главное — тему народного героизма, забывая вместе с тем и о том, с какими мыслями читалась, воспринималась «Война и мир» в годы борьбы народов с гитлеровской агрессией.

Вспомним Томаса Манна по другому поводу. В предисловии к американскому из-

данию «Анны Карениной» (1939) он назвал ее «величайшим социальным романом во всей мировой литературе», отмечая притом, что «этот роман из жизни светского общества направлен против него...» Несколько позднее, в книге «Обзор века» Генрих Манн заметил: «Когда неизмеримый Толстой писал свою «Анну Каренину», ему самому еще не было ясно, что общество, подобным образом увиденное насквозь, не имеет уже права на существование». Но в современном западном литературоведении преобладает иной взгляд на «Анну Каренину» — подчеркнуто внесоциальный. В антологии Г. Джиффорда помещена целая серия статей английских критиков об этом романе, в них детальнейшим образом обсуждаются отношения Анны с Карениным и Вронским и весь анализ замыкается в рамки семейно-любовного треугольника — и Левин с его исканиями, и вся широкая картина страны на историческом переломе оказываются чем-то малосущественным. А в статье Зое Ольденбург, перепечатанной в польской антологии, «Анна Каренина» истолкована в духе космического пессимизма, притом наибольшей жалости, по мысли критика, заслуживает Каренин — «бедняк, у которого отняли то небольшое, что у него было...» Не говорим уж о «Воскресении»: этот роман в большинстве иностранных обобщающих трудов о Толстом оказывается на положении пасынка — то новое, что он ознаменовал в творческом развитии писателя, вызывает к себе мало интереса.

В оценке Толстого западной критикой надолго удержалась и другая устойчивая aberrация — это, как ни странно, недооценка его художественного мастерства.

В самом деле. Еще почти столетие назад, когда «вторжение» русской литературы на Запад только начиналось, произведения Толстого, как и на другой лад произведения Достоевского, восхищали, поражали новизной жизненного материала, глубиной мысли, а вместе с тем в чем-то и шокировали, ибо шли вразрез с общепринятым. Множество раз по адресу Толстого раздавались упреки в том, что он дышет «не по правилам», игнорирует законы писательского ремесла; неоднократно (в этом, конечно, повинны и переводы) высказывалось мнение, что Толстой по сути своей не стилист, что он вовсе не заботится о красоте, изяществе, отточенности слога; не менее часто говорилось и о том, что автор «Вой-

ны и мира» вовсе пренебрегает требованиями романтической композиции. Причем такие утверждения можно было слышать не только от противников Толстого, но и от самых горячих его поклонников. Своего рода крылатым словом в западной критике стало определение, принадлежащее Мэтью Арнольду: «Анна Каренина» «не произведение искусства, а кусок жизни». Подобные сомнительные похвалы можно найти в ряде иностранных работ, написанных с самым глубоким уважением к Толстому. Так, Стефан Цвейг в книге о Толстом, получившей международную известность, утверждал, что читать его — значит смотреть через открытое окно на реальный мир, что толстовская проза — «дубляж действительности», что она «даже и не ощутима как искусство» и т. д. Можно поверить Цвейгу, что он был действительно заморожен высочайшей достоверностью толстовского реализма. Но он как бы закрывал глаза на то, что за кажущейся безыскусственностью толстовской прозы стоит необычайно тонкое, сложное мастерство, титанический труд над словом и образом.

В работах англо-американских критиков много раз вставала антитеза: Толстой и Генри Джеймс. Знаменитый американский прозаик, друг Тургенева и Флобера, стал для нескольких поколений своих соотечественников своего рода эталоном литературной изысканности. Толстого он не любил и несколько раз мимоходом высказывал неодобрение по поводу его «слоновой» мощи и художественной «бесформенности» «Войны и мира». На Джеймса, а затем и на близкого ему по взглядам теоретика литературы Перси Леббока ссылались те критики, которые считали Толстого писателем, равнодушным к требованиям литературной формы.

Но в последние десятилетия точка зрения Джеймса — Леббока была основательно оспорена. Появилось, в частности, несколько специальных этюдов разных авторов (Э. К. Брауна, А. Кука, Дж. Хагана) о композиции «Войны и мира». Американский литературовед Эдвард Васиолек еще десять лет назад посвятил обстоятельную статью доказательству той очевидной истины, что нельзя считать повесть «Смерть Ивана Ильича» произведением художественно несовершенным из-за того, что она построена иначе, чем новеллы Генри Джеймса, и что нет оснований ставить в упрек Толстому-художнику прямое и от-

крытое выражение авторской позиции. «Искусство Толстого,— писал Васиолек,— достигает такой тонкости, которая ни в чем не уступает тонкости искусства Джеймса и дает возможность раскрывать содержание без малейшей двусмысленности».

Вопрос, долго считавшийся спорным по крайней мере среди части западных критиков, является ли Толстой подлинным мастером слова, имеет и другой аспект, который до сих пор сохраняет спорность: современен ли Толстой как художник? В зарубежном литературоведении далеко еще не изжита версия, согласно которой Толстой как мастер прозы старомоден, ибо он-де не владел той изощренной техникой, которую принято связывать с именами Пруста и Джойса. (При этом неизменно забывается, что именно Толстой стоит у истоков многих художественных открытий XX века и что и Пруст и Джойс восприняли многие его уроки, конечно на свой субъективный лад.) В ходу и другая версия: Толстой старомоден потому, что картина мира и человека у него слишком ясная и светлая, ничего устрашающего, абсурдного, чудовищного... Такие упреки Толстому высказывались еще в 1960 году в ходе литературных дискуссий в связи с пятидесятилетием со дня его кончины.

И словно в ответ на подобные суждения на Западе выходят (или перепечатаются) работы другого толка: Толстой в них ассоциируется — если не отождествляется, то хотя бы соотносится — с современным духовным распадом, с философией абсурда и inferнального пессимизма.

Повышенное внимание приобретает в этой связи тема «Толстой и смерть». Это несомненно важная тема, тут есть что сказать исследователям. Ведь изображение смерти всегда становилось у Толстого необычайно действенным, бескомпромиссным способом оценки личности — и не только самой личности, но и того общества, тех нравов, которые сформировали ее. Однако в западных работах на тему «Толстой и смерть» исключается мотив смерти-подвига, утверждающей ценность и достоинство человека; исключается вместе с тем социально-критический толстовский мотив «страх смерти тем больше, чем хуже жизнь». На первый план в таких работах (например, в этюде американки Темиры Пэчмус) выступает не социально-этический, а скорей метафизический аспект темы.

Подобная же концепция лежит в основе работы другого американского литературоведа, Филипа Рава, озаглавленной «Смерть Ивана Ильича» и Йозеф К.». Как известно, Йозеф К.— герой романа Франца Кафки «Процесс». И у Толстого и у Кафки критик отыскивает «общую идеологическую тенденцию», направленную «против научного рационализма, против цивилизации». Иван Ильич, как считает Ф. Рав, не представитель правящей, собственнической касты, а *everyman* — человек «вообще» и «состояние абсолютного одиночества, в которое он впадает на закате жизни,— это экзистенциальная норма». Впрочем, Рав не ставит знака равенства между Толстым и Кафкой. Толстой в отличие от автора «Процесса» как-никак не хотел поддаваться тотальному отчаянию, он не был пленником «отчуждения», напротив, он «последний из художников, не поддающихся отчуждению». Да, Толстой не считал разобщенность людей роковой неизбежностью. В этом мы согласны с Ф. Равом. Но Толстой был ни в коем случае не последним в ряду мастеров мирового искусства, восставших всею мощью своего мастерства против сил, обрекающих человека на страдания. Вся большая прогрессивная литература нашего столетия от А. Франса до У. Фолкнера, от Горького до Шолохова противостоит «отчуждению». И Толстой, как писатель XX века, не замыкает, а открывает этот ряд.

2

Обозреть все новые книги о Толстом, даже если ограничиться последним десятилетием, как уже сказано, задача невыполнимая в рамках одной статьи. Но попробуем выделить в потоке иностранных публикаций то, что (в разных смыслах) характерно, то, что читается на Западе сегодня, в предверии толстовского юбилея.

Среди книг, способных вызвать к себе любопытство, биографический очерк Эдварда Крэнкшоу «Толстой. Становление романиста» (Edward Crankshaw, «Tolstoy. The making of a Novelist». London. 1974). Книга привлекает внимание уже своим роскошным оформлением, обилием иллюстраций, подчас редких; привлекает внимание и напечатанная на суперобложке справка об авторе. Э. Крэнкшоу — известный журналист и писатель, в годы второй мировой войны находился в Советском

Союзе, выпустил несколько книг на разные темы, в том числе на темы политически сенсационные.

Написана книга живо, бойким, опытным пером. И с первых же строк мы убеждаемся, что автор очень уверен в себе и без колебаний высказывается весьма категорически:

«Лев Николаевич Толстой не довольствовался тем, что был величайшим в мире романистом: ему еще больше хотелось быть великим философом и учителем. Именно такую честолюбивую цель ставил перед собой человек мощного интеллекта, который в течение почти всей своей жизни так боялся смерти, что не мог мыслить здраво... Одержимый самомнением, подобно Люциферу, он совершал удивительные повороты, на которые его обрекало тщетное стремление убежать от реальности».

Мы сразу видим: Крэнкшоу хочет поразить читателя. И поражает, конечно, не новизной взгляда. Еще при жизни Толстого русская черносотенная печать много раз обвиняла его в непомерном самомнении, сатанинской гордости и т. п. Крэнкшоу, ничтоже сумняшеся, повторяет эти стародавние бредни сегодня.

Пересказывая, порой даже довольно занимательно, факты жизни Толстого, о которых уже много раз писали авторы его биографий, опубликованных на разных языках, Э. Крэнкшоу время от времени как бы мимоходом выражает свое мнение о Толстом-художнике. И мы читаем, например, такое: «Толстой, в сущности, не верил в людей. Чем внимательнее мы присматриваемся к его персонажам, оставляя в стороне вымышленные проекции его собственной личности, тем яснее становится, что этот знаменитый моралист был детерминистом, материалистом и бихевиористом. Несмотря на поразительную зоркость к внешним явлениям, благодаря которой во всем его творчестве нет, казалось бы, ни одного повторяющегося образа, все эти образы лишь плоть, а всякая плоть — лишь прах».

И здесь английский биограф не говорит нового, он лишь воспроизводит в огрубленном виде старый-престарый тезис Мережковского о Толстом как «ясновидце плоти» и при этом дает волю своей антипатии к русскому классику, «детерминисту и материалисту». Цитированные строки не случайная обмолвка. Крэнкшоу в по-другому поводу возвращается к утверждению,

что Толстой даже и в самых прославленных своих романах описывал людей лишь извне — «как зверей в зоопарке».

Неприязнь Крэнкшоу к русскому художнику-моралисту, в котором он, очевидно, как реакционеры былых времен, видит источник опасной крамолы, иногда неожиданно сочетается с попытками истолковать его в консервативно-монархическом духе: «Война и мир», оказывается, представляет «прославление русского дворянства», а Александр I в этом романе превращен «в символ жертвенного патриотизма».

И под занавес снова формула сурового осуждения. Вся жизнь Толстого, говорит Крэнкшоу, это «многолетняя борьба между художником, одаренным высшей восприимчивостью и мучительным ощущением несовершенства жизни, художником, сражавшимся и обреченным на поражение, и упрямым пуританином, который, будучи одержим «бредом гордыни», вознамерился предписывать законы богу». Остается лишь пожалеть о том, что найдутся читатели, которые, доверившись автору, примут его домыслы за чистую монету.

Ярким контрастом книжке Крэнкшоу, не только тенденциозной, но и легковесной, являются работы серьезных западных исследователей, которые, изучая Толстого на протяжении долгих лет, стремятся вдуматься в его наследие, по-своему раскрыть его.

Среди английских ученых, внесших вклад в науку о Толстом, заслуживает быть названным в первую очередь Р. Ф. Кристиан, профессор русской литературы в университете Сент-Эндрюс. Еще в 1962 году он выпустил книгу о «Войне и мире» — первую иностранную синтетическую монографию о романе-эпопее Толстого. В 1969 году вышла новая его книга — «Толстой. Критическое введение» (R. F. Christian, «Tolstoy. A critical Introduction». Cambridge, 1969), сжатый и содержательный очерк творческого пути Толстого-художника.

Р. Ф. Кристиан, быть может, единственный среди современных западных исследователей Толстого, кто размышляет над своеобразием его стиля. Обе его книги содержат наблюдения над структурой толстовской фразы, стилистической функцией ключевых слов (повторов), над принципом контраста как основе композиции романов Толстого, над ролью деталей-лейтмотивов, которые, повторяясь в разных местах, скрепляют сложное повествовательное

единство. Эти наблюдения, как правило, интересны, хотя не всегда бесспорны, и, разумеется, не исчерпывающи. Кристиан изучает русского классика в подлиннике и апеллирует к подлиннику. «Английские переводы не могут точно воспроизвести уравновешенность, симметрию, ритм и гармонию языка Толстого, языка, который складывался не спонтанно, а в итоге тщательных усилий, многолетней работы над рукописями», — пишет исследователь. Со знанием дела Кристиан опровергает версию о «бесформенности» толстовских романов: «Это мнение, пущенное в оборот Генри Джеймсом, совершенно несправедливо по отношению к усердному и изощренному мастерству Толстого».

Большое место в новой книге Кристиана занимает анализ «Войны и мира».

Как известно, «Войне и миру» посвящены многие и разные труды советских литературоведов — к книгам С. Бочарова, Э. Зайденшур, А. Сабурова, А. Чичерина, давно уже вошедшим в научный обиход, прибавились теперь новые работы, у каждого из советских исследователей свои оттенки интерпретации «Войны и мира», и никто не вправе считать себя монопольным обладателем истины. Однако есть и то, что давно уже стало общим достоянием нашей литературной науки, — взгляд на «Войну и мир» как на произведение высокой патристической героики, раскрывающее роль народных масс в национальной истории. Именно в этом плане мы не во всем согласны с Р. Ф. Кристианом, как и он не во всем согласен с советскими литературоведами и открыто говорит об этом. Он считает, что нет оснований особо подчеркивать роль народных низов в Отечественной войне с Наполеоном. «Национальный героизм 1812 года был явлением подлинно всенародным в лучшем смысле слова, он охватывал всех людей, и господ и слуг». Нет, реальная картина событий у Толстого несравненно сложнее. Далеко не все персонажи из класса «господ» захвачены, как мы помним, патристическим подъемом. И даже если отвлечься от Богучаровского бунта и от тревожных сцен на московских улицах перед приходом французов, разве общенациональный подъем 1812 года не несет в себе зерен будущих классовых, политических конфликтов, зерен, которые прорастают в эпилоге? Р. Ф. Кристиан утверждает не без полемики, что в «Войне и мире» вов-

се нет «полярной противоположности русских и французов». Совершенно верно, такой прямолинейной антитезы в эпосе Толстого нет и никто ее никогда и не находил. Герои «Войны и мира» воюют с захватнической армией Наполеона, а не с французами как нацией, об этом напоминает нам и дружеское общение Пети Ростова с его французским сверстником Венсаном Боссом, и речь Кутузова перед солдатами под Красным, и исполненная доброго юмора сцена, где полузамерзшие французы выходят к русским кострам.

Размышляя над исторической концепцией «Войны и мира», Р. Ф. Кристиан высказывается по вопросам, которые на протяжении десятилетий вызывают споры в иностранной критике. Есть ли художественная необходимость в философско-исторических отступлениях «Войны и мира»? Кристиан пристрастен к тем современным писателям и исследователям, которые считают, что отступления эти не посторонний привесок, а органическая часть большого художественного целого: ведь они прямо вырастают из действия эпоса и автор высказывает в них свои заветные мысли. Правда, полагает Кристиан, Толстой с чрезмерным нажимом утверждал независимость исторических событий от воли исторических лиц, в его рассуждениях по этому вопросу, как и в его резко сатирическом освещении Наполеона, есть доля односторонности, преувеличения. Однако антинаполеоновская тенденция «Войны и мира» — это «здоровый противовес угрозам агрессии, культуре диктаторов, политике с позиции силы». Так затрагивается тема актуальности «Войны и мира» — произведения, которое, по словам Кристиана, превышает богатством содержания все предшествующие романы мировой литературы.

Анализ «Анны Карениной» снова дает Р. Ф. Кристиану повод задуматься над оригинальностью толстовского мастерства. Он возражает Перси Леббоку и другим критикам, упрекавшим Толстого в том, что он построил свой роман «не по прагилам», в частности не дал вначале общей характеристики Анны. Упреки такого рода идут мимо сути художественного метода Толстого. «Первые впечатления, которые мы получаем от героев Толстого, — пишет Кристиан, — складываются из разных точек зрения на них: такой способ характеристики — существенная особенность техники Толстого-романиста».

Линия Анны и линия Левина в романе незаметно и тесно взаимосвязаны. И ни в коем случае — на этом Кристиан настаивает — нельзя сводить смысл «Анны Карениной» к проблемам супружеской неверности и развода. Тут Р. Ф. Кристиан охотно солидаризируется с советскими критиками: «Анна Каренина» — роман не только психологический, но и социальный, в нем отразилось нараставшее отвращение Толстого «ко всему аппарату общественной и государственной организации — юридическому, военному, административному, исполнительному»...

Менее справедлив Кристиан к «Воскресению», роману, в котором, по его словам, много замечательных страниц, но в котором Толстой слишком часто «поддается потребности обличительства». Вообще творчество Толстого после перелома в его взглядах и сами эти взгляды освещены в книге довольно бедно и суммарно. Но исследователь на последних страницах, как и на первых, говорит с величайшим уважением о русском художнике-гуманисте, поставившем коренные проблемы человеческого бытия. Итоговый тезис книги Кристиана о Толстом звучит наивно, хотя и вполне искренне: «В конечном счете он был великим романистом потому, что был хорошим человеком».

Новую попытку вдуматься в духовное наследие Толстого предпринял английский филолог Э. Б. Гринвуд. Он назвал свою книгу «Толстой: целостный взгляд» (E. B. Greenwood, «Tolstoy: The comprehensive Vision». London. 1975) и вложил в подзаголовок двойный смысл. Автор намерен показать Толстого как человека, художника, мыслителя и одновременно раскрыть толстовский «целостный взгляд» на жизнь.

Гринвуд уделяет много внимания мастерству Толстого как психолога и особенно его новаторству в передаче внутренней речи. В отличие от многих западных литературоведов, которые приписывали открытие внутреннего монолога в его современных формах то ли Джойсу, то ли Э. Дюжардану, Гринвуд утверждает роль Толстого как истинного первооткрывателя. Он напоминает и о том, что сам термин «внутренний монолог» был впервые введен в обиход русским критиком Н. Г. Чернышевским.

В книге Гринвуда оспаривается мнение И. Берлина, согласно которому Толстой не мог преодолеть дуализма писателя и мыслителя. Этот дуализм, по мысли Гринвуда,

преодолевался самою логикой художественного изображения действительности, сопоставлением, взаимодействием характеров.

Сопоставляя «Утро помещика» и «Поликушку» с последующими произведениями Толстого, Гринвуд замечает, что уже в этих ранних повестях сказалось трезвое «признание конфликта между помещиками и крестьянами»; в «Войне и мире» об этом конфликте напоминает наперекор идилличности фигуры Каратаева эпизод Богучаровского бунта; мотив недоверия крестьян к господам возникает и в «Анне Карениной».

Главы, посвященные «Войне и миру», содержат пространные и довольно путаные рассуждения о влиянии «западного историзма» (имеется в виду детерминизм) на историческую концепцию Толстого. Гринвуд дотошно сопоставляет военные картины романа-эпопеи с трудами историков, отыскивает у Толстого неточности и противоречия: можно ли считать, что Наполеон был вовсе беспомощен перед лицом событий войны, если он, например, все же повлиял на ход Бородинского сражения хотя бы тем, что отказался ввести в бой свою старую гвардию? Однако в конечном счете Гринвуд, как и до него Кристиан, принимает толстовскую негативную трактовку Наполеона, видя ее принципиальный смысл. «По сути дела, Толстой в «Войне и мире» атакует не Наполеона, а феномен цезаризма, единоличной диктатуры и еще более того — ту теорию, которая лежит в основе цезаризма, ту теорию, согласно которой есть одна мораль для правителя, исключительной личности, и другая для всех прочих». Попутно Гринвуд делает любопытное замечание: в своем отрицании культа Наполеона автор «Войны и мира» смыкался с автором «Преступления и наказания» — оба как бы заранее подвергли критике тот принцип «все позволено», сторонником и глашатаем которого немного времени спустя стал Ницше. (Английский ученый, видимо, не знает, что сопоставление Толстого и Достоевского, именно в этом антинаполеоновском и, можно сказать, антифашистском плане было развернуто в нескольких статьях Анны Зегерс еще на исходе второй мировой войны.)

«Войну и мир» множество раз сопоставляли с гомеровским эпосом. У Э. Б. Гринвуда и здесь находим новый оттенок мысли. В гомеровском эпосе жизнь людей со всеми катастрофами, войнами, человеческими трагедиями принимается «как она

есть». Толстой не приемлет «жизни как она есть», для него война, даже и оборонительная, справедливая, — величайший источник бедствий. Нравственная тревога Толстого, снова напоминает исследователь, сродни тревоге героя Достоевского, который не мог мириться с человеческими страданиями и готов был «вернуть богу билет».

Но странное дело! Подойдя к тому периоду жизни Толстого, когда его нравственная тревога приняла особенно острый, трагический характер — привела его к разрыву с привычными взглядами своей среды, Э. Б. Гринвуд как бы теряет свой дар анализа. О переломе во взглядах Толстого в его книге говорится до крайности скупо, и перелом этот рассматривается по преимуществу в богословском аспекте; роману «Воскресение» посвящены ни много ни мало ровно четыре страницы; о конфликте Толстого с правящими кругами царской России не сказано ровно ничего. Выводы автора звучат до крайности отвлеченно. Толстой «не разбирался в экономических проблемах», но «непревзойден в сфере личной и индивидуальной жизни»; в «религиозных и метафизических вопросах» он скорее может помочь людям нашего времени, нежели Гегель, Кьеркегор или «разочарованные рационалисты вроде Сартра и абсурдистов»; он был прав в своем убеждении, что «есть нечто вечное и абсолютное, перед лицом которого надо судить о временном и относительном»... Посредством таких общих фраз обходятся (в книге, претендующей на целостный анализ наследия Толстого!) те конкретные вопросы общественной жизни, которые волновали великого писателя в последний период его деятельности.

Напрашивается сопоставление. Несколько лет назад вышла в США книга под названием «Поиск. Биография Толстого» (Sarah Newton Carroll, «The Search. A biography of Leo Tolstoy». New York. 1973). Автор Сара Ньютон Керол не ученый, а «просто» литератор; книга ее, адресованная юношеству, написана на основе тех материалов, которые ей удалось найти на английском языке. И в этой весьма бесхитростной книжке нашлось место для рассказа и о помощи Толстого крестьянам, пострадавшим от голода 1891—1892 годов, и о той травле, которой подвергался писатель со стороны реакционной печати, и об отлучении его от церкви, и о той горячей симпатии, которую он внушал трудящимся и угнетенным. Тут

мы находим хотя бы некоторые из элементов, которых явно не хватает «целостному взгляду» Э. Б. Гринвуда.

Под лаконичным названием «Толстой» вышла в Лондоне в 1977 году книга Т. Дж. Кэйна (T. G. S. Cain, «Tolstoy». London. 1977). Она построена как обзор основных художественных произведений русского классика. Однако принцип отбора материала, объявленный в авторском «Введении», сразу жестораживает. Творчество Толстого, говорит Кэйн, по преимуществу автобиографично, поэтому из обзора исключены такие произведения, как «Севастопольские рассказы» и «Поликушка», в которых художник выступает «наблюдателем со стороны» (1).

Стоит попутно заметить, что литературная судьба «Севастопольских рассказов» в некотором роде парадоксальна. Они давно уже привлекли внимание видных художников слова. Э. Хемингуэй, читая «Севастопольские рассказы», размышлял о том, какие преимущества дает писателю личный воинский опыт. Арагон свидетельствовал, что именно эта книга Толстого дала ему первое правдивое представление о войне. А в книгах западных литературоведов эти сильные, новаторские рассказы, во многом предвавшие «Войну и мир», чаще всего недооцениваются.

Читаем Кэйна дальше — и изумление наше возрастает. По его словам, Толстой был «прежде всего индивидуалистом», стоявшим в стороне от «интеллектуальной жизни своего времени»; все его основные герои, от Анны Карениной до Хаджи-Мурата — «отражения его собственной изоляции». «По своему темпераменту и философии Толстой во многих смыслах принадлежал XVIII столетию...» И в дальнейшем изложении Толстой представлен по преимуществу последователем Руссо: даже дядя Ершак из «Казачков» — «вариант естественного человека по Руссо, помещенный в контекст реальной, а не философской жизни».

Глубокая духовная привязанность Толстого к наследию Руссо — факт давно известный, о нем писали многие исследователи. Но Кэйн придает этой привязанности какое-то всепоглощающее значение. Правда, он говорит и о роли русских национальных традиций в формировании личности Толстого, но понимает их до смешного упрощенно и узко. У Толстого «русская душа прославляется как нечто простое и близкое к природе...». «Характерно русским качеством»

Кэйн считает тяготение Толстого и его героев к аскетизму и в качестве доказательства ссылается на пристрастие Левина к щам и каше!

На таком вот анекдотическом уровне и глава о «Войне и мире». Согласно Кэйну, контраст «естественного и искусственного и тем самым, по Толстому, подлинного и фальшивого, доброго и злого» реализуется в ряде конкретных противопоставлений — «Наполеон и Кутузов, Наташа и Элен, мадемуазель Бурьен и княжна Марья». В дальнейшем оказывается, что и князь Андрей несколько подозрителен по части «искусственного»; «преобладающая тенденция романа, философия, лежащая в его основе, имеет больше общего с Ростовыми, чем с Андреем, так как ставит инстинктивное выше рационального, интуитивное телесное знание выше абстрактного духовного знания и утверждает счастье и «цель жизни» в простых семейных радостях».

Для справедливости надо сказать, что вторая половина книги Кэйна не так удручающе убога, как первая. Разборы «Анны Карениной», а затем «Воскресения», «Крейцеровой сонаты», «Хаджи-Мурата» сделаны на уровне грамотного пересказа. Но и тут проглядывает авторский крайне упрощенный взгляд на вещи. Обличительный пафос «Воскресения» объясняется «презрением аристократа» князя Нехлюдова к купцам, чиновникам и особенно к тюремной администрации, представляемой в романе «лицами вовсе неблагородного происхождения...».

В свой обзор художественных произведений Толстого Кэйн включает и «Исповедь», и для этого есть основания — ведь религиозный кризис, пережитый Толстым, во многом близок переживаниям Левина и Нехлюдова. Но сам этот кризис Кэйн толкует опять-таки крайне примитивно, сводя его причины к страху смерти, «наваждению смертью».

«...со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне,— читаем мы в «Исповеди». — Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представлялись мне единым настоящим делом».

Вот этот главный смысл перелома, пережитого Толстым, и всей его деятельности,

всего его творчества после перелома остается скрыт от читателей книги Кэйна.

Самая новая из известных нам зарубежных книг о Толстом вышла в США в этом году. Она озаглавлена «Основные произведения Толстого» (Edward Wasiolek, «Tolstoy's Major Fiction», Chicago and London, 1978), ее автор Эдвард Васиолек, профессор университета Чикаго, давно известен своими работами по русской литературе, в частности публикациями «Записных книжек» Достоевского. Примечательная особенность книги Васиолека — широко разработанная аннотированная библиография международной литературы о Толстом, где много внимания уделено трудам советских исследователей.

О Толстом, напоминает Э. Васиолек во введении к своей книге, написано множество работ. Но он неисчерпаемая тема. Необходимо рассматривать его в контексте русской литературы, именно таким образом становится понятно то, что иногда озадачивает иностранцев. Многие парадоксы и резкости, содержащиеся, например, в трактате «Что такое искусство?», — заостренное выражение тех идей, которые выдвигали и Чернышевский и Писарев; вслед за ними Толстой требовал искусства, которое «дало бы духовную и эмоциональную пищу всему народу», развивал «взгляды на искусство, исполненные серьезности и достоинства». Нравственная проблематика, ясность моральных критериев оценки человека, стремление к счастью для всех людей — все эти черты Толстого связаны с коренными особенностями русской литературы.

Все это верно, но, к сожалению, в дальнейшем конкретном анализе заявка исследователя на широту национального (а тем самым и исторического) контекста не реализуется, и Толстой рассматривается по преимуществу, как в громадном большинстве западных работ о нем, как «индивидуальное нечто».

Эдварду Васиолеку нельзя отказать ни в широкой эрудиции, ни в самостоятельности анализа. В главе о «Войне и мире» он резко критикует взгляды тех, кто отрицает художественную цельность романа-эпопеи, и настойчиво полемизирует с мнением И. Берлина о том, что Толстому-романисту не хватало центральной, общей мысли. Цельность «Войны и мира» прежде всего не в тех или иных чертах композиции, а именно в единстве авторского взгляда; нравственная позиция Толстого как худож-

ника и историка, справедливо замечает Васиолек, ни в коем случае не сводится к фатализму. Закон необходимости не исключает свободы действий, пусть ограниченной, для каждого человека (ведь сумел же тихий капитан Тушин личной инициативой, личным мужеством повлиять на исход Шенграбенского сражения!).

Для характеристики нравственной позиции Толстого-романиста Э. Васиолек выдвигает схему, по-своему стройную. Мир «Войны и мира», говорит он, подобен системе концентрических кругов. Типы, подобные Элен или князю Василию, вне этих кругов. Остальные персонажи как бы движутся от центра к периферии или от периферии к центру, оказываясь то ближе к нравственным нормам Толстого, то дальше от них. В самом центре Наташа Ростова и Платон Каратаев, именно они, по мнению Васиолека, воплощают толстовский идеал человека.

Попутно Васиолек спорит и с Р. Ф. Кристианом и с другими критиками, утверждающими, что нравственный пафос «Войны и мира» — в преодолении индивидуализма и приближении личности к общему движению жизни. Платон Каратаев, в сущности, далек от христианских принципов гуманности и самопожертвования — ведь он, по сути, ни с кем не дружит и никого не любит (в суждениях Васиолека о Платоне Каратаеве есть свой резон). Да и Наташа живет не для других, а для себя, озабочена собственным счастьем: она испытывает высшую полноту жизни в момент первого бала, как Николай в момент охоты. И вот такая непосредственность, естественность ощущения жизни и есть, по Васиолеку, главная нравственная суть «Войны и мира», центр всей системы кругов, или «сердцевина луковицы».

Тут уж мы вправе вознегодовать. А где Наташа, спасающая раненых? А где героическая гибель юного Пети? А где взволнованная беседа Пьера и князя Андрея перед Бородинским сражением? Подобные эпизоды вовсе не интересуют Э. Васиолека. И во всем его тщательно разработанном анализе судьбы и духовной эволюции героев «Войны и мира» отсутствует то, что является действительно решающим: приобщение личности к общенародному подвигу. И самого этого подвига, «великого народного моря», взволновавшегося в 1812 году, тоже как бы нет. И эпилога, предвещающего декабризм, тоже как бы нет. Остается в ито-

ге подробного и хитроумного разбора слишком общий тезис: «Человек не должен быть в дисгармонии с миром». Словом, живи и давай жить другим. Только и всего.

Если эпопея народного героизма сужается у Э. Васиолека до романа о нескольких частных судьбах, не более того, то «Анна Каренина» у него сужена до психоаналитического этюда на тему о разрушительном действии физической страсти. Весь социальный фон, на котором разворачивается трагедия Анны, как утверждает Васиолек, не имеет никакого значения. Даже любовь Анны к сыну не имеет существенного значения. Разбор ведется под углом зрения «порабощающей силы секса», в тексте романа тщательно отыскиваются эротические метафоры и аллюзии. Скажем, по дороге из Москвы в Петербург Анна, читая новую книгу, держит в руке разрезной ножичек: это неспроста. «Нож может быть понят как деталь, обозначающая возможность разрушительной страсти, особенно в таком ярко выраженном сексуальном контексте...»

Ныне, как и в давней своей статье, Э. Васиолек высоко оценивает мастерство, с каким написана «Смерть Ивана Ильича». Но он стремится убедить читателя, что Толстой-художник и после перелома, в сущности, мало интересовался социальными вопросами. Повесть об Иване Ильиче, согласно истолкованию критика, утверждает смерть как «модель всяческой солидарности»: в обычной, нормальной жизни человек живет для себя, неизбежность смерти сближает и уравнивает людей.

Эта же мысль лежит в основе главы, посвященной рассказу «Хозяин и работник». Разбор его здесь небезынтересен. Васиолек показывает, что поступок купца Брежунова, который ценою своей жизни спасает замерзающего работника Никиту, в художественной ткани рассказа мотивируется не религиозным прозрением, а скорей велением инстинкта, потребностью не быть одиноким в смертный час. Но философский вывод из этого разбора — экзистенциалистского толка и принадлежит не Толстому, а явно самому Васиолеку: «Да, люди братья или должны быть братьями, но, быть может, только потому, что они братья в смерти».

К роману «Воскресение» Э. Васиолек, как и можно было ожидать, проявляет мало интереса и отделяется тут скороговоркой. Попутно он замечает, что все инвективы Толстого в адрес общества идут впустую, преодолеть социальное зло, мол, все равно

невозможно, автору «Воскресения» удалось лишь «иллюстрировать демонологию, господствующую в современном мире...» Вместе с тем, говорит Васиолек в заключение своей книги, Толстой как бы то ни было и в позднем творчестве не утратил оптимистической веры в жизнь, в человека: весна может быть весной даже в городе и человек способен к нравственному «воскресению». В такой общей и расплывчатой форме этот заключительный тезис сам по себе не вызывает возражений. Однако бедность конечных выводов явно контрастирует с теми ответственными задачами нового, углубленного прочтения, которые поставил перед собой многоопытный исследователь.

Среди новых иностранных работ, посвященных конкретным, частным проблемам жизни и творчества великого писателя, привлекает внимание докторская диссертация французской славистки Доминики Мароже «Педагогические идеи Толстого» (Dominique Maroger, «Les idées pédagogiques de Tolstoi». Lausanne. 1974). Эта обширная работа, за которой стоят многие годы разысканий в библиотеках и архивах, исключительно богата фактическим, документальным материалом. Д. Мароже утверждает, что наклонности воспитателя, просветителя были заложены в самой сути творческой личности Толстого; они сказались не только в его педагогических статьях, в новаторских принципах, на которых строилась работа яснополянской школы, но и в заботе Толстого о чтении для народа, во всей деятельности издательства «Посредник». В монографии Д. Мароже показана судьба педагогического наследия Толстого в Советском Союзе и вместе с тем влияние его идей о народном просвещении и народном чтении на поиски передовых деятелей культуры стран Запада.

В книге Д. Мароже мимоходом затронут вопрос, представляющий принципиальный интерес для всех, кто изучает жизнь и творчество Толстого: влияние его личных связей с трудящимися, с народными низами на его художественное творчество. Эти личные связи начали оказывать свое действие на внутренний мир писателя задолго до перелома в его мировоззрении. Факты духовной биографии Толстого подтверждают, что перелом этот, как и сказал сам автор «Исповеди», «давно готовился» в нем. Д. Мароже пишет об этом: «Из своих военных контактов с русскими солдатами и крестьянами

Толстой вынес громадное сочувствие к ним. Нет оснований удивляться, что он, разделив на войне жизнь народа, почувствовав к нему симпатию, в конечном счете захотел уподобиться крестьянам». В этом же направлении, по мысли Д. Мароже, воздействовало на него и общение с крестьянскими ребятами в яснополянской школе. «Можно сказать, что и из тех уроков истории, которые Толстой давал крестьянским детям, и из той работы, которую он провел в качестве мирового посредника, выросла эпопея русского народа, ведущая идея «Войны и мира». Дело не только в том, что Толстой убедился, как жива в народе ненависть к захватчикам; сотрудничая с крестьянами братски и в духе солидарности, он завоевал право говорить от их имени». Приведенные формулировки несколько прямолинейны, духовные связи Толстого с русскими народными массами носили характер более сложный, менее однозначный, чем показано Д. Мароже. Однако в исследовании, посвященном частной и, строго говоря, даже не литературной теме, отмечена та существенная сторона творческой судьбы Толстого, мимо которой подчас проходят даже очень квалифицированные авторы литературоведческих трудов.

3

Почти все авторы иностранных работ о Толстом обращаются к научному наследию Б. М. Эйхенбаума — из всех советских исследователей Толстого он пользуется наибольшим авторитетом среди зарубежных коллег. Но, вероятно, мало кто из них помнит его маленькую статью «С. Цвейг о Толстом» (1929), где, в частности, сказано:

«Поставить жизнь и учение Толстого вне истории, рассматривать его эволюцию исключительно в психофизическом плане — значит неизбежно обеднить и унизить его образ, несмотря на всю «сублимацию»...»

Эта суровая оценка (быть может, не вполне справедливая по отношению к восторженному критико-биографическому очерку С. Цвейга) с гораздо большим основанием может быть отнесена к тем современным трудам, в которых жизнь и творчество Толстого даны вне русской действительности, вне истории, вне событий и проблем его эпохи.

Сопоставим с цитированными строками другое суждение Б. Эйхенбаума — из его статьи «О взглядах Ленина на историческое

значение Толстого» (1957): «Ленин отбросил старую теорию «двойственности» Толстого как художника и моралиста и противопоставил ей теорию противоречий как исторического явления, отражающего особенности крестьянской революции. Тем самым вся проблема изучения Толстого была сдвинута с индивидуально-психологической почвы на историческую».

Проблема исторического изучения Толстого вставала перед Б. Эйхенбаумом еще на ранних этапах его научной деятельности. Та оценка ленинской концепции Толстого, которая дана в его поздней статье, — итог многолетних размышлений. Размышлений, поучительных, надо думать, и для нынешних иностранных исследователей Толстого.

Статьи В. И. Ленина о Толстом не сразу стали известны за рубежом, не сразу были поняты. Примечательно, что некоторые крупные писатели восприняли их более чутко, чем литературоведы. Мысли Ленина о Толстом получили живое творческое продолжение в статьях Ромена Роллана середины 30-х годов, а в последующие десятилетия — в критических этюдах Анны Зегер, Арнольда Цвейга, Ярослава Ивашкевича, Армана Лану.

В западном литературоведении долгое время считалось хорошим тоном просто игнорировать статьи Ленина о Толстом. Накануне юбилейной даты 1960 года было сделано несколько попыток исказить их содержание, представить дело так, будто суть этих статей — в резком осуждении Толстого-мыслителя. Ложная версия, будто Ленин в своих статьях о Толстом выступил прежде всего против него, отчасти держится до сих пор (ослабленный отголосок этой версии мы находим, к сожалению, в добросовестной работе Д. Мароже, о которой шла речь выше).

Сегодня статьи Ленина о Толстом на Западе не игнорируются. Они включаются в антологии критической литературы о Толстом, кратко излагаются в трудах литературоведов — иногда, так сказать, нейтрально, по большей части неточно, а иногда и с полемическими комментариями, мимо которых нельзя пройти.

В книге Э. Васиолека вполне справедливо отмечено, что Ленин видел в толстовской критике индустриального общества, правительства, бюрократии, армии и т. д. «сознательное воплощение неосознанных чувств, которые испытывали широкие мас-

сы русских», что он ценил в Толстом «сопротивление ложным формам человеческого сознания». А за этим идет полуутверждение-полувопрос: неизвестно, мол, учитывал ли Ленин, что Толстой отвергал все «пристрастные» (partial) формы сознания как ложные, включая и сознание социалистическое. Видимо, Э. Васиолек в силу «пристрастности» своего мышления недостаточно внимательно прочитал статьи Ленина. О том, что Толстой «отстранился от революции», об отрицании им политики и политической борьбы в этих статьях говорится многократно. Было бы нелепо предположить, что Ленин, именно Ленин закрывал глаза на кричащие противоречия мировоззрения Толстого.

Американский исследователь Уильям Б. Эджертон, весьма эрудированный автор работ о мировом значении русской классической литературы, в одном из своих докладов сделал не лишнее колкости замечание: «ортодоксальные марксисты, кажется, находят ключ к удовлетворительному решению всех загадок Толстого в статьях, которые Ленин написал о нем», но сами эти статьи, мол, убедительны только для тех, кто стоит на идейных позициях Ленина. Замечание это неверно и принципиально и фактически.

Мы знаем примеры, когда деятели культуры, вовсе не принадлежавшие к ортодоксальным марксистам, шли к приятию идейных позиций Ленина именно через его статьи о Толстом. Путь писателя такого масштаба, как Ромен Роллан, и ученого такого масштаба, как Б. Эйхенбаум, в этом смысле показательны каждый по своему.

Но и помимо этого — разве надо обязательно быть ортодоксальным марксистом, чтобы понять очевидную истину: гений уровня Толстого не мог стоять вне истории, вне своей страны и эпохи и удивительный сдвиг, пережитый им, не мог быть вызван только личными свойствами его души? Ленин объяснил то, что большинству современников Толстого казалось загадочным. За минувшие десятилетия никто из зарубежных ученых не противопоставил этому объяснению иного, более убедительного.

В нашем распоряжении сегодня множество документов, которые не могли быть доступны В. И. Ленину, — дневники, письма, записные книжки Толстого, черновые варианты его произведений, свидетельства

его современников. Эти документы, взятые вместе, подтверждают проницательность ленинского анализа. Мы видим теперь полноту и богатство связей писателя-графа с трудящимися и угнетенными массами. Мы можем проследить теперь шаг за шагом внутренний механизм того медленно подготовлявшегося перелома, который сделал Толстого, по его собственным словам, адвокатом стоимиллионного земледельческого народа. Мы видим, наконец (на примере нашей страны и других социалистических стран), как сбывается предсказание Ленина о широчайшей популярности наследия Толстого при социализме.

Для советских исследователей Толстого, для передовых зарубежных литераторов статьи Ленина о Толстом не свод готовых и раз навсегда данных ответов на сложные вопросы его мировоззрения и творчества. Статьи эти не отменяют необходимости в углубленной научной работе над толстовским наследием, а напротив — зовут к такой работе. Ибо они действительно представляют собой, как писал Юлиус Фучик еще в 1928 году, ключ к проблемам, связанным с Толстым. Они дают возможность, как верно говорил Б. Эйхенбаум, сдвинуть изучение жизни и творчества писателя с индивидуально-психологической почвы на историческую.

В последние годы цикл работ Ленина о Толстом привлекает повышенное внимание прогрессивной литературной и научной общественности за рубежом. Во Франции в 1970 году началось и в последующие годы было продолжено обсуждение этих статей Ленина в ходе литературных дискуссий, объединявших марксистов и немарксистов; тема «Ленин и Толстой» была рассмотрена в устных и печатных выступлениях критиков, теоретиков литературы М. Плейне, П. Машере, Ж.-М. Пальмье, К. Прево. Эти выступления помогли преодолеть неточные или ошибочные представления о ленинской концепции Толстого, укоренившиеся в западной критике. В ходе дискуссий говорилось, например, о том, что, по Ленину, отражение действительности в искусстве не статичный, не зеркально-мертвый акт, а динамический, диалектический процесс; «зеркало» художественного отображения предоставляет свои особые возможности познания сложных, глубинных процессов жизни.

Клод Прево в цикле статей

«Литература, политика, идеология» (Claude Prévost, «Littérature, politique, idéologie». Paris. 1973) показал, что ленинское истолкование Толстого противостояло в сложных условиях идеологической борьбы в России после революции 1905 года другим, догматическим, сектантским истолкованиям (в частности, тому, какое было дано в статьях Г. Плеханова). «Своими статьями о Толстом,— писал он,— Ленин помогает нам понять, что практика писателя — совершенно особая сфера, которая не исчерпывается ни наукой, ни идеологией». Детально анализируя тексты ленинских статей о Толстом, Прево подсказывал своим читателям вывод: сопоставление великого писателя с революцией, втянувшей в свою орбиту миллионы трудящихся, сама постановка вопроса о мировом значении Толстого, о его месте в художественном развитии человечества — все это знаменовало у Ленина и с к л ю ч и т е л ь н о высокую оценку художественного гения Толстого.

О проблематике статей Ленина о Толстом писал и Ролан Леруа, видный деятель французского коммунистического движения, нынешний директор «Юманите», в своей работе «Ленин лицом к литературе»: «Об отношениях между личностью писателя и его творчеством, отношениях далеко

не простых, не однозначных, не лишенных особой специфики, зависящих от множества обстоятельств, отражающих переплетение различных факторов, Ленин судит глубоко, тонко и пронизательно, показывая, насколько чужд автору статей о Толстом вульгарно-механистический взгляд на литературу...

Взгляд на художественное произведение, обусловленный пониманием сложности и специфики художественного творчества, лишь подчеркивает ту исключительную роль, которую отводил Ленин литературе в идейной борьбе»³.

Обсуждение ленинских работ о литературе, организованное французскими марксистами, получившее резонанс и за пределами Франции, напоминает о том живом, актуальном содержании, которое заключено, в частности, в статьях о Толстом. При вдумчивом подходе к ним, они могут обогатить методологию современного литературоведения. И, разумеется, обогатить дальнейшие исследования, посвященные творчеству Толстого.

Т. МОТЫЛЕВА.

³ См. сборник «Ленин и марксистская литературная критика за рубежом». М. «Прогресс». 1977, стр. 186—187.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МУЗЫКА. М. «Советский композитор». 1977. 327 стр.

«Это такое суеверие — видеть в этом (в музыке.—А. М.) что-то серьезное, важное...»; «Люблю музыку больше всех других искусств». Эти два высказывания Толстого, относящиеся, кстати, к одному времени — последнему периоду его жизни (первое взято из дневника Н. Н. Гусева «Два года с Л. Н. Толстым», второе — из дневника В. Ф. Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год его жизни»), могут служить одним из десятков примеров противоречивого отношения писателя к музыке вообще, к творчеству отдельных композиторов, исполнителей. Поэтому совершенно очевидно, что получить более или менее цельное представление о взглядах Толстого на музыку можно, лишь охватив значительную часть его высказываний о ней. Труд отобрать и объединить такой огромный материал в нечто удобообозримое взяли на себя составители данного сборника З. Палух и А. Прохорова. Работа сделана, как нам кажется, не просто добросовестно, но талантливо. Привлекая обширный материал, разбросанный как в художественных произведениях и высказываниях самого Толстого, так и в записях — дневниках, воспоминаниях — его друзей, родственников, секретарей, знакомых, составители «сложили» книгу таким образом, что создается полное представление об эволюции взглядов Толстого на музыку. Можно было бы привести множество примеров удачно найденного «полифонического» изложения материала, когда высказывание, то или иное наблюдение писателя комментируется дневниковой записью его секретаря или кого-либо из близких. Конечно же, объем издания не позволил включить в книгу все связанное с этой темой (в предисловии составители сформулировали принципы своего отбора, указав, что музыкальная хроника жизни Толстого дается только по опубликованным источникам). Однако даже при этом нашлось место для ссылок на многие трудно доступные современному читателю издания, в частности периодику того времени.

Каким же предстает Толстой в своем отношении к музыке? Нельзя не согласиться с Э. Бабаевым, автором вступительной статьи, когда он утверждает, что «мнения Толстого о музыке всегда пристрастны. Его суждения о композиторах бывали односторонними, но никогда не были равнодушными. Он говорил о том, что его занимало и тревожило всю жизнь». Но когда автор

статьи ополчается на А. Гольденвейзера за его слова о том, что в музыке Толстой был дилетантом, он, как нам кажется, не прав. Быть может, для современного читателя определение «дилетант» имеет несколько пренебрежительный оттенок — этого Толстой, безусловно, не заслуживает. Более благозвучным было бы определение «любитель» — amateur, как говорят французы, — в том старинном и широком толковании этого слова, которое бытовало в первой половине XIX века. Толстой — любитель музыки — это Толстой, увлеченно играющий на фортепиано, изучающий музыку, слушающий и даже сочиняющий ее. «Любитель музыки» — так подписывал многие свои статьи, например, В. Ф. Одоевский. Примечательно, однако, что при огромном интересе писателя к музыке библиотека Толстого в Ясной Поляне хранит так мало специальных книг. К тому же большинство из тех, что там есть, либо малоценны, либо Толстым не читаны (книга Э. Праута «Музыкальная форма» в переводе с английского сына Толстого Сергея Львовича осталась даже не разрезанной!). Сам Толстой высказался как-то на этот счет в беседе с Илей Сацем: «Со мной спорят, потому что думаю, что мой идеал немножко дальше теперь существующего в искусстве. Вот как, например, ваш вопрос, изучать ли вам контрапункт? Да если вы даже призваны служить настоящему искусству, то разве не все равно, изучите у Танеева вы контрапункт или не изучите? Ведь это такая ничтожная крупица». Толстой был необычайно восприимчив к живой, звучащей музыке, глубоко по своему переживал ее, резко отвергал то, что ему не нравилось, и принимал то, что отвечало его эстетическим и, главное, этическим принципам. В то же время он был совершенно равнодушен к наукообразным и даже научным рассуждениям о ней.

Не менее сложной и кропотливой была, должно быть, работа над вторым и третьим разделами книги — нотографией и библиографией. Составителями был обследован широкий круг источников. В результате читатель получил сведения, о которых, вероятно, и не подозревал. Так, из нотографии мы узнаем, что роман «Анна Каренина» послужил основой для девяти опер и двух балетов композиторов разных стран; что, кроме С. Прокофьева, оперу «Война и мир», оказывается, написал некто Фензи, о чем сообщалось еще в 1871 году, и много других интересных фактов. Конечно, при таком колоссальном количестве материалов и источников не могло обойтись без некото-

рых неточностей. Так, В. Ландовска, известная польская пианистка и клавесинистка, посещавшая Толстого в Ясной Поляне, родилась в 1879 году, а не в 1877-м, как сказано в указателе имен; опечатки вкрались в некоторые иностранные слова — в английское название биографии Шопена, в указание тональности одного из этюдов Шопена. Однако эти мелкие погрешности никак не могут сказаться на общем очень хорошем впечатлении от интересной и полезной книги.

А. Майкапар.



Г. И. ПЕТРОВ. Отлучение Льва Толстого от церкви. М. «Знание». 1978. 112 стр.

25 февраля 1901 года русские газеты опубликовали на первых полосах сенсационное сообщение. В нем торжественно оповещалось, что святейший синод Российской империи имел в течение трех дней «суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении» и вынес специальное «Определение», которым великий писатель отлучается от церкви, «доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». В «Определении», составленном в лицемерно-елейных тонах, синод призвал верующих молиться за то, чтобы господь смягчил сердце «заблудшего» и привел его к осознанию своих грехов и покаянию.

Как появился на свет позорный документ? Кем и когда он подготавливался? Как на него реагировали в различных кругах общества? В чем, наконец, был его истинный смысл и какие он имел последствия? Ответам на эти далеко не проясненные вопросы посвящена небольшая, но содержательная книга Г. Петрова «Отлучение Льва Толстого от церкви».

Жестоким акт церковной реакции породил бурные отклики, в которых отразилась идейная борьба различных классов и социальных групп России. Передовые общественные круги справедливо расценили отлучение Толстого как попытку реакции расправиться с писателем, натравить на него верующих, обезвредить его острые выступления против самодержавия и официальной церкви. Как рассказывает В. Д. Бонч-Бруевич, В. И. Ленин был глубоко возмущен действиями высокопоставленных попов, решивших предать Толстого публичной анафеме. «Смешно», говорил Владимир Ильич, — что эти чиновники в рясах «отлучают» Толстого от церкви, из которой он сам, — как и все здравомыслящие люди, — давным-давно ушел. Но эта анафема, эта травля гениального писателя с десятков тысяч амвонов церквей, это подуськивание темных черносотенных элементов на прямое насилие — омерзительно и ужасно».

Казенная и церковная печать создали в эти дни вокруг Толстого обстановку жесточайшей травли. Более того, возникла прямая угроза жизни писателя и его близких. Однако вскоре выяснилось, что реакция просчиталась. Злополучное отлучение вместо неприязни и ненависти к Толстому усилило в народных массах чувства любви и солидарности с писателем, что выразилось во множестве писем к нему и в ряде открытых демонстраций.

В чем заключался смысл отлучения? Почему именно в 1901 году реакция задумала столь ожесточенный и подлый удар по Толстому? Как справедливо указывает автор, истинная причина была в том, что в стране назревали события, которые угрожали смести до основания весь строй угнетения и насилия. В страхе перед приближающейся революцией царизм метался от одной авантюры к другой. Самодержавная реакция страшилась не только прямых действий революционеров, но и гневно-обличительной публицистики Толстого, которая несмотря на содержащиеся в ней религиозно-нравственные проповеди, революционизировала массы. Нужно было дискредитировать писателя, заставить его замолчать, выставить его перед простым людом злейшим врагом России, антихристом, писателем, продавшимся смутьянам революционерам. Вот почему реакции понадобился такой исключительный акт духовной расправы с Толстым, как громоподобное отлучение его от церкви.

События, связанные с отлучением Толстого, вызвали большой резонанс в России и во всем мире. Ценность книги Г. Петрова в обширном фактическом материале и убедительной его трактовке. Так, в ней с большой полнотой показана бесстрашная, бескомпромиссная борьба Толстого против самодержавия и церковной реакции. Убедительны главы, в которых автор, опираясь на дневники и записные книжки писателя, раскрывает его отношение к отлучению и приводит гневно-презрительный ответ Толстого синоду. Вызывает интерес и приведенная автором многообразная почта этих дней — сочувственные письма Толстому, а также мнения различных лиц об отлучении, о которых мы узнаем из составленной департаментом полиции сводки перлюстрации писем в Петербурге и Москве.

В небольшой книге, разумеется, освещены не все документы и свидетельства по избранной теме. За ее рамками остались, в частности, отклики зарубежной прессы и выдающихся деятелей мировой культуры на это событие. Но и те материалы, которые использованы автором, весьма ценны. В преддверии юбилея Льва Толстого они напоминают читателю об одном из ярких эпизодов в жизни писателя и в истории нашей освободительной борьбы.

А. Шифман.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. Подарочное издание. 56 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Толстой. Война и мир. Роман-эпопея. В 2-х кн. Кн. 1. Т. 1—2. 591 стр. Цена 3 р. 70 к.

Л. Толстой. Воскресение. Роман. («Библиотека классики. Русская литература») 397 стр. Цена 2 р. 90 к.

Л. Толстой. Повести и рассказы. В 2-х тт. Т. I. 1855—1863. 470 стр. Цена 2 р. 50 к. Т. II. 1872—1906. 493 стр. Цена 2 р. 60 к.

Л. Толстой. Собрание сочинений. В 22-х тт. Т. I. Детство. Отрочество. Юность. 422 стр. Цена 2 р. 20 к..

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В мире Толстого. Сборник статей. Составитель С. Машинский. 528 стр. Цена 1 р. 70 к.

С. Жислина. Добрый свет издалека. Невымышленные рассказы о Л. Н. Толстом. 240 стр. Цена 60 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Составители Н. И. Азарова и М. М. Горохов. («Выставка в школе») 128 стр. Цена 45 к.

Лев Толстой. Азбука. 320 стр. Цена 2 р. 10 к.

Л. Н. Толстой. Казаки. 160 стр. Цена 1 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Л. Н. Толстой. Война и мир. В 4-х тт. Иллюстрации Ю. Иванова.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Лев Толстой. Детство. Отрочество. На молдавском языке. Кишинев. «Литература артистикэ». 250 стр. Цена 35 к.

Лев Толстой. Юность. На молдавском языке. Кишинев. «Литература артистикэ». 223 стр. Цена 30 к.

Л. Н. Толстой. Кавказские рассказы и повести. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 408 стр. Цена 75 к.

Л. Толстой. Кавказский пленник. Хабаровское книжное издательство. 46 стр. Цена 5 к.

Л. Толстой. Муравей и голубка. Басни. На украинском языке. Рисунки О. Янутовича. Киев. «Веселка». 38 стр. Цена 45 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин, Д. В. Тевекелян**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Почтовый адрес: 103006. Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/IV 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/VII 1978 г.
Формат бумаги 70×108 мм. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 11005. Тираж 248.000 экз. Зак. 1730.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03353

Цена 70 коп.

70636